

ФАКТОР ОМАРА

БЕССМЕРТНЫЙ НАЁМНИК 13 УРОВНЕЙ

Рейд в запертой башне: я знаю, чем кончится каждый
бой, и плачу за это памятью

Фактор Омара. Том 1 (книга 1)
Илья Демьянов и Анастасия Деева

Редакция 139 · 09.10.2026 · 21,51 а.л.

Пролог. Первый проход

— Тринадцать этажей, — сказал Арслан. — Нам нужен седьмой. Остальные просто стоят на дороге.

Фургон пах мокрой резиной, оружейной смазкой и чужим страхом. Дождь по крыше звучал как крупа, которую сыплют в жестяную миску. Снаружи, в щели между дверями, стояла башня: чёрное стекло до самого неба, и где-то очень высоко на нём дрожали синие буквы рекламы — бессмертие, в рассрочку, для тех, кому повезёт.

Рядом с ней, вплотную, стоял дом пониже — этажа на два ниже башни, с плоской кровлей и с тростовой люлькой, забытой на фасаде с последней мойки стёкол. Люлька висела криво и качалась под дождём. Между домами не было и переулка: узкая щель, куда сваливали ящики.

Рейн проверил винтовку в третий раз. Проверять было нечего. Он проверил в четвёртый.

Винтовка была «Секач», третьей серии, и стоила одиннадцать двести — при том, что долгу у него было сорок семь тысяч. Воронение сошло в двух местах: под цевьём, где ложится левая, и на скобе у плеча, где висит. Там металл был белый и тёплый на вид, как ручка двери, которую открывают двадцать лет.

На планке сверху не стояло ничего. Планка была пустая, и на ней остался след от чужого кронштейна — две тонкие светлые полосы. Прежний хозяин ставил оптику. Рейну оптика была не нужна: у него прицельный глаз, вживлённый, двадцать восемь тысяч в рассрочку, и ради него он и пошёл в это ремесло.

У Кати автомат был арендованный, с биркой прокатной конторы на ремне и номером, который сдают утром вместе с

оружием. Сами ботинки у неё висели на карабине за спиной, а не на ногах, и на ходу стучали друг о друга. У Деда — своё, старшее самого, с прикладом, перемотанным изолентой в три слоя, и он эту изоленту не менял, а доматывал. Клинок он переложил с правого плеча на левое, потом обратно, и остался на левом.

По оружию в фургоне читалось всё: кто здесь надолго, кто на одну ночь, и у кого ещё не выплачено.

Остальное читалось по тому, кто как сел.

Серёга сел у самой двери, поставил щит нижней кромкой на пол и коротко пристукнул им — раз, проверяя упор, — и поправил ремень, который не жал уже пять лет. Ада села не со всеми: четыре шага в сторону, спиной к простенку у перегородки, откуда видно и обе двери, и весь проход, и всех разом; место было сквозное и неудобное, и она выбрала его сама. Настя сняла с шеи синтезатор — маленькую коробочку на липучке, — покрутила в пальцах и повесила обратно, значит, говорить не собиралась. Миша писал карандашом на сложенном вчетверо листе, положив его на медицинский планшет, на ходу фургона, а потом сложил лист и убрал под нагрудник, к самой груди, и хлопнул сверху ладонью, проверяя; перчатки у него были в пятнах старого засохшего клея, въевшихся так, что уже не отличить от кожи. Игорь снял оптику и протёр рукавом, хотя протирать было нечего. Тоха подтянул ремень автомата, который был ему велик, и через две минуты подтянул снова. Олег сидел, упёршись ладонями в колени, и дышал ртом; он оглядел железный короб фургона, нашёл глазами обе створки и спросил в потолок:

— Второй выход есть?

— Есть, — сказал Арслан, не поднимая головы от планшета.

Женя сидел спиной к стене, лицом ко всем, и на это не ответил ничего. Юра хлопнул себя по карману — там лежал лишний заряд, который он таскал на любую работу, — и начал считать шёпотом: раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Бриф был за полтора часа до этого, в гараже, и занял двадцать минут.

В гараже пахло холодным бетоном и той резиной, которую подогрели и дали остыть. Лампа над воротами горела через одну, и половина людей стояла в тени, а половина в свете, и никто не менялся местами.

Арслан положил планшет на капот и пролистал восемь снимков. Прежде чем начать, он очень коротко прикрыл глаза — так он всегда делал, пересчитывая, — и открыл их уже с готовым числом. Восемь, не тринадцать: заказчик дал только те этажи, мимо которых придётся идти, и Арслан сказал об этом прямо, без всякого выражения, как говорят про погоду.

— Что дали, то и смотрим.

Снимки были плохие — сняты не для них, а для какой-то внутренней отчётности: перекошенные, со вспышкой, с чужой рукой в углу кадра. Вестибюль. Лифтовый холл первого. Склад логистики. Коридор третьего с рядами шкафов. Ещё коридор. Дверь. Ещё дверь. Лестничная клетка.

Арслан называл этажи вслух, листая, как называют остановки:

— Первый. Первый. Второй. Третий. Третий. Четвёртый. Седьмой. Одиннадцатый.

Ада стояла у капота ближе всех и, пока он листал, трогала экран пальцем — не листая, а просто трогая: рука у неё сама шла

ко всему, что светилось. Арслан подвинул планшет на ладонь дальше, и она убрала руку.

И всё. Тринадцать этажей, восемь номеров.

Рейн смотрел снимки, как все: где дверь, где проход, куда отходить.

Смотрел он их дважды — второй раз один, пока грузили ящики, — и ничего в них не нашёл. Вестибюль. Лифтовый холл. Склад логистики, заставленный паллетами. Коридор. Ещё коридор. Лестничная клетка. Всё это он видел сто раз в сотне других зданий, и всё это ничего ему не говорило.

Он запомнил их так, как запоминают дорогу: не разбирая, а целиком, чтобы потом узнать.

Номера он потом пересчитал по памяти три раза, и каждый раз выходило одно и то же: восемь номеров и пять пустых мест. Пятый, шестой, восьмой, девятый, десятый. Тогда это ничего не значило: не дали и не дали.

Что на складе таблички «выход» висели ниже, чем в вестибюле, он в тот вечер не заметил. Что одна потолочная панель была чище остальных — тоже.

Это всплыло потом, у двери на втором, когда понадобилось.

Потом Арслан свернул планшет, и снимки больше никто не видел.

«У тебя пульс сто десять, — сказала Лира у него в голове. Голос дешёвый, с лёгким металлическим послевкусием, как вода из-под крана в нижних кварталах. — Хочешь, включу дыхательное упражнение? Там котики».

«Не хочу котиков».

«Все хотят котиков. Ты просто стесняешься».

Он не ответил. Он редко отвечал вслух, а в голове — всегда, и это было удобно: в голове можно было сначала сказать не то, потом стереть и сказать правильно. Вслух так не получалось. Вслух слова уходили и не возвращались.

Их было тринадцать.

— Перекличка, — сказал Арслан.

И они отозвались — вразнобой, кто буркнул, кто пошутил.

— Дед. Ада. Юра. Миша. Катя. Настя. Серёга. Олег. Игорь. Тоха.

Женю Арслан не назвал: тот отзывался только на фамилию, а фамилия в списке была чужая, купленная за восемь тысяч, и он просил её вслух не произносить. Он просто поднял руку.

— Рейн, — сказал Рейн, потому что его назвали последним.

Одиннадцать голосов и одна поднятая рука.

— Двери, — сказал Арслан.

Туман начинался прямо за фургоном. Жёлтый, низкий, с моря — оттуда, где моря давно уже не было, а была только тёплая жирная вода, пахнувшая так, что во рту появлялся привкус меди. Респираторы щёлкнули одновременно, тринадцать щелчков. Рейн всегда слышал этот звук чуть громче, чем остальные.

Вестибюль был пуст и светел, как операционная.

Внутри не пахло ничем. Совсем ничем — ни людьми, ни пылью, ни едой; после жёлтой воды снаружи это было сильнее любого запаха, и Рейн поймал себя на том, что сделал лишний вдох, проверяя. Пол был белая плитка, наливной, с еле заметным уклоном к длинной решётке у стойки: так кладут там,

где рассчитывают, что однажды придётся мыть из шланга. Ботинки на нём не скрипели и не липли — шли, как по мокрому льду.

Таблички «выход» висели на тросиках под самым перекрытием, высоко, так что читать их надо было запрокинув голову. Рейн запрокинул. Он всегда смотрел на потолки — привычка, из-за которой он когда-то потерял полгода учебки, — и высоту этих тросиков он в ту минуту просто взял и запомнил, ни для чего.

Они вошли первой двойкой — он и Дед, — и в ту же секунду в дальнем конце холла открылась служебная дверь.

Оттуда вышли трое. Двое в чёрном, с оружием, и между ними девушка в белом халате поверх куртки, и она несла перед собой обеими руками серый контейнер размером с термос.

Никто ничего не планировал.

Обе стороны увидели друг друга и начали стрелять одновременно, и в белом холле это было громко так, что перестало быть звуком.

Дальше уложилось в четыре секунды, и все четыре Рейн потом помнил отдельно.

Первая: он шагнул не назад, а вбок, к стойке, потому что назад были створки и стекло, и на ходу поднял «Секач» — левой под цевьё, туда, где сошло воронение, правой на скобу. Передний в чёрном стрелял от бедра и вёл ствол слева направо, и белая крошка от его очереди пошла по стене на уровне колена: он забирал низко.

Вторая: Дед не пошёл ни вбок, ни назад. Он сел. Просто убрал из-под себя ноги и сел на скользкую плитку, и уклон к решётке

протащил его ещё полметра вперёд, под очередь, которая шла над ним, — а из этого положения он выстрелил снизу вверх, и переднего в чёрном развернуло левым плечом к стене.

Третья: второй в чёрном отступал спиной, прикрывая девушку рукой поперёк её груди, и на третьем шаге упёрся ей в живот, и она встала. Он оглянулся на неё, потому что оглядываются всегда. Рейн выдохнул до конца и положил одну пулю ему в шею над воротом брони.

Четвёртая была не его. Кто-то из вошедших вторыми дал от двери длинную и дурную, и её край прошёл по кромке стойки, выбив из пластика короткую белую строчку.

Рейна ударило в бок.

Горячо, потом холодно. Он сел на пол, аккуратно, прислонившись к стойке, и увидел, как двое в чёрном лежат, и как девушка в халате ползёт по белому полу к тому, что уронила.

Контейнер треснул при падении, и из трещины на плитку тёк свет.

Не жидкость — свет. Синий, густой, он растекался медленно и гас по краям, не долетая до стен.

Девушка доползла, обхватила контейнер обеими руками и прижала к себе, как прижимают к себе то, за что отвечают. Синее пошло у неё между пальцев, по запястьям, по полу.

Оно дотекло до Рейна и вошло в рану у него в бок.

— Я не донесла, — сказала она.

Она сказала это не ему. Она вообще ни на кого не смотрела.

А потом Рейна выключило.

Он стоит на втором этаже, между стеллажами, и из потолка выезжает турель — с тихим сухим щелчком, — и Тоха оказывается ровно под ней, и садится на пол, будто ему вдруг захотелось отдохнуть.

Он в серверной, в холоде, и человек в ртутной броне коротко кашляет в кулак перед тем, как отдать команду, и Катя сворачивает направо, потому что она всегда сворачивает направо.

Он в жилом коридоре, и на двери скотчем приклеен детский рисунок: башня, солнце с ресницами, три человечка.

Он видит омаров в колоннах воды — сотни, тёмно-синих, старых, — и один медленно поворачивает голову.

Он видит серое, густое, и обломки синих панцирей в сером.

Он видит старика в свитере с растянутыми локтями, и старик что-то говорит ему, и у старика синие губы, и Рейн не слышит слов, только видит, как они произносятся: живи набело.

Он видит людей за стеклом, у которых растёт не туда.

Он видит тысячи зелёных огней, и они дышат.

Он видит длинный зал с оружейными столами, и в этом зале он почему-то оказывается много раз подряд, и каждый раз что-то идёт не так, и он не может сосчитать сколько.

Он видит дым и человека, спокойно уходящего в дым налево.

Он видит деревья под стеклянной крышей и дырку в стекле.

Он видит ветер, вертолёт и человека в лётном, который говорит ему что-то важное, и это важное — про неё.

Он видит, как умирает.

Он лежал на белом полу и смотрел в потолок, где мигала лампа.

Он думал о дамбе. О жёлтой воде. О тумане, пришедшем с моря так быстро, что небо стало цвета гноя за одну минуту. О единственном респираторе, который он надел ей на лицо, туго, до красных полос на щеках. О том, как он побежал за вторым. О том, как вернулся.

Её не было. Только туман и маленький след кроссовки в луже на краю дамбы.

Он искал её девять лет. В каждом лице. В каждом голосе.

Рейн закрыл глаза и сказал её имя. Одно короткое слово, самое важное из всех, которые у него были.

— Мила.

Потом стало темно.

— Рейн!

Его трясли за плечо.

Он открыл глаза и увидел над собой Деда, а над Дедом — потолок вестибюля, и лампу, которая мигала.

— Ты живой?

Рейн не ответил.

Он лежал на белом полу, в двух метрах от девушки в халате. Стрельба кончилась. Гильзы уже не катились, они лежали. Дед стоял над ним на одном колене и держал его за плечо, и по лицу Деда было видно, что он трясёт его не первый раз.

Секунд двадцать. Может, тридцать.

Он поднял рубаху. Крови было много, целый бок, липкий и тёплый. Раны не было.

И он знал, что будет дальше. Не помнил — знал, так, как знаешь, что кипяток горячий. Турель на втором. Кашель на третьем. Омары в синих колоннах. Старик в свитере. Дым. Ветер на крыше.

Знал — и не знал, в каком порядке, и когда, и что с этим делать. Как человек, которому показали все страницы разом и ни одной не дали прочесть.

И ещё он знал, что там, в конце, перед темнотой, он что-то сказал. Шёпотом. Одно слово.

Слово было коротким. Слово было самым важным из всех, которые у него были.

Он пытался его вспомнить, а на его месте была пустота — ровная, гладкая, как стекло башни, в котором отражается дождь.

Он не умирал. Он это знал точно, потому что помнил всё: и как холодело от бока к горлу, и как темнело с краёв, и как он сказал слово. Он не умер — его перебрало. Как перебирают машину: вынули, посмотрели, поставили обратно, и одна деталь осталась лишней.

Лишним оказалось имя.

— Ты живой? — повторил Дед.

— Да, — сказал Рейн. — Кажется.

Ильина. Отсутствие

Задолго до. Кабинет на нижнем этаже клиники «Кюри».

Кабинет у неё был угловой, окно смотрело в проулок, а не на улицу, — вид ей был не нужен, нужен был утренний свет. Стол стоял так, что посетитель видел столешницу, а не то, что на ней: слева стопка папок с синими корешками по годам, справа лампа на гибкой ноге, горящая даже днём, потому что от верхнего света у неё через час начинала болеть голова. На полке — распечатанные протоколы в скоросшивателях и одна вещь без подписи и без дела: чужая перчатка, одна, кожаная, лежавшая там с того дня, как её забыл на этом же стуле человек, чьё имя она не стала записывать. Перчатку никто, включая её саму, ни разу не выбросил и ни разу не спросил, чья она.

Раз в квартал ей на стол клали закрытый бюллетень: отраслевая сводка по темам, которые числятся живыми, — кто подал заявку, кто продлил финансирование, кто закрылся.

Она читала его не с начала, а с конца, с колонки закрытий, потому что закрытия интереснее удач: удача объясняет себя сама, а закрытие иногда нет.

В тот квартал в колонке закрытий Дробышева не было.

Не было его и в колонке продлений.

Его не было нигде, и это было не то же самое, что «его закрыли».

Она помнила его по шести годам общей работы — тяжёлого, честного человека, который двадцать лет вёл учёт от руки и матерился на тех, кто просил округлить цифру для отчёта.

Уйдя от них, он хлопнул дверью и унёс с собой картонную коробку с образцами, которые по правилам вывозить было нельзя, и она тогда сказала на разборе: пусть уносит, за такими коробками потом приходят сами.

С тех пор она следила за ним не потому, что скучала, а потому, что считала это методом: люди, ушедшие с хлопком, либо гаснут за год, либо через два-три года всплывают с чем-то настоящим. Третьего не бывает.

Она подняла старые протоколы конференции — три года назад он ещё выступал, короткий доклад, десять минут, зал наполовину пустой.

Через год — тезисы без доклада.

Ещё через год — ничего.

Отсутствие человека в профессии — сигнал слабый, но она умела с ним работать: слабый сигнал, повторённый трижды в разных источниках, перестаёт быть слабым.

Она вызвала клерка из архива — молодого, добросовестного, привыкшего, что от него не ждут мнения.

Он вошёл, остался стоять у края стола, и она подняла на него глаза от протокола и не отвела их, пока не договорила, — так она слушала всех, кто мог принести ей плохую новость: отвернуться было бы милосерднее к себе, а не к нему.

— Найдите мне регистрацию новых юридических лиц за три года в биотехе, — сказала она. — Малых. Учредитель — физическое лицо с профилем химика или биолога, без публичной истории.

— По какому признаку сузить?

— По адресу, — сказала она. — Мне нужны те, кто арендовал под лабораторию верхние этажи в старых промышленных башнях. Дёшево и незаметно. Дробышев не работал бы там, где чисто и на виду — он двадцать девять лет проработал в грязных помещениях и не считал это унижением.

Клерк вернулся через два дня с семью адресами.

Один был в Стекле — башня «Ковша», тринадцать этажей, седьмой числился как «складское помещение с усиленной вентиляцией».

Она не поехала посмотреть сама. Она поставила рядом два факта — исчезновение человека и появление адреса — и сделала то, что делала всегда: не поверила совпадению, а проверила его стоимостью.

Аренда верхнего этажа промышленной башни под «складское помещение с усиленной вентиляцией» стоила ровно столько, сколько стоит криогенное оборудование средней мощности, работающее в три смены.

Складам вентиляция такой мощности не нужна.

Лабораториям — нужна.

Она записала в свой блокнот одну строку, без восклицательных знаков, потому что не признавала их даже наедине с собой:

Вариант А: Дробышев жив и работает. Вариант Б: аренду продлевает кто-то другой на его имя. Проверить состояние счёта за электричество — оно покажет, кто на самом деле там сидит по ночам.

Счёт показал.

С этой минуты она перестала считать это догадкой. Она называла это про себя ровно так, как называла в отчётах любой подтверждённый факт: установлено расчётом.

Дальше нужны были не догадки, а люди, которые войдут внутрь и вынесут то, что там лежит.

Заказ

За сутки до.

Склады «Ковша» стояли в Консервном, на отшибе, и тот, где собирал Арслан, не работал лет пять.

Внутри было пусто и гулко: бетон, ржавые рельсы кран-балки под потолком, лужи, натёкшие от протечек; Арслан поставил посередине два ящика и на них планшет, и это было всё оборудование.

Пришли одиннадцать, и ещё один, стоявший у ворот снаружи, не заходил, пока не начали считать.

Рейн вошёл предпоследним и встал у стены, откуда видно и людей, и двери, — так вставали все, никто не садился спиной к воротам.

— Считаю, — сказал Арслан. — Дед.

— Тут.

— Ада.

— Тут.

— Юра.

— Тут, — сказал Юра и хлопнул по карману, проверяя заряд. Он делал это каждый раз, когда называли его имя, и уже не замечал.

— Миша. Катя. Настя. Серёга. Олег. Игорь.

Отзывались вразнобой, и Рейн половину не разобрал: в такой переключке слушают не голоса, а счёт. Щёлкнув, Настин синтезатор сказал «тут» ровным голосом, без интонации.

— Тоха, — прочитал Арслан и поднял глаза. — Кто такой Тоха?

— Я, — сказал парень от дверей.

Ему было девятнадцать, и он это знал, и все это видели.

— Тебя кто прислал?

— Биржа. Сказали, вам лёгкий стрелок нужен.

Посмотрев на него ещё секунду, Арслан убрал глаза в планшет.

— Рейн.

— Тут, — сказал Рейн.

Тринадцать человек в пустом складе. Через сутки их будет меньше, но об этом ещё никто не знает, включая того, кто узнает первым.

— Объект — башня «Ковша» в Стекле, тринадцать этажей, — сказал Арслан. — На седьмом лаборатория. В лаборатории контейнер. Контейнер надо вынести.

— Что в контейнере? — спросила Катя.

— Не наше дело.

— Наше, — сказала Катя. — Если я это понесу, я хочу знать, рванёт оно или нет.

— Не рванёт, — сказал Арслан. — Оно биологическое. Его нельзя трясти, нельзя вскрывать и нельзя смотреть на свет.

Катя подумала.

— И такое доверяют нам, — сказала она. Это был не вопрос.

— Не доверяют, — сказал Арслан. — Нам платят за сорок минут переноски. Заказчик будет стоять в двух кварталах и

примет из рук в руки сам. Она бы и в канаву за этим приехала.

— А если мы ляжем все?

— Тогда никакого заказчика нет. Есть женщина, которая назвала сумму и не назвала себя, и она одна сторона договора. — Арслан сказал это ровно, без выражения, как говорят вещи, которые давно перестали задевать. — Нас взяли с биржи не потому, что мы лучше других. Нас взяли потому, что мы никто и ни с кем.

Никто ничего не сказал. Возражать было не на что.

— Ну хоть честно, — сказала Катя. — Понесу я.

Это было не предложение. Она всегда шла первой и всегда несла, и в группе давно перестали это обсуждать.

— Почему ты? — спросил Тоха, потому что был новый и ещё спрашивал.

Повернувшись к нему, Катя пожала плечами.

— Потому что дома никто не считает, во сколько я вернулась, — сказала она. — У Миши двое, у Деда жена, у Юры мать. А у меня ключ и пустая комната. Это не грустно, малой, это просто удобно.

Она достала пачку сигарет, которые не курила, и протянула ему.

— Будешь?

— Я не курю, — сказал Тоха.

— И я не курю, — сказала Катя и убрала пачку обратно. — Я их таскаю, чтоб было чем угостить. Иначе с людьми не о чем начать.

Юра перестал хлопать по карману.

— Это доза, — сказал Дед.

Он сказал это не вопросительно. Он стоял, привалившись к столбу, с моноклинком поперёк груди, и смотрел на Арслана.

— Я не знаю, что это, — сказал Арслан.

— Ты знаешь, — сказал Дед. — Ты просто не хочешь говорить, потому что если ты скажешь вслух «доза», то половина отсюда уйдёт, а вторая половина останется по неправильной причине.

Арслан положил планшет на ящик.

— Хорошо, — сказал он. — Допустим, доза. Что меняется?

— Для меня — ничего, — сказал Дед. — Для них — всё. — Он мотнул подбородком в сторону остальных. — Пусть каждый сам решит, прежде чем брать аванс. Потому что за контейнером, в котором доза, приходят не только хозяева.

— Сколько? — спросил Игорь.

— Двадцать аванс, сорок пять по факту.

По складу прошло движение. Ничего не сказали вслух, но Рейн увидел, как Миша беззвучно шевельнул губами, пересчитывая, и как у Серёги дрогнула рука к ремню.

Шестьдесят пять тысяч. Два года жизни за одну ночь.

— За такие деньги, — сказал Юра, — там должно быть очень нехорошо.

Он сказал это спокойно, потому что считал вслух всё, включая плохое, и в его исполнении это звучало не как страх, а как пункт сметы.

— Ты чего радостный-то? — спросил Тоха.

— Я не радостный. Я посчитал. — Юра показал на пальцах. — Шестьдесят пять. Двадцать — матери. Двадцать — за комнату, я на год вперёд отдам, чтоб не ходить каждый месяц. Остальное лежит.

— Зачем лежит?

— Затем, что деньги, которые лежат, — это единственное, чего у меня ни разу в жизни не было, — сказал Юра. — Я хочу посмотреть, как это.

— Там будет нехорошо, — согласился Арслан.

— Охрана?

— «Гарпун». Полный контракт, своя смена, ртуть на верхних ярусах.

— Ртуть — это которая течёт? — спросил Тоха.

— Которая течёт под пластинами, пока стоишь, и густеет в ту долю секунды, когда в тебя бьют, — сказал Арслан. — Тяжелее вдвое, медленнее с места, нож насквозь не проходит. Стучишь по ней — звук как по налитой воде.

— «Гарпун», значит, — сказал Серёга. — Их Ким летом полбиржи к себе увёл. Половина тех, кто там наверху стоит, весной с нами тут стояла.

— «Гарпуну» всё равно, против кого стоять, — сказал Дед. — Ляжет смена — страховка заплатит, новых наберут к утру. Желающих у них очередь. Это нам не всё равно. И ртуть эта — не про цвет, а про вес: под ней человек ходит вдвое медленнее, потому что на нём вдвое больше надето.

Никто не ответил. Возражать было не на что.

— Сколько?

— Двадцать два человека по смене.

— Нас тринадцать, — сказала Ада.

— Поэтому мы не воюем, — сказал Арслан. — Мы заходим четырьмя двойками рассыпно, встречаемся на первом, идём вверх без остановок. Нам нужен седьмой, остальные этажи просто стоят на дороге.

Он обвёл их взглядом.

— Кто уходит — уходит сейчас. Аванс не спрашиваю.

Никто не ушёл.

Рейн смотрел на это и думал, что ушли бы все, будь у кого-нибудь из них хоть немного денег. Именно поэтому Арслан и собирал их на бирже, а не искал по рекомендациям.

— А почему мы? — спросил Тоха.

Все обернулись.

— В смысле — почему мы? — сказал Арслан.

— Ну, — Тоха смутился, но договорил. — Если там такая штука, там же должны быть... ну... серьёзные люди. Корпорация какая-нибудь. А мы кто?

— Мы и есть серьёзные люди, — сказал Юра.

— Нет, — сказал Дед. — Он правильно спрашивает.

Он оттолкнулся от столба.

— Нас берут потому, что нас не жалко, малой. И потому что мы никому не подчиняемся: если нас возьмут на объекте, то возьмут наёмников, а не корпорацию. Корпорация будет в это время в театре.

— А если мы вынесем и не отдадим? — спросил Тоха.

— О, — сказал Дед. — Вот это правильный вопрос.

Он посмотрел на Арслана.

— Скажи ему.

— Отдадим, — сказал Арслан. — По двум причинам.

Он поднял палец.

— Первая: эту штуку нельзя продать. Её нельзя продать, потому что покупателей в городе меньше десяти, и все они в списке заказчика. Пойдёшь к любому — тебя купят вместе с контейнером, а потом отдадут туда, откуда взяли.

Второй палец.

— Вторая: заказчик будет ждать неподалёку. В машине, в двух кварталах. Всю ночь, пока мы внутри, и примет из рук...

— Чего? — Тоха не дал договорить. — Зачем ему там торчать?

— Затем, что вещь такая, — сказал Дед. — Её надо принимать тёплой.

— В смысле — тёплой?

— В прямом, — сказал Дед. — Всё, что дорого стоит в этом городе, принимают из рук в руки, пока оно тёплое. Поэтому богатые сидят в машинах за углом и мокнут, как мы. Единственное место, где мы с ними равны.

Тоха подумал.

— Всё равно не понимаю, — сказал он честно.

— И хорошо, — сказал Дед. — Поймёшь — поздно будет.

Расходились в темноте.

Дед догнал Рейна у ворот, под дождём, и сказал, не останавливаясь:

— Малой спрашивал, как правильно. Ты ему не объясняй. Сам дойдёт.

— До чего?

— До того, что тут черновики не дают, — сказал Дед. — Как вышло, так и вышло. Набело.

И ушёл в темноту, не дожидаясь ответа, — он вообще редко его дожидался.

Рейн постоял и увидел, как Арслан курит у ворот, глядя на дождь. Курил он редко, только когда что-то решал.

— Он тебе нравится? — спросил Рейн, кивнув туда, где ушёл Тоха.

— Никто мне не нравится.

— Он новичок. На такой работе.

— Он лёгкий стрелок, и его прислал вербовщик той самой конторы, которая нас завтра встретит, — сказал Арслан. — Об этом я думаю, а не о том, что он новичок.

— И взял.

— И взял. — Арслан смотрел на дождь. — Деду я сказал не всё.

Он затанулся.

— Отказать я мог. Тогда бы он пошёл и рассказал, что Арслан испугался взять мальчишку. На бирже это стоит дороже, чем один к сорока.

— А ты почему взял? — спросил Арслан.

— Долг, — сказал Рейн.

— У всех долг.

— У меня на импланты. Через два месяца изымают.

— А, — сказал Арслан. — Тогда понятно.

Он бросил окурок в лужу.

— Знаешь, что в этой работе плохо на самом деле? Не охрана. Охрана — это арифметика. Плохо то, что заказчик уже знает, чем всё кончится, а мы ещё нет. Поэтому он и придет сам, и будет сидеть в машине в двух кварталах, в трущобах, в темноте, где его может ограбить любой мальчишка.

Он посмотрел на Рейна.

— Люди так не делают, если не уверены.

Домой Рейн шёл пешком, потому что транспорт уже не ходил.

Дождь стал мельче и холоднее, а над Стеклом висела подсветка, и в этой подсветке было видно, как с моря идёт туман — низкий, жёлтый, редкий пока.

«Скажи мне что-нибудь», — попросил он.

«Не бери», — сказала Лира.

«Поздно».

«Тогда мне нечего сказать. — Пауза. — Хочешь дыхательное упражнение? Там котики».

«Нет».

«Все хотят котиков. Ты просто стесняешься».

Усмехнувшись в воротник, он пошёл быстрее.

До фургона у подножия башни оставались сутки.

Ильина. Никто и ни с кем

За две недели до. «Капля», нижний ярус биржи.

Марту Вей она нашла не сама — ей дали три имени, и она выбрала по одному признаку: сколько раз человека теряли и сколько раз он возвращался в работу.

Марту теряли дважды и оба раза брали обратно. Это была лучшая рекомендация, какую можно получить в её ремесле, потому что она означала не безупречность, а цену молчания.

Встретились один раз, в чистом кабинете банка, без записи, без имён — Ильина назвалась «заказчиком», и Марта не переспросила.

Кабинет был стеклянный, стол пустой, если не считать графина с водой, до которого ни одна не дотронулась. Ильина села не облокотившись, спина прямая, руки одна на другой поверх стола — она не поправляла рукав халата и не убирала со лба волос, которых там давно не лежало: короткая стрижка, седая, без укладки уже много лет, потому что укладка требовала времени, которого у неё не было ни на что, кроме работы.

— Мне нужна группа, — сказала Ильина. — Не лучшая. Определённая.

— Уточните.

— Такая, чтобы после дела её нельзя было довести до меня. Ни через счёт, ни через знакомство, ни через контору.

Марта кивнула, будто ей заказывали не людей, а деталь по чертежу.

— Штатная команда исключена, — сказала она. — У штатных есть куратор, а у куратора есть телефон, и телефон рано или

поздно звонит не в ту сторону.

— Значит?

— Сборная, — сказала Марта. — С биржи. Каждый пришёл сам, каждый уйдёт сам, и между ними нет ничего, кроме этой ночи.

— У сборной хуже дисциплина, — сказала Ильина. — Я читала отчёты о таких операциях. Проценты не в мою пользу.

— Проценты не в вашу пользу по любому пункту, — согласилась Марта. — Кроме одного. Сборную нельзя допросить как единое целое. Возьмут одного — он не знает второго. Возьмут второго — он не знает третьего. Штатную команду допрашивают как книгу, страница за страницей. Сборную — как рассыпанную колоду.

Она сказала это без выражения, тем же голосом, каким называла бы стоимость доставки.

— Вам нужна не победа. Вам нужно, чтобы ниточка обрывалась через одного человека. Дальше её не будет, потому что дальше нечего тянуть.

Дальше Марта спросила то, что спрашивала всегда, ещё до того, как это стало её мерой:

— Что-нибудь на объекте, чего исполнителям лучше не знать?

— Да, — сказала Ильина.

Она не стала врать и не стала подробничать, а сказала ровно столько, сколько было честно сказать заранее:

— Содержимое живое. И это будет для них неожиданностью хуже охраны.

Марта помолчала — недолго, ровно столько, сколько нужно, чтобы ответ выглядел взвешенным, а не автоматическим.

— Спасибо, — сказала она наконец. — Обычно на это отвечают «нет» или улыбаются.

— Это имеет значение?

— Пока никакого, — сказала Марта. — Я просто запоминаю, кто как отвечает.

Она не сказала, зачем запоминает, и Ильина не спросила: у каждой из них была своя бухгалтерия, и лезть в чужую было не принято.

Через четыре дня Марта прислала список — тринадцать фамилий, без биографий, только возраст, специализация и то, сколько раз человек уже брал заказы такого рода.

Ильина прочитала список дважды.

Во главе стоял Арслан — не потому, что был лучшим стрелком в списке, а потому, что, по пометке Марты, «умеет собирать людей, которым нечего терять, и не путает это с состраданием».

Она подчеркнула это имя и отправила список назад с одним словом.

— Годится, — написала она. — И одно условие: пусть возьмёт не тех, кого ему жаль, а тех, кого некому будет искать.

Марта ответила через час.

— Он уже так и набирает, — написала она. — Иначе он бы столько лет не проработал.

Про новичка по имени Тоха Ильина ничего не знала и знать не могла — Марта его в список не включала, он появился позже, через вербовщика самой охранной конторы, и был для обеих

женщин случайностью, которую ни одна не собиралась учитывать.

Случайности такого рода она обычно не любила.

Но эта случайность была маленькой, а решение — уже принятым, и Ильина умела отличать момент, когда ещё можно всё пересчитать заново, от момента, когда пересчитывать поздно и надо просто ждать результата.

Эта ночь относилась ко второму.

Глава 1. Помутнение

Я двадцать лет считал, что молчать — это вежливо.

Сегодня мне показали, как я умираю в коридоре первого этажа. Это заняло полсекунды.

А потом я стоял и подбирал слова: как объяснить, откуда я знаю, чтобы при этом не выглядеть дураком. Я подбирал их всю жизнь.

В конце концов я заорал — сразу и криво, — и на меня посмотрели так, как я и боялся.

Ничего. Смотрите.

Рейн, ночь на четверг, двадцать два пятьдесят

Первый этаж. 22:50 — 23:40.

Рейна вырвало прямо там, на белом полу, между собственными ботинками.

— Ага, — сказал Дед. — Живой.

Он помог ему сесть и, не спрашивая, задрал ему куртку и рубаху.

Рейн упёрся в пол левой, и левая отозвалась, как отзывалась всегда: коротким щелчком в запястье и глухим стуком композита о камень. Протез у него был дешёвый, рабочий, из тех, что берут в рассрочку на двадцать четыре месяца и донашивают шесть лет: серый кожух, видимые сочленения, кисть, которая держит что угодно и ничего не чувствует. Рассрочку за него он закрыл давно, ещё до глаза и порта, и это была единственная строка в его жизни, которую он дотянул до конца. На морозе он щёлкал чаще. Дед называл это «твоя гремелка» и один раз сказал, что у

него самого каркас того же класса и того же завода, только на спину.

Кровь была. Много крови, целый бок, липкий и тёплый, и штанина промокла до колена. Раны не было. Дед вытер ладонью, посмотрел, вытер ещё раз.

— Зацепило по касательной, — сказал Рейн.

— Угу, — сказал Дед.

Он смотрел на него ровно на две секунды дольше, чем надо, потом отпустил рубаху и встал.

Их вошло уже девять, остальные подтягивались.

В холле лежали трое: двое контрактников в чёрном и девушка в белом халате поверх куртки. Она так и лежала, обхватив руками серый треснутый контейнер, и была очень молодая — лет двадцать двух, не больше, — и у неё на запястье была тонкая резинка для волос, синяя.

Присев рядом, Арслан повернул контейнер к себе.

Внутри было пусто. Не разбито в крошку, а именно пусто: треснувший корпус, вскрытый внутренний стакан и никакого следа. Он провёл пальцем по плитке, посмотрел на палец, понюхал.

— Вытекло, — сказал он.

— Точно? — спросила Ада.

— Тут сухо. — Арслан выпрямился. — Оно живое, оно не лежит лужей. Оно вытекло и сдохло.

Ада присела и потрогала плитку сама.

Рейн сидел у стойки и смотрел на них обоих, и молчал, и не сказал бы, что именно его останавливает. Он ещё не понимал, что с ним. Он просто чувствовал, что говорить сейчас нельзя.

Свет в холле дважды мигнул.

Потом ожил динамик, и очень спокойный женский голос сказал:

— Внимание. Зафиксировано нарушение целостности биологического образца за пределами лаборатории. Начата процедура санации объекта. Персоналу немедленно покинуть здание через аварийные выходы.

Голос повторил это ещё раз, теми же словами, с той же интонацией.

Потом за спиной у них что-то тяжело лязгнуло.

Створки главного входа — толстые, стеклянные, в которые они вошли минуту назад, — поехали навстречу друг другу и сомкнулись. Следом опустилась вторая рама, металлическая, глухая, без единого стекла.

Здание сделало это без злобы и без спешки, как закрывают рот.

Гул отступил.

— Это что сейчас было? — сказал Тоха.

— Это нас закрыли, — сказала Ада.

Ада работала четыре минуты и всё это время ругалась ровно, без выражения, как ругаются за рулём.

— Закрыто, — сказала она наконец. — Всё. Главный вход, боковой, служебный, погрузочные ворота. По контуру первого этажа идёт заливка — они пускают пену в нижние ярусы, это не

тушение, это консервация. Лестницы вниз уже под ней.

— Лифты?

— Лифты встали. Все, кроме грузового, и тот заперт на ключ снизу.

Арслан слушал молча.

— Так, — сказал он. — Что открыто?

— Ничего не открыто, — сказала Ада. — Здание списывают. Мы внутри списанного здания.

— Что открыто наверх?

Ада посмотрела на него.

— Наверх — лестницы, — сказала она медленно. — Наверх у них ничего не перекрыто, потому что сверху никто не выходит. Сверху только крыша.

— На крыше площадка, — сказал Дед.

Он сказал это спокойно, не вопросом, и Рейн увидел, как Арслан очень коротко прикрыл глаза, пересчитывая.

— Тринадцать этажей, — сказал Арслан.

— Тринадцать, — согласился Дед.

Охранник обнаружился за стойкой — лежавший на полу с той секунды, как началась стрельба.

Он поднял руки заранее, ещё до того, как его нашли, и держал их так, как держат люди, всю жизнь думавшие, что если поднять руки, то всё обойдётся.

Ему было лет пятьдесят. Форменная куртка на размер больше, обручальное кольцо, в термокружке остывший чай.

Рейн посмотрел на него один раз и понял, за сколько его тут держат. Ни брони, ни кобуры — телефон на шнурке и кнопка под столешницей; такой человек стоит конторе девять тысяч в месяц и смотрит не на вход, а на чай.

Арслан повёл стволом.

— Стой, — сказал Рейн.

И сам не понял, почему сказал это вслух — сейчас, когда всё уже пошло не так, и когда за спиной лежат трое.

Арслан остановился. Не опустил ствол — просто остановился и посмотрел на него без всякого выражения.

— Он свидетель.

— Он сдаётся.

— Это одно и то же, — сказал Арслан. — Через десять минут он будет свидетель, который сдавался.

— Я его свяжу.

— Ты его свяжешь. — Арслан произнёс это без вопроса, как диктуют в протокол.

Он смотрел на Рейна долго, дольше, чем нужно. Потом кивнул.

— Хорошо. Твоя тревога, твои десять минут, твой человек.

Он не уступил. Он проверял.

Охранник лёг сам, не дожидаясь. Сорок секунд: запястья, узел, рация, пейджер, шнур стационарного.

— Спасибо, — сказал он в пол.

— Не за что.

— Есть за что. — Он помолчал. — У меня брат на одиннадцатом, в охране директоров. Если увидите — скажете, что я тут? Он же не...

— Как его зовут?

— Да он сам скажет. Он такой, разговорчивый. — Охранник неловко усмехнулся в плитку. — Не то что я.

Рейн затянул последний узел и вдруг спросил — сам не зная зачем, и это был единственный вопрос, который он задал за всю ночь просто так:

— А вас?

— Слава, — сказал охранник в пол. — Вячеслав.

Рейн кивнул и пошёл к лифтовому холлу, и через одиннадцать этажей и половину жизни не смог вспомнить ни этого имени, ни этого разговора.

В лифтовом холле пол был уже не белый.

Здесь кончалась плитка вестибюля и начиналась другая, помельче и потусклее, и на ней лежала мелкая крошка от чего-то, что здесь роняли и подметали годами. Свет был ровный, потолочный, ни одной лампы не выключено. Пахло остывшим чаем — тем самым, из термокружки за стойкой, — и больше ничем; запах был домашний, дежурный, ночной, и он не сходил со всем остальным настолько, что Рейн сбился с шага.

Помутнение накрыло на него у самых лифтов.

Он шёл, и вдруг понял, что знает, что будет на втором этаже. Не догадывается — знает. Широкий проход между стеллажами, квадратные люки обслуживания в потолке, и из одного выезжает турель.

Из какого — он не знал. Вот это было хуже всего. Знание было без адреса, как чужая записка без начала: турель есть, турель выедет, а где именно — пусто. Он попробовал дотянуться до этого места в себе и наткнулся на ровное.

«У тебя пульс сто шестьдесят, — сказала Лира. — Это уже неприлично. Мы ещё даже не поднялись».

«Я знаю, что наверху».

«Ты читал схему. Арслан показывал».

«На схеме нет турели».

Лира помолчала — ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы решить не спорить.

«Хочешь, включу дыхательное упражнение? Там...»

«Нет».

Пауза стала другой. Не обиженной — внимательной.

«Ты ответил через ноль целых две десятых секунды».

«И что?»

«Я произношу эту фразу за одну и восемь. Ты ответил на первой трети. Про котиков ты знаешь, ты их слышал двести раз, — а вот что я предложу их именно сейчас, ты знать не мог. Я решила это, пока говорила».

Он смотрел в пол.

«Рейн. Ты отвечаешь раньше, чем я спрашиваю».

«Считай, что совпало».

«Я считаю, — сказала Лира. — Это моя единственная работа».

Он дал ей это имя сам, четыре года назад, в первый вечер, когда нейропорт зажил и в голове стало на одного больше. Система спросила, как её называть. Он хотел сказать другое имя — короткое, из четырёх букв, самое важное из всех, которые у него были, — и не смог. Оно застряло где-то между горлом и зубами. Слишком настоящее. Тогда он сказал вместо него что-то другое — и потом ни разу не сумел вспомнить, что именно. С тех пор в голове у него жила Лира.

Он никому этого не рассказывал. Даже ей.

Тоха догнал его у самой лестницы.

— Слышь. А чего мы вообще наверх?

— Вниз нельзя.

— Это я понял. — Тоха оглянулся. — Я не понял, чего мы за контейнером шли, если он тут лежит пустой. Он же был нам нужен, а он вот. И что теперь?

— Теперь мы выходим, — сказал Рейн.

— А деньги?

— Тоха.

— Да я не про деньги, — сказал Тоха и явно соврал. — Я просто... ну... как-то же должно быть.

Рейн посмотрел на него.

Он собирался сказать то, что говорят в таких случаях: держись рядом, делай как все, не лезь вперёд. Он уже открыл рот.

И вместо этого посчитал.

Считалось само, и считалось быстро, и он не мог это остановить, как не можешь не прочитать слово, которое увидел.

Тревогу дали в двадцать три ноль восемь — он слышал, как она щёлкнула в чужой рации за стойкой; он тогда ещё не знал, чья она, и запомнил цифру на часах, потому что запоминал все цифры.

У «Гарпуна» норматив на сбор дежурного звена — четыре минуты. Он это знал не из слухов, а из прейскуранта, который висел у них в открытом доступе на бирже, потому что норматив — это то, за что берут деньги. Прейскурант он помнил построчно, как помнят цены на то, чего не покупают:

Присутствие, смена двенадцать часов — одна ставка. Подъём дежурного звена по тревоге, норматив четыре минуты, — одна ставка. Сопровождение груза открытое — полторы. Сопровождение тихое — три ставки.

Норматив был написан про звено и только про звено. Сторожей по контуру он не касался вовсе: те уже стояли на местах, и стоили они столько, что считать их отдельной строкой никто не стал. Славка за стойкой не приезжал за четыре минуты. Славка был тут с семи вечера и обошёлся объекту дешевле, чем один подъём по тревоге.

Сейчас двадцать три четырнадцать. Значит, звено собрано и уже идёт.

И идут не такие, как Славка. Идут те, кому выдали штатный нагрудник, автомат и ставку восемнадцать, — и учили их ехать на кражу со склада, а не воевать в вестибюле с тринадцатью.

Идти оно может двумя путями. Он видел эту часть на снимке: лифтовый холл, широкий, простреливаемый насквозь, и рядом грузовой коридор, куда влезает один человек с ящиком и больше никто. Старший смены выберет широкое, потому что в узком его люди мешают друг другу, а он не дурак, раз дослужился.

Дальше — угол. Угол в лифтовом холле один, и он слева: служебный проход от дежурной выходит туда, и на снимке в этом углу стояла тележка с баллонами, никем не убранная. Значит, выйдут слева.

И пойдёт старший сам, первым. Не из храбрости. За четыре минуты он успел поднять людей и не успел ничего им сказать, а человек, который не успел объяснить, идёт впереди, чтобы показать.

В лифтовом холле одна прямая — от угла до дверей. Двадцать метров. И на этой прямой сейчас стоит Тоха, а в двух шагах за ним — он сам.

И тогда Рейн это увидел.

Лифтовый холл. Начальник смены выходит из-за угла сам, с четырьмя людьми, слева, когда до дверей остаётся метров двадцать. Он стреляет первым и стреляет плохо, в потолочную панель, и панель осыпается белой трухой.

Дальше тесно. Серёга принимает две очереди на щит. Дед идёт вдоль левой стены. Третий уходит за колонну и начинает сыпать вслепую, зажмурившись, длинными.

Одна из этих пуль находит Рейна под нижний край брони.

Он садится на пол очень аккуратно, прислонившись к стене, как садятся уставшие, и смотрит, как из него выходит слишком много собственной крови, и думает совершенно спокойно и ясно: я так и не сказал ему про турель.

Он моргнул.

И всё это не случилось.

Он стоял на том же месте, у лестницы, с открытым ртом, и не сказал ещё ни слова. Тоха ждал ответа, и лицо у него было ровно

такое же, как мгновение назад. Никто ничего не заметил. Дед за его спиной как раз перекидывал клинок с плеча на плечо.

Времени прошло меньше, чем нужно, чтобы моргнуть. Ничего не откатилось назад — просто он увидел всё до конца раньше, чем оно началось.

— Рейн? — сказал Тоха. — Ты чего завис?

— Слева, — сказал Рейн.

— Чего?

— Слева, из-за угла, сейчас выйдут пятеро, — сказал Рейн громко, на весь холл, не подбирая слов, не думая, как это прозвучит. — Начальник смены и четверо. Он выстрелит первым и промажет в потолок. Все — влево, к стойке, живо!

Стало очень тихо.

Потом Дед, не сказав ни слова, двинулся влево.

А через две секунды из-за угла вышел начальник смены и выстрелил в потолочную панель, и панель осыпалась белой трухой.

Дальше всё было так, как он сосчитал, и ни в чём не так, потому что теперь их ждали.

Он лежал за стойкой, на левом боку, и левая держала цевьё — не потому, что так удобнее, а потому, что композитом можно упереться в кромку и не думать о ней. Отсюда ему была видна вся прямая: двадцать метров полированной плитки от угла до лифтов, и белая труха, ещё сыпавшаяся с потолка на эту плитку.

Пятеро вышли так, как выходят люди, которым не успели ничего объяснить: кучно, плечом к плечу, все пятеро в одном штатном нагруднике с одинаковой светлой полосой по груди.

Автоматы у троих висели, а не были в руках, — они их поднимали уже на ходу. Звено. Не контур и не ртуть: те, кого учили приезжать за четыре минуты на кражу со склада.

Первым шёл старший, и первым выстрелил тоже он — вверх и в сторону, в потолочную панель, в то место, где секунду назад стоял Тоха и где теперь не стоял никто.

Серёга принял это стоя. Он вышел из-за колонны на полкорпуса, поставил щит нижней кромкой на плитку, пристукнул — раз, — и принял на него вторую очередь, и третью, и щит пошёл вверх и назад, и Серёга держал его не руками, а плечом и всем весом, чуть присев, как держат дверь, в которую ломятся. Гильзы били в щит, отскакивали и катились по плитке к решётке.

Пока в него стреляли, в него смотрели. Это и было всё, что от него требовалось.

Дед вышел не вдоль левой стены, а из-за стойки, справа, в трёх метрах от них. Он не стрелял. Он сделал два шага, на втором подсел под ствол крайнего — не отбивая ствол, а уходя под линию, — и снизу вверх взял его за локоть левой рукой и потянул на себя, разворачивая. Крайний развернулся спиной к своим, и следующие полсекунды четверо не могли стрелять вообще. Клинок вошёл ему под руку, там, где нагрудник кончается и начинается ткань, и Дед вынул его вместе с шагом, уже переступая дальше.

Второго Дед не трогал. Второго взял Игорь от лифтов, одним выстрелом, в тот момент, когда тот повернул голову на движение справа.

Третий сделал единственное, чему его точно учили: ушёл за колонну. Он прижался к ней спиной, выставил автомат за угол

на вытянутых руках и начал сыпать длинными, зажмурившись, и его пули ушли в стеклянную стену и в пустой холл, и ни одна не ушла туда, где кто-то был.

Рейн ждал не его, а магазин. Он отсчитал по звуку — очередь, короткий провал, очередь, — и на втором провале выстрелил не в колонну, а в человека: тот при перезарядке всегда выходит на ладонь из-за укрытия, потому что локоть не помещается. Ладонь была вся, которая понадобилась.

Четвёртый и старший отходили вместе, спиной, и старший всё ещё говорил что-то в плечо, в микрофон, которого никто не слушал. Ада погасила им половину света в холле — просто щёлкнула по своему деку, и три ряда потолочных ламп над центром погасли, — и они оказались на свету, а группа в темноте. До угла старшему оставалось четыре шага, и он их не прошёл.

Потом стало слышно, как с потолка досыпается на плитку белая труха — редко, по щепотке, из дыры, оставленной первым и единственным выстрелом старшего.

Серёга опустил щит. Кромка щита стукнула о плитку второй раз.

Всё это заняло минуту.

После неё Рейн сидел на полу — целый, без единой царапины, — и слушал, как в ушах уходит звон. Чаем больше не пахло. Пахло горелой потолочной панелью: пластик наверху прихватило, и он не горел, а тлел, и этот запах теперь был на первом этаже вместо всего остального.

Никто ему ничего не сказал, и это было хуже всего.

Подойдя, Арслан присел на корточки рядом.

— Откуда, — сказал он. Не спросил.

— Посчитал, — сказал Рейн.

Это была правда, и поэтому звучало хуже любой лжи.

— Тревога в ноль восемь, — сказал он всё-таки. — У них норматив четыре минуты. Сейчас четырнадцать. Идти им сюда или грузовым, грузовой узкий, значит сюда. Угол тут один, слева. Первым пойдёт старший, потому что не успел никому ничего объяснить.

Он замолчал. Каждый шаг по отдельности мог посчитать любой в этой комнате.

Только считать надо было три секунды, а не полторы минуты. И не до пятерых из-за угла, а до конца — до той панели, которая осыплется белой трухой.

Арслан смотрел на него.

— Я тоже считаю, — сказал он наконец.

— Я знаю.

— Я так не умею.

Он ждал, что будет смех. Смеха не было, и это оказалось хуже.

— Наверх, — сказал Арслан, поднимаясь. — Все наверх. Второй этаж, логистика.

Он прошёл мимо стойки, у которой лежал связанный Слава, и, не останавливаясь, бросил через плечо:

— И запомните все. Работы больше нет.

Группа встала.

— В смысле нет? — сказал Юра.

Он спросил это первым, и спросил не про деньги. Он спросил тем голосом, каким спрашивают «а сколько теперь», и рука у

него уже пошла к карману, к лишнему заряду, — не потому, что он собрался что-то подрывать, а потому, что за семь лет привык проверять, на месте ли то, чем можно исправить.

— В прямом. Контейнер разбит, содержимое вытекло, заказ не выполнен. — Арслан говорил ровно, не оборачиваясь. — Аванс у вас на руках, его не отбирают. Остального не будет.

— То есть мы сейчас просто...

— Мы сейчас просто выходим, — сказал Арслан. — Через крышу. И всё, что мы будем делать ближайшие три часа, мы будем делать бесплатно.

Он остановился и обернулся.

— Кому от этого стало легче?

Никто не ответил, и это было правильно, потому что легче стало всем: пока есть заказ, люди делают глупости. Когда заказа нет, люди просто идут домой.

Только домой было вверх.

И уже на ходу, не оборачиваясь:

— Стрелок. Если ещё раз узнаешь что-нибудь — ори сразу.

Долг

За двое суток до.

Утро в Нижних шлюзах начиналось с воды.

В шесть по трубам шло давление, и весь дом просыпался от одного звука: шипения, стука и общего скрипа, с которым восемьдесят человек одновременно открывали краны. Вода шла двадцать минут. Кто проспал, тот сегодня не мылся.

Рейн не спал. Он лежал на матрасе в своей капсуле — два метра на метр двадцать, с полкой над головой и вентиляционной решёткой в ногах — и смотрел, как по потолку ползёт свет от рекламы напротив. Реклама была старая, с битым пикселем в левом углу. Она предлагала кредит.

«Ты не спал», — сказала Лира.

«Спал».

«У тебя пульс всю ночь был семьдесят два. У спящих пятьдесят».

«Значит, я спал беспокойно».

«Значит, ты лежал с закрытыми глазами восемь часов, — сказала Лира. — Это называется по-другому. Я не помню как, но по-другому».

Встав, он упёрся в полку левой, и левая щёлкнула в запястье — коротко, сухо, как щёлкает дешёвый замок. В капсуле было холодно, а на холоде она щёлкала чаще. Он подождал, пока сочленение прогреется само, и только потом взял канистру и пошёл в общий коридор занимать очередь.

Под ногами в коридоре был крашенный бетон, и краску с него содрали до серого ровно по середине, по линии, по которой восемьдесят человек ходили за водой десять лет.

Мелководье просыпалось этажами.

Нижние шлюзы стояли у самой воды, в старом портовом районе, где когда-то были склады и разделочные цеха; когда море начало умирать, цеха закрылись, а люди остались, потому что уходить было некуда и не на что. Теперь тут жили в перестроенных холодильниках: длинные бетонные коробки, внутри — соты капсул в четыре яруса, общие коридоры, общая вода, общий запах.

Пахло всегда одинаково — сыростью, хлоркой и морем, а море пахло сладко и гнилью, и этот запах был первым, что человек здесь узнавал, и последним, что забывал.

Рейн отстоял очередь, набрал двенадцать литров и понёс наверх. По дороге поздоровался с соседкой — старухой с четвёртого яруса, державшей на подоконнике четыре ящика с водорослями и сдававшей их перекупу. Старуха кивнула и не ответила, потому что несла воду и берегла дыхание.

Стоявший у выхода на улицу парень лет шестнадцати предлагал «короткие».^[1] Он стоял там каждый день, с планшетом и подписью «Медного дома» в кармане.

— Тепла не надо? — сказал он Рейну.

— Не надо.

— До пятницы, — сказал парень. — Всего сорок сверху.

— У меня уже есть, — сказал Рейн.

Парень пожал плечами. Он не расстроился: кто-нибудь возьмёт. Кто-нибудь всегда берёт.

В девять он был на бирже.

Биржа наёмников в Консервном называлась биржей условно: это была площадь между двумя складами, с навесом от дождя и тремя терминалами, на которых висели заказы, и под этим навесом стояло человек сорок — курили, пили из термосов, читали экраны. Все друг друга знали в лицо и почти никто по имени.

Под навесом было на два градуса теплее, чем снаружи, и пахло мокрой тканью и табаком. Дождь с края навеса шёл не каплями, а одной сплошной нитью в одном и том же месте, где прогнулся жёлоб, и под этой нитью в асфальте была выбита ямка с чёрной водой. Её все обходили не глядя.

У входа под навес стоял столик, и за столиком сидела женщина с портативным анализатором.

Это было новое — раньше кровь брали только под конкретный заказ, а с зимы стали на входе.

— Чистый? — сказала она, не поднимая головы.

— Чистый.

— Палец.

Рейн дал палец. Игла щёлкнула, полоска на экране позеленела, женщина поставила отметку в списке и потеряла к нему интерес.

Следом подошёл парень лет тридцати, широкий, с плохо сросшимся плечом, и протянул руку без разговоров. Полоска мигнула жёлтым.

— В правый список, — сказала женщина.

— Да я знаю, — сказал парень.

Он отошёл к правому терминалу, где висели другие заказы: вредность, глубина затопления, работа в тумане без ограничения по времени. Платили там больше. Жили там меньше.

Серия у него была или мозаика, по нему было не понять, и никто не спрашивал: в правом списке это не имеет значения.

Заказы были плохие.

Охрана склада, ночь, 700. Сопровождение груза, 1200, при себе ствол. Выбить долг, 2500, адрес по факту.

Рейн стоял и смотрел на строчки и считал. Считал он всегда одно и то же, и цифры знал наизусть.

Сорок семь тысяч основного долга.^[2] Тысяча четыреста сверху каждый месяц. Он не платил четыре месяца, потому что четыре месяца назад заказы кончились, а есть не перестало хотеться.

Три тысячи в месяц — это его жизнь: капсула, вода, паёк, фильтры для респиратора, и если брать всё подряд и ничего не тратить, он закроет долг за полтора года. Полтора года без болезней, без простоев и без единого промаха.

Ему было тридцать четыре, и он умел считать.

На доске висело девять строк, и семь из них были вчерашние.

Охрана склада, сутки — 600. Свой ствол. Сопровождение груза, Шестой причал — Сортировка — 1400. Двое. Оружие не нужно, нужен вид. Разбор завала, Линии В — 600/смена. Респиратор свой. Оплата по факту вывоза. Ищу стрелка, одна ночь, объект не называю — 20 аванс, 45 по факту. (строка без имени, без контакта, только номер)

Под последней кто-то приписал карандашом: «за такие деньги там не склад».

Приписку не стёрли. На бирже приписки не трут — их читают.

— Смотришь? — сказал Серёга, подходя. Он поправил ремень.
— Я тут с семи. Ничего нет.

Он молча подвинулся вбок, освобождая Рейну место перед экраном, хотя места и так хватало. В руке у него была лепёшка из пайкового теста; он разломил её пополам, половину сунул обратно в карман — там ждал кто-то помладше, и это знали все, — а вторую начал есть.

— Вижу.

— «Гарпун» всё выгреб. Они теперь оптом берут: смену набирают на месяц, платят вперёд, а мы тут стоим.

— Иди в «Гарпун».

— В какой? — сказал Серёга. — В «Гарпун» на стойку — это девять тысяч в месяц и телефон в руке. За это тебя посадят у входа и забудут, а если ночью придут — страховка заплатит и к утру наберут нового. Их там три тысячи человек на двести объектов, Рейн. На каждый этаж хорошего не поставишь. Там не жадничают, там просто делят три тысячи на двести.

— А в смену?

— В смену не возьмут, — сказал Серёга спокойно. — У меня яма в биографии. Три года. Они это видят и не берут, им чистые нужны.

Серёга подтянул ремень, который не жал, и отпустил обратно.

— А может, и хорошо, что не берут. Там контракт на нагруднике вместо фамилии. Вот тех и правда жалеют: сторож —

это строка расхода, а смену списывать дорожке, чем похоронить.

В одиннадцать Рейн пошёл в «Медный дом».

Отделение на Консервном было маленькое, тёплое и очень чистое — единственное чистое помещение в радиусе километра. Латунные ручки, дерево, запах кофе. Под ногами лежал ковёр, и на нём у самого порога стояла решётка для обуви, вычищенная так, что было видно: её чистят каждый день, и каждый день есть кому. Шаги здесь пропадали, и от этого казалось, что говоришь громче, чем надо. За стойкой сидели вежливые люди, которые никогда не повышали голос.

Симон Кац принял его без очереди.

Он был невысокий, аккуратный, в жилете, с ювелирной лупой на шнурке, и всегда смотрел на человека так, как смотрят на вещь, которую, может быть, возьмут. Может быть. Он подумает до завтра.

— Рейн, — сказал он. — Четыре месяца.

— Я знаю.

— Я тоже знаю. — Кац открыл папку. Бумажную: в «Медном доме» долги вели на бумаге, потому что бумага не ломается. — Я не буду вам говорить, что будет дальше. Вы взрослый человек.

— Скажите.

— Зачем?

— Хочу услышать вслух, — сказал Рейн.

Кац поднял лупу на шнурке, подышал на стекло, протёр краем жилета и опустил обратно на грудь. В лупу он за весь разговор так ни разу и не посмотрел.

Он посмотрел на него внимательно и сказал вслух.

— Через два месяца мы продаём ваш долг. Покупает «Кюри», потому что залог — импланты. Глаз и порт. Они вас приглашают в клинику, вежливо. Изымают, ставят взамен своё, серийное, оранжевое, и вы выходите оттуда живой, зрячий и без работы, потому что стрелок без прицельного глаза — это грузчик.

Он закрыл папку.

— Дальше вы берёте «короткие», чтобы есть. Это ещё месяцев на восемь. Потом ваш долг покупает «Чистая вода», и я вас больше...

Договаривать было незачем. «Чистую воду» в городе узнают по бледно-зелёным фургонам без окон и по тому, что после них на лестнице неделю стоит хлорка. К живым они не ездят.

— Спасибо, — сказал Рейн.

— Не за что, — сказал Кац. — Вы спросили.

Он вышел и постоял под навесом, глядя на дождь.

Странное дело: ему стало легче. Всю жизнь он крутил в голове варианты, придумывал ходы, считал, как надо было сказать и как надо было сделать, — а сейчас вариантов не оказалось вовсе, и в этом была какая-то тишина.

«Ты в порядке?» — спросила Лира.

«Да».

«У тебя пульс пятьдесят восемь. У тебя всегда девяносто, когда мы у этого человека».

«Я в порядке».

«Хорошо, — сказала Лира. — Тогда я тебе кое-что скажу, и ты не злишь. Тебе нужен один большой заказ. Не десять маленьких.

Один».

«Я знаю».

«Большие заказы плохо кончаются».

«Я знаю», — сказал Рейн.

Днём он ездил смотреть девушку.

Это тоже была его привычка, вроде ремня у Серёги, только дороже. Раз в несколько месяцев кто-нибудь писал ему, что видел похожую: в приюте, в семье, на рынке, в бригаде мусорщиков. Он платил за информацию — от двухсот до полутора тысяч, смотря кто говорил, — и ехал.

Первые годы он ездил смотреть детей. Потом однажды посчитал, сколько ей теперь, и стал ездить смотреть девушек, и от этого стало хуже: ребёнка он бы узнал, а взрослую женщину с тем же носом — уже нет.

Он ездил девять лет. Он знал заранее, что это не она. Он всё равно ехал, потому что не поехать значило решить, что можно не ехать.

В этот раз это был Консервный, третий квартал, семья переработчиков. Девушке было лет двадцать, она сидела на ступеньках и чинила фильтр, и у неё были тёмные волосы и круглое лицо, и она подняла голову, когда он подошёл.

Он смотрел на неё секунд пять.

Потом сказал:

— Извини. Обознался.

— Бывает, — сказала девушка и снова занялась фильтром.

Он шёл обратно к остановке и всю дорогу пытался понять, что именно он проверял. Он помнил, как выглядела сестра в одиннадцать лет. Он помнил рост, коленку, солнце с ресницами и то, что она смеялась носом. По этому нельзя узнать двадцатилетнюю. По этому вообще ничего нельзя.

Он это понимал ровно до следующего раза.

Вечером он лежал на лежаке.

Лежак стоил восемьдесят в сутки — койка, одеяло, номерок на щиколотку и обещание, что за твоим телом присмотрят, пока тебя нет. В зале было сорок коек, и на тридцати из них лежали люди, находившиеся в эту минуту где-то в другом месте.

Рейн нырял редко и ненадолго, потому что тариф.

У него был свой затон — маленький, дешёвый, на самом мелководье: комната с окном, за окном море. Море было неправильное: синее, с барашками, шумное. Он видел такое только в чужих затонах и в рекламе, поэтому его собственное море получилось как из рекламы.

Он посидел там минут двадцать.

Раз в минуту поперёк моря проплывала строка о том, что кредит одобряют за минуту, — это было условием тарифа, и отключить её было нельзя.

Он вышел, отлежался, отдал номерок и пошёл есть.

Потом он сидел в закуской у воды и ел белковую массу с водорослями.

Закусочная была хорошая: там не разбавляли чай и пускали сидеть, если ты взял хоть что-нибудь. За стойкой работал телевизор, и в телевизоре шёл выпуск новостей.

Сначала — про биржу: индекс хомарина вырос на шесть процентов, потому что «Ковш» объявил о сокращении добычи.

Потом — про воду: ещё два квартала Нижних шлюзов переводят на подвоз, потому что напор не держит.

Потом — сюжет про Вечных.

Показали человека в костюме: спасатель городской службы, с медалью, лет на вид сорок, лицо приятное и усталое. Диктор рассказывал, что он двенадцать раз входил в зону отравления без снаряжения и вытащил девятнадцать человек. Человек в костюме говорил, что ничего особенного не делал и что на его месте так поступил бы каждый.

За соседним столиком хмыкнули.

— Двенадцать раз без снаряжения, — сказал кто-то. — А паёк у него какой, не сказали?

— Не сказали.

— Вот и я о том. Ты покажи мне человека, который двенадцать раз входит без маски, и я тебе скажу, сколько он ест. А они медаль показывают.

— Так и хорошо. Пусть ходит.

— Да пусть ходит, я разве что. Я про то, что он там не геройствует, он там работает. Ему выйти нельзя. У него графика на сорок лет вперёд, и все эти сорок лет он будет вытаскивать девятнадцать человек, потому что иначе ему не выпишут.

Третий, до того молчавший, сказал:

— Ему выпишут. Ему-то как раз выпишут.

И на этом разговор кончился, потому что в телевизоре пошла реклама.

«Бессмертие. В рассрочку. Для тех, кому повезёт».

В Мелководье их называли по-разному, в зависимости от того, кто говорил и сколько выпил. Вечные — это было вежливо, почти официально. Синие — по губам. Мокрые — потому что доза, потому что море. Небесники — потому что жрут небо. Сотня — потому что их сотня на весь город. Долгие. Неумирашки. Клиенты. Никогда-не-кончатся. А в Нижних шлюзах, где не любили длинных слов, их звали просто: «эти».

— На его месте, — сказал мужик с той стороны прохода, не отрываясь от тарелки. — На его месте. Ему сорок миллионов в венах налили, а он...

— Ему не наливали, — перебил второй. — Он свою взял с боя, я слышал.

— Значит, тем более.

Рейн доел и посмотрел в окно.

Там, за жирной водой, за нефтяной плёнкой и мёртвыми кранами, стоял Стекло: башни в подсветке, чистые, как аквариум. Отсюда до них было четыре километра и целая жизнь.

Он подумал, что в этом городе всего сотня бессмертных, и почти никого из них никто не видел. Тех, кого показывают по телевизору, можно пересчитать по пальцам. Остальные не показываются, потому что мёртвый Вечный стоит дороже квартала, а живой — всего лишь очень много.

Он подумал об этом равнодушно, как думают о погоде на другом континенте.

Дома он достал из-под матраса коробку.

В коробке лежало всё, что у него осталось от той жизни: свидетельство о рождении на двоих, выцветшая пластиковая карточка с талонами на питание, ключ от квартиры, которой давно нет, и один рисунок.

Рисунок был плохой. Дом, три человечка, синяя загогулина — вода, — и в правом верхнем углу солнце. С ресницами.

Он смотрел на него минуты две.

Потом убрал коробку обратно под матрас и лёг, и лежал с закрытыми глазами, и пульс у него был семьдесят два.

В полночь пришло сообщение от Арслана.

Работа. Большая. Завтра в десять вечера у складов. Возьми всё.

Рейн прочитал это дважды.

«Не бери», — сказала Лира.

«Ты же не знаешь, что это».

«Я знаю, что ты сегодня узнал у Каца, — сказала Лира. — И знаю, как ты считаешь. Ты уже согласился».

Он лежал и смотрел в потолок, по которому полз свет от рекламы с битым пикселем.

«Я подумаю до утра», — сказал он.

Он думал ровно до того момента, как выключил свет, и ответил «буду» в двенадцать сорок.

Смена

23:20. Двенадцатый этаж, дежурное помещение «Гарпуна».

Смену подняли в двадцать три ноль восемь, и Бек в этот момент спал.

Он спал в креслах, сдвинутых в ряд, потому что до конца дежурства оставалось сорок минут, а в сорок минут уже ничего не случается: так ему сказали в первую смену, и во вторую подтвердили.

Это была его третья смена в жизни.

— Подъём, — сказал Ким. Не громко. Он никогда не говорил громко.

Стоял он всегда одинаково — вес на обеих ногах поровну, руки свободны, — как стоят люди, которые двадцать лет ждали, что придётся шагнуть в любую сторону без разгона.

Бек сел и сразу, ещё не проснувшись, проверил руку.

Он делал так каждый раз. Сжав кулак и разжав, посмотрел, как двигаются пальцы. Рука была матово-белая, бесшовная, чуть теплее его собственной кожи, и пальцы у неё были длиннее настоящих на пару миллиметров — фирменная черта, её узнавали через стол.

Пальцы двигались нормально.

Значит, платёж прошёл.

— Слушаем, — сказал Ким.

Их было двадцать два по смене, в помещении — восемь, остальные по постам. Люди вставали, застёгивались, разбирали шлемы, и всё это происходило без единого лишнего слова,

потому что за лишние слова на разборе вычитали.

— Прежде чем начнём, — сказал Ким, и все посмотрели на него, потому что перед делом он говорил редко. — Нас три тысячи на двести объектов. Внизу стоят те, кто дешевле, наверху — те, кто дороже. Это не потому что нижние хуже. Просто элиту на каждый этаж не поставишь, контора это посчитала до нас с вами. Так что не удивляйтесь, если у охранника на стойке дробовик, а у вас — ртуть. — Он постучал костяшкой по своему нагруднику, и звук вышел не тот, что от металла, а глухой, как по налитой воде. — Она течёт под пластинами, пока стоишь, и густеет в ту долю секунды, когда в тебя бьют. Оттого и тяжелее вдвое, и медленнее с места, зато нож насквозь не проходит. Наверх такую не выдают дешёвым — дорого лить и дорого возить.

Никто не спросил.

— На объекте посторонние, — сказал Ким. — Численность до пятнадцати. Вошли рассыпно, значит, профессионалы или считают себя такими. Первый этаж потерял, начальник смены не отвечает.

— Это контур, — сказал Ким. — Не наши, объектовая охрана, дешёвый комплект. Считать их потерей смысла нет: страховая уже в курсе, к утру там будут новые лица. А нам это стоило четыре минуты — пока дежурное звено выясняло, что вообще случилось внизу.

— Заказ? — спросил кто-то.

— Заказ у них на лабораторию. Работает по нам вторым номером: им нужен седьмой, мы просто на дороге.

Он обвёл их взглядом.

— И ещё. Десять минут назад объект переведён в режим санации.

Пауза стала другой.

— Это значит, что здание уже списано, — сказал Ким. — Это значит, что нам платят не за здание.

Он вызвал этажи по одному, коротко. Второй ответил сразу.

Третий — не сразу: сперва в динамике раздалось сухое покашливание, и только потом голос, прочистивший горло перед тем, как заговорить в микрофон.

— Третий на месте.

— Опять кашляешь, — сказал кто-то в помещении, не со зла, скорее по привычке.

— Кондиционер, — ответил голос из динамика. — Третий год в серверной, и он всё тот же.

Ким на это ничего не сказал и вызвал следующий этаж.

Из восьми в помещении трое были мозоли.

Это было нормально: «Гарпун» их брал охотно, потому что мозоль выносливее и дешевле в страховке, а хром на нём держится так же, как на ком угодно, — с самого рождения тело у него доращивали и укрепляли по корпоративной программе, ровно настолько, чтобы держать смены и не судиться потом за вредность. В контракте это шло отдельной графой — «серия», — и надбавки за неё не полагалось.

Бек был чистый, и ему один раз намекнули, что это зря: чистых берут неохотно, у них хуже с вредностью и выше расценки по медицине.

Рута поймала Кима у стола ещё до подъёма смены, пока тот собирал планшет, и кивнула на Бека издалека.

— Третья смена в жизни, — сказала она тихо.

— Знаю, — сказал Ким, не глядя на неё. — Смена недоукомплектована с лета — я тогда перекупал на бирже больше, чем успевал доучить. Беру не готовых, беру тех, кто выдержит. Перекупать надо на месте и в ту же минуту, иначе уведут другие.

Рута промолчала и вернулась к сумке.

Он тогда спросил у Руты, правда ли это.

— Правда, — сказала она. — Зато ты можешь однажды купить дозу, а они нет. Тебе от этого легче?

— Ну... теоретически.

— Теоретически ты можешь купить дозу за сорок миллионов, — сказала Рута. — С зарплаты шесть тысяч. Считаю сам, я подожду.^[3]

Вошедшая с сумкой Рута с ходу начала раскладывать её на столе — привычно, не глядя, как раскладывают карты.

Ей было сорок, восьмой год на смене, и её знали все, потому что рано или поздно её видел каждый. Руки у неё были в мелких белых шрамах вдоль костяшек — не от боя, от иглы, которая срысывается, если дёрнуть руку не в ту секунду, — и ногти она стригла коротко, под самый край, чтобы не мешали перчатке.

— Так, — сказала она. — Напоминаю один раз. Кровь в перчатках не считается. Если у вас течёт и вы молчите, вы не герой, вы расход. Я вас потом штопаю, а вычет...

— Рут, ну не начинай.

— Начинаю. — Она щёлкнула замком. — Палец — четыре тысячи. Кисть — сорок. Локоть — восемьдесят, и это если чистый отрыв, а не каша. Плечо — двести. Глаз — тридцать, если не задет зрительный, и сто двадцать, если задет. Колено — шестьдесят. Лёгкое — сто десять. Селезёнку вам вообще не поставят, с ней живут так.

Закончив раскладывать, она подняла голову.

— И запомните главное: всё, что выше шеи, оплачивается по другой ведомости. Той, которую подписывает не наш отдел.

На соседнем листе, который она никому не показывала, тарифы были другие — вдвое ниже, для объектовой охраны на первом этаже. Она никогда не комментировала разницу и сейчас перевернула лист прежде, чем кто-то успел заглянуть.

— А что в той ведомости? — спросил Бек.

— В той ведомости, малыш, вас нет, — сказала Рута.

Бек стоял у стены и считал в уме.

Он считал всегда одно и то же и уже знал результат, но всё равно считал, потому что это успокаивало. Рука: сто двадцать тысяч в кредит, осталось выплатить восемьдесят шесть. Подписка: две тысячи в месяц, и её нельзя пропускать, иначе рука начинает тупеть — не ломается, а именно тупеет, медленно, вежливо, как будто ей становится всё равно.

Смена: шесть тысяч. Ночная надбавка: полторы. Боевая, если сегодня зачтут: ещё четыре.

Если зачтут — он закроет два месяца сразу.

— Бек, — сказал Ким.

— Я!

— Ты сейчас думал про руку.

Бек открыл рот и закрыл.

— Все думают про руку, — сказал Ким без всякого выражения.
— Это нормально. Просто не думай про неё, когда войдёшь в дверь.

Они шли вниз по лестнице, и Рута говорила Беку в спину, негромко:

— Ты в первый раз по живым?

— Да.

— Тогда слушай. Они будут не такие, как на стрельбище. Они будут дёргаться, орать, падать неправильно и не умирать с первого раза. Тебе покажется, что ты делаешь что-то не так.

— А я буду делать не так?

— Ты будешь делать ровно так, — сказала Рута. — Просто тебе так не покажется.

Она помолчала.

— И вот ещё. Если сегодня зачтут боевую — не бери сразу всё на руку. Отложи половину. Потому что второй месяц после первой боевой люди тратят очень быстро: рука наконец не дрожит, и деньги идут туда же, куда до этого шёл страх.

На восьмом Ким остановил колонну и вызвал диспетчера.

— Смена «к-девять». Подтвердите приоритет по санации.

Ответивший не сразу диспетчер говорил усталым и очень будничным голосом.

— Подтверждаю. Объект списан. Персонал эвакуируется. Вашей смене — оставаться.^[4]

— Основание?

— Отдельный договор на содержимое, — сказал диспетчер. — Пункт четыре. Содержимое приоритетнее объекта.

— Формулировку, — сказал Ким.

Вздыхнув, диспетчер зачитал.

— «В случае утраты целостности образца подрядчик обеспечивает локализацию, изъятие и возврат содержимого — вне зависимости от того, в каком носителе, ёмкости, объекте или лице содержимое находится на момент обнаружения».

Диспетчер откашлялся и больше ничего не сказал.

— Спасибо, — сказал Ким.

Отключившись, он посмотрел на своих.

— Слышали? — сказал он. — «В каком носителе, ёмкости, объекте или лице».

— Это как понимать? — спросил кто-то.

— Это понимать буквально, — сказал Ким. — Внизу разбили контейнер. Значит, содержимое куда-то делось. Значит, оно либо вытекло на пол, либо в ком-то ходит.

Он поправил ремень.

— И пока мы не убедились, что оно на полу, мы работаем так, будто оно ходит.

Двинулись вниз.

Бек шёл предпоследним, и его догнала простая мысль, от которой стало нехорошо: если содержимое ходит, то забирать его придётся оттуда, где оно ходит.

Он посмотрел на свою белую руку.

Сжал. Разжал.

Пальцы двигались нормально.

Порча имущества

«Гарпун». Дежурная комната, вечер той же ночи, до вызова.

Дежурная комната была тесная, с одним столом на всех и лампой над ним, которая жужжала на выдохе, — остальной свет давали два узких окна под потолком, уже тёмных к вечеру. На столе лежали бланки, стопкой, придавленные степлером, чтобы не разлетались от сквозняка.

Спор начался со страховой бумажки, которую надо было подписать четверым.

Четвёртого звали Кир, и он был левша с чужой левой — кисть у неё была на полтона светлее его собственной кожи, и он давно перестал закатывать рукав, чтобы не видеть шва на запястье.

— Тут написано «повреждение имущества оператора», — сказал Кир. — Это про руку?

— Про руку.

— Тогда я не подписываю. Если это порча имущества, виноват тот, кто испортил. А если ранение — тот, кто стрелял.

— Это одно лицо.

— Это разные статьи.

В разговор вошёл тихий, по прозвищу Столб, говоривший за смену обычно фраз пять.

— Не разные, — сказал Столб. — Я подавал. Два года назад.

Все обернулись.

— Если это твоё тело, идёшь по ранению, и платят тебе — четыре дня средней. Если имущество конторы, идёт порча, платит страховая, и платит конторе, а не тебе, но чинят сразу.

Мне починили за одиннадцать дней. По ранению я бы ждал очередь три месяца.

— То есть выгоднее быть имуществом?

— Выгоднее, — сказал Столб. — Поэтому я и не спорю.

Старшая смены, женщина по фамилии Гарь, дослушала, прочитала оба листа и положила обратно.

— Кир. Ты прав. Подписывай.

— В смысле?

— В прямом. Возразить тебе тут нечем. А через сорок минут выезд, и без четвёртой подписи страховая не закроет смену, и если сегодня кому-нибудь оторвёт что-нибудь, чинить будут по очереди три месяца.

Кир посидел ещё немного, глядя, как Столб — от окна, где сидел неподвижно всё это время, — стоит, чуть подавшись вперёд плечом, будто уже готов был встать, если понадобится. Потом Кир подписал — левой, казённой, и роспись вышла ровная, потому что казённая рука не дрожит никогда, и в этом её главное отличие от своей.

— Вот и всё, — сказала Гарь, убирая листы в папку. — Пока идёт спор, вы люди. Как только все подписали, вы имущество до конца смены. Так проще работать, и я не советую ломать это в середине выезда. Сломаете — начнёте думать, а думать надо было здесь.

Через сорок минут был выезд, а к ночи — их собственный объект, тот самый, где через несколько часов Ким будет расставлять людей в арсенале.

Из тех, кто сидел в тот вечер в дежурной, до утра дошли двое.

Через одиннадцать месяцев Кир уволился и подал в суд — не на контору, а на формулировку, — и суд шёл два года, и он его проиграл, и на это ушло всё, что он скопил.

На заседания он ходил один. Тот, кто обещал ходить с ним, к тому времени уже год как лежал в арсенале на десятом этаже.

Пять фраз

Вечер той же ночи. «Гарпун». Курилка у дежурной комнаты, до вызова.

Столба звали Столбом, потому что он мог час простоять у двери, не переступив с ноги на ногу, и никто в смене не помнил, было ли у него другое имя, — спрашивать было как-то не с руки, а в ведомости он значился по номеру контракта, как и остальные. Плечи у него были широкие и покатые, будто нарочно сделанные для того, чтобы что-то собой закрывать, а ладони — большие, с коротко срезанными ногтями, и он держал их обычно сцепленными перед собой, как человек, привыкший, что руки только мешают, если их не занять делом.

За смену он говорил в среднем фраз пять. Кир как-то посчитал, из скуки, за одну ночь: три «принял», одно «нет» и одно длинное — «дай прикурить» — которое было почти монологом по его меркам.

В этот вечер он сказал шесть.

Кир сидел рядом на ящике из-под турельных лент, левой рукой держал сигарету — той самой, чужой, приросшей, — и молчал про суд, про формулировку, про всё, что будет через одиннадцать месяцев и о чём он сейчас, конечно, ещё ничего не знал.

Он говорил про другое.

— Мне кажется, я себе жизнь испорчу этой рукой, — сказал он.
— Она то, что мне надо, и не моя. Как с этим жить-то вообще?

Столб молчал так долго, что Кир решил, что ответа не будет.

— Живут, — сказал Столб наконец.

— И всё?

— И всё.

Кир хмыкнул, стряхнул пепел и хотел уже сменить тему, когда Столб сказал ещё одно — уже без всякой связи с предыдущим, как будто додумывал что-то своё, к разговору отношения не имеющее.

— У меня тоже было. Кисть. Два года назад.

— И как?

— Отсудил ремонт. Формулировку не менял, — сказал Столб.
— Не стал спорить, как ты сейчас. Взял деньги, починил, работаю дальше.

— А если бы стал?

Столб пожал плечами — редкое для него движение, он вообще двигался мало, будто берёг движения на что-то другое.

— Тогда бы ты знал заранее, что проиграешь, — сказал он. — Я не знаю. Может, и выиграешь.

Это была шестая фраза за вечер, и Кир только потом, спустя очень много времени, поймёт, что она была не про суд.

Пока же он просто затушил окурок о край ящика и сказал то, что говорят в такие вечера, не рассчитывая, что это к чему-то обяжет:

— Если дойдёт до заседаний — придёшь? Одному там сидеть тошно, я слышал.

Столб посмотрел на него — не сразу, с той своей паузой, с которой смотрел на всё, — и кивнул один раз.

— Приду, — сказал он.

Больше в этот вечер он ничего не сказал.

Из дежурной вышла Рута с сумкой, окликнула обоих коротко — «через десять минут построение», — и Столб встал первым, и переступил через ленты, и пошёл к лестнице так же, как ходил всегда: ровно, без лишнего звука, будто заранее выбрал маршрут и не собирался с него сходить.

Кир докурил один и пошёл следом.

Он ещё не знал, что через пять часов будет стоять за перегородкой на десятом этаже, и что слово, которое Столб сказал ему на ящике из-под лент, окажется единственным обещанием за всю их совместную службу, которое Столб сдержит способом, какого Кир от него не ждал и никогда не узнает наверняка.

Ему скажут потом, что Столб просто был ближе к двери.

Это будет неправда только наполовину.

Ещё одни

За сутки до — и в ночь башни, 22:40 — 23:16. Набережная, насосная станция западного крыла.

Их было четверо, и они стояли не там, где тринадцать.

Тринадцать сидели в фургоне у эстакады, с той стороны, откуда башню видно целиком. Четверо стояли за насосной, у воды, где не видно ничего, кроме бетонного скоса и двух труб, уходящих в реку.

Старшего звали Захар. Ему было сорок семь, он двадцать лет ездил при инкассации на рынке, знал, как выглядит человек, решивший стрелять, за три шага до того, как тот решит, и на этом вышел в старшие.

Он посмотрел на часы и сказал:

— Двадцать две сорок. Ещё двадцать минут стоим.

— Зачем стоим? — спросил Кеша.

— Затем, что нам сказали.

Заказ им передали за сутки, и передавала его не женщина.

Женщину видел только Захар, один раз, в машине, и она не назвала себя, а сказала «не спрашивайте», и Захар не спросил, потому что за двадцать лет научился одному: те, кто хочет, чтобы их спросили, представляются сами.

Остальным трём заказ читал он, по бумажке, вслух, в гараже, и читал дословно — как читают то, за что придётся отчитываться.

— «Объект четвёртый на набережной. Задача: находиться внутри с двадцати трёх до четырёх. При выносе изделия из здания третьими лицами — принять изделие и обеспечить

доставку по адресу, который будет сообщен отдельно».

— Это как? — сказала Ната.

— Это так, — сказал Захар.

— «Принять» — это отобрать?

— Это принять.

Ната смотрела на него, пока он не поднял глаза.

— Захар, — сказала она. — Нас четверо. Если там кто-то выйдет с этим, их будет не четверо.

— Их будет тринадцать, — сказал Захар.

Он сказал это спокойно, и в гараже стало тихо, потому что каждый из трёх услышал одно и то же: он знал число заранее и до этой минуты его не говорил.

Он объяснил тогда же, и объяснил честно, потому что врать людям, с которыми идёшь под плиту, дороже, чем сказать всё как есть.

Заказчику нужны были не они. Заказчику нужна была страховка.

Одни идут внутрь, за вещью, и это дорого: тринадцать человек, аванс, снаряжение, договор с обходом биржи. Если они выйдут с вещью — вещь у них. И тогда нужны ещё четверо, стоящие снаружи-изнутри, рядом с единственной дверью, через которую понесут.

— Мы не группа, — сказал Захар. — Мы вторая половина одной мысли.

— А если они не выйдут? — сказал Пыж.

— Тогда мы заходим сами и смотрим, где лежит.

— А если оно вытекло?

Захар подумал.

— Тогда мы четверо встали ночью зря, — сказал он. — Мне это, если честно, больше всего нравится.

Платили им впятеро меньше, чем тринадцати, и это была самая точная цифра во всём заказе.

Тринадцать шли в лабораторию. Четверо шли стоять у двери. У двери платят меньше, и все четверо это знали и на цену не спорили, потому что цену у них давно никто не спрашивал.

Считали так.

Пыжу — пятьдесят два года, спина, двое взрослых сыновей, ни один не звонит, — хватало закрыть год по рассрочке за каркас. Каркас он купил три года назад, чтобы ходить, и платил за него с тех пор столько же, сколько за жильё, и ходил в нём на работу, чтобы платить за него.

Кеше — двадцать, первый выход, не считая двух складов, — хватало на взнос за учебу сестры. Он говорил это всем и каждый раз добавлял «она умная», и по тому, как добавлял, было ясно, что в семье это единственная вещь, которой гордятся вслух.

Нате — тридцать четыре, электрик по лицензии, вторая смена в депо, — хватало на восемь месяцев клиники матери. Она пересчитала четыре раза и знала, что восемь, а не девять: за девятый надо было ещё шестьсот.

Захару хватало ровно на то, что он никому не назвал.

Вошли они не в дверь.

Дверей у башни четыре, и все четыре к этому часу были под камерами, под охраной по контуру и под договором, в котором

написано, что за проход без пропуска отвечает тот, кто пропустил.

А была ещё насосная.

Насосная станция стояла отдельным домиком у воды и обслуживала не башню, а западное крыло — старый корпус, пристроенный к башне сбоку и сданный внаём под склад медицинского снабжения. В реестре крыло шло под своим номером, с дробью.

Хозяин у крыла был другой. Охрана у крыла была другая: двое, оба по совместительству, один спал.

Ната вскрыла насосную за две минуты, и вскрывала не замок, а петлю: замок был хороший, новый, а петля — старая, и болты в ней сидели в трухе.

— Готово, — сказала она.

— Быстро.

— Тут всё быстро, — сказала Ната. — Тут всё делали два раза: один раз хорошо, один раз как успели.

Внизу шёл тоннель.

Кабельный, полтора метра в высоту, с лотками по обеим стенам и с водой по щиколотку. Он шёл под дворами, поворачивал и через восемьдесят метров выводил в подполье западного крыла, откуда в башню вёл переход — обычная железная дверь, подпиёртая с той стороны поддоном, потому что её не запирали никогда: по ней носили воду, когда в крыле не шла вода.

Кеша шёл третьим и всё время оглядывался.

— Слышь, — сказал он. — А почему они сами так не зашли? Ну, те тринадцать.

— Потому что они не знают, — сказал Захар.

— Как не знают? Они месяц готовились.

— Они готовились по схеме, — сказал Захар. — А в схеме башни этого крыла нет, оно на другом номере и в другой папке. Я сам узнал случайно.

— От кого?

Захар шёл и не оборачивался.

— Я тут работал, — сказал он. — Полтора года. Возил сюда деньги на зарплату, два раза в месяц, четыре года назад. Носил по этому тоннелю, когда лил дождь и через двор было мокро.

Он пригнулся под лотком.

— Вот и весь я, — сказал он. — Вся моя ценность. Четыре года назад я носил тут сумку.

В двадцать три ноль четыре они вышли в подполье западного крыла и встали под лестницей.

Наверху, в башне, было тихо.

Потом, в двадцать три ноль восемь, сверху пришёл звук — далёкий, плоский, в четыре очереди, и следом ещё в две.

Пыж посмотрел вверх.

— Началось, — сказал он.

— Рано, — сказал Захар. — Мы стояли до двадцати трёх.

— Ну, у них свои часы.

Захар слушал ещё секунд двадцать. Стрельба не повторилась.

— Плохо, — сказал он.

— Почему плохо? Отстреляли и пошли.

— Потому что в вестибюле стреляли один раз, — сказал Захар.
— Один раз стреляют в того, кто не ждал. А кто не ждал в вестибюле в двадцать три ноль восемь, если у них смена на десятом и охрана по контуру?

Он посмотрел на своих троих.

— Свои, — сказал он. — Они кого-то своего там положили. И он, похоже, с грузом.

В двадцать три двенадцать здание закрылось.

Они не видели, как сомкнулись створки главного входа, — до вестибюля было четыре перекрытия и сто метров. Они слышали другое: по всему подполью, разом, пошёл длинный железный ход, будто под полом поехал поезд, и в трёх местах, один за другим, упали плиты.

Ната посветила вбок и увидела свою: серая, в палец, вышедшая из потолка и вошедшая в пол, с резиной по краю.

Она положила на неё ладонь.

— Тёплая, — сказала она.

— И что?

— Её только что двигали, — сказала Ната. — Значит, это не по нам. По нам столько железа не кладут.

Захар подошёл, посмотрел на плиту, потом на дверь перехода, которую они прошли минуту назад. Дверь была на месте, и поддон на месте.

— Наше крыло не закрыли, — сказал он.

— Почему?

— Потому что оно на другом номере, — сказал Захар медленно, потому что доходило до него самого. — У них авария в башне. Они закрывают башню. Крыло — не их, крыло они закрыть не могут, у них на него нет кнопки.

Он ещё постоял.

— Ната, — сказал он. — Запомни эту дверь. Не «посмотри» — запомни. Считай шаги от лестницы и запомни, за что там держаться в темноте, потому что свет нам никто держать не будет.

Ната пошла обратно и посчитала шаги, и их было двадцать шесть.

Потом объявили санацию.

Голос в западном крыле шёл из тех же динамиков, что и в башне, — крыло сидело на башенном оповещении, потому что своё ставить было дорого, и это был единственный случай за ночь, когда дробь в реестре ничего не значила.

Очень спокойный женский голос сказал про нарушение целостности, про процедуру и про то, что персоналу надлежит немедленно покинуть здание через аварийные выходы.

Кеша засмеялся.

— Так мы и покинем, — сказал он. — Мы прямо тут, у выхода.

Захар не смеялся.

Он считал, и считал он так, как считают люди, которым за счёт не платят.

Изделие вытекло в вестибюле — это он уже понял по одному выстрелу. Значит, заказа нет. Значит, тринадцать наверху сейчас

не несут ничего, и принимать у них нечего, и вся его группа со всеми её четырьмя долгами стоит в чужом подполье бесплатно.

Оставалось одно дело, и оно было не оплачено.

— Пойдём наверх, — сказал он.

— Зачем? — сказала Ната.

— Сказать им, что тут есть выход, — сказал Захар.

Он оглянулся на своих и увидел, что Кеша уже готов идти, а Пыж уже понял, во что это встанет.

— Их тринадцать, они не знают про крыло и они сейчас полезут на крышу, — сказал Захар. — Тринадцать этажей наверх.

— Они в нас выстрелят, — сказал Пыж.

— Скорее всего, — согласился Захар.

— И ты всё равно идёшь.

Захар подумал секунды три.

— Я четыре года носил тут сумку, — сказал он. — И за все четыре года ни разу никому ничего не сказал. Пошли.

Приоритет

22:58. Диспетчерская «Гарпуна», где-то в городе.

У неё было двести объектов и одна кружка чая, остывшего в девять вечера.

Доска перед ней не была доской в старом смысле — сорок один экран, сведённых в сетку, и на каждом камера или две, и цветная плашка сбоку: зелёный, если тихо, жёлтый, если что-то дёрнулось, красный, если объект сам сообщил о себе. Свет в комнате шёл только от экранов — верхний давно выключили, чтобы блики не резали глаза к концу смены, — и от этого лицо у неё всегда было снизу подсвечено синим, как у всех, кто досиживает вторую половину ночи. Из динамиков негромко шёл фоновый гул сорока одного канала разом: где-то щёлкал реле кондиционер, где-то скрипела дверь, где-то бубнил чужой телевизор, — и в этом гуле она различала посторонний звук раньше, чем видела картинку. Красных сейчас горело три. Один — склад на Сельдяном, где, судя по звуку, дрались из-за груза, который склад охранял. Второй — она уже закрыла, туда съездили и вернулись. Третий загорелся в двадцать два пятьдесят семь и не гас.

Она поставила кружку и придвинулась ближе.

— Есть кто на объекте? — сказала она в микрофон, не называя номер: номер она видела сама, называть его вслух смысла не было, разговор шёл не с человеком, а с постом.

Пост не ответил.

Она послала запрос ещё раз, длиннее — на пост первого этажа, потом на стойку. Стойка молчала три секунды и потом ответила голосом, который дрожал сильнее, чем позволял

протокол.

— У нас... тут вошли.

— Сколько?

— Не знаю. Несколько.

— Оружие видишь?

Молчание было ответом само по себе.

Она сделала то, чему её учили в первую неделю: не эскалировала сразу.

Правило было простое и записанное в открытом прејскуранте, том самом, который вешают в приёмной, чтобы клиент видел, за что платит. Первым идёт слой второй — дежурное звено, потому что оно ближе по деньгам к контуру, чем к верхним ярусам, и потому что в девяти случаях из десяти внизу — свои же залётные, воры, спор жильцов, а не то, ради чего держат людей Кима.

Она подняла трубку прямого канала.

— Звено три, приоритет, объект четырнадцать-двенадцать. Первый этаж, посторонние, численность не подтверждена.

— Приняли, — сказал голос с той стороны, короткий, без вопросов.

Она поставила время в журнале: 23:01. Норматив на сбор — четыре минуты, это стояло в контракте отдельной строкой, и она эту строку прочитала однажды целиком, из любопытства, и с тех пор помнила: «время реагирования дежурного звена не более четырёх минут с момента подтверждённого сигнала».

Подтверждённого. Сигнал только что стал подтверждённым.

В двадцать три двенадцать сработала изоляция.

Она увидела это раньше, чем прочитала: экран пятого этажа сначала мигнул, потом лёг в ровный серый прямоугольник — камера жива, но здание закрылось изнутри так, как закрывается контейнер, а не комната. Она нажала три клавиши подряд, проверяя, не отвал ли это связи, и получила три одинаковых ответа: связь есть, доступа нет.

Она прочитала это правильно с первого раза, потому что читала это не первый раз в жизни.

— Изоляция, — сказала она вслух, ни к кому. Рядом никого не было — смена у неё была одиночная, двести объектов на одного человека и резервный канал на случай, если она отойдёт в туалет.

Она достала папку, хотя знала формулировку почти наизусть, и всё равно нашла нужный пункт глазами, а не памятью, потому что если потом спросят — а спросят обязательно — она хотела ответить не «помню», а «прочитала».

Пункт четвёртый. Отдельный договор на содержимое. Содержимое приоритетнее объекта.

Она не стала будить смену «к-девять» сразу.

Ким спал — если это можно было назвать сном — сорок минут до конца дежурства, и поднимать его раньше времени значило платить за смену раньше времени: премия у верхнего слоя считалась по факту вызова, а не по факту готовности, и лишние сорок минут бодрствования без вызова были для конторы чистым расходом, который потом всплывёт в чьём-то отчёте с вопросом «зачем».

Она подождала звено.

Звено вышло на связь в 23:14, и голос был другим — не тем спокойным «приняли», а быстрым, сбивчивым, с фоновым шумом, который она за годы научилась узнавать без объяснений: это был звук, с которым говорят на бегу.

— Первый этаж потерян. Стойки нет. Не могу сказать, сколько их, — говорят.

Она прикинула. Прошло тринадцать минут с сигнала, и звено сумело сказать про численность ровно то же самое, что и стойка тремя минутами раньше: не знаем.

Это само по себе было ответом.

Она набрала прямой канал двенадцатого этажа.

— Смена «к-девять», — сказала она, и голос у неё сел на будничный тон, потому что будничный тон был единственным способом сказать это, не сорвавшись: — Подтвердите приоритет по санации.

Ким ответил не сразу — она слышала, как он там встаёт, как под ним скрипит кресло, сдвинутое в ряд с другими, — и спросил то, что спрашивал всегда, с той же интонацией, с какой другие люди спрашивают, который час.

— Основание?

Она зачитала пункт четвёртый и, дойдя до слов «в каком носителе, ёмкости, объекте или лице», слегка запнулась — не потому, что не знала формулировку, а потому что произносить её вслух, зная, что где-то внизу под этим объектом двигаются люди, было немного не то же самое, что читать её глазами.

Ким сказал «спасибо» и отключился первым.

Она поставила в журнале вторую отметку: 23:19, смена «к-девять» уведомлена. Между первой отметкой и этой прошло

восемнадцать минут, из которых четыре были нормативом, семь — звеном, которое честно пыталось разобраться и не смогло, и ещё семь — её собственным решением не дёргать верхний слой раньше срока.

Она подвинула красную плашку объекта четырнадцать-двенадцать в самый верх доски, где она теперь будет стоять до утра, и перевела взгляд на склад на Сельдяном, где всё ещё дрались из-за груза.

Там тоже был человек, которому нужен был ответ в течение минуты.

Кружка стояла у локтя с девяти вечера, и чай в ней давно перестал быть горячим, а потом перестал быть даже тёплым; она не грела его заново — за смену рук на это не выкраивалось, и остывший чай был такой же частью её стола, как планшет и красная плашка.

Она отхлебнула остывший чай и ответила.

Четыре минуты

23:01. Комната отдыха дежурного звена, соседнее здание.

Норматив звучал так: с момента подтверждённого сигнала до выезда — не более четырёх минут. Это было записано в прейскуранте открытым текстом, и клиент, подписывая договор, водил пальцем именно по этой строке чаще всего: она стоила дороже остальных и была единственной, которую можно было проверить секундомером.

Комната отдыха была вытянутая, без окон, с шестью койками вдоль стены и стойкой для снаряжения у двери: нагрудники висели на крюках номерами вниз, автоматы — стволами вверх, в держателях, обшитых потёртой резиной. Пахло машинным маслом и чужим потом, который не выветривался, потому что комната работала посменно и проветривать её было некогда.

Хмель — старший звена, тридцать шесть лет, из них двенадцать в конторе, — услышал вызов и посмотрел на часы раньше, чем на дверь. Лицо у него было из тех, что не запоминаются в лицо: ни шрама, ни особой черты, только глубокая складка между бровей, въевшаяся от многолетней привычки щуриться на табло с секундами.

— Пошли, — сказал он.

Пятеро вскочили одновременно, и это было красиво ровно две секунды, а на третьей стало ясно, что Свищ не в комнате: он курит на лестнице, потому что в помещении курить нельзя.

— Свищ! — крикнул Хмель в коридор.

Ответа не было.

Бронежилет надевается за девять секунд, если знать, куда девать руки, и за восемнадцать, если не знать. Штатный нагрудник у звена был тяжелее, чем у сторожей на стойке, и легче, чем ртуть верхнего яруса, — средний вес за средние деньги, двенадцать килограммов на плечи, три ремня, и последний, паховый, застёгивался с сухим двойным щелчком, по которому в темноте можно было пересчитать людей, не глядя. Автомат вместо дробовика, и учили их ездить на кражу, а не на то, что творилось внизу.

Хмель считал вслух, потому что так делал всегда: не потому, что верил в цифры больше, чем в людей, а потому что цифры не давали расслабиться раньше времени.

— Тридцать. Сорок. Минута.

К минуте четверо стояли у машины. Пятый бежал через двор, застёгивая жилет на бегу, и Хмель видел его в зеркале заднего вида и не стал ждать.

— Он не успеет, — сказал водитель.

— Значит, он в звене остаётся один, — сказал Хмель. — Заводи.

Машина тронулась на сто девяностой секунде.

Свищ догнал их у ворот — вцепился в поручень, когда машина уже набирала ход, и его втащили внутрь двое, а третий держал дверь. Это заняло ещё восемь секунд, и в звене потом никто не спорил, что эти восемь секунд Хмель ему запишет: не как повод для наказания, просто как факт, который ляжет в отчёт вместе с остальными фактами этой ночи.

— Двести восемь, — сказал Хмель, глянув на табло. — Уложились.

Никто не обрадовался. Радоваться нормативу — то же самое, что радоваться тому, что автобус подошёл вовремя: это работа системы, а не чья-то заслуга.

Объект встретил их тишиной, которая была хуже любого шума.

Стойка на первом этаже стояла пустая, и планшет на ней лежал экраном вниз, будто его уронили и не успели поднять. Дробовик — второй комплект, тот самый дешёвый, что выдают объектовой охране, — валялся у лестницы, не разряженный.

— Голос давай, — сказал Хмель охраннику по рации. — Кто на связи с первого?

Никто не ответил.

Они прошли контур за девяносто секунд и не нашли ни одного тела, ни одного живого, ничего, что можно было бы сосчитать. Это было хуже, чем найти. Мёртвого можно занести в отчёт. Пропавшего — нельзя, пока не найдут, а искать было некогда.

— Сколько их? — спросил Хмель у пустоты, и пустота, как обычно, не ответила.

Он передал наверх ровно то, что знал: первый этаж потерян, стойка пуста, численность не подтверждена. Он понимал, что это звучит бесполезно, и всё равно передал именно так, потому что придумывать цифру, которой не было, стоило бы дороже, чем признать, что цифры нет.

Диспетчер приняла доклад молча, и Хмель по этой тишине понял, что дальше подключат верхний слой, а его звено останется здесь — держать периметр для тех, кто спустится, если будет кому спускаться.

Через двадцать минут, когда стало ясно, что вниз никто спускаться не собирается, Свищ сел на ступеньку и снял шлем. Он был из тех, кто курит на морозе без перчаток, и пальцы у него всегда были чуть желтее, чем у остальных, — не от возраста, от табака, который жёг сильнее казённого.

— Я почти не успел, — сказал он.

— Ты успел, — сказал Хмель. — Восемь секунд роли не сыграли. Сыграло то, что мы не знали, с чем едем.

— А если бы сыграли?

Хмель посмотрел на пустой дробовик у лестницы, потом на своего человека, всё ещё не отдышавшегося.

— Тогда бы это стоило тебе смены, — сказал он. — Не жизни. Смены. Разница есть, и она в твою пользу.

Свищ промолчал.

Норматив был выполнен — двести восемь секунд, четыре минуты с запасом. Это войдёт в отчёт отдельной строкой, зелёным цветом, как показатель, по которому к звену претензий нет.

О том, что случилось после того, как норматив был выполнен, отчёт скажет другими словами и не сразу.

Вслух

Из жизни Юры, за семь лет до башни.

Считать вслух его научила мать, и научила не нарочно.

Она двадцать лет простояла в обменном киоске на Сортировке, в стеклянной будке метр на метр, где было холодно зимой и невыносимо летом, и всю жизнь пересчитывала сдачу вслух — тихо, себе под нос, не для клиента.

— Десять, двадцать, двадцать пять, двадцать семь. Двадцать семь, забирайте.

Юра сидел у неё в будке на табуретке, когда был маленький и его некуда было девать, и слушал это восемь часов подряд. К семи годам он знал наизусть, как звучит правильно посчитанная сумма. Она звучит ровно, без остановок в неположенных местах.

Один раз он спросил, зачем говорить, если можно просто отдать.

— Чтоб ты слышал, — сказала мать. — И чтоб он слышал. Если я посчитаю в голове и ошибусь, виноватая я. А если вслух и ошибусь — он поправит.

Это была вся её философия, и Юра пользовался ею потом всю жизнь, ни разу не вспомнив, откуда взял.

Подрывником он стал законно, по бумаге, и это надо подчеркнуть, потому что потом всё пошло иначе.

Была городская контора по сносу — обычная, скучная, с табелем и спецовками. Она валила то, что уже нельзя починить: старые насосные, водонапорные вышки, перекрытия на затопленных складах. Работа была нужная и небыстрая: три недели считаешь, полдня сверлишь, шесть секунд работаешь.

Юра пришёл туда в девятнадцать разнорабочим и через два года сдал на допуск.

Ему нравилось всё, и больше всего — то, что в этом деле нельзя соврать. Заряд либо посчитан, либо нет. Стена либо ляжет внутрь, либо наружу, и никакие объяснения после не имеют веса.

Он проработал одиннадцать лет и не испортил ни одного объекта.

Насосную на Втором отводе сносили в конце сухого месяца, и с самого начала всё было не так.

Не по-крупному. По мелочи.

Проект принесли на два дня позже. Схема была старая, с чужими правками карандашом. Один из отводов на схеме был обозначен закрытым, а на месте закрыт не был, и это выяснилось не сразу, а когда уже шло бурение. Старший по объекту, крепкий мужик по фамилии Рогов, сказал, что отвод неважен: он идёт вниз, а вниз мы не роняем.

— Я не про то, куда падает, — сказал Юра. — Я про то, куда уходит.

— Уходит в грунт.

— В грунт или в линию?

— Юр, — сказал Рогов, — у меня смена до шести.

Вот эта фраза и есть весь заказ. Всё остальное — подробности.

К половине пятого стояли заряды, и надо было ставить время.

Юра ставил всегда одинаково: сорок секунд на отход, проверка, потом счёт вслух от сорока и вниз, и на двадцати

последняя проверка глазами. Сорок секунд — это не норматив. Это его собственная привычка, потому что за сорок секунд человек успевает не только уйти, но и вернуться, если что-то забыл.

Рогов стоял рядом и смотрел на часы.

— Ставь четырнадцать.

— Четырнадцать мало.

— Четырнадцать хватит. Тут отход двенадцать метров по прямой, я мерил.

— По прямой. А Костя в приемке.

— Костя вылез.

Юра посмотрел в сторону приемка. Приемок был за отвалом, отсюда видно только край, и края хватало, чтобы понять: там никого нет.

Он поверил своим глазам и не поверил своему счёту, и вот в этом была ошибка, а не в цифре.

Он поставил четырнадцать.

Потом он тысячу раз разбирал эти четырнадцать секунд и каждый раз находил, что они всё равно были достаточны.

Четырнадцать — мало для порядка, но не мало для дела. Отход двенадцать метров, Рогов мерил правильно. Заряды встали ровно. Стена ушла внутрь, как считано, и не задела ничего из того, что нельзя было задеть.

Задело другое.

Кусок нижнего перекрытия, о котором в схеме не было ни слова, лёг на тот самый отвод — на открытый, — и раздавил его.

Отвод оказался не в грунт, а в линию, и линия была под давлением, и вода пошла вниз, потому что вниз она идёт всегда.

Затопило два уровня складского подвала на соседнем участке. Никого не убило. Никого даже не задело водой: подвал был пустой, в нём стояли поддоны с бумажной упаковкой, и упаковка размокла.

А Костя был в прямке.

Он туда спустился за минуту до, потому что уронил фонарь, и никому не сказал, потому что за фонарь вычитают. Его не завалило и не залило. Он просто сидел на дне бетонной коробки в четырёх метрах от заряда, без наушников, и когда ухнуло, у него лопнула перепонка на левом ухе.

Он вылез сам. Он даже сказал что-то, и по лицу было видно, что он не слышит, как сказал.

Дальше была бумага, и бумага была честная.

Юра пошёл и написал, как было: схема с правками, открытый отвод, четырнадцать секунд.

Рогов тоже написал. У Рогова было написано, что время ставит подрывник и несёт за него ответственность подрывник, и это абсолютная правда, и ни одного слова неправды в его объяснении не было.

Про «ставь четырнадцать» не было ни у кого, потому что сказано это было двум людям и в шум.

Комиссия сработала за девять дней. Допуск сняли. Ущерб по упаковке и по линии посчитали и предъявили конторе, а контора предъявила Юре ту его часть, которая по договору была его, — и это была сумма, которую он не мог даже как-то обсудить, потому что она была не наказанием, а простым итогом деления.

Он потом говорил, что самое обидное в этой истории не долг и не допуск.

Самое обидное — что размокшая упаковка стоила дороже уха.

К Косте он поехал на третий день, с деньгами, и денег было мало.

Костя сидел на кухне у сестры, с наклейкой за ухом, и повернулся правым боком, когда Юра заговорил. Этот поворот Юра запомнил лучше всего остального.

— Убери, — сказал Костя про деньги.

— Возьми.

— Я не глухой. Я на одно ухо.

— Кость.

— Убери, говорю. — Костя посмотрел в стол. — Ты знаешь, чего я боюсь? Что я через год привыкну и забуду, что было два. Вот этого боюсь. А деньги твои мне тут никак.

Он всё-таки взял — через полтора месяца, когда выяснилось, что протез внутреннего уха стоит как две таких суммы и что страховка не берёт травму, полученную в приемке, куда работник спустился без наряда.

С тех пор они не разговаривали. Не поссорились, а именно не разговаривали: один не мог смотреть, второй не мог слушать.

На биржу Юра пришёл через четыре месяца, когда стало понятно, что по специальности его больше нигде не возьмут, а долг идёт сам.

Первые полгода его брали на любую грязь: вскрыть, свалить, пробить. Он работал аккуратно и всё время говорил цифры вслух, и это раздражало, потому что в сборных группах

привыкли к тишине.

Один старший сказал ему прямо:

— Ты бы не бубнил. Нервирует.

— Тогда я не пойду, — сказал Юра.

— В смысле?

— В прямом. Я считаю вслух. Если я считаю в голове и ошибусь, виноватый я. А если вслух — вы поправите.

Старший подумал и сказал, что это, в общем, разумно, и всё равно раздражает.

Арслан взял его на третьем году, и разговор был короткий.

Арслан посмотрел бумаги, посмотрел на снятый допуск, ничего про него не спросил и спросил другое:

— Сколько у тебя с собой зарядов?

— По наряду один.

— А по правде?

— Два.

— Зачем второй?

— На всякий, — сказал Юра.

— Это не ответ. — Арслан не повысил голоса, он никогда не повышал. — Что за всякий?

Юра посчитал, стоит ли говорить, и сказал:

— На тот, когда меня будут торопить. Первый я поставлю как скажут. Второй — как надо.

Арслан посмотрел на него несколько секунд.

— Итого, — сказал он. — Второй за твой счёт. Контора лишний не выдаёт.

— Я знаю.

— Знаешь и таскаешь?

— Таскаю.

Арслан кивнул и оформил. Он потом сказал Деду одну фразу — не про Юру, а вообще: человек, который платит из своего кармана за то, чего у него никто не спросит, в бою не побежит.

Он ошибся в общем правиле и был прав в этом частном случае, и разницы так и не узнал.

В группе Юра был тем, кто говорит числа.

Это звучит мелко, но на деле оказалось главным из того, что он делал.

Он считал не заряды. Он считал всё: ступеньки на лестнице, секунды до поворота, людей в комнате, патроны в чужой очереди. Он делал это негромко, ровным голосом, не обращаясь ни к кому, и через полгода вся группа обнаружила, что ходит под этот голос, как ходят под метроном.

Тоха однажды спросил, зачем считать людей в комнате, если их и так видно.

— Видно четверых, — сказал Юра. — Я говорю «четыре». Ты слышишь «четыре» и смотришь, четверо ли. Если пятеро, ты скажешь.

— А если я не скажу?

— Тогда я умру пятым, — сказал Юра и хлопнул по карману.

Он делал это каждый раз, когда называл сам себя, и уже не замечал.

Жил он в комнате на Сортировке, четыре метра на три, с окном во двор и общей кухней на пятерых.

Мать жила отдельно, через два квартала, и киоска у неё уже не было — киоски убрали все, когда обмен перевели в сеть. Она получала городское, ходила по утрам к воде и до последнего считала сдачу в магазине вслух, хотя сдачи давно не было: расчёт был карточкой.

Юра приходил к ней по воскресеньям, приносил продукты и ел, а она за столом рассказывала про соседей и про то, как раньше считали на бумаге.

Один раз он принёс ей деньги за три месяца вперёд.

— Зачем вперёд?

— Чтоб не ходить каждый месяц.

— А ты не ходи, — сказала мать. — Ты приходи.

Он не нашёлся, что ответить, и стал приходиться по воскресеньям без денег, а деньги отдавал раз в три месяца, отдельно, в конверте, и это устроило обоих.

Комнату он оплачивал так же — вперёд, большими куском, чтобы не ходить.

Хозяйка, женщина с первого этажа, брала охотно и каждый раз говорила, что так никто не делает.

— Все платят месяц в месяц.

— Я не все.

— А если уедешь?

— Куда я уеду, — сказал Юра.

Долг за насосную он закрыл на шестом году, полностью, до последней сотни, и в тот вечер купил бутылку и не открыл её, потому что не с кем было, а один он не пил.

Бутылка стояла в комнате на подоконнике ещё год.

За неделю до башни он сидел с Адой в расчётной, ждали очередь, и Ада от скуки спросила, почему он не поставит себе таймерный модуль.

— Есть же. Ставишь время, оно само.

— Есть.

— И?

— И я его не хочу.

— Юр, это не суеверие, это просто удобно.

— Это удобно, — согласился Юра. — Только таймер считает молча. А я должен слышать, как считаю, и вы должны слышать. Вот и всё.

Ада тогда пожала плечами и записала это себе — не потому, что сочла важным, а потому, что записывала всё.

Она нашла эту запись через месяц после башни, в старом файле, и долго сидела над одной строкой: «Ю. — отказ от таймерного модуля, причина: хочет, чтобы слышали».

Она помнила разговор. Она не помнила, что ответила ему тогда.

Глава 2. Логистика

Странная штука: я помню, как умираю, но не помню, было ли больно.

Помню белый коридор. Помню, что думал в конце не про себя, а про то, чего не успел сказать.

Юра успел обернуться. Я это помню точно: он обернулся и посмотрел на меня. Помню, как понял: со мной случилось что-то, чего не случается.

Не помню, что было в кармане. Не помню, чем пахло.

Это кажется мелочью ровно до того дня, когда мелочей не останется.

Рейн, ночь на четверг, двадцать три сорок

Второй этаж. 23:40 — 00:00.

На второй они шли за респираторами.

Это придумала Ада ещё на лестнице: если нижние ярусы заливают пеной, а верхние горят, то через час-полтора дышать будет нечем нигде, а у них по полтора фильтра на человека и ни одного запасного.

— На складе логистики должны быть, — сказала она. — Это же снабжение. Там всё, что закупали для здания.

— С чего ты взяла?

— С того, что я видела накладные, пока лезла в их сеть, — сказала Ада. — Партия сорок тысяч штук, три месяца назад.

Арслан подумал секунд пять.

— Хорошо, — сказал он. — Пять минут. Берём и уходим.

Взяли они их за четыре.

Ушли через двенадцать. Со второго ушли не все.

Грузовой лифт не работал, и они пошли по пожарной лестнице.

Лестница была узкая, бетонная, с жёлтой полосой по краю ступеней, и на площадке между первым и вторым висел огнетушитель, просроченный на четыре года, и Юра, проходя, постучал по нему пальцем — как стучат по барометру.

— Пусто, — сказал он.

— Тебе-то что. Держи, не тяни на себя, я говорю, не тяни, — Серёга перехватил ящик другой рукой, и конец фразы ушёл в выдох. — ...Что пусто-то?

— Мне ничего. Просто пусто.

Он шёл вторым от конца и считал шёпотом: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом снова: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Каждую лестничную площадку заново.

Рейн знал, откуда это, и все знали: семь лет назад Юра ошибся с таймером на старом заказе и с тех пор считал вслух всё — секунды, ступеньки, людей в комнате. Ещё он таскал с собой один лишний заряд — всегда, на любую работу, даже когда подрывать было нечего. «На всякий», — говорил он и хлопал по карману.

— Юр, — сказал Тоба. — А чего до шести-то?

— А до сколько надо?

— Ну, до десяти. Все до десяти считают.

— Все считают до десяти, потому что пальцев десять, — сказал Юра серьёзно. — А у меня фитиль на шесть.

Тоха засмеялся и тут же спросил — он вообще спрашивал всё подряд, и это была его главная черта:

— А если неправильно посчитать?

— Тогда никак, — сказал Юра.

— Ну а правильно посчитать можно?

— Можно.

— Вот, — сказал Тоха с удовольствием. — Я так и думал.

Рейн обернулся. Парень сказал это не как шутку — как человек, у которого внутри всё сходится.

— Ты чему радуешься?

— Тому, что правильный способ есть, — сказал Тоха. — Всегда же есть, да? Просто надо найти. Меня отец так учил: если не получилось, значит, ты ещё не тот вариант пробовал.

— А если вариантов нет?

Тоха подумал секунды две — честно, как думают в девятнадцать.

— Так не бывает, — сказал он.

И пошёл дальше, а Рейн остался с этой фразой и нёс её потом всю ночь, до седьмого этажа, где она ему и понадобилась.

На площадке второго они постояли минуту, пока Ада слушала эфир.

— Тихо, — сказала она. — Совсем тихо. Ни постовых, ни диспетчера. Только техника переговаривается.

— Хорошо это или плохо? — спросил Тоха.

— Это дорого, — сказала Ада. — Молчащая охрана — это дорогая охрана. Дешёвая всё время болтает, ей страшно.

— Внизу болтали, — сказал Рейн. — Внизу за стойкой сидел человек с термोकружкой. Тут другой этаж и другие деньги.

Рейн стоял у неё за плечом и смотрел в дек, потому что смотреть больше было некуда.

На экране висела не схема здания, а схема питания — то, что она успела снять внизу, пока сидела у них в сети: голубые нитки линий, узлы, номера щитов. Второй этаж был нарисован простым прямоугольником, и по нему шли три нитки. Две по стенам, к розеткам и к светильникам, обычные, с гребёнкой отводов через каждые несколько метров.

Третья уходила от щита у входа в середину зала и там кончалась.

Не разветвлялась. Не поворачивала. Кончалась — коротким тупым концом посреди пустого прямоугольника, где по схеме не было ничего, кроме воздуха над проходом.

— Ада.

— М.

— Вот эта куда?

Ада посмотрела, куда он показывает, и пожала плечами.

— Никуда. Обрыв в чертеже. У них половина документации такая, они её сами не ведут. — Она мазнула пальцем, и линия пропала под другим слоем. — Мне сейчас важнее, где камеры.

Она свернула дек и вдруг сказала, ни к кому:

— Я на этот дрон полтора года копила. Сначала на корпус, потом на оптику, потом на управление. Знаете, сколько стоит ремонт двигателя? Как я за ме...

— Не потеряешь, — сказал Миша.

— Я знаю, — сказала Ада. — Я просто вслух говорю. Мне так спокойнее.

На площадке между этажами тянуло сыростью из вентиляции — тем самым запахом стоячей воды и мокрого бетона, — и Рейн вспомнил дамбу.

Они жили в двух кварталах от неё, и дамба была у них вместо двора: узкая бетонная полоса над жёлтой водой, с трубами по краю и с надписями по всей длине. Летом там сидели все, кому было нечего делать, то есть все.

Мать работала в смену двенадцать через двенадцать, и половину своей жизни он был за старшего. Это значило: разогреть, проверить уроки, не пускать на воду, вернуть домой до темноты.

Сестра не слушалась его ни в одном из четырёх пунктов.

Она садилась на самый край, свешивала ноги и рисовала — на чём придётся, обычно на обороте квитанций, которых у матери всегда было много. Рисовала она одно и то же: дом, три человечка, воду синей загогулиной и солнце.

— У солнца не бывает ресниц, — говорил он ей.

— У моего бывает.

— Солнце круглое.

— У меня такое, — говорила она и продолжала рисовать.

Он злился. Ему было двадцать пять, он уже ходил на биржу, и его страшно раздражало, что она не соглашается с очевидным.

Дверь на втором этаже была приоткрыта, и из щели тянуло картоном и холодом.

Рейн остановился на площадке.

В щель было видно немного: кусок серого пола, торец стеллажа и над ним — зелёная табличка «выход», подсвеченная изнутри. Табличка висела низко. Он поймал себя на том, что уже прикидывает: до притолоки — ладонь, до перекрытия быть не может меньше сорока.

И тут всё легло.

Он стоял, держась за холодный поручень, и считал, и считалось быстро, как считается только то, что уже лежало готовым и ждало последней цифры.

Потолок на втором опущен на сорок сантиметров против вестибюля. Сорок сантиметров — это подвес. Столько занимает подвес турели вместе с поворотным узлом, он видел такие, он их снимал, он знал, сколько они жрут высоты. Опускают потолок не ради красоты — ради того, что туда убрали.

Дальше — панель. Снимок склада встал перед глазами целиком, как встаёт дорога, по которой шёл один раз: серые квадраты в мелкую дырочку, пыль от картона по кромкам — и одна панель чище остальных. Её снимали и ставили обратно позже, чем клали весь потолок. Третья от входа по левой стороне. В гараже он на неё смотрел и ничего не подумал.

Дальше — линия питания. Голубая нитка в деке уходила от щита у входа в середину зала и кончалась ничем. Не бывает линии, которая кончается ничем. Бывает линия, которую тянули

к тому, чего в чертеже нет.

Он совместил.

Середина зала по чертежу и третья панель от входа — это одно и то же место.

Оставалось последнее, и оно было даже не расчётом, а памятью рук. У турелей этого класса подвес несимметричный: кабель и привод слева, поэтому в сложенном виде ствол лежит вправо, и при выходе она сначала доворачивает туда, куда ей легче, — вправо. На полсекунды раньше, чем в любую другую сторону.

Вправо — это вдоль центрального прохода.

— Стойте, — сказал он.

Группа остановилась. Не сразу. Сначала прошли ещё два шага, а потом остановились, и это было хуже, чем если бы не остановились вообще.

Арслан обернулся.

— Опять.

— Третий люк от входа, — сказал Рейн. — По левой стороне. Считать от двери. Там турель, она выходит вниз и разворачивается вправо. У неё сектор — весь центральный проход.

Звуки ушли.

— А в схеме нет турели, — сказала Настя своим ровным синтезированным голосом. В нём не было ни удивления, ни насмешки, и от этого фраза звучала как приговор.

— Значит, в схеме неправильно.

— Схема от заказчика, — сказал Арслан.

— Значит, заказчик не всё сказал.

Миша сказал вслух, ни к кому: «Одиннадцать здесь. Двое за плитой. Итого тринадцать, пока никого не потеряли» — и это была его манера, за которую его и любили и не любили: он проговаривал вещи до конца, даже когда все и так поняли.

Юра перестал считать. Катя очень внимательно смотрела в пол. Игорь снял оптику и протирал её рукавом, хотя протирать было нечего, и Рейн вдруг понял, что тот делает это, чтобы не смотреть ему в лицо.

— Ладно, — сказал Арслан. — Проверим.

Проверяли просто и некрасиво. Ада запустила дрона — тот прошёл под потолком, гудя, как большая муха, и на втором метре от третьего люка что-то щёлкнуло, люк раскрылся, и турель выехала вниз с коротким сухим щелчком и срезала дрона одной короткой очередью. Обломки посыпались на бетон.

Турель развернулась вправо. На весь центральный проход.

Никто ничего не сказал.

Ада очень аккуратно положила дек на пол, села рядом на корточки и обхватила голову руками. Потом выпрямилась.

— Это был «Стриж-12», — сказала она в пространство. — Я на него полтора года копила.

— Я тебе новый куплю, — сказал Дед.

— Да ты его в руках не удержишь.

— Значит, куплю и не удержу.

Турель сняли грамотно и скучно, и скучно оно было только потому, что всё сделали по очереди и никто никуда не полез.

Серёга вышел в проход первым и не пошёл, а встал: щит нижней кромкой на бетон, короткий пристук — упор есть, — и присел за него так, чтобы над кромкой оставались только глаза. Турель повернула на него. Она доворачивала медленно, с еле слышным шорохом привода, и всё это время смотрела ровно туда, куда её позвали, и никуда больше. В этом и был весь расчёт: у неё один сектор и одна цель зараз.

Пока она смотрела на щит, Игорь вышел из-за торца стеллажа с угла — оттуда, куда она не смотрела, — и стал не с руки, а с колена, положив локоть на нижнюю полку. Он сделал длинный пустой вдох и такой же выдох, без задержки, и выстрелил на выдохе. Первая пуля пошла в подвес, в тот самый несимметричный узел слева, где кабель и привод. Турель дёрнулась и продолжала доворачивать. Вторая пришла туда же, на палец выше, и привод перестал быть приводом: голова провисла стволом в пол и осталась висеть, покачиваясь на одном креплении.

Дед в это время стоял не с ними, а под самым люком, прижавшись к стеллажу, — там, куда она физически не могла опустить ствол. Он ничего не делал. Он просто был там на случай, если у неё окажется второй режим и она пойдёт вниз целиком.

Серёга поднялся и поправил ремень. Всё заняло секунд двадцать.

Тоха стоял у стены, там, где его поставили. Живой, целый, с круглым упрямым лицом. Он перекатывал за щекой сухую галету — за эту ночь он жевал не переставая, с самого фургона, — и всё оглядывался на люк, из которого свисало то, что осталось

от турели.

— Это же прямо тут, — сказал он. — Я бы прямо тут шёл.

— Угу, — сказал Рейн.

— Нет, ну я бы прямо вот тут шёл.

— Тоха.

— А.

— Иди дальше.

Парень пошёл — и через два шага обернулся:

— Слышь. А как ты?..

— Не знаю, — сказал Рейн.

Он сказал это честно, и от этого стало только хуже, потому что честность в такой ситуации звучит как враньё, которое даже не старается.

Дальше было плохо.

Не страшно — плохо. Никто не сказал ему ни слова. Группа просто перестроилась.

Раньше он шёл третьим, между Дедом и Катей. Теперь он обнаружил, что идёт четвёртым, и что впереди него Серёга, никогда прежде не ходивший впереди него, а сзади — пусто, потому что Игорь отстал на полкорпуса. Полкорпуса — это ничего. Полкорпуса — это всё.

«Они боятся», — сказала Лира.

«Я знаю».

«И ты сейчас скажешь, что всё равно сделал бы так же».

Он остановился на полшаге.

«Я ничего не говорил».

«Ты подумал».

«Я не успел подумать».

«Значит, собирался», — сказала Лира, и в голосе у неё не было ничего особенного, и она тут же перескочила на другое, и он не стал возвращаться.

«Ты сделал хорошее дело. Ты спас мальчика».

«Я знаю».

«Тогда почему у тебя пульс сто сорок?»

Он сделал вид, что проверяет подсумок. Потому что объяснить это было нельзя, а он привык объяснять всё, хотя бы себе. В группе есть вещи хуже трусости и хуже жадности. Например, человек, знающий то, чего знать не может. С трусом ясно, что делать. С таким — непонятно, и люди рядом с непонятым делают очень тихими и очень вежливыми.

Хуже всего было то, что он оказался прав. Если бы он ошибся, они бы поржали и всё бы кончилось.

Между стеллажами было холоднее, чем на лестнице, и весь этаж пах картоном — сухим, пыльным, слегка сладковатым, как пахнет склад, где коробки стоят дольше, чем их собирались держать. Под ногами скрипело: серая картонная пыль лежала ровным слоем, и на ней оставались следы, все свои, и было видно, кто куда прошёл и сколько раз.

Ада шла, читая на ходу бирки на торцах, и трогала пальцем каждый светящийся индикатор, мимо которого проходила.

— Слушай, — сказала она. — А почему нас ещё не закрыли?

— В смысле?

— В прямом. Мы на втором этаже. Начальник смены внизу мёртвый, тревога была, лифты в их руках. Я бы на их месте заварила лестницы и залила нам сюда пену. Тут даже кнопка есть, я её видела на первом. — Она мотнула головой назад. — Никто не нажал.

— Может, некому.

— Может, — сказала Ада. — А может, нас пускают.

Арслан слышал. Он не обернулся и ничего не сказал, и это было хуже любого ответа.

Стеллажи стояли в четыре ряда до самого потолка и были забиты одинаковыми серыми ящиками. Ада вскрыла один — там были респираторы. Второй — респираторы. Третий — тоже.

— Они закупились, — сказала она. — Сорок тысяч штук.

— Зачем лаборатории сорок тысяч респираторов? — спросил Тоха.

— Затем, что тут скоро будет нечем дышать, — сказал Дед.

— А почему тут скоро будет нечем дышать?

— А ты подумай.

Тоха подумал. Было видно, как он думает: губы шевелились.

— Ой, — сказал он.

Погрузочный мех вышел из-за дальнего стеллажа, когда до лифтового холла оставалось метров тридцать.

Он не был боевым. Это была обычная складская машина: четыре метра, две гидравлические клешни для поддонов, оператор в открытой кабине сверху, каска, оранжевый жилет

поверх брони. Жилет был складской, и каска складская, и в ведомости подрядчика этого человека не было вовсе: он был свой, заводской, и воевать его никто не нанимал. Мех не должен был воевать. Но у него были клешни, сминающие поддон в двести килограммов, и оператор, очень боявшийся и очень хотевший выслужиться.

Он пошёл прямо на них по центральному проходу, и стеллажи от его шагов начали ходить ходуном.

— В кабину! — крикнул Арслан.

Группа развалилась на две половины, как её учили: Серёга с щитом принял середину прохода и попятился, сокращая себе спину до стеллажа, Дед ушёл вправо между рядами, а Настя присела у стойки и начала глушить — не мех, у меха не было связи, а тот эфир, по которому оператор мог кого-нибудь позвать.

Мех шёл прямо, не сворачивая, потому что ему негде было сворачивать: проход был ровно на одну его ширину. Правая клешня висела раскрытой, левая шла впереди, как таран. На кабине сверху не было ничего — ни решётки, ни стекла: её не строили для того, чтобы в неё стреляли.

Игорь выстрелил. Попал в каску. Оператор мотнул головой, но не упал — каска была не простая, — и вслепую дёрнул рычаг, и левая клешня пошла в сторону и снесла стойку крайнего стеллажа.

Стеллаж качнулся.

И Рейн увидел, как это будет, за полсекунды до того.

Не помутнение. Не знание. Обычные его полсекунды — те самые, которых всю жизнь не хватало. Он увидел, как верхний

ряд ящиков идёт вбок, как весь ряд складывается на соседний, как соседний на следующий, и как последний ложится точно туда, где стоит Юра и кричит что-то про заряды.

— Юра! — заорал он.

Он заорал сразу. Не подбирал слова. Не думал, как это будет выглядеть. Он заорал так громко, как никогда в жизни, и Юра услышал и обернулся.

Обернулся не туда.

Грохот был долгий. Он шёл волнами, ряд за рядом, и в облаке серой пыли что-то ещё падало и ещё падало, и все отступали к стене, и Ада кричала, чтобы никто не лез, пока не осядет.

Мех накрыло тоже. Третий ряд лёг ему на кабину сверху, и он ещё несколько секунд работал: гидравлика шипела, правая клешня открывалась и закрывалась в пыли, без всякого смысла, сама по себе. Потом шипение стало тише и кончилось. Оранжевого жилета сверху видно не было.

Из завала, приглушённо, донёсся голос. Юра считал. Раз, два — и не как обычно, а медленно, с провалами.

— Он живой! — крикнул Тоха и полез.

Дед поймал его за шиворот и не пустил.

— Юра! — крикнул Рейн. — Не шевелись! Слышишь? Лежи!

— Лежу, — сказал завал.

Голос шёл снизу и сбоку, из-под второго ряда, и был на удивление обычный. Они начали разбирать сверху, вдвоём с Серёгой, руками, потому что рычагом тут было не подлезть. Через полторы минуты открылось плечо, потом лицо. Лицо было в серой пыли и совершенно спокойное.

Ниже груди шёл ящик, а под ящиком — стойка, легшая поперёк, и по тому, как она легла, было видно всё.

— Не дёргай, — сказал Юра. — Я ног не чувствую.

— Это придавило.

— Это не придавило. — Он сказал это без нажима, как поправляют в цифре. — Придавило — это больно. А я снизу вообще ничего. С поясницы и вниз.

Рейн полез за инъектором. Юра увидел и повёл глазами.

— Не трать.

— Он рабочий.

— Он рабочий, я знаю, я такой же ношу. — Юра облизнул губы, и на губах осталась серая полоса. — Он мне даст встать. Минут на десять даст. А потом я лягу, и уже вы будете меня поднимать.

Он помолчал и добавил, всё тем же ровным голосом человека, который всю жизнь считал вслух:

— Нас было тринадцать. Сейчас двенадцать. Наверх одиннадцать этажей. Меня нести — это двое под руки и один впереди, чтобы дверь. Трое из двенадцати. Считай сам.

— Посчитаю, когда вытащим.

— Ты уже посчитал, — сказал Юра. — Я по лицу вижу.

Он пошевелил правой рукой, свободной, и та поползла по пыли к карману. Рейн понял и не успел.

— Юр.

— Я семь лет его ношу, — сказал Юра. — Я его носил, чтобы не ошибиться. Я один раз ошибся с таймером и с тех пор считаю

вслух, и вы все это знаете, и никто ни разу не спросил, почему до шести.

— Ты сказал: фитиль на шесть.

— Я соврал. — Он усмехнулся, и от этого с губ осыпалась пыль.
— Фитиль у меня на сорок, я всегда ставил сорок. А шесть — это моё, и его я тебе не отдам.

Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы решить отдать другое.

— А вслух я считаю не затем, чтоб не ошибиться, — сказал он.
— Мать двадцать лет считала сдачу вслух, в киоске, себе под нос. Я спросил зачем. Она сказала: чтоб он слышал, и если я ошибусь, он поправит. Меня в тот раз никто не поправил. С тех пор и говорю вслух. Чтоб слышали.

Он посмотрел куда-то мимо, в потолок, на люк, из которого свисало то, что осталось от турели.

— Слышь, стрелок.

— Да.

— Ты сегодня два раза угадал.

— Я не угадывал.

— Тем более, — сказал Юра. — Тогда не молчи. Молчишь — и человек идёт куда шёл.

Он повернул голову к Тохе, который стоял в двух шагах и не понимал ещё ничего.

— А ты давай отсюда. Иди, иди. Нечего.

— Да я...

— Иди, — сказал Юра, и Дед взял парня за плечо и увёл.

Рейн остался. Он сидел на корточках у чужого лица в пыли и знал, что сейчас будет, и это было не помутнение, а просто знание, обыкновенное, каким живут все.

— Отойди метров на десять, — сказал Юра. — Там стойка держит, тебя не заденет, но ты отойди.

— Юра.

— Отойди, я говорю. — И, уже когда Рейн встал: — И это. Скажи потом, что я не паниковал.

Рейн отошёл на десять метров, как было сказано, потому что не сделать этого значило бы поспорить, а спорить было не о чем.

Из-под завала, ровно и негромко, считали: раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Потом ухнуло, глухо и коротко, изнутри.

Пыль качнулась.

— Сам, — сказал Дед.

Он сказал это спокойно и как-то очень устало, и в этой усталости было всё: и то, что он понял раньше всех, и то, что понимать тут было нечего.

Рейн отошёл к стеллажу и постоял, упершись лбом в стойку.

Он думал о простом.

Сегодня в вестибюле он уже один раз видел, как умирает, — видел подробно, до последней мысли, — и этого не случилось. Значит, можно ещё. Значит, надо как-то вызвать это снова, посмотреть на Юру заранее и крикнуть вовремя.

Он закрыл глаза и попробовал.

Ничего.

Он попробовал ещё раз, честно, как пробуют вспомнить слово: напрягся, задержал дыхание, стал думать про стеллаж и про то, как всё это было полминуты назад. В голове было пусто и шумно, как в цеху.

Оно приходило само. Оно приходило, когда хотело, и не приходило, когда он звал.

— Ты чего? — сказал Дед от завала.

— Ничего, — сказал Рейн.

Он потом много раз к этому возвращался и понял простую вещь: за весь вечер он ни разу не смог вызвать это нарочно. Оно являлось на порогах — перед дверью, перед поворотом, перед тем, как шагнуть, — и всегда чуть раньше, чем становилось нужно.

Как будто ему показывали не то, что он просит, а то, что считают нужным.

Они разбирали завал восемь минут, и Арслан всё это время смотрел на часы.

Достали. Положили на чистый бетон. Кто-то накрыл лицо курткой — не потому, что было страшно смотреть, а потому что так надо.

Ада присела рядом на корточки и вынула у него из-под ключицы модуль — плоскую пластину размером с зажигалку, с пятью контактами. Детонаторный. Позволяет подорвать одной кнопкой, без возни, без таймера.

Она подержала его на ладони и протянула Рейну.

— Не надо, — сказал Рейн.

— Надо, — сказала Ада. — У тебя слот свободный. У меня нет.

— Я не подрывник.

— Ты теперь подрывник, — сказала она и вложила пластину ему в ладонь. Пластина была тёплая.

Рейн стоял с ней в руке и думал, что вот эта штука ещё пятнадцать минут назад была частью человека, спорившего с Тохой про то, до сколько надо считать.

Он вставил её в порт под ключицей. Щёлкнуло. В глазу появилась новая строка, аккуратная, зелёная.

— Спасибо, Юр, — сказал он вслух.

Дед кивнул.

Потом Рейн сидел на ступеньке и первый раз за ночь попробовал сложить то, что с ним происходит.

Складывалось плохо, но три вещи он всё-таки понял — и они потом не изменились ни разу.

Первое: ничего не отматывается. Юра лежал под завалом и там и остался: мир не начинался заново, не давал второй попытки и вообще не заметил, что кто-то попробовал иначе.

Второе: показывают только у двери.

Он подумал и добавил к этому оговору, потому что она не сходилась.

В вестибюле ему показали всё разом: второй этаж, серверную, коридор с рисунком, колонны с омарами, старика в свитере, дым, вертолёт. Всю ночь, россыпью, без порядка.

Больше так не показывали ни разу — только по одному куску и только на пороге.

Объяснения у него не было. Была догадка, и она ему не нравилась: первый раз это делал не он. На ровном месте, посреди коридора, не приходило ничего — приходило там, где надо было решать: войти или нет, вправо или влево, сейчас или через секунду.

И третье, самое неприятное, — он тогда ещё не знал слова, но уже чувствовал место, откуда это берётся.

Он полез внутрь себя — как лезут в карман, проверяя, на месте ли ключи, — и обнаружил, что не помнит, как пахло в квартире, где он вырос.

Помнил слово «лук» и слово «известка». Помнил, что мать приходила со смены и мыла руки до локтя. А самого запаха на этом месте не было — ровное место, как закрашенная стена.

Респираторы разобрали молча.

Их было ровно столько, сколько говорила Ада: полный стеллаж, сорок тысяч штук в коробках по двадцать. Каждый взял по два фильтра — больше в подsumки не лезло, а рюкзаки были под снаряжение, — и в этот момент Рейн понял, что они только что поменяли человека на картонную коробку.

Он посчитал это против воли, автоматически, как считают сдачу.

Юра — два фильтра на человека, двенадцать человек. Двадцать четыре штуки.

Он потом три этажа не мог отделаться от этой арифметики, и каждый раз, когда менял фильтр, вспоминал её снова.

Ада догнала его между стеллажами и пошла рядом, не глядя.

— Скажи мне про люк, — сказала она.

— Что про люк.

— Ты сказал: третий от входа по левой стороне. Ты не сказал «где-то там» и не сказал «осторожно». Ты сказал номер. — Она всё так же смотрела вперёд. — Я к тебе не лезу. Мне надо знать, случайное это число или нет, потому что от этого зависит, слушать тебя дальше или нет.

Рейн шёл шагов пять и думал, с чего начать. Оказалось, что начинать надо не с потолка, а с гаража.

— На брифе было восемь снимков, — сказал он. — Помнишь таблички «выход»? Зелёные, на тросиках.

— Ну.

— В вестибюле они висят под самым перекрытием. На снимке второго — низко. В гараже я этого не заметил. Заметил у двери, когда увидел живую табличку, и тогда уже прикинул по проёму: дверь два и десять, табличка над притолокой, дальше ладонь. Значит, тут потолок опущен сантиметров на сорок против вестибюля.

— И что.

— Сорок сантиметров никто не выбрасывает просто так. Это ровно столько, сколько занимает подвес турели с поворотным узлом. Я такие снимал. Они все одного роста.

Ада наконец посмотрела на него.

— Дальше.

— Дальше панели. Они там все серые от картонной пыли, а одна чистая. Не новая — чистая по кромке. Её снимали и ставили обратно позже, чем клали весь потолок. Третья от входа по левой стороне, я запомнил порядок, потому что я всё запоминаю порядком.

— Это два.

— Это два. Третье — твоё. У тебя в деке линия питания от щита у входа уходит в середину зала и там обрывается. Ты сказала — обрыв в чертеже.

Ада остановилась.

— Я сказала, — согласилась она.

— Линия не обрывается. Линия кончается там, где стоит то, чего в чертеже нет. Середина зала по твоей схеме и третья панель от входа — одно место. Я это совместил, пока стоял у двери.

— А вправо?

— А вправо — это уже не расчёт, это железо. У них подвес несимметричный, привод и кабель слева. В сложенном виде ствол лежит вправо. Когда она выходит, ей быстрее повернуть туда, где он и так лежит. Полсекунды разницы. Полсекунды — это весь центральный проход.

Он замолчал.

Ада стояла и считала — он видел, как она считает, по тому, что она перестала моргать.

— Три вещи, — сказала она наконец. — Табличка, панель, провод.

— Три.

— Я видела все три. — Она сказала это ровно, без обиды, и обида в этом всё-таки была. — Провод вообще был у меня в руках. Я его листнула.

— Ты искала камеры.

— Я искала камеры, — сказала Ада. — А ты не искал ничего. В этом и разница, да?

Рейн не ответил, потому что ответа у него не было. Он действительно не искал. Он просто смотрел на потолки, потому что когда-то полгода за это получал по шее, и с тех пор смотрел на них всегда, даже на снимках, даже тогда, когда это было совершенно не нужно.

— Ладно, — сказала Ада. — Тогда ещё вопрос.

— Ну.

— Ты это всё сложил у двери. За сколько?

Он подумал.

— Не знаю. Пока стоял.

— Ты стоял секунды две, — сказала Ада. — Я на тебя смотрела.

Она пошла дальше и через пять шагов, не оборачиваясь, добавила:

— Считай вслух. Слышишь? Когда в следующий раз посчитаешь — считай вслух, при всех, как Юра. Иначе они будут думать, что ты видишь.

— А я не вижу?

— А ты не видишь, — сказала Ада. — Ты только что мне три пункта назвал. Видящие пунктов не называют.

Арслан подошёл, когда все уже шли к лифтам.

— Ты крикнул раньше, чем стеллаж пошёл, — сказал он негромко.

— Я крикнул, когда он пошёл.

— Я смотрел на тебя. Ты крикнул раньше.

Рейн молчал.

— Я не спрашиваю откуда, — сказал Арслан. — Мне всё равно откуда. Мне надо знать другое: ты знаешь, чем это кончится? Всё это. Сегодня.

И вот тут Рейн понял одну простую вещь, от которой у него похолодело в животе.

Он знал.

Он знал про турель. Он знал про стеллажи. Он знал про старика в свитере, про разбитый контейнер, про синий свет, текущий по столу. Всё это лежало в нём целиком, как чужая память, и он до этой секунды старательно не смотрел туда.

Он посмотрел.

— Нет, — сказал он. — Не знаю.

Это была первая настоящая ложь за сегодня, и далась она ему легко. Легче, чем правда про турель.

Арслан кивнул и пошёл к лифтам.

Ильина. Чертежи

За неделю до. Служебная стоянка позади башни «Ковша».

Здание ей открыл не взлом и не подкуп охраны — до охраны она вообще не дошла. Она дошла до подрядчика, который здание обслуживал, а это, по её опыту, всегда дешевле и всегда надёжнее.

Подрядчика звали Гоц, он занимался вентиляцией во всех тринадцати башнях квартала уже одиннадцать лет и знал про них больше, чем знали собственники.

Гоц был грузный, за пятьдесят, в рабочем комбинезоне поверх рубашки с галстуком — единственной вещью, которую он надевал на встречи, где пахло деньгами, и так и не научился толком завязывать. Ходил вперевалку, будто устали не ноги сегодня, а вообще. О работодателях говорил, не понижая голоса, не потому что не боялся, а потому что за одиннадцать лет решил для себя: то, что он делает, не предательство, а услуга, оказанная позже, чем следовало бы.

Она не покупала его целиком. Она купила один визит и один комплект бумаг.

Встретились на служебной стоянке позади башни — асфальт в масляных пятнах, у стены штабель решёток вентиляции, снятых на переборку и так и не вернутых на место. Гоц держал в руках потрёпанный планшет с зажимом, листал его большим пальцем, не глядя, — привычка человека, который знает свои бумаги наизусть и держит планшет только для вида.

— Мне нужны снимки этажей, — сказала она. — Все тринадцать. И схема питания, как она есть, а не как в проекте.

— Зачем вам разница между «есть» и «в проекте»?

— Затем, что за одиннадцать лет всё, что было в проекте, кто-нибудь один раз переделал не по чертежу, — сказала Ильина. — А переделывал обычно ваш человек, потому что штатные инженеры здания меняются, а подрядчик по вентиляции — нет.

Гоц посмотрел на неё с уважением, которое не имело отношения к сумме.

— Вы там не первый год кого-то ищете, — сказал он.

— Не первую неделю, — сказала она. — Это разные вещи.

Снимки он сделал за два обхода, под видом планового осмотра фильтров, камерой на телефоне, без штатива и без спешки: человек, идущий по своим делам, снимок за снимком не привлекает внимания так, как привлекает человек, который снимает нарочно.

На третьей панели у пожарной лестницы восьмого яруса краска оказалась свежее, чем везде, — Гоц заметил это сам, проходя, и сфотографировал крупным планом, не понимая ещё, зачем.

— Тут недавно что-то меняли, — сказал он, отдавая карту памяти. — Мы там ничего не трогали — то есть трогали, но не по документам. Врезку какую-то. Официально — ничего не проводили, я проверил по журналу заявок.

Ильина этот кадр отложила отдельно и потом, уже собирая материалы для брифинга, положила его первым.

Схему питания он принёс не свою — старую, с прошлого капремонта, и честно предупредил, что часть линий с тех пор наверняка перекладывали.

— Меня это устраивает, — сказала она. — Мне не нужна точная схема. Мне нужно, чтобы человек, который будет по ней

действовать на месте, увидел расхождение сам и сделал верный вывод. Точная схема ему просто ничего не покажет — он к ней не будет присматриваться.

Гоц не понял, но и не стал переспрашивать: за такие деньги переспрашивать не полагалось.

Про распорядок смен она узнала иначе, и совсем не у него.

Раз в месяц конторы, обслуживающие Стекло, сдают отчёт о вывозе мусора, и в этом отчёте, по регламенту противопожарной службы, указывается количество людей на объекте по часам — для расчёта эвакуации. Документ открытый, лежит в архиве муниципалитета, и почти никто его не запрашивает, потому что почти никому не интересно, сколько человек в здании в три часа ночи.

Ильиной было интересно.

Она сравнила отчёты за полгода и получила то, что не смог бы дать ей ни один подкупленный охранник: не разовую утечку, а закономерность. Смена на верхних ярусах меняется без четверти двенадцать. С полуночи до пяти в здании минимум людей за сутки.

Всё это она передала одним пакетом — не Арслану лично, через Марту, без подписи, — и в пакете были снимки тринадцати этажей, старая схема питания с пометкой «сверить на месте» и одна строка про часы.

Что с этим сделает группа внутри, её не касалось: она купила не план штурма, а материал для чужого расчёта, и разницу между этими двумя вещами понимала лучше многих, кто всю жизнь занимался войной, а не медициной.

Отрезанные

23:12. Восточное крыло, второй вход.

Олег и Женя не попали в вестибюль.

Их было легко перепутать со стороны — оба немолодые, оба тяжёлые, оба в одинаковом сером, — и путали их только те, кто видел их впервые.

Олег был шире в плечах, ходил медленно и всё время смотрел на стены. Женя был суше, ходил быстро и смотрел на пол: четыре года на трупах приучают читать не помещение, а то, что в нём лежит.

По плану их двойка заходила с востока, через погрузочный двор: тихо, без стрельбы, и дальше по служебному коридору к лифтовому холлу, где встречаются все. Они прошли двор за минуту, вскрыли дверь за сорок секунд и оказались в узком бетонном коридоре с трубами по потолку.

А потом впереди что-то сработало.

Не взрыв — щелчок. Очень громкий щелчок, а за ним долгий железный ход, будто в стене поехал поезд. Коридор впереди перегородила плита: серая, в палец толщиной, вышедшая из потолка и вошедшая в пол.

Олег остановился и посмотрел на неё.

— Ну вот, — сказал он.

Подойдя, Женя приложил к плите ладонь.

— Тёплая, — сказал он.

— И что?

— Её только что двигали. — Женья вытер руку о штанину. — Это не по нашей тревоге. По тревоге так быстро не бывает, там сначала люди бегают, потом уже железо ездит. А тут железо поехало первым.

Олег обернулся к двери, через которую они вошли.

Двери не было. Там, где они минуту назад вскрыли замок, стояла такая же плита.

Он подошёл, потрогал, тоже подержал ладонь.

— Тёплая, — сказал он.

— Ну вот, — сказал Женья.

Первые двадцать минут они честно пытались достучаться.

Своя частота молчала наглухо. Зато чужие шли открытым текстом — их вообще не глушили, и по этому одному было ясно, что в здании происходит что-то, на фоне чего тринадцать наёмников уже никого не интересуют.

Женья лежал на спине, слушал и пересказывал:

— Санация объекта. Персоналу покинуть здание.

— Слышу. А нам куда?

— Ещё раз то же самое. — Пауза. — Заливка нижних ярусов. Шестой пост подтвердил.

Олег сел рядом.

— Значит, вниз мы не выйдем.

— Значит, нет.

— А вверх?

Женья послушал ещё.

— Про верх ничего, — сказал он. — Верх им неинтересен.

Олег осмотрел коридор внимательно, как осматривал любое помещение всю жизнь: не людей, а стены.

Плита впереди. Плита позади. Двенадцать метров бетона между ними, трубы по потолку, две решётки вентиляции — одна маленькая, вторая совсем маленькая. В торце — щит с надписью «ТУШЕНИЕ. НЕ ЗАГРОМОЖДАТЬ».

— Знаешь, что самое смешное? — сказал он.

— Что?

— Я двадцать два года не входил туда, где нет второго выхода.

Он показал подбородком на плиту.

— Ни разу. В бригадах дразнили.

— А сегодня вошёл, — сказал Женья.

— Вошёл. И закрылось само.

Женья усмехнулся через нос — коротко, беззвучно, одним выдохом. Он всегда так смеялся.

— Ты сейчас паникуешь? — спросил он.

— Я удивляюсь, — сказал Олег. — Паниковать буду через час, я по расписанию.

Женья сел напротив и стал смотреть на плиту.

Он смотрел на неё долго и не как человек, ищущий выход, а как человек, читающий.

— Её ставили не под нас, — сказал он наконец. — Смотри: пазы чистые, направляющие в масле, а по краю — резина. Это не противопожарная. Это герметичная. Такие ставят там, где может потечь то, чего нельзя выпускать.

— Ты откуда это знаешь?

— Я четыре года был выездным, — сказал Женя. — В «Чистой воде». Мы такие двери вскрывали на объектах, когда внутри уже было поздно.

Он поднялся, отряхнул колени.

— Вот что я тебе скажу. У них в здании что-то вылилось. И они закрыли не нас, а его.

Выход нашёлся там, где Олег его и искал, — в потолке.

Кабельный лоток шёл вдоль всего коридора и уходил в перекрытие: технический ход, по которому монтажники таскают жгуты между этажами. Узкий, сорок на шестьдесят, с острыми кромками и без единой скобы для рук.

— Я не пролезу, — сказал Олег.

— Пролезешь.

— Жень, я сто десять кило.

— Ты сто десять кило с бронёй, — сказал Женя. — Броню снимай.

Олег посмотрел на него.

— Там горит, — сказал он. — Без брони я туда не пойду.

— В лотке горит не тебя, там жгуты, — сказал Женя. — В броне ты в него не влезешь вообще. Без брони влезешь, и обгоришь, если попадёшь. Второе — это «если». Полезешь медленно, дышать будешь ровно, и всё.

Олег подумал секунды три и начал расстёгивать.

— Понесу, — сказал он.

— Понесёшь. Сорок на шестьдесят — она пройдёт отдельно, ты отдельно.

Они поднялись на два этажа за час.

Это было медленно, унизительно и очень грязно. В лотках лежала пыль тридцатилетней давности, спрессованная в войлок. Дважды приходилось резать жгуты, и один раз Женю ударило разрядом в плечо, и он молча просидел минуту, пока рука не начала слушаться.

Броню Олега тащили следом, по одной пластине, на ремне.

В одном месте, между вторым и третьим, ход шёл мимо вентиляционной решётки, и через решётку было видно склад.

Они посмотрели.

Стеллажи в четыре ряда, серые ящики, широкий проход посередине. Всё завалено: верхний ряд лёг на соседний, соседний на следующий, и в конце всё это горой упёрлось в стену. Пыль ещё не осела.

— Тут рвануло, — сказал Олег.

Женя долго молчал, разглядывая.

— Тут был кто-то из наших, — сказал он.

Он читал завал так же, как читал дверь.

— Люди шли по центру, — сказал он. — Стеллаж пошёл слева, от той стойки, её снесли чем-то тяжёлым. Вон отметина, видишь? Это не пуля, это удар. И посмотри на воронку внизу.

— Ну?

— Стеллаж так не валит, — сказал Женя. — Стеллаж придавливает. А тут в основании выбито, изнутри наружу. Это

рвануло у него в кармане.

Олег посмотрел на воронку.

— Юра, — сказал он.

— Юра, — согласился Женья.

Они помолчали.

— Может, он успел отойти, — сказал Олег.

— Может, — сказал Женья.

И полез дальше, и Олег полез за ним, и больше они об этом не говорили — ни в ту ночь, ни потом, потому что потом было некогда.

На третьем ход кончился: жгуты уходили в трубу диаметром в ладонь. Зато сбоку была дверца ревизии, а за дверцей — лестничная площадка.

Они вылезли, отдышались и стали одеваться обратно.

— Слушай, — сказал Олег, застёгивая броню. — А ты чего пошёл-то на эту работу?

— Дочь, — сказал Женья.

— Сколько?

— Семь. — Он затянул ремень. — Она в интернате при Консервном. Не потому что я такой, а потому что там кормят и там врач. Я плачу три двести в месяц, и ещё одежду, и ещё если зубы.

Он проверил застёжку.

— За эту ночь мне отдадут почти два года. Я посчитал: если не тратить, хватит забрать её домой и год не работать.

Он подумал и добавил:

— Я сначала думал, что вру себе. Проверил три раза. Не вру.

Олег кивнул и ничего не сказал.

Он был из тех людей, понимающих, когда лучше ничего не говорить, — и, может быть, поэтому с ним хорошо ходили двадцать два года.

На площадке третьего было тихо, и по этой тишине они поняли, что опоздали.

Наверху, выше, шла стрельба — далёкая, короткими, и сквозь неё что-то гудело. А здесь никого не было.

— Они впереди, — сказал Женя.

— На сколько?

— На этаж. Может, на два.

Олег посмотрел вверх, в пролёт, где лестница уходила в темноту на тринадцать этажей.

— Догоним, — сказал он.

Оплачено вперёд

После башни. Сортировка, комната во дворе.

Комната на Сортировке стояла оплаченная одиннадцать месяцев.

Хозяйка не сдала её никому и не вынесла из неё ничего. Не из уважения — уважение тут было, но оно пришло позже, — а потому, что деньги были взяты за год, и взяты вперёд, и она не понимала, как правильно поступить с местом, которое честно куплено человеком, которого нет.

Она заходила туда раз в неделю, открывала окно на час и закрывала.

В комнате были: койка, стол, табуретка, две полки, электрочайник с отбитой ручкой, ящик с инструментом, восемь книжек по взрывному делу, три из них учебные и с его пометками, спецовка на гвозде, коробка из-под обуви с квитанциями и бутылка на подоконнике.

Бутылку она в конце концов открыла сама, на второй месяц, вечером, и выпила немного, и сказала в пустую комнату:

— Ну вот, дождалась.

Это была единственная фраза, сказанная про Юру у него дома.

К матери пришёл Дед.

Он пришёл на одиннадцатый день, потому что первые два спал, а потом восемь искал адрес: в расчётной адресов не дают, в бумагах группы стоял только квартал, и Дед обошёл квартал подъезд за подъездом, спрашивая, где живёт мать подрывника.

Ему открыла маленькая женщина в кофте поверх халата и сразу, ещё до слов, сделала шаг назад — не испуганно, а освобождая проход, как освобождают проход тому, кого ждали.

— Проходите.

— Я на минуту.

— Проходите, — сказала она. — На минуту тоже проходят.

Дед прошёл, сел на предложенный стул и обнаружил, что не помещается: кухня была два шага на три, и его колени доставали до второй стены. Он сидел, сдвинув щит с плеча ещё в прихожей, и всё равно занимал полкухни, и ему было от этого невыносимо.

Она поставила чайник и не задала ни одного вопроса.

Это его и сломало. Он был готов к вопросам. Он всю дорогу собирал, что ответить на «как», и весь порядок собранного оказался не нужен.

— Матвей Кожин, — сказал он наконец. — Я с ним работал.

— Я знаю, кто вы. Он про вас говорил.

— Что говорил?

— Что вы медленный и что за вами хорошо стоять.

Дед кивнул. Он посидел, глядя на свои руки, и сказал:

— Он не мучился долго.

— Долго — это сколько?

Дед поднял на неё глаза.

Он потом много раз к этому возвращался и всякий раз думал, что надо было соврать. Соврать было и проще, и по-человечески правильнее, и она бы приняла.

— Минут пять, — сказал он.

— Пять, — повторила она.

— Ему перебило спину и ноги. Он это понял сразу, он же считать умел. Вынести его было можно, а идти он не мог — ни сам, ни со стимулятором, никак. Он это посчитал быстрее нас и сказал, чтоб мы уходили.

— А вы?

— А мы не ушли.

— И он?

— А он у меня в группе был не первый год, — сказал Дед. — Он знал, что мы не уйдём. Вот и всё.

Она села напротив, положила руки на стол и стала смотреть в сторону окна, где ничего не было, кроме стены соседнего дома.

Потом сказала:

— Он в шесть лет сдачу считал быстрее меня.

Дед ничего не ответил, и это было правильно.

Расчёт по Юре пришёл в контору на девятый день и был оформлен без ошибок.

Заказ не состоялся, значит, полная сумма не полагалась. Полагалась выплата по факту отработанных часов, и часов вышло немного, потому что второй этаж — это начало ночи.

Из этой суммы вычли: амортизацию выданного снаряжения, стоимость невозвращённого респиратора, стоимость невозвращённой брони и стоимость выданного заряда, использованного не по назначению.

Последняя строка была отдельной и называлась именно так.

Ада читала этот расчёт в очереди, стоя, и на этой строке остановилась. Она перечитала её четыре раза, проверяя, не ошиблась ли.

Она не ошиблась. Заряд, который был у Юры по наряду, действительно остался целым и был бы возвращён, и заряд, который сработал, был не выданный, а свой, и в графах конторы такого не предусмотрено. Поэтому графа взяла то, что нашла.

Ада не стала спорить. Спорить было не с кем: за стойкой сидела девушка лет двадцати, которая ничего не решала и которой Ада в другой день объяснила бы, как устроена её же ведомость.

Она сфотографировала строку, ушла и положила снимок в один из тринадцати файлов.

Про второй заряд надо сказать, потому что этого не знал никто, кроме Арслана, а Арслан после той ночи не вернулся ни на биржу, ни домой, и искать его перестали через месяц.

Юра носил лишний семь лет. Лишний в наряде не стоит, значит, покупается за свои. Он покупал его каждый раз — не на выход, а на месяц, маленькими партиями, у одного и того же человека на Сортировке, у которого была лицензия и который каждый раз выписывал ему квитанцию, потому что без квитанции не продавал.

Квитанции лежали в коробке из-под обуви, в комнате, оплаченной вперёд.

Ада нашла их через семь недель, когда хозяйка пустила её в комнату — пустила потому, что Ада пришла не с бумагой, а с ключом, который сняли с тела, и хозяйка узнала свой ключ.

Квитанций было девяносто одна.

Ада села на табуретку и пересчитала их дважды, и второй раз считала вслух, сама не зная почему, и на середине второго счёта услышала свой голос и остановилась.

Она не стала считать сумму. Она сложила квитанции обратно в коробку и коробку закрыла.

Про себя она отметила только, что человек семь лет платил за вещь, которой не собирался пользоваться, а воспользовался ею один раз, и та единственная вещь, за которую он платил сам, оказалась единственной, за которую с него потом взяли ещё раз.

Она этого никому не сказала. Это не то, что говорят вслух в комнате, где открыто окно.

Но самое заметное случилось не в бумагах.

После второго этажа в группе перестали говорить числа.

Не сразу, не по договорённости и не потому, что кто-то запретил. Просто оказалось, что числа вслух говорил один человек, а остальные их слушали, и когда его не стало, никто не подхватил.

Арслан считал время — у себя, глядя на часы, и вслух не произносил.

Ада считала, но в деке, глазами, и это никому не было слышно.

Дед не считал никогда: он мерил ширину.

И получилось так, что на третьем, четвёртом, пятом этажах группа шла в тишине, в которой каждый держал свою цифру при себе, и ни одна из этих цифр не проверялась второй раз.

На пятом, в виварии, Тоха вдруг сказал вслух, ни к кому:

— Четыре.

Все обернулись. В помещении было четыре колонны и никого живого, и говорить было нечего, и Тоха покраснел под респиратором так, что стало видно по шее.

— Извините, — сказал он.

— Не извиняйся, — сказал Дед. — Дальше говори.

Тоха дальше не говорил. У него не получилось: он пробовал ещё дважды, на шестом и на седьмом, и оба раза выходило громко и не в тот момент, потому что это был не его голос.

Рейн после второго этажа стал считать про себя, и это вышло само.

Он поймал себя на этом у двери серверной — на том, что стоит и считает ступеньки, которых уже прошёл, а не те, что впереди. Пользы в таком счёте не было никакой.

Он попробовал сказать цифру вслух и не сказал.

В черновике, который он писал позже, про Юру есть три строки и ни одной про завал. Там написано, что человек семь лет носил с собой лишнее и погиб от того, к чему это лишнее не имело отношения, и что готовиться можно всю жизнь и всё равно попасть под другое.

А про то, что он перестал слышать, как в группе считают, — там нет.

Он это заметил только много позже, в чужом городе, на пустой стройке, где мимо шли работяги и один из них говорил в пространство:

— Сорок, тридцать девять, тридцать восемь...

Рейн остановился и стоял, пока не досчитали.

Потом ухнуло, глухо и коротко, как положено, и поднялась пыль, и он пошёл дальше, и всю дорогу не мог вспомнить, как звучал тот голос, который считал ему всю ту ночь.

Мать Юры прожила после этого ещё долго.

Она перестала считать сдачу вслух — не сразу, а к зиме, и заметила это сама, в магазине, когда девочка на кассе назвала сумму, а она ничего не сказала в ответ.

Она вышла на улицу и постояла.

Потом вернулась и попросила пересчитать.

Очередь

Мелководье, за два дня до заказа.

Воду на четвёртом ярусе дают с шести двадцати до шести сорока.

Двадцать минут — это не жадность и не злой умысел, это давление: выше четвёртого яруса насос не тянет дольше, а если тянуть дольше, он не дотянет вообще, и это уже проверяли трижды, каждый раз с одинаковым результатом.

Поэтому очередь на четвёртом ярусе начинает собираться в пять сорок.

Рейн, простоявший в ней восемнадцать лет, знал в этой очереди всё: кто за кем, кто пропускает, кто занимает на двоих, у кого какая канистра и почему у Веры Павловны канистра синяя, а не белая, хотя белая дешевле.

Очередь — это самый честный счётный аппарат Мелководья, и работает он без единого прибора.

Первыми идут те, у кого дети, и это не доброта, а арифметика.

Сады на четвёртом ярусе принимают до семи, и мать, которую пустили первой, набирает свои двадцать литров, уносит их и больше в очереди не стоит. Мать, которую не пустили, стоит до конца — а к концу воды уже нет, и завтра она придёт в пять двадцать и займёт место перед тобой, законно, по приходу. Очередь это проверила и посчитала: пустить вперёд дешевле, чем потом стоять за ней.

Рейн знал это, как знают таблицу умножения, и один раз услышал, как это объяснили вслух, — женщина, стоявшая третьей, сказала другой, стоявшей шестой, ровно эти слова, без

всякого умиления, будто зачитала норматив.

Вторыми — те, у кого больные. Больных в очереди знают поимённо, и когда кто-то из них умирает, очередь об этом узнаёт раньше, чем родня успевает кому-то позвонить: просто утром никто не встал на это место.

Дальше идут все остальные, по приходу.

В самом конце — двое, которых пускают последними всегда, и оба знают за что, и оба приходят, потому что вода нужна и им.

На столбе у крана висело объявление, к которому все привыкли и потому не видели:

ВОДА с 6:20 до 6:40. Лимит 20 л в руки. Тара своя. Насос выше четвёртого яруса не тянет. Претензии в управление, комната 12.

Комнаты двенадцать в управлении не было уже лет шесть: её отдали под архив, и дверь заложили.

Сзади, через двоих, разговаривали — не с ним и не для него, просто чтобы стоять было не так долго.

— ...а я говорю — берут. Именно что берут.

— Кого берут-то?

— Чистых. Совсем без железа. Знаешь, сколько платят?

— Кому чистый нужен, он же ничего не умеет.

— Он умеет одно: его не видно. Есть такие, которые чувят, у кого что внутри стоит. Сквозь стену чувят, представляешь? А чистого не чувят вообще. Для них он как дырка в списке.

— Врёшь.

— Спроси кого хочешь.

Помолчали.

— И много таких? Совсем чистых?

— Да почти нет. Кто ж себе ничего не ставил.

Рейн стоял и думал, что у него самого стоят две вещи и обе в долг, и что по этому счёту он не дырка, а строка.

В то утро перед Рейном стояла Вера Павловна, восемьдесят один год, третий подъезд.

Она выращивала на подоконнике водоросли — не для еды, а на продажу, на корм рыбным садкам. Имела она с этого примерно столько же, сколько получала пенсией, то есть очень немного.

— Ты опять с одной канистрой, — сказала она, не оборачиваясь.

— Мне хватает.

— Тебе хватает, потому что ты дома не живёшь. — Она подвинулась на полшага вперёд, потому что очередь тронулась. — А придёшь — воды нет. Пойдёшь к Гоше по семь за...

— У Гоши по шесть.

— По шесть тем, кто берёт каждую неделю, — сказала Вера Павловна. — Тебе по семь.

Она поправила лямку.

— Он мне сам говорил.

Рейн это знал и всё равно ходил с одной канистрой, потому что вторую было некуда ставить.

В шесть двадцать два открыли.

Кран один, напор слабый, и двадцатилитровая канистра набирается две минуты сорок секунд — эту цифру на четвёртом ярусе знают все, потому что она делит очередь на тех, кто успеет, и тех, кто нет.

Двадцать минут на две сорок — это семь канистр. Семь, если напор держит до конца; напор не держит никогда.

В то утро успели шестеро из четырнадцати.

Восьмерым не хватило, и это было нормально: не хватает почти всегда, и у тех восьмерых есть вечер, а если и вечером не выйдет — есть Гоша по семь.

Никто не ругался. Ругаться в очереди за воду перестали лет двадцать назад, когда поняли, что от ругани очередь не движется быстрее, а голос садится.

Вера Павловна набрала свою синюю канистру и не смогла её поднять.

Она попробовала дважды, спокойно, без театра, и на третий раз сказала, ни к кому не обращаясь:

— Вот тут я и посыпалась.

Рейн отнёс канистру на четвёртый этаж, поставил под раковину и вернулся на своё место в очереди, и место ему сохранили, потому что за отнесённую канистру место сохраняют всегда.

Это тоже нигде не записано.

Наверху, у неё в комнате, он задержался на минуту.

На подоконнике в трёх лотках плавала бурая мокрая масса, и пахло от неё тиной.

— Сколько за килограмм? — спросил он.

— Девять.

— А раньше было двенадцать.

— Садки стояли на Шестом, — сказала Вера Павловна. — Теперь на Одиннадцатом.

— И что?

— Возить нечем. Сдаю перекупу. Перекуп даёт девять.

Она пожала плечом.

— Что тут непонятного?

Она села.

— Ты чего пришёл-то? Ты никогда наверх не поднимаешься.

— Канистру нёс.

— В прошлом месяце нёс и не поднялся, — сказала она. — Ты чего-то решил, Ромка.

Он не ответил.

— У тебя лицо как у отца. Когда он в артель подписывался.

Она одна во всём городе звала его так. В бумагах он был Р. Вершинин, на бирже — Рейн, и второе прилипло так давно, что он сам иногда не сразу оборачивался на первое. А Вера Павловна знала его с четырёх лет и переучиваться не собиралась.

Он не ответил.

Накануне вечером звонил Арслан и спросил одно: свободен ли он на этой неделе. Ни работы, ни суммы не назвал, но Арслан никогда не звонил сам, он писал, и по одному этому было понятно, что работа большая.

Он ещё не согласился, и его ещё ни о чём не просили. Он собирался согласиться и знал об этом, и вот эта разница между «собираюсь» и «согласился» была единственным, что у него в тот момент оставалось своего.

— Работа, — сказал он наконец.

— Хорошая?

— Денежная.

— Денежная, — сказала Вера Павловна. — У Кузнецовых со второго тоже была денежная, и стиралка у них стояла в коридоре, не помещавшаяся в ванную, а теперь ни стиралки, ни второго сына, и Люда здоровается через раз.

Он не стал спрашивать, при чём тут Кузнецовы.

Вера Павловна кивнула так, как кивают люди, прожившие в этом городе восемьдесят один год.

— Ну, иди, — сказала она. — Только вот что. Ты воду-то набери всё-таки. Себе. А то придёшь.

Он спустился, добрал свою канистру последним из успевших — напор к концу падал, и на неё ушло четыре минуты вместо двух сорока, — и понёс домой.

Дома он поставил её в угол, полную, и не открывал.

Через два дня он уехал на заказ, а канистра осталась стоять.

Она простояла в углу одиннадцать дней, до самого конца этой истории, и была первым, что он увидел, когда вернулся.

Два шага

Из жизни Кати, до башни.

В тумане видно на два шага, и это не фигура речи, а мера.

Два шага — это метр сорок у взрослого и метр у ребёнка, и всё, что дальше, есть серое молоко без верха и низа. Звук в тумане идёт неправильно: близкое слышно глухо, далёкое — ясно, и человек всё время оборачивается не туда. Поэтому в Нижних шлюзах не кричат «я здесь». Там стучат: два раза по железу — иду, один раз — стой.

Кате было шесть, когда мать первый раз взяла её с собой на берег и сказала одну фразу, которую Катя запомнила навсегда.

— Иди первой или не иди вообще.

— Почему?

— Потому что второй смотрит в спину, а не под ноги.

Больше мать это не объясняла ни разу, и Катя тридцать лет думала, что там объяснять больше нечего.

Мать погибла через четыре года, в двухстах метрах от дома, на дороге, по которой ходила всю жизнь.

Утро было обычное, туман сел к пяти, ушёл бы к девяти. Мать пошла за водой с двумя канистрами, и с ней пошла соседка, женщина помоложе, у которой канистра была одна и которая ходила этой дорогой второй год.

Катя осталась дома, потому что была простужена.

Она сидела на подоконнике, смотрела в серое и считала. Не нарочно — просто так вышло: она знала, что до колонки триста сорок шагов матери и обратно триста сорок, и знала, сколько это

занимает, и считала, чтоб не скучать.

На четырёхсотом она сбилась и начала заново.

На седьмой сотне встала и оделась.

Мать нашли в девять, когда туман сошёл, в стороне от дороги, в бетонном коллекторе без крышки. Крышку сняли за месяц до и не вернули, потому что за металл платят.

Соседка была цела. Она шла впереди — обошла коллектор, обошла правильно, она всегда его обходила, — и не сказала ни слова, потому что зачем говорить о том, что делаешь каждый раз.

Мать шла второй.

Соседка приходила потом, приносила еду и один раз попробовала объяснить.

— Я же обошла. Я всегда обхожу.

— Я знаю, — сказала Катя.

— Я думала, она видит.

— Она не видела, — сказала Катя. — Видно на два шага.

Соседка заплакала, а Катя не заплакала, и соседка потом рассказывала во дворе, что девочка не в себе.

Девочка была в себе. Девочка просто в десять лет узнала одну вещь: правило можно знать наизусть, повторять другим и не выполнить самой, потому что дорога знакомая и потому что кто-то идёт впереди.

Проводником она стала в шестнадцать, и это была законная профессия, хотя бумаги не было ни у кого.

По берегу всё время надо было кого-то вести. Приезжали снабженцы, приходили обходчики, тянулись очереди к раздаче,

и в туманные месяцы половина города не могла пройти двух кварталов, потому что не умела. Проводник брал трёх-четырёх человек, ставил их в цепочку, давал каждому держаться за ремень переднего и шёл первым.

Платили мало и всегда наличными.

Катя работала девять лет и провела, по её собственному счёту, около четырёх тысяч человек. Она потеряла двоих, и оба случая были одинаковые: человек отпустил ремень.

Первый отпустил, чтобы поправить респиратор. Второй — чтобы ответить на вызов.

После второго Катя завела правило, за которое её не любили: перед выходом она отбирала у людей всё, что можно взять в руки. Связь, флаги, сумки. Сумки везли отдельно, на тележке, которую она тянула сама.

— А если мне надо позвонить?

— Позвоните на той стороне.

— А если срочно?

— Тогда идите одна, — говорила Катя. — Я вас не держу.

Она была резкая, и это было выгодно: резкому проводнику верят больше, чем вежливому.

Из проводников её выбило не туманом.

Выбило распоряжением: берег перевели на трубу, раздачи свернули в три точки, точки соединили закрытой галереей, и вести стало некого. Работа не кончилась в один день — она худела два года, и Катя два года смотрела, как та худеет, и понимала, что дальше.

Первый заход на биржу она сделала в двадцать пять и в тот же вечер ушла, ничего не взяв.

Второй — через месяц.

Её взяли сразу, потому что в сборных группах всегда не хватает того, кто пойдёт первым, и потому что она на вопрос «что умеешь» ответила не так, как отвечают все.

— Стреляю средне, — сказала она. — Хожу хорошо.

— Куда ходишь?

— Впереди.

Старший засмеялся и записал. Он думал, что она набивает цену.

Обувь она сняла на третьем выходе, и это вышло случайно.

Заходили в бывшую контору на Сортировке, пустую четвёртый год, с бетонным полом, засыпанным битым стеклом только в двух комнатах, а в остальных чистым. Катя шла первой, в ботинках, и в третьей комнате наступила на что-то, чего не слышала.

Это была трубка от капельницы. Пустая, мягкая, безобидная.

Но пока она стояла и смотрела под ногу, она поняла простую вещь: если бы это была леска, она узнала бы об этом только по звуку, а звука в ботинке нет.

Она села, разулась и остаток объекта прошла босиком, и носки потом выкинула.

В следующий раз она взяла с собой тонкие чулки и стельку из пробки, и через год у неё был свой, отработанный порядок: в ботинках по улице и по мусору, босиком по чистому полу. Ботинки она вешала на карабин за спиной, и они болтались и

стучали друг о друга, и это её самую раздражало, а обмотать их она так и не догадалась.

Смеялись первые полгода в каждой новой группе. Потом переставали.

Арслан взял её в третий год, и проверка у него была своя.

Он привёл её в снятый под встречу склад, поставил в дверях и сказал:

— Зайди и выйди.

— И всё?

— И всё.

Катя зашла.

Через минуту она вышла и остановилась в дверях, на пороге, не переступая.

— Что там?

— Пятнадцать на девять, — сказала она. — Окон нет. Две двери, вторая заперта изнутри на щеколду, значит, кто-то там был и ушёл через эту. Пол мыли, но не весь, у левой стены полоса сухая — значит, там стоял ящик, и его убрали недавно. И вы стояли у правой стены, вон там, минут двадцать, пока меня ждали.

— С чего это?

— Вы курили и гасили о стену, — сказала Катя. — Четыре раза.

Арслан посмотрел на неё и кивнул.

Он потом объяснил Деду, почему взял: не за то, что она заметила щеколду. Щеколду заметил бы любой. За то, что она вернулась к двери и не вышла с порога, пока не договорила.

— Не понял, — сказал Дед.

— Она не выходит из помещения, пока не отдала помещение, — сказал Арслан. — Итого: с ней можно не переспрашивать.

В группе правило завелось само и никем не обсуждалось.

Когда надо было сунуть голову в проём, голову суёт Катя. Не потому, что решили, и не потому, что она предложила, — просто первый раз получилось так, а на четвёртый раз это уже был порядок.

Она не жаловалась и не набивала цену. Один раз, на каком-то складе, новый парень спросил при всех:

— Тебе не страшно всё время первой?

— Первой — не самое страшное.

— А что самое?

— Идти второй, — сказала Катя, — и понимать, что впереди человек, который устал.

Парень покивал так, как кивают, когда ничего не поняли, и через месяц ушёл из группы, и Катя про него больше не вспоминала.

Из вещей у неё было мало, и это было осознанно.

Два ножа — рабочий и запасной; запасной она доставала и убирала, доставала и убирала, когда думала, и это был её жест, как у Серёги ремень.

Пачка сигарет, которые она не курила.

Ключ от комнаты на Шлюзах, где никто не ждал: койка, чайник и коробка с зимними вещами.

Талон на бесплатный обед в столовой Консервного — просроченный, потому что за обедом надо стоять сорок минут, а сорок минут у неё никогда не было.

Про сигареты она объяснила один раз, Аде, на лестнице.

— Ты же не куришь.

— Не курю.

— А зачем таскаешь?

— Чтобы было чем начать, — сказала Катя. — Ты подходишь и говоришь: будешь? Он говорит: буду или не буду. И вот вы уже разговариваете.

— А просто поговорить?

— Просто поговорить я не умею, — сказала Катя. — Я пробовала.

Человек у неё был один, лет за пять до башни, и прожили они одиннадцать месяцев.

Механик с Шестого причала, спокойный, руки в масле по локоть, чинил насосы и говорил медленно. Его звали Гена, и он был первый в её жизни, кто не спрашивал, зачем она сняла ботинки в прихожей.

Ушёл он не из-за работы.

— Ты всё время проверяешь, — сказал он на прощание. — Даже дома. Я уже сам стал слушать, как скрипит.

— И что?

— И мне это не нравится, — сказал Гена. — Я насосы чиню. Мне не надо слушать, как скрипит.

Она не спорила. Она понимала, что он прав, и понимала, что переучиваться поздно, и что если переучиться, то однажды она войдёт в помещение не проверив, и это будет последнее, что она сделает.

Она выбрала работу — не потому, что любила её больше, а потому, что там это качество было полезным, а дома нет.

Ботинки он ей оставил. Хорошие, лёгкие, на тонкой подошве, которую он сам переклеил, чтобы она слышала пол через неё. Он делал это три вечера и ничего не сказал, а она нашла и поняла, и всё равно ходила босиком, потому что через подошву слышно хуже, чем без неё.

В этих ботинках она и вошла в башню.

За два дня до заказа они с Адой стояли в очереди в расчётной, и Ада зачем-то спросила, сколько Катя думает ещё ходить первой.

— Пока хожу.

— Это не срок.

— Адка, — сказала Катя, — ты меня спрашиваешь как человека, у которого есть план.

— А нет?

— Нет, — сказала Катя. — У меня есть шаг.

Ада хотела возразить и не стала, потому что подошла очередь.

Она вспомнила этот разговор на третьем этаже, в серверной, очень некстати — уже после, когда перестала быть нужна.

Глава 3. Серверная

Мне показали это трижды.

Трижды я выходил из-за той же колонны, трижды слышал один и тот же кашель начальника охраны — он кашлял перед тем, как отдать команду, и это было лучше любой рации. На третий раз я уже знал, куда он посмотрит, и всё равно опоздал: смотрел не туда, куда надо, а туда, куда привык.

Знать, куда он посмотрит, оказалось мало. Тело всё равно пошло туда, куда ходило двадцать лет.

Сегодня я впервые пошёл против Арслана. Он приказал идти дальше, я знал, где Катя лежит, и не смог объяснить откуда. Я всё равно пошёл за ней.

Он теперь смотрит на меня, как на неисправность.

Рейн, ночь на четверг, полночь

Третий этаж. 00:00 — 00:25.

Катя шла первой, потому что всегда шла первой.

Это было заведено давно и никем не обсуждалось. Когда надо было сунуть голову в проём, голову совала Катя. Когда надо было проверить коридор, коридор проверяла Катя. Рейн однажды спросил её, почему, и она ответила:

— А чего ждать-то.

— В смысле?

— Ну, я стою сзади и жду, — сказала она. — Всё равно ведь идти. Так чего ждать.

Она достала нож, посмотрела на лезвие, убрала. Потом снова достала. Это был её жест, как у Серёги ремень.

— У тебя есть кто-нибудь? — спросил тогда Рейн. Сам не зная зачем.

— В смысле — дома?

— Ну да.

— Не-а, — сказала Катя и пожала плечами. — Поэтому и хорошо, что я первая. Меня никто не ждёт, я никого не задерживаю.

Она сказала это как про удобное расписание.

Между вторым и третьим они шли долго, потому что лестница была перекрыта и пришлось идти в обход, через технический ярус.

Технический ярус был низкий — метр восемьдесят, и Деду приходилось нагибаться, — и весь в трубах, шедших вдоль, поперёк и по потолку, и на каждой висела бирка с номером. Где-то капало. Где-то была вентиляция.

— Слушай, — сказала Настя своим ровным голосом, поравнявшись с Рейном. — Ты правда знал?

— Про турель?

— Про турель.

Рейн подумал, как ответить, и ответил честно:

— Да.

Кивнув, она не спросила больше ничего — ни как, ни откуда, — просто шла рядом ещё метров тридцать, а потом сказала:

— У меня брат такой был. Знал, когда придут. Всегда знал. Мать говорила — чуйка, а он говорил, что просто слушает.

— И где он теперь?

— Нигде, — сказала Настя. — Однажды не послушал.

Синтезатор произнёс это ровно, как прогноз, и от этого стало холоднее, чем от сквозняка в трубах.

На третьем стояла серверная охраны, и Аде нужно было туда на две минуты.

— Зачем? — спросил Арслан.

— Затем, что оттуда они видят нас, а мы их не видим, — сказала Ада. — Там камеры всего здания. Если я сяду на их шину, я буду знать, где стоят посты, до самого верха.

— А если не сядешь?

— Тогда мы пойдём вслепую тринадцать этажей.

Она сказала это спокойно, и все поняли, что идти надо.

Она села на шину, и это оказалось правдой: до самого десятого они шли, зная, где стоят посты.

За две минуты у их пульта заплатили одним человеком.

Серверная охраны занимала весь третий этаж и была не комнатой, а лабиринтом.

Он знал это не изнутри, а по снимку из гаража: шесть рядов шкафов в человеческий рост, три справа от центрального прохода и три слева, если считать от двери; оранжевые провода под ногами, уложенные жгутами и перехваченные стяжками через каждые полметра; между рядами полтора метра. Плохое место для боя и хорошее для того, кто это место знает.

Начальник охраны знал.

Они стояли на площадке перед дверью, и Катя, пока стояли, села на корточки и стала расшнуровываться.

Это она делала перед всяким чистым помещением, и никто давно не спрашивал зачем: ботинки на карабин за спину, чулки в карман, и дальше она шла тише всех. Ботинки на карабине стукнули друг о друга, когда она встала.

— Там провода, — сказала Ада.

— Они в стяжках, — сказала Катя.

Она достала нож, посмотрела на лезвие, убрала.

Дверь была закрыта, и из-под двери тянуло холодом — не сквозняком, а ровным плотным холодом, какой идёт только оттуда, где машины греют круглые сутки и воздух гоняют круглые сутки же.

Вместе с холодом из-под двери шёл запах, и это был единственный за всю ночь этаж, который не пах ничем живым: пыль, нагретая на железе, и слабый укол озона, от которого во рту становится как от металла. Ни еды, ни людей, ни сырости. Так пахнет там, где человека держат только затем, чтобы он смотрел на машины.

Рейн положил ладонь на створку.

Он стоял, не снимая её с металла, и не моргал — не нарочно; он просто забывал это делать, когда считал.

Он услышал гул. Потом голоса — неразборчиво, две или три фразы. Потом кашель.

Короткий, сухой, в кулак. И сразу за ним — движение: шорох подошв по бетону, шесть или семь шагов, и тишина.

Через полминуты то же самое. Кашель — шаги — тишина.

Рейн стоял, не снимая ладони, и разбирал это на части, потому что иначе не умел.

Кашель не был испугом. Испуганные кашляют один раз и потом молчат. Этот шёл ровно, с одинаковым промежутком, и был сухой, без мокроты, будто человек каждый раз скребёт горло изнутри. Так кашляют не от простуды.

Так кашляют от воздуха.

Шаги под дверью шли ровные и тяжёлые: нагрудник, автомат, человек на ставке восемнадцать, который стоит тут каждую смену. Не стойка и не контур — дежурное звено, посаженное на пост; и старший у них один, а ртуть на дежурное звено выдают только старшему, потому что её дорого лить и дорого возить, — значит, ртуть в этом зале была ровно одна.

В серверной воздух сушат намеренно: влага — это смерть железа. Сушат и гонят, и фильтруют, и температура шестнадцать. Человек, который в таком воздухе сидит смену через смену год за годом, получает себе горло, которое надо прочищать перед каждым словом. Это не болезнь, это профессия. У них в Консервном такие же были на холодильниках.

И значит, кашель — не команда. Кашель — это то, что он делает перед тем, как заговорить.

Заговорить он может только в микрофон, потому что его люди молчат и работают по связи. Связи Рейн не слышит. Кашель он слышит.

Раз — и его люди начинают двигаться.

Рейн понял это на третьем кашле.

А дальше считать стало нечего, потому что счёт пошёл сам и пошёл до конца.

Он умирает в третьем проходе справа, между шкафами, от очереди в упор.

Он умирает во втором проходе справа, попытавшись обойти.

Он умирает у самой двери, потому что бросился вытаскивать Катю, а она была уже мертва — он просто ещё не знал этого, когда бежал.

Он стоял на площадке перед дверью, положив ладонь на створку, и его трясло.

Не от страха. От того, что за одну секунду — он видел по часам на стене, стрелка не сдвинулась — он трижды вошёл в эту комнату и трижды в ней не выжил. Ноги не понимали, что никуда не ходили.

А они и не ходили. Он стоял на площадке, ладонь на створке, и ни разу не сделал шага. Все три раза он досчитал: кто где, сколько их, куда смотрит первый, — и досчитал до конца, до себя на полу.

Надо было как-то это называть, потому что думать про безымянное нельзя — оно расползается.

Откат, решил он. Пусть будет откат.

Слово было неправильное, и он это понимал. Ничего не откатывалось: время шло вперёд, как шло всегда, и часы на стене это подтверждали. Но изнутри ощущалось именно так — будто тебя отдёрули за шиворот из того, что уже случилось. Он выбрал слово по ощущению, а не по смыслу, как выбирают все.

Остальные стояли у него за спиной и ждали, когда он откроет дверь.

«У тебя пульс сто восемьдесят», — сказала Лира.

«Помолчи. Пожалуйста».

Она замолчала — сразу, без обычного спора. Она никогда так не делала.

Он стоял и складывал в голове, и складывалось теперь легко, потому что он трижды видел, чем это кончается, и знал, какие цифры подставлять.

Геометрия была простая. От двери через весь зал идёт центральный проход. Шкафы стоят поперёк него шестью рядами, по три справа и по три слева, и проходы между ними считают от двери: первый, второй, третий. Полтора метра ширины, оранжевые жгуты под ногами, и ни одного места, где можно лечь.

Расстановка тоже была простая, и он снял её с трёх заходов, как снимают мерку. Двое держат центральный проход — их он встречал каждый раз, они стреляли первыми. Четверо разведены по бокам, по двое на сторону, и они не стреляют, пока не получат команду. Команда идёт по кашлю.

Дальше шла Катя.

Катя всегда идёт первой, и Катя всегда сворачивает направо. Не потому, что так учили, — он видел это сто раз, на любом объекте, в любую дверь: у неё правая рука рабочая, и она уходит в ту сторону, куда смотрит ствол. Она свернёт направо, пройдёт мимо первого прохода, мимо второго, и в третьем её встретят те двое из центра, которые к тому моменту уже сместятся вправо, потому что справа будет шум.

Он знал это так же твёрдо, как знал собственный вес.

И он знал, что если он сейчас скажет это вслух, то будет второй раз за сегодня.

— Стойте, — сказал Рейн.

Арслан обернулся медленно, и было видно, что он ждал этого слова и заранее решил, что ответит.

— Нет, — сказал он.

— Там шесть человек, они...

— Нет. — Арслан подошёл вплотную. Говорил он тихо, только для него. — Я тебя слушал на втором. Ты был прав. Знаешь, что было дальше? Дальше Юру завалило, а ты стоял и орал за секунду до того. И теперь половина группы смотрит не вперёд, а на тебя.

— Я знаю, где они стоят.

— Ты не знаешь, что ты такое, — сказал Арслан. — А я обязан знать, кого веду.

Он выпрямился.

— Заходим. Катя первая. Как всегда.

Катя пошла к двери.

Вот это и была та секунда.

Рейн потом много раз возвращался к ней — не черновиком, а просто головой, как возвращаются к развилке. Он мог подчиниться, и у него были все основания подчиниться: приказ, порядок и всё его ремесло, в котором спорящий в дверях убивает больше народу, чем любая турель.

И он ничего не мог объяснить. Совсем ничего. У него не было ни одного слова, которое не звучало бы как бред.

Поэтому он не стал объяснять.

Он просто обогнал Катю в дверях и вошёл первым.

— Рейн! — сказал Арслан ему в спину.

Он не обернулся.

Дальше всё пошло быстро и криво, потому что он ломал не только чужой план, но и свой собственный, трижды отрепетированный.

Он свернул направо — туда, куда свернула бы Катя, — и встретил тех двоих из центра на полсекунды раньше, чем они ждали кого-то.

Первый стоял боком к проходу, вплотную к шкафу, и держал ствол опущенным, потому что команды ещё не было. На нём был штатный нагрудник со светлой полосой, и ртути на нём не было нигде: звено, посаженное на пост, восемнадцать за смену, и в серверной эти люди стояли по двенадцать часов и знали тут каждую стяжку. Он начал поднимать ствол. Рейн не стал поднимать свой — тот уже был поднят с площадки, — и выстрелил в движении, на втором шаге, не останавливаясь: так у него выходило хуже по кучности и лучше по времени, а в полутора метрах кучность не нужна. Человек сел спиной по шкафу вниз, и шкаф под ним загудел на другой ноте.

Второй был на два шага дальше и оказался умнее. Он не стал стрелять вдоль прохода, где стоял свой; он ушёл за шкаф вглубь, вправо и дальше, и Рейн слышал, как под его подошвами хрустнули стяжки на жгуте.

Рейн не пошёл следом. В полутора метрах между шкафами догоняющий всегда приходит вторым: тот, кто впереди, встаёт за угол и ждёт с поднятым стволом, а входящий заворачивает с

опущенным. Рейн упёрся левой в шкаф — щёлкнуло запястье, глухо стукнул композит о железо — и остался на месте, слушая.

Сзади заорал Арслан, и группа, влившаяся в помещение не так, как собиралась, спутала флангам всё.

— Кашель! — заорал Рейн. — Он хрипит перед тем, как сказать в микрофон! Услышали кашель — через секунду они пойдут!

И самое дикое было в том, что его услышали.

Не потому, что поверили. Потому что в бою слушают того, кто орёт уверенно.

Дед ушёл в левую половину и пошёл по ней, считая проходы и слушая. Кашель — секунда — и он уже был на шаг дальше, чем его ждали.

Шёл он так, как ходят по чужому дому в темноте: не крадучись, а медленно и ровно, держась в полушаге от шкафов, чтобы не задеть плечом и не звякнуть. Автомат висел у него за спиной и всю дорогу не понадобился. В правой был клинок, в левой ничего, и левую он держал раскрытой перед собой, на уровне живота, — ею он находил углы раньше, чем находил их глазами.

Первого в левой половине он взял в проходе, у второго шкафа. Тот стоял к нему вполоборота, как стоят, когда слушают наушник. Дед не стал заходить ему за спину. Он шагнул прямо, левой поймал автомат за цевьё и потянул вниз и на себя — и человек, вместо того чтобы отпустить, вцепился, как вцепляются все, и на эту половину секунды сам подался вперёд. Дальше было короткое, снизу, под нагрудник, и Дед придержал его левой, опуская на провода, чтобы тот не грохнул железом о железо.

Клинок он вытер о собственную штанину, с обеих сторон, тщательно, и пошёл дальше считать проходы.

Игорь тем временем залез наверх.

Вдоль всего зала под потолком шёл короб вентиляции — прямоугольная жестяная труба в полметра шириной, на подвесах, с кожухами на стыках: круглые жестяные обечайки, которыми закрывают соединение двух секций, чтобы не свистело. Одна такая обечайка держала его вес. Игорь лёг животом на короб, упёрся локтями в кожух и получил то, чего в этом зале не было больше ни у кого: он смотрел на лабиринт сверху и видел проходы целиком, все шесть, до дальней стены.

— Левая сторона, третий проход, у второго шкафа, — сказал он ровно, как диктуют адрес. — Тень не та.

Он всегда говорил так: сначала место, потом что не так, и никогда наоборот.

Потом он начал работать по кашлю, и работал просто.

Пока команды нет, люди в проходах стоят вплотную к шкафам и их не видно. Команда поднимает их и двигает. Поэтому Игорь не искал цель — он ждал звука, и на звук клал палец, и человек сам выходил под ствол. Кашель — выстрел. Тридцать секунд тишины. Кашель — выстрел.

Двое. Одного он снял на первом же кашле после того, как залез, второго — на следующем.

Настя глушила связь, и фланги перестали разговаривать друг с другом, и стали просто людьми в лабиринте, которые слышат только чужое горло.

Начальник охраны понял это позже, чем следовало.

Он стоял в дальнем конце центрального прохода, спиной к торцу последнего шкафа, и у него одного в этом зале была ртуть — не полный доспех, а нагрудник и оплечья, старые, перекрашенные поверх прежней конторской краски. Он был единственный, за кого контора платила дороже, чем за похороны, и ровно поэтому он остался стоять, когда его люди уже ложились.

Он поднёс кулак ко рту и кашлянул в последний раз.

Дед вышел на этот звук из-за шкафа, не сбоку, а вплотную — так, что между ними не осталось расстояния на ствол. Начальник успел развернуть корпус и подставить плечо, и это было правильно: там ртуть. Дед не стал бить в плечо. Он поднырнул под подставленное, взял его левой за локоть изнутри и отвёл руку вверх и наружу, открыв подмышку, и клинок вошёл туда, где оплечье сходится с нагрудником и где не сходится ртуть.

Он опустил его на провода и придержал голову, чтобы та не стукнула о шкаф.

Последнего — того самого, второго из центра, ушедшего вглубь, — добирали уже без него: тот пошёл к двери, к свету, потому что в лабиринте без связи все идут к свету, и Игорь сверху видел его весь путь и вёл его четыре шага, прежде чем выстрелить.

Бой занял две минуты.

Катя умерла на второй.

Она вошла вслед за Рейном, а не первой. Она свернула не направо, а налево, потому что справа уже был он, а вдвоём в полутора метрах делать нечего.

Слева, во втором проходе, за торцом шкафа стоял человек, которого он не считал.

Во всех трёх заходах этот человек стоял в дальнем конце зала, у окна, спиной к стеклу, и не двигался с места ни разу. Рейн трижды прошёл мимо него и трижды его не тронул, потому что тот не был в счёте: он не стрелял, не смещался и не получал команд. Он просто стоял у окна.

Он стоял у окна, пока Катя шла налево.

Он выстрелил один раз.

Минус один.

Рейн сидел рядом с ней на оранжевых проводах, и гул шёл через него насквозь.

Он трижды видел, как она умирает в третьем проходе справа. Он сделал так, чтобы она не пошла направо. Она умерла во втором слева.

«Это не твоя вина», — сказала Лира очень осторожно.

«Знаю».

«Ты правда так думаешь?»

«Нет».

Дед в это время смотрел не на Катю, а на Рейна — коротко, два раза, и оба раза успевал отвернуться раньше, чем тот поднимал голову.

Он сидел и смотрел, как у Кати на скуле подсыхает чужая кровь, и думал одну простую вещь, от которой ему было совсем нехорошо: если бы он промолчал, всё было бы так же. Она умерла бы в третьем проходе справа, на минуту раньше.

Значит, он не спас никого. Он просто передвинул.

И всё-таки он сделал это. И знал, что сделает снова.

Он полез внутрь себя — проверить, не забрали ли чего. Дамба на месте. Коленка на месте. Солнце с ресницами на месте.

С него не взяли ничего, и от этого стало совсем скверно: значит, брали бы, если бы вышло.

Арслан подошёл, когда Дед уже поднял её и понёс к лифтовому холлу — не потому, что её надо было куда-то нести, а потому, что оставлять её на проводах было нельзя.

— Ты нарушил приказ, — сказал Арслан.

— Да.

— Ты пошёл первым в дверь, в которой я поставил другого человека.

— Да.

— И она всё равно мертва.

— Да, — сказал Рейн.

Он ждал удара. Он бы не стал уклоняться.

Арслан молчал секунд пять.

— С этой минуты ты идёшь рядом со мной, — сказал он наконец. — Не сзади и не впереди. Рядом. Я хочу видеть твоё лицо, когда ты начинаешь знать.

Он пошёл дальше и через два шага бросил, не оборачиваясь:

— И ори раньше. Не жди.

Дед нёс её сам и никому не дал.

Он нёс её на руках, как носят спящих, и шёл ровно, и на площадке у лифтов положил на пол очень аккуратно, придерживав голову ладонью, хотя придерживать было уже незачем.

Потом сел рядом на корточки и минуту ничего не делал.

— Я её три года знаю, — сказал он наконец. — Она мне ни разу не сказала, где живёт. Я спрашивал. Она говорила: а зачем тебе.

Он выпрямился.

— Вот теперь и незачем.

У Кати в карманах было: нож, второй нож, пачка сигарет, которые она не курила и таскала, чтобы угощать, ключ от квартиры, в которой её никто не ждал, и сложенный вчетверо талон на бесплатный обед в столовой Консервного, просроченный.

Ада нашла у неё под кожей на затылке модуль — дешёвый, серый, «ускорение реакции, серия Б».

Она посмотрела на Рейна.

— Не надо, — сказал он.

— Опять?

— У меня один свободный слот, — сказал он. — И впереди ещё десять этажей.

Подержав пластину в пальцах, Ада убрала её себе в карман, отдельно от всего остального.

— Тогда я понесу, — сказала она. — Потом решишь.

Рейн кивнул.

Он уже понимал, что «потом решишь» будет означать: выбрать, кого из них нести дальше. И что слотов меньше, чем

людей. И что этот счёт начался сегодня и закончится не сегодня.

Уже у выхода Ада задержалась у чужого экрана — он горел сам по себе, никем не выключенный.

— «Начало термической обработки нижних ярусов через сто двадцать минут», — прочитала она вслух. — Это висит с двадцати трёх двенадцати. Значит, в час двенадцать.

— Нижних — это каких? — спросил Тоха.

— Тех, что под нами.

Никто ничего не ответил, потому что под ними была пена, а над ними был выход, и обе эти вещи в тот момент казались важнее любого срока.

Тоха посмотрел на часы. Ада не посмотрела. Через десять минут они пошли наверх, и до часа двенадцати оставалось сорок семь минут, и в ту минуту это не значило ничего.

Первая

После Кати. Третий этаж, потом Нижние шлюзы.

Ботинки стучали всю дорогу.

Дед нёс её от серверной до лифтового холла, и ботинки висели у неё за спиной на карабине, как всегда, потому что в серверную она вошла босиком: пол там был чистый, мытый, с оранжевыми кабельными лотками, и она разулась ещё на площадке, сев на нижнюю ступеньку, и сунула чулки в карман.

Ботинки болтались и били друг о друга — негромко, но в ровном гуле серверов это было слышно.

Дед прошёл сорок шагов и остановился. Он постоял, держа её на руках, и не мог решить задачу, которая у него не решалась: одной рукой её не удержать, а двумя не снять карабин.

— Держи, — сказал он Аде.

Ада сняла ботинки и понесла их отдельно, в левой руке, за шнурки.

Она потом весь этаж ходила с ними, потому что не придумала, куда деть. Положить их рядом с телом было нельзя — тела оставляли, а вещи забирали. Сунуть в сумку тоже: сумка была не её, сумка была общая, и в общей сумке лежали фильтры.

Она отдала их Тохе на лестнице.

Тоха взял, не спросив, что это, и понёс, и до самого шестого этажа таскал чужие ботинки, перекинув через плечо, и никто ему ничего не сказал, потому что сказать тут можно было только глупость.

На шестом они пропали. Он не помнил где.

Про то, что она вошла второй, в группе не говорили в ту ночь ни разу.

Это надо объяснить, потому что молчание было не благородное, а практическое.

Дед видел, как Рейн обогнал её в дверях. Арслан видел. Ада, скорее всего, тоже. Каждый из трёх решил про себя, что разбираться будет потом, и у каждого было для этого своё основание: у Деда — что парень сунулся под пули вперёд, а такое не разбирают на ходу; у Арслана — что разбирать будет он и в другом месте; у Ады — что она не уверена и что уверенность придёт, если сесть и вспомнить по порядку, а садиться было негде.

Так это и осталось неразобранным до крыши.

И только на девятом, на лестнице, Дед вдруг сказал в пространство:

— Она не любила, когда её обходят.

— Чего? — сказал Тоха.

— Ничего, — сказал Дед. — Пошли.

Первой после неё не пошёл никто.

Это вышло само и очень быстро. На четвёртом этаже, в жилом коридоре, перед дверью с детским рисунком, все четверо, кто там был, встали у стены, и получилась пауза, в которой сделалось неприлично.

— Я, — сказал Тоха.

— Сидеть, — сказал Дед.

И вошли вдвоём, плечом в плечо, боком, в дверь метр десять, что было неудобно, глупо и ровно вдвое медленнее.

Дальше всю ночь так и ходили — парами. Арслан не отменил: он посчитал время и увидел, что парами выходит дольше, и всё равно не отменил, а это было на него не похоже.

Девять лет одна женщина делала работу, которая после неё потребовала двоих, и в расчётной эта работа называлась «разведка, ставка три четыреста».

Ключ от её комнаты лежал у Ады в кармане одиннадцать дней.

Она не искала адрес: адреса не было ни в бумагах группы, ни у Арслана, а Арслана к тому времени уже никто не видел. Ада нашла его сама, через биржу, за двести кредитов, у человека, который торговал не информацией, а доступом к старым ведомостям городских проводников — там стояла регистрация по месту жительства, потому что проводникам её когда-то выдавали.

Нижние шлюзы, третий квартал, дом без номера, вход со двора.

Двор был бетонный, с натянутыми верёвками, и на верёвках висело чужое, и было слышно воду.

Комната открылась не с первого раза.

Ада повозилась с замком, потом поняла: замок был целый, а дверь просела и её надо было приподнять, и это знает только тот, кто открывает её каждый день.

Внутри было четыре метра на три.

Койка, застеленная как в казарме. Чайник. Табуретка. На гвозде — куртка не по сезону. Коробка с зимними вещами, перевязанная бечёвкой, стояла у стены, и по тому, как лежала на ней пыль, было видно, что её не открывали с прошлой зимы и

что в прошлую зиму открывали.

На подоконнике — три пары обуви, все на тонкой подошве, все переклеенные.

И больше ничего.

Ада обошла эти четыре метра дважды, ища, что взять, и не нашла ничего, что имело бы смысл забирать. Это было не бедно. Это было точно рассчитано: у человека имелось столько вещей, сколько он может унести за один раз, и ни одной сверх.

Она села на табуретку и просидела минут десять.

Потом заметила, что сидит, не сняв ботинок, на чистом полу, и это было единственное, что в тот день её пробило по-настоящему.

В дверях стояла старуха.

Она стояла так, как стоят люди, которые слышали, что дверь открылась, и пришли посмотреть, — не скрываясь и не заходя.

— Вы кто?

— Я с работы, — сказала Ада.

— А она?

Ада повернулась к ней. Старуха была очень маленькая, в двух кофтах, и держалась за наличник.

— Она не вернётся, — сказала Ада.

Старуха покивала — не удивилась, не заплакала. Потом сказала:

— Мать её я знала.

И вошла всё-таки, и села на койку, потому что табуретка была занята, и села на самый край, придерживая юбку, как садятся в

чужом.

Разговор был длинный и не про Катю.

Старуха говорила про воду, про коллекторы, про то, что крышки снимали и в прошлом году опять сняли две, про то, что туман теперь садится позже, а стоит дольше, и что молодые ходят как хотят и ничего не боятся.

Ада слушала, потому что торопиться было некуда и потому что понимала: тут ничего нельзя ускорить, тут можно только дожидаться.

Дождалась она на одиннадцатой минуте.

— Я впереди шла, — сказала старуха без всякого перехода. — В то утро. За водой.

— Впереди?

— Я всегда там обходила. Там коллектор, я его тридцать лет обхожу, я его ногами помню. — Старуха посмотрела в пол. — А она сзади шла. Я думала, она видит.

— Видно на два шага, — сказала Ада.

— Вот, — сказала старуха. — Вот и девочка мне то же сказала. Ей десять было.

Она помолчала.

— Я потом ходила к ней. Еду носила. Она брала и говорила спасибо. Она мне ни разу слова плохого не сказала, ни в десять, ни в сорок. Я сорок лет ждала, что скажет.

— Она не сказала бы.

— Я знаю, — сказала старуха. — Хуже этого ничего нет.

Ада вышла на улицу и обнаружила, что несёт в руке пачку сигарет.

Она достала её в комнате, машинально, из своего же кармана — ту самую пачку, которую сняла с Кати на третьем этаже вместе с ножами и талоном, — и всё это время держала.

Она вернулась и протянула старухе.

— Не курю, — сказала старуха.

— Она тоже.

Старуха посмотрела на пачку, потом на Аду, и что-то в её лице сошлось.

— А, — сказала она. — Это чтоб разговор начать.

— Откуда вы знаете?

— Мать её так делала, — сказала старуха. — У неё папиросы были. Она их людям на берегу давала, которые ждать не умели. Даст — и человек стоит, курит, и не лезет в туман раньше времени. — Она пожала плечами тем самым пожатием, в котором нет ни жалости к себе, ни вызова. — Она ими людей на месте держала. Никто не догадался.

Ада стояла с пачкой в руке.

Она двенадцать лет собирала то, что остаётся от людей, и считала, что понимает, как это устроено, и только что выяснила, что не поняла самой простой вещи про человека, с которым ходила три года.

Она убрала пачку обратно в карман.

— До свидания, — сказала она.

— Иди уж, — сказала старуха. — Иди по свету, темнеет.

Талон Ада отдала не сразу.

Он был сложен вчетверо, просрочен на пять месяцев, и по нему полагался один бесплатный обед в столовой при Консервном — из тех талонов, которые выдают городским проводникам и которые никто потом не переоформляет, потому что проводников больше нет.

Она пошла туда через неделю, вечером, в час, когда очередь самая длинная.

Очередь была на сорок минут, и Ада отстояла все сорок, и за это время трижды хотела уйти.

На раздаче она положила талон на стойку.

Женщина развернула его, посмотрела на срок, посмотрела на Аду и ничего не сказала. Она взяла поднос, положила на него второе, хлеб и компот, придвинула и отвернулась к следующему.

Ада села за длинный стол и съела всё.

Еда была горячая и совершенно обыкновенная, и сидеть было тесно, и человек справа читал что-то с экрана и ел не глядя. Сорок минут в очереди и двенадцать минут за столом. Вот что было на другом конце того талона, которого Катя девять лет не могла себе позволить.

Пачку Ада не выбросила.

Она лежала у неё в кармане до конца того месяца, потом дома, потом в жестяной коробке из-под чая — вместе с ножом, с талоном и с серой пластиной из-под кожи на затылке, «ускорение реакции, серия Б», дешёвой и стёртой по краю.

Много лет спустя, в чужом городе и при чужих людях, Ада достала эту пачку и предложила незнакомому человеку — в неудобной паузе, просто чтобы было с чего начать.

Человек взял.

Они разговорились, и разговор оказался важным, и Ада весь вечер потом думала не о разговоре.

Она думала о том, что держала его на месте.

Пена

23:55. Третий этаж, восточное крыло.

Пена пошла снизу в двадцать три пятьдесят пять.

Они слышали её раньше, чем увидели: по шахте пошёл звук, которого в здании быть не должно, — мягкий, шипящий, похожий на то, как открывают очень большую бутылку.

— Это что? — сказал Олег.

Женя лёг на пол, приложив ухо к бетону.

— Консервация, — сказал он. — Они гонят пену в нижние ярусы.

— Так мы на третьем.

— Ну да, — сказал Женя. — Мы на третьем. А она на первом.

Он поднялся и вытер щеку.

— Она поднимается, — сказал он.

Про пену Женя знал больше, чем хотел бы.

Он объяснял на ходу, короткими фразами, пока они шли по коридору к лестнице, и по тому, как он объяснял, было слышно, что он это уже видел.

— Она не душит, — говорил он. — Она заполняет. Дышать сможешь секунд сорок, потом фильтр забивается, потом всё.

— А без фильтра?

— Тогда десять.

— Упереться в неё есть чем?

— Ни чем, — сказал Женя. — В ней не плавают, в ней вязнут. Это не вода, это как очень лёгкий цемент. Она встаёт за двадцать минут. И если попадёшь — не дёргайся, стой ровно. Дёргаться — это фильтр.

Он оглянулся.

— Она встанет за двадцать минут, и через двадцать минут третий будет её. Лестницы она заливает первыми: лестницы — это шахты.

Они пошли не по лестнице.

Женя повёл его через прачечную — там, где в старых зданиях идут вертикальные короба для белья, — и это оказалось правильно, потому что короб был узкий, чистый и сухой.

Он лез первым и на середине остановился.

— Стой, — сказал он.

— Что?

— Тут кто-то есть.

В коробе, зажатая между вторым и третьим этажом, сидела женщина из технической смены — не охрана и не подрядчик, комбинезон и ключи на поясе.

Ей было лет пятьдесят. Она сидела верхом на перегородке, держалась двумя руками и не двигалась, и было видно, что сидит она так уже давно: у неё дрожали ноги.

— Не подходите, — сказала она сразу.

— Не подходим.

— Я застряла.

— Мы видим, — сказал Женя. — Держитесь как держитесь, не перехватывайтесь. Вы куда лезли?

— Вверх, — сказала женщина.

— Почему вверх?

— Потому что внизу пена, — сказала она, и по её голосу было слышно, что она объясняет это уже не в первый раз, только раньше объясняла сама себе.

Вытаскивали её одиннадцать минут.

Олег зашёл сверху, лёг на живот и взял её под руки.

— Взял. Пусть отпустит.

— Руки разожмите, по одной, — сказал Женя ей снизу. — Мы держим. Упасть не дадим, я вам обещаю.

Олег держал её под руки сверху, Женя снизу подпирал и говорил ей ровным голосом всё, что надо говорить в таких случаях: что всё нормально, что мы вас достанем, что дышите, что не дёргайтесь, что вот так, хорошо, ещё чуть-чуть.

Он делал это хорошо и явно много раз.

— Вы врач, что ли? — сказала женщина, когда её вытащили.

— Выездной, — сказал Женя. — Бывший.

— А сейчас?

— А сейчас нет, — сказал Женя.

Её звали Тамара, она работала в здании с постройки и знала его лучше, чем Олег и Женя вместе.

Это выяснилось за две минуты, и это спасло им обоим ночь.

— Вам куда? — спросила она.

— Наверх.

— Зачем? — сказала Тамара. — Наверху нет ничего. Наверху директора и оранжерея.

— Нам туда.

Она посмотрела на них — сначала на одного, потом на другого, — и решила не спрашивать.

— Тогда не по лестнице, — сказала она. — По лестнице вы на шестом упрётесь: там дверь с электрозамком, её не открывают вручную, я двадцать раз просила. Вам надо через грузовую шахту, там скобы.

— А где шахта?

— Пойдёмте, — сказала Тамара. — Только я до пятого, дальше сами.

До пятого шли вместе.

Она шла быстро, для своих пятидесяти очень быстро, и по дороге рассказывала — не из болтливости, а потому что человеку, только что вынужденному из короба, надо говорить.

Рассказывала она про здание.

Что тут всё держится на трёх насосах и что один из них с осени не работает, и они писали. Что на шестом четырнадцать человек в смене и все с рук снимают по три тысячи на фильтры, потому что фильтров не выдают. Что в оранжерее раньше пускали сидеть в обед, а с прошлого года закрыли, потому что кто-то унёс лимон.

— Лимон? — сказал Олег.

— Один лимон, — сказала Тамара. — Настоящий. С дерева. С тех пор карточкой по расписанию, а всем неудобно, и никто не

ходит.

На пятом она остановилась у шлюза.

— Дальше вам вон туда, по стрелке, — сказала она. — Шахта за поворотом. Скобы старые, но держат, я по ним лазила.

— Спасибо, — сказал Олег.

— А вы куда? — спросил Женя.

Тамара пожала плечами.

— Вниз, — сказала она. — У меня там смена.

— Там пена.

— Там пена на первом и на втором, — сказала Тамара. — А на третьем у меня Галя сидит в диспетчерской, и она без меня не выйдет, потому что не знает, что дверь за щитом открывается вручную. Я ей говорила два года, она не запомнила.

Она подтянула рукава.

— Я схожу и мы вместе выйдем, — сказала она.

Олег посмотрел на Женю. Женя посмотрел на Олега.

Ни один из них не сказал ей того, что оба знали: что вниз уже нельзя, что пена идёт по лестницам первым делом и что она встаёт за двадцать минут.

Они не сказали, потому что она бы всё равно пошла.

— Удачи, — сказал Женя. — Идите быстро и на площадках не стойте.

— И вам, — сказала Тамара.

Она пошла вниз по коридору и на повороте обернулась.

— Вы в оранжевее дверь не ломайте, — сказала она. — Она на магните. Её просто дёрнуть надо посильнее.

И ушла.

Они полезли в шахту молча, и минут пять никто не говорил.

Потом Олег сказал:

— Надо было сказать.

— Надо было, — согласился Женья.

— И чего не сказал?

Женья долго не отвечал.

— Я четыре года ездил на такие вызовы, — сказал он наконец.
— Знаешь, чему научился? Что людям, которые идут за своими, не объясняют. Они всё равно идут. Им только настроение портишь.

Он полез дальше.

— А вдруг она успеет, — сказал он снизу, не оборачиваясь.

Она не успела.

Внизу. Машина

23:40. Пока они на втором.

Машина стояла во дворе между гаражами, носом к выезду, с погашенными огнями.

Вера Ильина сидела сзади и читала.

Она читала с планшета, подсвечивая себе ладонью, чтобы свет не шёл в окна: годовой отчёт по клиническим осложнениям, скучный документ, который она всё равно собиралась прочесть на этой неделе. Двести страниц, в которых люди осторожными словами объясняют, почему у пациентов отторгается то, что не должно отторгаться.

Читалось плохо.

Впереди, за рулём, сидел Тимофей — водитель, он же охрана, с ней уже одиннадцать лет, — а ещё трое стояли снаружи: один у въезда, двое между гаражами. Они ничего не делали, только стояли и мокли, и это было правильно: люди, разговаривающие в такой ситуации, нервируют.

По крыше шёл дождь.

— Вера Андреевна, — сказал Тимофей. — Может, в машине погреться дам? Двигатель на минуту.

— Нет.

— Как скажете.

Тишина.

Через минуту он всё-таки сказал:

— Холодно ведь.

— Тимофей.

— Молчу.

В двадцать три пятьдесят одно она увидела в башне вспышку.

Не пожар — короткую, на два этажа выше середины, за чёрным стеклом. Свет мигнул и погас. Через несколько секунд ещё раз.

Ильина посмотрела на часы, отметила время в блокноте — обычном бумажном блокноте, который держала для таких случаев, — и вернулась к отчёту.

Она делала это уже в четвёртый раз за ночь.

Ей было пятьдесят три года, и она собиралась жить дальше.

Она никогда не говорила об этом вслух, даже мужу, пока он был жив, и уж тем более не говорила совету директоров. Она просто двадцать шесть лет подряд делала то, что делают люди, собирающиеся жить дальше: работала, копила, входила в нужные комитеты и на каждом углу, где можно было дотянуться до информации о хомарине, дотягивалась.

Это было не жадностью. Ильина видела достаточно человеческих тел, чтобы знать про них главное: они кончаются. Всё остальное в её жизни — операции, диссертация, клиника, собственные руки, которые она берегла и не меняла, — было подготовкой к тому, чтобы однажды не кончиться.

Сегодня получится. А если нет — она попробует ещё раз, и ещё раз, потому что другого способа не кончиться пока никто не предложил, а времени у неё ровно столько, сколько у всех.

Отложив планшет, она посмотрела на башню.

Чёрное стекло, тринадцать этажей, синяя реклама ползёт по фасаду: бессмертие, рассрочка двадцать четыре месяца. Реклама была её, то есть корпорации, то есть в каком-то смысле её. Ильина знала, что рассрочка — на протезы, а не на то, что написано, и что юристы согласовали формулировку в позапрошлом году, и что она сама на том совещании сказала «пусть будет», потому что думала о другом.

Сейчас это показалось ей смешным. Не остроумным — именно смешным, как бывает смешно перед экзаменом.

В ноль часов девять она набрала номер.

— Слушаю, — сказал женский голос без интонации.

Говорила она, не отнимая трубки от плеча: в динамике было слышно, как она переворачивает страницы и как под пальцем щёлкает степлер. Женщина сидела не в кабинете, а в приёмной, и приёмная была проходная — за разговор мимо неё дважды прошли.

— Это я. Вы на месте?

— На месте. Два квартала к северу, — сказал голос. — А вы, значит, к югу.

— Значит, к югу.

Пауза.

— Вера, это глупо, — сказал голос. — Мы могли бы сидеть в одной машине и пить чай.

— Не могли бы, — сказала Ильина.

— Почему?

— Потому что вынесут одно, — сказала Ильина. — А нас трое.

Голос помолчал.

— Справедливо, — сказал он. — Тогда до утра.

— До утра.

Она отключилась и положила телефон экраном вниз.

Тимофей смотрел прямо перед собой и делал вид, что ничего не слышал, и делал это профессионально.

В ноль часов двадцать она набрала Асю.

Ася не брала уже второй раз. Первый — в двадцать три ноль пять, сразу после того, как старик позвонил и сказал: образец идёт вниз, встречайте, девочку зовут Ася, она в халате, не напугайте её.

Гудки шли ровно. Восемь штук, потом голосовая почта, и очень молодой голос, записанный, судя по интонации, в общежитии и в хорошем настроении, сказал: «Привет! Я не могу говорить, но вы напишите, я честно отвечу».

— Это Вера Андреевна, — сказала Ильина после сигнала. — Я на месте. Я жду.

Она отключилась и положила телефон экраном вниз.

Она не знала, что этот звонок в ту же секунду прозвучал в вестибюле — под стойкой, в кармане халата, в двух метрах от связанного человека, который слышал его и не мог дотянуться.

В ноль часов сорок в башне погас свет.

Не весь: погасли верхние этажи, с восьмого и выше, — сразу, одной полосой, как будто отрезали. Через полминуты там зажглось аварийное, красноватое, тусклое.

Ильина отметила время.

Потом, впервые за ночь, поймала себя на том, что считает: тринадцать наёмников, из них дойдёт сколько? Она подумала — половина, и тут же поправилась, потому что привыкла считать честно: меньше половины.

Она подумала об этом ровно так, как думала о расходных материалах на операции. Без удовольствия и без ужаса. Просто с некоторым сожалением о том, что иначе нельзя.

А потом всё-таки посмотрела на башню ещё раз и сказала вслух, негромко, себе, в дождь:

— Ну давайте. Давайте, мальчики.

Тимофей повернул голову.

— Вы что-то сказали?

— Ничего, — сказала Вера Ильина и снова взяла планшет.

Двести страниц про то, почему у людей отторгается то, что не должно отторгаться: она читала их до половины второго, честно, строчка за строчкой, и ни одной не запомнила.

Галерея

00:26 — 00:38. Четвёртый этаж, площадка перед жилым коридором.

Они поднялись по западной лестнице до четвёртого за девять минут и встали перед дверью галереи.

Галерея — это был короткий переход, метров двенадцать, со стеклом по одной стене и трубами по другой, соединявший крыло с башней на уровне жилых модулей. Её делали, чтобы персонал в обед ходил в столовую не через двор. Потом столовую перевели, и ходить стало некуда, и галерею на башенной стороне заставили шкафом.

Захар постоял у двери и объяснил своим, как войдёт.

— Оружие на ремень за спину, — сказал он. — Все.

— Захар.

— За спину, — сказал Захар. — Мы входим к людям, которые за два часа потеряли своих и которых только что заперли. Они выстрелят в первое, что покажется из тёмного проёма. Значит, из проёма должны показаться руки.

Он посмотрел на Кешу дольше, чем на остальных.

— Кеша. Руки.

— Да я понял.

— Ты не понял, — сказал Захар. — Ты сейчас будешь стоять с руками, а тебе в лицо будет смотреть ствол. Я хочу, чтобы ты про это подумал заранее, а не когда он будет смотреть.

Кеша подумал заранее — Захар видел, что подумал, — и всё равно этого не хватило.

С той стороны шкаф стоял не плотно.

Он стоял косо, отодвинутый когда-то, чтобы пролез монтажник, и в щель между ним и стеной был виден кусок площадки: перила, пожарный кран, край чьего-то сапога.

Захар смотрел в щель секунд двадцать.

На площадке было восемь человек. Они сидели и стояли так, как сидят и стоят на четвёртом этаже те, кому идти ещё девять: без разговоров, разбирая снаряжение, с одним человеком в дозоре на пролёт выше и одним на пролёт ниже.

Один сидел отдельно, у стены, и держал в руке флягу, не пил.

— Порядок у них хороший, — сказал Захар тихо.

— И?

— И это плохо, — сказал Захар. — Где порядок, там дисциплина огня. У них стреляют по команде.

Он подумал.

— Значит, сначала голос, — сказал он. — Голос, потом руки, потом я.

Он сказал в щель, громко и ровно, не высовываясь:

— Четверо. Стволы за спиной. Выходим по одному. Не стреляйте.

Площадка сделалась мгновенно другой.

Рейн услышал это первым, потому что сидел ближе всех к шкафу, и первое, что он сделал, — посчитал: голос мужской, снизу-сбоку, не из коридора и не из шахты, идёт из стены, в которой нет двери, значит, дверь есть, и он её не видел. На схеме, которую показывал Арслан, этой двери не было.

— Стена, — сказал Рейн. — Слева, за шкафом. Там проход.

Дед двинулся первым, как двигался всегда: не к проёму, а вбок от него, чтобы стоять не против, а под углом.

Арслан положил ствол на перила и сказал в щель:

— Выходи.

— Нас четверо.

— Я слышал. Выходи один.

Захар вышел с поднятыми руками и медленно повернулся, показывая ремень за спиной.

За ним вышла Ната. За Натой — Пыж, и Пыж в проёме застрял плечом, и это была та секунда, за которую всё и случилось.

Кеша шёл четвёртым.

Он шёл за широкой спиной, ничего не видя, и слышал только, как Пыж скрипит по кромке и сопит, и в этот момент сверху, с пятого пролёта, дозорный Арслана крикнул вниз одно слово — «идут». Он крикнул это не про них: по лестнице сверху, из своего коридора, шла тройка технической смены, которую поднял по тревоге шестой пост и которой сунули автоматы.

Кеша услышал крик, увидел, как двое на площадке повернулись и вскинули оружие, и решил, что вскинули на него.

Он сделал единственное, что успел: рванул ремень из-за спины через голову, вслепую, застрял ремнём за ворот и выстрелил.

Одной. Вверх, в перекрытие.

Потом было десять секунд, и в них поместилось всё.

Серёга шагнул вперёд, а не назад — левой, коротко — и поставил щит боком между проёмом и Адой, и в щит вошли две пули с пятого пролёта, потому что сверху уже сыпала техсмена, услышавшая выстрел.

Пыж выдрал плечо из проёма и лёг, накрыв Нату, как ложится человек, которому пятьдесят два и который знает, что быстро не встанет.

Захар не опустил руки.

Он остался стоять с поднятыми, разворачиваясь корпусом на Кешу, и успел сказать ему одно слово, и слово было «стой», и Кеша его не услышал, потому что выстрелил второй раз.

Второй ушёл в перила.

Третьего не было.

Дед прошёл два метра подкатом.

Он шёл под очередь, которая шла сверху, — не пригибаясь, а именно катясь, всем своим весом, коленом вперёд, — и на выходе из подката встал на левое колено, и левой рукой поймал ствол Кеши снизу, у магазина, и повёл его вверх и в сторону перил.

Кеша дёрнул на себя. Ствол не пошёл.

Тогда Дед сделал полшага правой, вошёл внутрь, плечом в грудь, и Кеша сел.

Он сел и остался жив, и жив он был ещё три секунды.

Клинок Дед не тронул. Клинок ему был не нужен: мальчишка сидел на полу, держась за ствол, который уже не держал, и всё было кончено.

Но сверху, с пятого, стреляли вслепую и длинными, и одна из этих пуль вошла Кеше под правую лопатку сзади, и он лёг набок,

и всё.

Его убили свои. Не свои по группе — свои по этажу: трое мужиков в комбинезонах, поднятых по тревоге, которые за всю жизнь ни в кого не стреляли и поэтому стреляли во всё.

Техсмену Дед снял с пролёта за восемь секунд и не тронул ни одного насмерть, и это единственная часть той ночи, которую он потом не вспоминал ни разу.

Он поднялся по пролёту вдоль внутренней стены, где пролёт не простреливается снизу. На повороте площадки шагнул вправо — один шаг, широкий, с переносом веса, — и очередь прошла там, где он только что стоял, по перилам, выбивая краску.

Первого он взял за автомат и приложил лицом о перила, и автомат остался у него в руке.

Второго — поворотом на месте: клинок вышел из-за спины на движении корпуса и встал плашмя под подбородком, и мужик замер так, что стало слышно, как он дышит носом. Дед руку не двинул.

— В коридор, — сказал он. Не громко.

Третий уже стоял у своей двери и держал её открытой обеими руками. Они ушли туда все трое, забрали дверь за собой, и на лестнице снова стало слышно воду в трубе.

Потом он вернулся вниз, обтёр клинок о штанину и сказал, глядя на Кешу:

— Он же руки поднимал.

— Поднимал, — сказал Захар.

Захар стоял на ногах ещё минуту и разговаривал.

Он говорил с Арсланом, и говорил быстро, потому что времени было мало, и не потому, что он это чувствовал, — он просто всегда говорил быстро, когда не платили за разговор.

— Западное крыло, — сказал он. — Старый корпус, с этой стороны. Оно не под санацией. У них на него нет кнопки, оно в реестре под дробью, другой хозяин.

— Дальше.

— Отсюда вниз по западной лестнице до подполья. Двадцать шесть шагов от последней ступени до железной двери, дверь подпёрта поддоном, за дверью тоннель под дворами, тоннель выводит в насосную у воды. Насосную мы вскрыли, она открыта.

Арслан молчал.

— Это выход, — сказал Захар. — Он работает. Мы по нему вошли двадцать минут назад.

— Кто вас прислал?

— А это важно?

— Мне — да, — сказал Арслан.

— Тот же, кто вас, — сказал Захар. — Только с другой стороны листа.

Он сел на ступени в середине следующей фразы, и по тому, как он сел, стало видно, куда он поймал.

Поймал он в бок, ниже брони, — не от техсмены, а от той второй, которую выпустил Кеша в перила: пуля ушла в перила, а перила дали осколок, и осколок был не пуля, а кусок собственного поручня.

Миша подошёл сразу.

Он делал всё, что делают в таких случаях, и делал это десять минут: тампон, зажим, две ампулы, ремень, ладонь под спину. Он разговаривал ровно и не спрашивал ничего лишнего. Он был медиком десять лет и умел не смотреть человеку в лицо, когда смотреть в лицо незачем.

— Ну, — сказал он наконец.

— Ну, — сказал Захар.

— Печень, — сказал Миша. — Я тебя не унесу, и никто не унесёт, и до низа тебя нести двадцать шесть шагов и четыре этажа.

— Знаю, — сказал Захар. — Я в инкассации видел.

Он посмотрел на своих.

— Ната. Пыж. Вниз.

— Захар.

— Вниз, — сказал Захар. — И заберите Кешу. Не тащите. Сдвиньте, чтобы он не на проходе лежал. Всё.

Ушли они не сразу, и Ната потом много лет считала, что уходить надо было быстрее, а Пыж — что медленнее.

Перед тем как уйти, Ната сделала одну вещь.

Она подошла к Аде — не к Арслану, к Аде, потому что за двадцать минут рассмотрела, кто на площадке держит железо, — и сказала:

— Дверь за шкафом. Шкаф косой, за ним щель. Он не прикручен, его толкают вбок ногой.

— Я поняла.

— Ты не поняла, — сказала Ната. — Вы сейчас пойдёте наверх, потому что вам сказали наверх. Я про эту дверь тебе говорю не сейчас, а на потом, когда наверху кончится.

Ада посмотрела на неё.

— Сколько вас было? — спросила она.

— Четверо.

— А нас тринадцать, — сказала Ада.

И это было единственное, что они сказали друг другу за всю жизнь.

Захар прожил ещё девять минут и последние две молчал.

В эти две минуты рядом с ним сидел Рейн, потому что Арслан велел ему сидеть: старший сказал «останься, послушай, он ещё скажет», и это было сказано без интереса к человеку и с полным интересом к сведениям.

Захар сказал ещё три вещи, и все три оказались правдой.

Что пена идёт только в ярусы и выше ярусов не встанет, потому что задвижки кончаются на перекрытии второго.

Что вниз, если идти вниз, надо не по восточной лестнице, а по западной, и что на первом этаже не горит и не будет гореть до утра.

И что в подполье холодно и там есть вода в трубе, если пробить трубу, и что воду надо пить сразу, а не набирать.

— Почему не набирать? — сказал Рейн.

— А во что, — сказал Захар.

Он умер в ноль тридцать восемь, и Рейн запомнил не его лицо, а эти два слова, и вспомнил их через семь минут, стоя в

чужой квартире перед женщиной с мальчиком на руках.

Спортзал

Из жизни Миши, за девять лет до башни.

Медиком он стал в армии, полевым, и это была не та медицина, которой учат.

Его учили четыре месяца, и из четырёх месяцев два с половиной занимало одно: как быстро понять, кем заниматься не надо.

Он говорил, что эта наука портит человека медленно и незаметно, как сырость портит стену, и что портит она не тем, что ты отказываешь, а тем, что со временем начинаешь отказывать правильно.

До дамбы он думал, что понимает эту фразу.

Дамбу прорвало ночью, во вторую вахту, на участке между третьим и четвёртым шлюзом, и первые полтора часа никто не знал, насколько.

Миша тогда работал в городской службе, на выезде, и его бригаду сняли с обычного вызова и отправили в школу на Мелководье, потому что школа стояла на насыпи и вода до неё не дошла.

Точку развернули в спортзале.

Это надо описать, потому что спортзал — самое неподходящее место в городе для того, чем там занимались. Он большой, гулкий, с высоким потолком и деревянным полом, размеченным жёлтым и синим, и в нём всё слышно отовсюду. В спортзале нельзя сказать ничего так, чтобы не услышали у другой стены.

Они разложили маты. На матах было место для сорока человек.

К четырём утра в зал внесли сто двадцать.

Сортировку Миша делал один, потому что второй фельдшер был мальчик после курсов, а третьего не было.

Работало это так. Он шёл по ряду, наклонялся, тратил на человека от четырёх до двенадцати секунд и говорил вслух одно из трёх слов. «Синий» — сейчас. «Жёлтый» — ждёт. «Чёрный» — не занимаемся.

В спортзале всё слышно отовсюду.

Он потом говорил, что за ту ночь ненавидел не воду и не начальство, а акустику.

На третьем ряду лежала женщина лет пятидесяти, и с ней всё было ясно за четыре секунды.

Грудная клетка, обе стороны, вода в легких, плюс то, чем её приложило, когда несло. Она была в сознании и смотрела ему в лицо очень внимательно, как смотрят на того, кто сейчас скажет.

Рядом на коленях сидел её сын, взрослый, лет двадцати пяти, мокрый по грудь.

Миша сказал:

— Жёлтый.

И пошёл дальше, и это была единственная неправда, которую он сказал за всю ночь, и он потом двадцать раз проверял себя, зачем сказал, и каждый раз получал один ответ: потому что сын сидел рядом и слушал.

Через сорок минут сын нашёл его у стены.

— Вы сказали жёлтый.

— Сказал.

— К ней никто не подошёл.

— Не подошёл, — сказал Миша.

— Так жёлтый или нет?

Миша посмотрел на него. Он мог соврать второй раз, и второй раз соврать было бы легче первого, потому что уже есть с чем согласовывать.

— Нет, — сказал он.

Парень постоял, глядя мимо, и спросил очень спокойно:

— А зачем вы сказали?

— Чтоб ты не дёргал меня и не мешал работать.

— Понятно.

Он вернулся к ней и сидел с ней до конца, и это было, объективно говоря, лучшее применение, какое в ту ночь можно было найти для взрослого здорового человека. Миша это понимал тогда и понимал после. Легче от понимания не становилось никогда.

К семи утра стало ясно, что «чёрных» больше, чем «синих», и что в зале кончился гемостатик.

К девяти привезли ещё, и Миша с мальчиком-фельдшером работали до трёх дня, а потом Миша сел на скамейку у шведской стенки, снял перчатки и обнаружил, что не может разжать пальцы.

Он просидел так минут двадцать, в спортзале, среди разметки.

Клей от перчаток остался у него на руках коричневыми пятнами, и он их не смыл — не потому, что не было воды, а потому, что не подумал. Потом пятна сошли, но кожа в этих

местах стала темнее, и осталась темнее навсегда, и через девять лет на этих же местах садились новые пятна, потому что перчатки он менял по восемь раз за смену.

Он говорил про это так:

— Это не грязь. Это адгезив, он в дерму уходит и хрен его оттуда достанешь. У нас у всех такие руки. По рукам врача видно, где он работал, а не что он умеет.

Из службы он ушёл через год, и ушёл не из-за нервов.

Ушёл, потому что после дамбы службу реорганизовали: выездные бригады сократили, сортировку передали автоматам, а медиков перевели на пункты, где работа была чистая, сидячая и оплачивалась ровно на треть меньше.

Он отработал на пункте четыре месяца и написал заявление.

Жене он объяснил это одной фразой, которую она потом цитировала ему лет десять:

— Лен, я не могу сидеть в окошке и отправлять людей туда, куда их отправляет машина. Я тогда не медик, я тогда окошко.

Женился он в сорок четыре, когда все вокруг уже считали, что не женится вообще.

Лену он встретил в поликлинике на Мелководье, где она работала в регистратуре, и первый их разговор состоял из семи реплик, и все семь были про очередь.

Мальчик родился, когда Мише было сорок шесть.

Мальчик родился рано, на восьмом, с незрелыми лёгкими, и три недели лежал в кувезе, и Миша три недели стоял в коридоре, потому что внутрь не пускали никого, даже медика, особенно медика.

Он стоял и считал вдохи через стекло, и это был единственный раз в его жизни, когда он делал бессмысленную медицинскую работу.

Мальчика вытянули. Остались лёгкие: на фильтрах он дышал как все, без фильтров — хуже, чем все, и это означало сменные картриджи каждый месяц, всю жизнь, ценой в половину Лениной ставки.

Через два месяца Миша пришёл на биржу.

Ему было сорок шесть, и по всем меркам полевым медикам в такие годы пора на склад.

Первые полгода его не брали. Не потому, что стар, а потому, что медика в сборную группу берут одного, а одного берут проверенного.

Арслан взял его на седьмом заходе и смотрел одну вещь.

— Сколько ты потерял?

— В смысле?

— В прямом. Сколько людей у тебя умерло.

— Двадцать девять, — сказал Миша сразу, не задумываясь.

— Точно двадцать девять?

— Точно.

— Не двадцать восемь?

— Двадцать девять, — сказал Миша. — Хотите по именам?

— Не надо, — сказал Арслан и оформил.

Он потом объяснил Деду: человек, помнящий цифру наизусть, не будет врать про состояние раненого. А человек, говорящий «много» или «не считал», соврёт обязательно — не из

подлости, а потому что ему так легче жить.

В группе Миша был единственным, кто помнил город до Стекла.

Не до строительства — до самого понятия. Он помнил, когда двенадцатый квартал назывался просто двенадцатым кварталом и там стояли склады, и когда «наверх» означало на холм, а не на уровень.

Об этом он почти не говорил, потому что заметил: молодые слушают такое с тем вежливым лицом, с каким слушают про погоду.

Зато он говорил обо всём остальном, много и до конца, и это была его единственная невыносимая черта.

Он проговаривал вещи, которые люди обычно оставляют при себе. Он мог за один привал рассказать, сколько стоит картридж, сколько зарабатывает Лена, почему у дочки режется второй нижний зуб позже нормы, и что он сам умрёт скорее всего от сердца, потому что у отца было сердце, и что это неплохой вариант.

Один раз Серёга не выдержал:

— Миш. Ну зачем ты это всё говоришь?

— А зачем это в себе держать? — сказал Миша. — Оно ж не рассосётся. Оно там сидит и давит, и через десять лет я с этим давлением приеду в кардиологию.

— И всё равно приедешь.

— И всё равно приеду, — согласился Миша. — Но я хоть буду знать, за что.

В аптечке у него всегда лежало на одну вещь больше положенного.

Положено было: жгуты, гемостатик, обезболивающее, шины, дыхательный набор, антисептик.

Он носил ещё маленький пузырёк с обычным глицерином, самый дешёвый, из аптеки на углу.

Зачем — он объяснил однажды Аде, когда та спросила напрямую.

— Губы, — сказал Миша. — Через четыре часа на фильтре у всех трескаются губы. Это не рана, это ничто, это не лечится и не считается. А человек четыре часа помнит только про губы.

— И что?

— И то, что я мажу ему губы за три секунды, и следующие два часа он думает о работе, а не о себе. Это самая полезная вещь в моей сумке. Она стоит восемь кредитов.

Ада тогда записала: «М. — глицерин, восемь кр., расход на группу ноль».

Тетрадь он завёл, когда мальчику исполнилось четыре, и никому в группе про неё не рассказывал, кроме одного раза.

Кто-то на привале спросил, не поздно ли заводить мальчишку в такие годы.

— Поздно, — сказал Миша. — Ему будет двадцать, мне шестьдесят восемь, и я не увижу, кем он станет.

Он помолчал и добавил:

— Поэтому я и пишу. Пусть лежит, читать будет потом.

— И чего ты там пишешь?

— Всякое. Как воду отстаивать. Как вести себя, если остановили без причины. Как понять, что тебя лечат от того, чего у тебя нет.

— Медицину, что ли?

— Не только, — сказал Миша. — Я там пишу, чего я в жизни не смог. Чтоб он не пробовал тем же способом.

Тетрадь была толстая, в клеточку, и он писал в ней печатными буквами, потому что почерк у него был как у всех медиков.

Дописать он успел до буквы, на которой остановился в тот вечер перед выходом.

Он не знал, что это последняя запись, и поэтому запись была совершенно обыкновенная: про то, что нельзя пить из открытых цистерн даже в жару, и что никакая жажда через три часа не стоит того, что будет потом.

Глава 4. Жилые ярусы

На четвёртом этаже есть рисунок, приклеенный к двери скотчем. Башня, солнце, три человечка.

Я стоял перед ним дольше, чем можно стоять на штурме. Миша тянул меня за плечо и говорил, что мы теряем время, и был прав, а я стоял.

У меня была сестра. Она рисовала так же: солнце всегда в углу и всегда с ресницами.

Я пишу это, чтобы не забыть, что у меня была сестра, которая рисовала солнце с ресницами.

Кажется, я начал забывать, как её звали. Вслух об этом не говорю: вслух это станет правдой.

Рейн, ночь на четверг, ноль тридцать

Четвёртый этаж. 00:30 — 01:05.

Четвёртый им был нужен не из-за воды.

Про воду думали все, и вслух говорили про неё, и это было удобно — говорить про воду. Но лестница, по которой они шли, кончалась на четвёртом.

Ада выяснила это ещё в серверной, когда сидела на их шине: восточная лестница выше четвёртого перекрыта, и перекрыта не пеной и не огнём, а створкой, которую опустили при санации, и открывается она только снизу и только с пульта, которого у них нет. Наверх шла западная. А чтобы попасть в западное крыло, надо было пройти жилой ярус насквозь: на четвёртом крылья соединялись, и соединялись они единственным коридором с квартирами по обе стороны.

— То есть мы идём через чужие кухни, — сказал Серёга.

— Мы идём через единственную дверь, — сказала Ада. — Кухни прилагаются.

Про воду тоже было правдой. Фляги кончились к третьему — их и было-то по одной, — и Дед сказал, что раз уж идём мимо кранов, надо набрать всё, во что налезет.

— Полторашек бы, — сказал Тоха. — Их в любой квартире по десять штук стоит.

— Считай, — сказала Ада.

— Чего считать?

— Нас девять. Наверх девять этажей, это часа три, если без дури. На человека в такой духоте — литра полтора, чтобы не свалиться. Тринадцать с половиной литров. Тринадцать с половиной килограммов. — Она посмотрела на него. — У кого свободные руки?

Тоха посмотрел на свои.

— Ну, — сказал он.

— Вот и ну. Полторашка — это бутылка, её надо нести в руке или в рюкзаке, а рюкзаки под снаряжение. Фляга висит и не мешает стрелять. Берём фляги и сколько влезет сверху, и пьём мало.

— А если не хватит?

— Не хватит, — согласилась Ада. — Мы не воду идём брать, мы идём мимо.

На площадке перед четвёртым Настя вытряхивала из кармана мелочь и уронила бумажку.

Она сняла коробочку с шеи, чтобы та не болталась, и держала её в кулаке, пока собирала монеты с бетона по одной.

Рейн поднял. Бумажка была сложена вчетверо, мягкая от кармана, и развернулась сама.

Лёвка, я вернусь в четверг. В холодильнике всё. Не жги свет всю ночь.

— Отдай, — сказала Настя через синтезатор, и голос вышел ровный, без интонации, как всегда.

Он отдал.

— Это кому?

— Себе, — сказала она и убрала бумажку обратно. — Так легче выходить из дома.

— А четверг?

— Четверг завтра, — сказала Настя и пошла вперёд.

— Заходим, набираем, уходим, — сказал Арслан. — Никаких квартир. Первый кран, который найдём.

Первый кран, который они нашли, был в чужой кухне, и уйти оттуда за две минуты не получилось.

На четвёртом пахло домом.

Не лабораторией, не железом — жильём: подгоревшим молоком, стиральным порошком, чужими куртками. После кафеля третьего этажа, где не пахло вообще ничем, это было в нос, как с мороза в кухню. Персонал жил прямо в башне, посменно, целыми семьями — так дешевле и так удобнее корпорации. Длинный коридор, двери через каждые четыре метра, на дверях наклейки и таблички. Под ногами кончилась плитка и пошёл линолеум, старый, вздутый на стыках: у каждой

второй двери лежал коврик, и на ковриках стояла обувь, потому что в квартирах разувались.

Где-то работал телевизор. Где-то в раковине капала вода — не капала, а падала редко и тяжело, как падает из плохо закрытого крана, и между падениями успевало становиться слышно телевизор.

Дед прошёл по линолеуму первым и остановился на середине коридора.

— Тихо идите, — сказал он. — Тут слышно.

Людей не было.

— Ушли, — сказала Ада, заглянув в первую квартиру. — Час назад, может, полтора. Чайник ещё тёплый.

— Значит, знали, — сказал Серёга.

— Значит, знали, — согласилась она.

Никто не стал говорить вслух того, что из этого следует. Все и так думали об одном: если персонал предупредили за час, то предупредил кто-то, кто знал про них. А знали про них только заказчики.

У лифтового холла на стене висела доска для жильцов, под стеклом, и стекло было чистое.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ. Корпус «Ковш-4», ярусы 4–6. Тишина с 22:00. Гости — по заявке за сутки. Домашние животные — по согласованию. Дети до четырнадцати — с сопровождением взрослого в служебных зонах.

Ниже, под тем же стеклом, лист поновее:

Плановая санация корпуса. Сроки уточняются. Жильцам ярусов 4–6 предоставляется временное размещение.

И в самом низу, от руки, на клочке в клетку, приклеенном скотчем поверх стекла: «Кто взял коляску из-под лестницы — верните, она не моя, я её тоже одолжила».

Они прошли коридор до половины, и Рейн заглядывал в открытые двери, потому что не мог не заглядывать.

В одной квартире на столе стояли три тарелки и лежали вилки — недоеденный ужин; в другой на верёвке через всю комнату сушились детские носки, парами, прищепка к прищепке. В третьей работал телевизор: показывали кулинарную передачу, ведущая улыбалась и что-то шинковала, и на весь пустой этаж шёл этот бодрый голос.

— ...и не бойтесь, если помидоры у вас подгорели снизу, — говорила ведущая. — Это не катастрофа. Мы их просто перевернём, и никто ничего не заметит. Всё лишнее уходит вниз, а сверху у нас красота.

Тоха остановился.

— Чего? — сказал он.

— Иди, — сказал Дед.

— Нет, она сейчас сказала...

— Я слышал, что она сказала. Иди.

— Выключить? — спросила Ада.

— Не трогай, — сказал Арслан. — Каждая мелочь, которую мы трогаем, — это след.

Ада пожала плечами. Ведущая продолжала шинковать, и за спиной у них ещё долго объясняли, что делать с пригоревшим.

Рейн шёл и думал, что здесь живут по двенадцать часов в смену, всей семьёй, в служебном жилье, и что за это им наверняка дают скидку на воду, и что утром они вернутся и увидят гильзы на полу, и всё равно останутся, потому что съезжать некуда.

На лестничной площадке перед четвертым Серёга нашёл автомат с едой.

Автомат работал — светился, гудел, показывал витрину, — и был на всей площадке единственным, что светилося: коридорные лампы шли ровно и тускло, а от витрины по бетону ложился белый квадрат, и в этом квадрате оказывался всякий, кто подходил.

В витрине за стеклом лежали сэндвичи, и на верхней полке, в отдельной ячейке, лежало яйцо.

Варёное. Одно. Очищенное, в прозрачной плёнке.

Серёга остановился так резко, что Тоха в него въехал. Щит он опустил нижней кромкой на бетон и коротко пристукнул, проверяя упор, и только потом отпустил рукоять.

— Мужики, — сказал он. — Тут яйцо.

— И что?

— Настоящее.

— С чего ты взял, что настоящее?

— Ты видел когда-нибудь фальшивое яйцо? — сказал Серёга.
— Их не подделывают. Дешевле курицу держать, чем подделать.

Подожли все. Даже Арслан подошёл, хотя стоял в другом конце и делал вид, что не слушает.

— Триста двадцать, — прочитал Игорь с ценника. Он снял оптику, подышал на неё и потёр рукавом, хотя тереть было нечего. — За штуку.

— Сколько?!

— Триста двадцать.

— Это грабёж.

— Это Стекло, — сказал Дед. — Тут за воду платят больше, чем мы за жильё.

Тоха подтянул ремень автомата — тот был ему велик, и он подтягивал его каждые несколько минут всю ночь, — и приложил ладонь к стеклу.

— А кто вообще последний раз ел? — спросил он. — Ну, настоящее. Не порошок.

Молчание вышло дольше, чем ожидал сам Тоха.

— Я ел, — сказал Миша. — Позапрошлой зимой. Тёща привезла шесть штук из-за города, не знаю где взяла.

— И как?

— Никак, — сказал Миша. — Яйцо как яйцо. Мне вообще не понравилось, у него вкус странный. Я порошок больше люблю, чест...

— Ты дурак, — сказал Серёга, не дослушав.

— Может, и дурак.

— Ты ел настоящее яйцо и говоришь, что порошок лучше?

— Я говорю, что я к порошку привык, — сказал Миша. — Тридцать лет ем. У меня, может, уже организм под него.

— Я ел в детстве, — сказал Игорь. — Мне бабка варила, у неё куры были. Три штуки.

— Три яйца?

— Три курицы, — сказал Игорь. — Яиц-то было нормально.

Он подумал.

— Я тогда не понимал, что это дорого. Я ими в стенку кидался.

— Чего?!

— Ну, мне пять лет было, — сказал Игорь. — Я кидался. Бабка меня за это по спине лупила полотенцем, а я не понимал за что. Мне казалось, их и так много.

Он замолчал, и остальные замолчали тоже: у каждого нашлось своё, пять лет и полотенце по спине.

— Настя, а ты?

Настин синтезатор щёлкнул и сказал ровно, без интонации:

— Не ела.

— Никогда?

— Никогда. Ну, в общепите был омлет, но там порошок.

Она пожала плечами.

— Я вообще не понимаю, из-за чего вы. Это же просто еда.

— Это не просто еда, — сказал Серёга.

— А что это?

Серёга подумал.

— Это когда кто-то жив, — сказал он. — Понимаешь? Яйцо — это значит, где-то была курица. Живая. Ходила, клевала. А

порошок — это порошок, он ниоткуда.

— Так, — сказал Арслан. — Хватит.

Никто не двинулся.

Арслан посмотрел на них, на витрину, на яйцо, потом достал карту и приложил к автомату.

Автомат пискнул и выдал яйцо.

— Серёга, — сказал Арслан, протягивая. — Жри и пошли.

Серёга взял.

Он стоял с этим яйцом в руке, посреди лестничной площадки, в горящем здании, и было видно, что он не знает, что теперь делать.

Потом он разломил его пополам и отдал половину Тохе.

— Чего? — сказал Тоха.

— Ты моложе, — сказал Серёга. — Тебе полезнее.

Дальше они шли молча, и Рейн думал, что вот об этом и надо было писать в отчёте, если бы отчёты писали честно.

Девять вооружённых людей на четвёртом этаже горячей башни.

Триста двадцать кредитов.

Одно яйцо на двоих.

Ни один из двоих не доест этой ночью ничего.

Миша шёл и на ходу что-то писал.

Лист был сложен вчетверо и развёрнут наполовину, положен на медицинский планшет, и он писал огрызком карандаша, не останавливаясь. Рейн видел это уже в третий раз за ночь.

— Ты чего пишешь-то? — спросил Тоха.

— Жене.

— А чего не сообщением?

— Сообщение она прочитает, — сказал Миша. — А письмо она положит в коробку. У неё коробка.

— И чего ты пишешь?

— Что я её люблю, дурак, — сказал Миша спокойно. — Каждый раз одно и то же пишу. Она их не перечитывает даже. Просто складывает.

Он сложил лист вчетверо и убрал не в нагрудный карман, а глубже — в грудной, под броню, к самой груди, и прижал сверху нагрудником, и хлопнул по нагруднику ладонью. У него на перчатках были пятна засохшего клея, старые, въевшиеся: он десять лет шил людей после прорывов дамбы, и клей — это то, чем в нижних кварталах закрывают то, что уже не зашить.

— А если не вернёшься? — спросил Тоха.

— Тогда она получит последнее, — сказал Миша. — И оно будет такое же, как все. Это правильно. Не надо человеку последнее письмо не как все.

Рисунок висел на двери с табличкой «4-17».

Обычный детский рисунок, приклеенный скотчем по углам: чёрная башня, синие человечки, и в углу — солнце.

— У нас в подъезде такие же висели, — сказал Дед, не останавливаясь. — На каждой третьей двери. Их так в школе учат: дом, люди, солнце в углу. Ты хоть одного ребёнка видел, который солнце в середине рисует?

Рейн не ответил.

Солнце было с ресницами.

Рейн остановился.

Он стоял и смотрел на кривые лучики-реснички вокруг жёлтого круга, и в нём поднималось что-то, чему он не мог найти названия. Не воспоминание — форма от воспоминания, как ямка в песке от вынутого камня.

Она рисовала так же. Солнце всегда в правом верхнем углу, всегда с ресницами, и она злилась, когда он говорил, что у солнца не бывает ресниц.

Как её звали?

Он потянулся за именем и наткнулся на гладкое.

— Рейн. — Миша дёргал его за плечо. — Рейн, мы теряем время.

— Да.

— Идём.

— Да, — сказал Рейн и не пошёл.

За дверью «4-17» кто-то дышал.

Он услышал это не ухом, а тем же местом, которым знал про турель, — только теперь это было обычное человеческое чутьё, и он даже обрадовался разнице.

Он поднял кулак. Группа встала.

— Там люди, — сказал он.

— Там персонал, который не успел уйти, — сказал Арслан. — Обходим. Нам нужен седьмой.

— Я посмотрю.

— Рейн.

— Я посмотрю, — сказал он и уже шёл к двери, и Арслан не стал его останавливать — только очень выразительно посмотрел на Деда, а Дед сделал вид, что не заметил.

Серёга молча подвинулся, освобождая проём, — он вообще почти не говорил, а если говорил, то одно слово и всегда по делу. За глаза его звали «щит», и не только за работу.

— Второй выход есть? — спросил Дед у него за спиной.

Этому его научил Олег, сидевший сейчас где-то за плитой в восточном крыле и не виденный ими уже пятый час. Олег спрашивал так всегда и у всех, и за три года привычка перешла к Деду, как переходят присказки.

— Не знаю.

— Тогда я тут постою, — сказал Дед и встал так, чтобы видеть и дверь, и коридор.

Дверь была не заперта.

В квартире, в углу, между диваном и стеной, сидела женщина лет тридцати и держала на руках мальчика лет шести. Она смотрела на ствол и была абсолютно спокойна, и это спокойствие было страшнее крика: так спокойны люди, уже всё решившие и ждущие только, когда это случится.

Мальчик спал. По-настоящему спал, уткнувшись ей в куртку.

— Мы опоздали на эвакуацию, — сказала женщина. — Он не просыпался. Я не смогла его нести и вещи, и я думала, если подождать...

— Сколько вас?

— Двое.

— Ещё кто-то в квартире?

— Нет.

Рейн опустил ствол.

— Лестница в конце коридора, — сказал он. — Вниз четыре пролёта, до первого, и там стоп. Ниже первого не ходите совсем: цоколь и подвал заливают пеной, туда сейчас нельзя ни идти, ни дышать. Наружу тоже не суйтесь, двери заварены, вы только время потеряете. На первом у стойки лежит связанный человек в форме, он свой, развяжите. Он здесь двадцать лет, он знает, где отсидеться. И не идите к грузовым лифтам.

— А там? — сказала женщина.

— А там мы прошли, — сказал Рейн. — Значит, пока никого. Идите сейчас, пока это правда.

Женщина не двинулась.

— Там ваши, внизу? — спросила она.

— Там наши, — сказал Рейн. — Поэтому идите быстро и не смотрите по сторонам.

Они вышли в коридор — женщина с мальчиком на руках, мальчик так и не проснулся, — и в эту секунду в дальнем конце коридора открылся служебный проём, и оттуда пошли трое.

Не охрана и не «Гарпун»: в ведомости подрядчика этих троих нет ни строкой. Хуже: техническая смена, которую подняли по тревоге и сунули ей автоматы со стойки, — трое мужиков в комбинезонах, которые в жизни ни в кого не стреляли и поэтому начали стрелять сразу, во всё подряд, длинными очередями, зажмурившись.

Стояли они плохо, и Рейн увидел это раньше, чем услышал. Женщина с ребёнком вышла на середину коридора, потому что посередине шире. Миша был от неё в двух шагах, ближе всех, спиной к дверям. Серёга с щитом остался позади, у поворота, где было узко и где щит стоял. Дед — у правой стены, на четверть шага впереди Арслана. Между женщиной и щитом было восемь метров чужого линолеума.

Пули пошли по коридору веером, по дверям, по табличкам, по рисунку с солнцем.

Рейн увидел, как это будет, за полсекунды.

Он заорал сразу — он теперь всегда орал сразу. Миша двинулся раньше крика: он смотрел не на проём, а на женщину. Он был медик и десять лет смотрел на людей, а не на угрозу, и это его и убило.

Он дошёл до них в два шага, поймал женщину за плечо и повёл вниз, приседая вместе с ней, чтобы она села, а не упала на ребёнка, — и накрыл обоих собой, широко, обеими руками, как накрывают от дождя. Правая легла ей на затылок, левая на спину мальчику. Обе остались там, где легли.

Дед пошёл по коридору, когда они ещё стреляли.

Он не побежал. Он сделал два длинных шага вдоль правой стены, там, где очередь уже прошла и штукатурка сыпалась вниз, — левым плечом по стене, оружие в левой, стволом в пол, клинок уже в правой, — а потом упал на левое колено и проехал по мокрому линолеуму под веером, и веер прошёл над ним по табличкам. Линолеум был мокрый от капавшей раковины, и на нём хорошо ехало: он и ехал на нём, потому что видел лужу от самого поворота.

Первого он взял снизу, из проезда, не вставая: не ударил, а вставил клинок под колено сбоку, чуть выше голенища, и повёл на себя, всем весом уходя назад. Нога у мужика сложилась внутрь. Мужик сел, как садятся в пустоту, палец на спуске остался, и очередь ушла в потолок, и оттуда посыпалась панель.

Дед не стал его добивать. Он поднялся на этом же движении, оттолкнувшись от его плеча ладонью, — вес пошёл с колена на правую ступню, и он встал уже вплотную ко второму, грудь в грудь, так близко, что тому стало некуда девать ствол. Второй попытался отступить и упёрся спиной в дверь «4-14», и дверь не открылась, потому что открывалась внутрь. Дед взял его за запястье левой, вывернул кисть вниз и наружу и прижал руку с оружием к дверному полотну, а правой ударил один раз, коротко, от ребра вверх, под ключицу, куда не доходит ни один жилет, потому что жилет там кончается. Вошло до рукояти. Он не стал выдёргивать рывком — провернул и вынул, придерживав чужое плечо ладонью, чтобы тело не поехало на него.

Третий стоял в семи шагах и всё это видел.

Он видел, как из-под очереди выходит человек и в две секунды кладёт двоих, с которыми он вместе обедал, и он сделал единственное, что успел придумать: развернулся и побежал к служебному проёму. Автомат он не бросил и потому бежал криво, боком, придерживая его локтем. Дед догнал его на четвёртом шаге — не бегом, длинным шагом, — поймал левой за ворот комбинезона и дёрнул на себя, останавливая, и на этом же рывке достал в спину, наискось, от лопатки вниз. Потом не отпустил ворот, а придержал, чтобы тот не упал лицом на стекло двери.

Он опустил его на пол, переложил клинок из правой в левую, а правую обтёр о штанину сверху вниз. Потом обратно, и клинок

вытер тоже — тщательно, обеими сторонами, о собственное бедро.

Всё это заняло меньше, чем оседала штукатурка.

Последняя гильза докатилась до плинтуса и легла.

Женщина сидела на полу и не кричала. Мальчик проснулся и теперь смотрел на всех очень внимательно, круглыми глазами, без слёз — ещё не понимая, что происходит, но уже понимая, что ничего не спросишь.

Миша лежал лицом вниз.

Рейн перевернул его.

Он знал, что найдёт, и полез за этим, и не достал. Нагрудный карман был пустой: лист лежал глубже, в грудном, под бронёй, у самой грудины. Нагрудник сидел на нём плотно, застёжка уходила под ремень сбоку, и снизу её держал вес самого Миши. Тут нужны были две руки и минуты.

У Рейна была одна рука и не было минут: за спиной стояла женщина с мальчиком, а на пролёте ниже уже переступали.

Он застегнул карман обратно, одной рукой, и вытер её о штанину.

«Я передам», — подумал он.

Вслух он этого не сказал.

Женщину и мальчика они довели до лестницы. Мальчик шёл сам и на площадке вдруг остановился и посмотрел на Рейна снизу вверх.

— Дядя лежит, — сказал он.

— Да.

— Он встанет?

Рейн присел на корточки, чтобы быть вровень.

Он мог соврать. Это заняло бы полсекунды, и никто, включая мальчика, никогда бы ему это не предъявил. Он всю жизнь врал в таких случаях — не из подлости, а из вежливости, из той же самой, из-за которой молчал.

— Нет, — сказал он. — Он не встанет. Он тебя закрыл, и поэтому ты идёшь вниз.

Мальчик подумал.

— Хорошо, — сказал он.

И пошёл вниз, держась за перила обеими руками, как учат.

Они сели у стены, там, где коридор поворачивал, и просидели минуты три — больше было нельзя.

Ада села не со всеми. Она отошла на четыре шага и села с краю, спиной к простенку, откуда было видно и коридор, и пролёт лестницы, и их всех разом. Место было неудобное: сквозняк и батарея в поясницу. Она всегда садилась так, и никто этого не замечал, потому что никому не приходило в голову, что это выбор.

Дед сел, стянул правый ботинок, вытряхнул его о ладонь — на линолеум высыпалась белая труха с потолка — и стал разминать ступню большим пальцем, коротко и сильно, как разминают чужое. Пока разминал, он достал из кармана зажигалку, щёлкнул ею один раз, посмотрел на огонёк и убрал обратно. Прикуривать было нечего.

Рейн посчитал, потому что считал всегда. Без десяти час. До часа двенадцати — двадцать две минуты.

Двадцать две минуты — это меньше, чем они потратили на этом этаже. Меньше, чем они простояли в чужой кухне из-за крана.

Ада достала флягу и пустила по кругу. Вода была тёплая и отдавала пластиком.

— Трое, — сказала она. — За два часа трое.

Никто не ответил.

— Я не жалею, — сказала Ада. — Я считаю. Я всегда считаю, мне так спокойнее.

— Знаю, — сказал Дед.

— Я на «Прорыве» была, там за ночь одного потеряли, и это считалось плохо. — Она забрала флягу обратно. — А тут трое, и мы на четвёртом. Из три...

— Из тринадцати, — согласился Дед, чтобы ей не пришлось.

Он не стал говорить, сколько это оставляет, потому что все считать умели.

— Стрелок, — сказала Ада.

— Ну.

— Ты обещал считать вслух.

— Я не обещал.

— Ты не возразил. — Она сидела, вытянув ноги, и смотрела в стену напротив. — Про кашель. Ты в дверях заорал «он хрипит перед микрофоном». Откуда ты это взял, если ты его не видел?

Дед перестал жевать.

Рейн сначала не хотел. Потом подумал, что молчать теперь дороже, чем говорить, и что Юра под завалом сказал ему ровно

то же самое, только другими словами.

— Из-под двери шёл холод, — сказал он. — Ровный, не сквозняк. Так дует только там, где воздух гоняют круглые сутки и сушат. В серверной влагу убирают нарочно, иначе железо сохнет. Шестнадцать градусов и сухо.

— Ну.

— Человек, который в этом сидит смену через смену несколько лет, получает себе горло. Сухой кашель без мокроты, коротко, в кулак, с одинаковым промежутком. Это не простуда, это работа. У нас на холодильниках в Консервном половина грузчиков так кашляла.

— Это ты про горло, — сказала Ада. — А про команду откуда?

— А про команду — от промежутка. Кашель, потом шаги. Кашель, потом шаги. Два раза совпадение, три раза — порядок. — Он помолчал. — Его люди молчат, значит, работают по связи. Связь я не слышу. Значит, он прочищает горло перед тем, как сказать в микрофон, и я слышу не команду, а то, что бывает за секунду до неё.

— Секунда, — сказал Дед.

— Секунда, — согласился Рейн.

Дед кивнул, как кивают, приняв цифру в работу, и больше ничего не сказал. Он потом пользовался этой секундой ещё дважды за ночь, и оба раза она была на месте.

— Хорошо, — сказала Ада. — А теперь скажи то, что не хочешь.

Рейн посмотрел на неё.

— Ты у двери стоял с ладонью на створке, — сказала Ада. — Долго. Я засекала. И вышел ты оттуда с готовым числом людей и с

готовым расположением. Ты знал, где они стоят. Все шестеро.

— Семеро.

— Тем более.

Он сидел и смотрел в пол, где в трещину между плитками набилась чужая сухая макаронина.

— Шестерых я посчитал, — сказал он. — Двое в центральном проходе, четверо по бокам, по двое на сторону, все по кашлю. Начальник седьмой. Всё сошлось.

— И?

— И был восьмой, — сказал Рейн. — Он стоял у окна в дальнем конце. Стоял и не двигался. Он не стрелял, не смецался, команд не получал. Я смотрел на него и не считал его, потому что он ничего не делал.

Ада молчала.

— Он ничего не делал, пока Катя не пошла налево, — сказал Рейн.

— Значит, ты ошибся.

— Я не ошибся в счёте. — Он поднял голову. — Я посчитал всех, кто двигался. Он не двигался. По моему счёту его не было.

— По твоему счёту, — сказала Ада.

— По моему счёту.

Она подтянула колени и обхватила их руками.

— Тогда меняй счёт, — сказала она. — Слышишь? Не считай тех, кто двигается. Считай всех, кто есть.

Рейн кивнул.

Он потом будет считать всех, кто есть, заход за заходом, и однажды сойдётся со счёта самих заходов. Но началось это здесь, на четвёртом, у стены, с чужой сухой макарониной в трещине между плитками.

Ада вынула у Миши из-под ключицы авто-инъектор — короткую трубку с тремя ампулами, стимпак без рук. Хорошая штука. Дорогая.

— Ставь, — сказала она Рейну. — Два гнезда, в одном Юра, второе пустое. Тут не о чем думать. Он бы первый сказал ставить.

— Я знаю.

— Так ставь.

Рейн держал трубку и смотрел на неё, и ему было физически трудно — не морально, а как поднять тяжёлое: он вынимал вещь из человека, который ещё был тёплый, и собирался вставить её в себя и пойти с ней дальше.

— Ада.

— Ну.

— Скажи мне, что это нормально.

— Это нормально, — сказала Ада сразу, без паузы, и он понял, что она ждала этого вопроса всю ночь и заранее приготовила ответ. — Это не нормально. Но это правильно. Это разные вещи, и сегодня у нас вторая.

Он вставил инъектор.

Воду они набрали в самом конце, уже уходя: две фляги и полторы полторашки, найденные в шкафу.

Вода шла тёплая и с запахом, и Дед сказал, что пить такую нельзя, а Ада сказала, что через два часа они будут пить её и не

такую, и оба были правы.

Пока набирали, Рейн стоял в чужой прихожей и смотрел на вешалку.

На вешалке висели три куртки: взрослая, взрослая и маленькая. Маленькая — на нижнем крючке, специально прибитом ниже остальных, чтобы ребёнок сам доставал.

Он смотрел на этот крючок дольше, чем следовало.

У лифтов висел план эвакуации в рамке под стеклом, и Ада остановилась перед ним. Рука у неё сама нашла кнопку подсветки сбоку от рамки и нажала — план загорелся изнутри жёлтым, и на стекле стало видно отпечатки чужих пальцев в тех местах, куда тыкали чаще всего.

— Так, — сказала она. — А вот это интересно.

На плане, кроме главной лестницы и грузовой шахты, была третья линия — тонкая, красная, идущая вдоль всего западного крыла сверху донизу.

АВАРИЙНЫЙ СПУСК Б. ДОСТУП ПО КАРТЕ.

— Что за спуск Б?

— Отдельный ствол, — сказала Ада, водя пальцем по стеклу. — Смотри: он не заходит на этажи. Он идёт мимо. От одиннадцатого до цоколя, без остановок, с собственным контуром.

— Собственным — это каким?

— Это таким, который не завязан на общую санацию, — сказала Ада. — Он для директоров. Директоров не запирают вместе со зданием.

Стало очень тихо.

— Ты хочешь сказать, — медленно произнёс Арслан, — что внизу есть открытая дверь.

— Я хочу сказать, что она может быть открыта, — сказала Ада. — Нам нужна карта.

Карту нашли через шесть минут, в квартире «4-09», в кармане форменного пиджака, висевшего на стуле.

Обычная белая карта с магнитной полосой и надписью «Служебный доступ. Уровень 2».

Ада повертела её и убрала во внутренний карман.

— Уровень два — это не директор, — сказала она. — Но это и не уборщица. Попробуем.

И вот с этого момента у них появился запасной план.

Они таскали его с собой ещё семь этажей — не проговаривая вслух, но помня каждый: если наверху не выйдет, у нас есть спуск Б.

Уходя, он вернулся на два шага и снял с двери «4-17» рисунок.

Скотч отошёл легко, вместе с краской. По бумаге наискось шла дырка от пули, но солнце в правом верхнем углу было целое, со всеми своими ресницами.

Он сложил лист вчетверо и убрал в нагрудный карман, и застегнул клапан.

Зачем — он не знал. Он и не стал думать.

День

За девять лет до. Суббота.

Сестра просыпалась раньше всех и первые двадцать минут молчала.

Это было её единственное молчаливое время за сутки: она сидела на матрасе, подтянув колени, смотрела в стену и что-то там для себя решала, и трогать её в эти минуты было нельзя — огрызалась.

Потом внутри у неё щёлкало, и дальше она говорила до самого вечера.

В ту субботу мать ушла в смену в шесть, и Рейн — тогда просто Ромка, двадцать пять лет, третий год на бирже, — остался с сестрой в четвёртый раз за неделю.

Между ними было четырнадцать лет. Мать родила её поздно и не объясняла почему, и получилось так, что старший брат был ей наполовину отцом и знал об этом.

Инструкция была всегда одна и та же, и он знал её наизусть: разогреть, проверить уроки, не пускать на воду, вернуть домой до темноты.

— Четыре пункта, — сказал он ей. — Слушай сюда. Первый...

— Разогреть, проверить, не пускать, вернуть, — сказала она. — Ром, я это с шести лет знаю.

— Ты это знаешь и не делаешь.

— Я знаю и не делаю, — согласилась она. — Это разные умения.

Она была мелкая, с острыми коленками и всегда сбита с одной стороны — падала налево, потому что бежала всегда чуть боком.

Волосы у неё вечно лезли в глаза, и она их не заправляла, а сдувала — коротко, вверх, углом рта, — и это выходило громко и было слышно через комнату.

Ещё она считала ступеньки вслух, поднимаясь, и сбивалась на двенадцатой, всегда на двенадцатой, и начинала сначала — не потому, что забывала, а потому, что ей нравилось начинать сначала.

Он тогда злился на это до трясучки.

Разогрел он кашу с порошком, и она съела половину и отодвинула.

— Ешь.

— Я ем.

— Ты не ешь, ты возишь.

— Я ем медленно, — сказала она. — Ты вот быстро ешь и ничего не чувствуешь. А я чувствую.

— Что ты там чувствуешь? Это порошок.

— Порошок, — согласилась она. — Но он же чей-то.

Она подумала.

— Его кто-то делал. Стоял и делал. Я его ем и как будто с ним здороваюсь.

Днём они пошли на дамбу, потому что было нечего делать и потому что все были там.

Дамба — узкая бетонная полоса над жёлтой водой, с трубами по краю, и на ней сидели, свесив ноги, человек тридцать: мелкие, взрослые, старуха с ведром, двое с удочками, хотя ловить там было нечего уже лет двадцать.

Она села на самый край, как всегда, и вытащила из кармана сложенные вчетверо квитанции.

Рисовала она на обороте: бумаги в доме всегда было много, потому что мать хранила все квитанции за девять лет, а девочка их потихоньку воровала.

— Опять дом? — сказал он.

— Опять.

— Ты одно и то же рисуешь.

— Это не одно и то же, — сказала она, не поднимая головы. — Тут окно другое.

Он посмотрел. Окно было другое: в прошлый раз одно, теперь два.

— И зачем второе?

— Чтоб с двух сторон видно было, — сказала она. — Если с одной стороны плохое, посмотришь в другое.

Три человечка, держащиеся за руки, выходили у неё всегда одинаково: большой, средний и маленький.

— А это кто? — спросил он, хотя знал.

— Мама, ты и я.

— А почему мама больше всех?

— Потому что она главная.

— А я почему средний?

— Потому что ты средний, — сказала сестра. — Ты не главный и не мелкий. Ты вот такой.

И показала ладонью на уровне своего плеча, и это было очень обидно и очень точно.

Солнце она нарисовала последним, в углу, и у солнца были ресницы.

— У солнца не бывает ресниц.

— У моего бывает.

— Солнце круглое. Оно вообще шар. Оно горит.

— У меня такое, — сказала она и дорисовала ещё одну ресницу, специально, чтобы он видел.

Он тогда завёлся по-настоящему, хотя взрослому человеку заводиться было стыдно: его до бешенства доводило, что она не соглашается с очевидным.

— Ты просто не умеешь рисовать правильно.

Она посмотрела на него снизу вверх, сдула волосы и сказала:

— Я умею. Я не хочу.

Вечером он гнал её домой, а она тянула.

Это был их постоянный спор, и в тот день он кончился так.

— Ещё десять минут.

— Темнеет.

— Ещё пять.

— Малая.

— Ты считаешь неправильно, — сказала она. — Ты считаешь, что если мы придём позже, будет хуже. А будет то же самое, только мы посидим ещё пять минут. Это же чистая прибыль.

— Где ты это взяла?

— У мамы, — сказала она. — Она так про сверхурочные говорит.

Они посидели ещё пять минут, и ничего не случилось, и домой пришли в темноте, и мать не узнала.

Рисунок она в тот вечер приклеила скотчем к двери, изнутри, на уровне своего роста.

Он висел там ещё три месяца. Потом пришёл туман, и через неделю после тумана Рейн снял его, сложил вчетверо и убрал в жестянку под матрасом, где у него лежали документы.

Там он и лежит до сих пор. С собой он его не носил никогда: боялся, что сотрётся на сгибах.

Из всего этого дня к той ночи в башне у него осталось три вещи.

Жёлтая вода. Коленка. Солнце с ресницами.

Того, как она сдувала волосы углом рта, уже не было. Голоса не было. Имени не было дольше всего — имя ушло первым, ещё в вестибюле, и он даже не заметил, как именно.

Он вообще не знал, что за всё это платит он сам.

Внизу. Стойка

00:30 — 02:05. Стойка в вестибюле.

Вячеслав Кузин лежал щекой на белом полу и уже полтора часа думал об одном и том же.

Думал он о том, что стяжки затянуты грамотно.

Он знал в этом толк: сам двадцать раз проходил инструктаж по задержанию, и хотя за девять лет в форме задерживал только пьяных из бухгалтерии, теорию помнил. В здании он работал двадцать лет, и первые одиннадцать — слесарем по лифтам, отчего и знал тут все ниши, где можно пересидеть. Вязавший его сделал всё правильно: руки за спину, большие пальцы в захват, узел там, куда зубами не достать. И сделал быстро, без злости, как делают работу.

За это Вячеслав был ему благодарен.

Злость он тоже знал: когда бьют, всегда сначала бьют, а потом вяжут. Его не били.

Первый час он пытался освободиться, потому что так полагается.

Он дотянулся до угла стойки и потёрся о кромку. Кромка была скруглённая — дизайн, будь он неладен. Он попробовал встать на колени и встал, и посмотрел на телефон на стойке, до которого было полтора метра и целая вечность, и сел обратно.

Потом он просто лежал.

В холле было тихо и светло. Работал кондиционер. На стойке остывал его чай в термокружке, и Вячеслав время от времени смотрел на него и думал, что это, наверное, самое обидное: чай прямо тут, в метре, и он остынет впустую.

Где-то наверху дважды глухо ухнуло.

Вячеслав прислушался и стал считать этажи, хотя считать было нечем.

В половине первого мимо прошли люди.

Он слышал их заранее — по лестнице, не по лифту, — и успел лечь лицом к стене и закрыть глаза, потому что если ты лежишь и не смотришь, тебя, может, и не тронут.

Прошли двое. Женщина и ребёнок: он шёл сам, держась за её куртку. Оба в верхней одежде, оба перепачканные.

Женщина остановилась.

— Вы живой? — спросила она.

Вячеслав открыл глаза.

— Живой.

— Нам сказали, вы наш, — сказала женщина неуверенно. — Что вас не надо бояться.

— Кто сказал?

— Который наверху. Стрелок. У него голос такой... — она искала слово, — уставший.

Вячеслав подумал секунду.

— Развяжите, — сказал он.

Женщина посмотрела на его руки, потом на ребёнка, потом на дверь.

— Я не буду вас трогать, — сказал Вячеслав. — Я вас спрячу. Там периметр, там сетка под током и камеры, вы сами никуда не денетесь. Я тут каждую дверь знаю.

Она ещё подумала.

Потом поставила сумку на пол, нашла на стойке ножницы для бумаги и, неловко, в два приёма, перерезала стяжку.

Он растирал руки минуты три, пока пальцы не перестали быть чужими.

— Сколько вас было наверху? — спросил он.

— Не знаю. Много.

— И что там?

Женщина посмотрела на него.

— Там стреляют, — сказала она. — И один из них лёг на нас с сыном сверху.

— Кто?

— Я не знаю имени, — сказала женщина. — Он был в перчатках. У него на перчатках клей.

Вячеслав повёл их к служебному выходу — не к главному, где сетка, а через хозяйственный двор, мимо мусорных прессов, и код он помнил наизусть: 4-1-1-9, не менялся с позапрошлого года, потому что менять его было некому.

Код не понадобился. Дверь была заперта не замком: по нижней кромке, по косяку и по полу шла серая корка, гладкая и уже твёрдая, и наружу отсюда не выходило ничего.

Он постоял, посмотрел на эту корку и повёл их обратно.

В конце коридора была комната отдыха смены — без окон, с герметичной дверью, потому что там держали баллоны, — и Вячеслав отдал им свой термос, показал, как запирается изнутри, и сказал, чтобы не открывали никому, кто не назовёт

его по имени.

— А вы? — спросила женщина.

— А я на стойке, — сказал он. — Мне положено.

— Спасибо, — сказала женщина.

Мальчик поднял голову и посмотрел на него очень внимательно, как смотрят дети, которые сегодня видели взрослого мёртвым.

— Дядя лежал, — сказал он.

— Какой дядя?

— Который нас закрыл, — сказал мальчик. — Он не встанет.

— Понятно, — сказал Вячеслав.

Он постоял у двери, пока не услышал, как внутри щёлкнул замок, и вернулся на стойку.

В холле он первым делом вылил остывший чай и налил новый.

Потом сел за стойку, включил монитор и стал смотреть.

Камеры работали через одну. На пятом стояли колонны с водой и внутри что-то двигалось. На шестом всё тонуло в пару. Восьмой не показывал вообще.

Он взял телефон и набрал брата. Разговор был короткий: живой, связали, не тронули, уборщиц выведи, не стреляй первым. Главное сказал Лёшка, и сказал не сразу: они идут наверх, а не вниз. Вячеслав посмотрел на монитор, где ничего не показывал восьмой этаж, и ответил, что тогда им, значит, наверх и нужно.

Аптечка

После Миши. Четвёртый этаж, потом Мелководье.

С Рейном они почти не разговаривали четыре года, и Мишу это устраивало.

Он предпочитал молчунов и говорил, что с ними спокойнее работать: молчун не скрывает, что ему плохо, он просто не сообщает, а это разные вещи, и по молчуну всё видно по дыханию.

За ту ночь он сказал Рейну четыре фразы.

На первом этаже: «Дай посмотрю».

На втором, когда раздавал таблетки: «В карман, не в рюкзак. Из рюкзака вы её не достанете».

На третьем: «Ты хромаешь на правую, не перегружай».

И на четвёртом, дёрнув за плечо: «Рейн, мы теряем время».

Пятой не было.

Человек, проговаривавший всё до конца, единственный раз не сказал ничего, и это, если разбираться, самое обидное в его смерти — обиднее самой смерти, потому что смерть была быстрая, а это осталось.

Письмо он не закончил.

Он писал его на ходу, по коридору четвёртого этажа, огрызком карандаша на сложенном вчетверо листе, положив лист на планшет, и остановился на середине фразы, потому что впереди открылась дверь.

Лист остался у него в грудном кармане, под бронёй, и с ним и уехал.

Личные вещи выдавали через одиннадцать недель, в конторе на Сортировке, в бумажном пакете с описью. Лена пришла в свою смену, в обед, и ей пришлось подписать четыре бумаги, и одна из них называлась «отказ от претензий по сохранности».

В пакете было: обручальное кольцо, карточка, ключи, часы с треснувшим стеклом и сложенный вчетверо лист.

Часы она потом носила сама, не починив.

Коробка стояла у Лены в шкафу, на верхней полке, за постельным.

Писем в ней было двести с чем-то — она не считала, — и складывала она их шесть лет, и ни одного не перечитала.

Это надо объяснить, потому что со стороны выглядит холодно.

Она не перечитывала не потому, что не любила. Она не перечитывала потому, что письма были одинаковые. Он писал перед каждым выходом одно и то же — что он её любит, что картриджи в верхнем ящике, что если задержится, пусть не звонит в контору, там всё равно ничего не скажут. Одна и та же страница двести раз.

Живому человеку не нужно двести раз читать, что его любят. Ему достаточно знать, что страница пришла.

Она читала первую строку, убеждалась, что страница та же, и складывала в коробку.

Все двести она прочитала в одну ночь, через одиннадцать недель.

Она сняла коробку, села на пол в спальне, потому что на кровати спал мальчик, и разложила письма по датам, и стала читать с самого раннего.

К середине она поняла, что ошибалась шесть лет.

Письма не были одинаковые. Они были почти одинаковые, а это другое. В каждом стояла одна фраза, которой не было в остальных, — не про любовь, а про быт: что у тёщи надо посмотреть колонку, что мальчику пора менять обувь, что она сама три дня ходит с горлом и пусть сходит, что он подумал и решил, что сын пойдёт не в тот интернат, а в другой, потому что в том пристройка сырая.

Шесть лет он вписывал в неизменную страницу по одному настоящему предложению, и каждое из них она пропустила, потому что проверяла первую строку.

К четырём утра она добралась до последнего.

Последнее было оборвано на середине фразы, и фраза была такая: «Лен, я тут подумал, что зря мы не съездили на воду летом, там сейчас нич».

Она сидела с этим листом до шести.

Потом встала, разбудила мальчика, накормила и отвела в сад, потому что была её смена.

Тетрадь она нашла в тот же вечер, в ящике с инструментом, куда никогда не заглядывала.

Толстая, в клеточку, исписанная печатными буквами, с загнутыми уголками на нужных местах. На первой странице стояло: «Читать, когда будет четырнадцать. Раньше не надо, раньше не поймёшь и решишь, что я дурак».

Лена прочитала первую страницу и закрыла.

Она потом много раз к этой тетради подходила и ни разу не открыла второй раз — восемь лет. Она объясняла себе это так: тетрадь не ей написана, а если она прочитает, то будет знать, что

там, и начнёт мальчику это пересказывать своими словами, и тетрадь станет не нужна.

Она отдала её в срок, в день, а не заранее, и вышла из комнаты.

Что там было написано, она так и не узнала.

Мальчик через неделю спросил её только одно:

— Мам, а он правда не умел плавать?

— Правда, — сказала Лена. — Он воды боялся всю жизнь.

Пузырёк с глицерином нашла Ада, когда собирала сумку на четвёртом: в левом кармане, где он и лежал всегда.

Она не знала, что это, и взяла, потому что брала всё.

Мазала она им на девятом, на десятом и на двенадцатом — троим, и делала это молча и быстро, тремя секундами, и все трое эти три секунды приняли как должное, и ни один не поблагодарил, потому что благодарить за такое не принято.

Она делала это правильно, не понимая, зачем делает.

Это, если подумать, и есть всё, что человек может оставить после себя в чужих руках: не знание, а движение.

Пузырёк дошёл до крыши.

Ада выложила его на стол дома вместе со всем остальным и долго на него смотрела, не понимая, что это и откуда. Она узнала через месяц, спросив у знакомого медика, зачем в боевой аптечке дешёвый глицерин.

Тот объяснил.

Ада выслушала, кивнула и убрала пузырёк в жестяную коробку из-под чая, отдельно от модулей.

Медика после четвёртого этажа у них не было.

Это выяснилось не сразу, а на шестом, в цеху, когда Серёге надо было стянуть бедро, и все посмотрели друг на друга, и оказалось, что жгут умеют накладывать все, а держать под пальцами артерию и при этом говорить с человеком — никто.

Держал Дед. Говорил Дед.

Говорил он плохо: он повторял «нормально, нормально», и это было слышно, и Серёга ему сказал под конец что-то насчёт того, что лучше бы молчал.

Сумку разделили на три части, потому что в одной её нести стало некому. Жгуты взял Дед, обезболивающее Ада, дыхательный набор Тоха. Шины не взял никто: шины остались на четвёртом.

На девятом этаже Рейн наложил жгут сам, себе, на предплечье, и наложил неправильно — выше, чем надо, и слишком туго. Он делал это по памяти, вспоминая не инструкцию, а то, как это делал Миша. Память отдала картинку и не отдала высоту.

Потом он сидел на ступеньке и думал одну вещь, которую не смог тогда сформулировать, а сформулировал сильно позже, в черновике: четыре года рядом с ним ходил человек, знавший всё, что Рейну теперь нужно, и за четыре года Рейн не задал ему ни одного вопроса.

Не потому, что было некогда. Потому, что казалось, что этот человек будет рядом всегда.

Женщину с ребёнком Ада искала три месяца, и это была её собственная затея, никем не заказанная.

Списки по зданию существовали. Персонал жилого уровня, семейные, с указанием квартир: четвёртый этаж, левое крыло. В списке стояла женщина тридцати одного года, техник оранжереи, и при ней ребёнок, мальчик, пяти лет.

Список вывезенных из здания Ада тоже добыла — не сразу и не дёшево.

Женщина в нём была.

Мальчика в нём не было.

Это ничего не доказывало: списки вывезенных велись по биркам, бирки цепляли по описи, а описи в ту ночь составляли люди, которые работали вторые сутки. В списке не было и двух человек, про которых Ада точно знала, что они там остались.

Она проверила ещё по трём линиям: приёмные пункты, интернаты, городская регистрация несовершеннолетних без сопровождения.

По третьей линии, через восемь недель, нашлась запись: мальчик пяти лет, поступил из зоны санации, без документов, с матерью не установлен.

Дальше след уходил в закрытую часть, куда Ада не полезла — не потому, что не смогла, а потому, что уже было незачем.

Она записала это в один из тринадцати файлов, отдельной строкой, и после строки поставила точку, а не вопрос.

Больше она к этому не возвращалась ни разу.

Про то, что на четвёртом этаже уже нельзя было спасти никого, Ада узнала позже всех — когда собрала порядок санации по минутам и увидела, что к тому времени внизу уже стояла пена, а следом шёл огонь, и что через жилой уровень выхода не было ни у кого.

Она сидела и смотрела на эту раскладку, и ей было плохо не от того, что все погибли.

Ей было плохо от того, что Миша этого не знал.

Он бросился на женщину с ребёнком, будучи уверен, что покупает им выход. А купил он им не выход, а несколько секунд, и на эти секунды мальчик побежал, и это единственное, чем всё кончилось.

Через двадцать минут она перестала об этом думать.

Через год она поняла, что несколько секунд — это, вообще-то, ровно столько, сколько нужно ребёнку, чтобы отбежать за угол, и что человек, у которого за спиной двадцать девять, ничего этого не считал: он просто смотрел не на проём, а на неё, и пошёл туда, куда смотрел.

Вода

01:05. Между четвёртым и пятым.

Воду делили на площадке, и это заняло восемь минут — дольше, чем любой бой за эту ночь.

Набрали её на четвёртом, из крана в чужой кухне: две фляги и полторы полторашки, найденные там же в шкафу. Всего чуть больше пяти литров на восьмерых.

— Так, — сказала Ада. — Я считаю.

Никто не возразил, потому что считала она всегда.

Она считала вслух, как считают при всех, чтобы потом не было разговоров.

— Нас восемь. Идти ещё девять этажей, из них четыре точно с дракой. Респираторы жрут влагу, фильтр сушит горло, через два часа у всех будет во рту как в трюме.

— Ну и?

— Ну и по пол-литра на человека — это четыре. У нас пять с небольшим. Значит, по пол-литра, и полтора остатка отдельно.

— Зачем отдельно?

— Затем, что кому-то станет плохо, — сказала Ада. — Всегда кому-то становится плохо, и всегда это тот, кто отдал свою воду раньше.

Разлили по флягам.

Дед подставил свою и, не глядя, сказал:

— Мне полполовины.

— Тебе нельзя полполовины, ты сто десять кило.

— Мне полполовины, — повторил Дед.

Ада налила ему четверть, потому что спорить с ним было бесполезно, а Дед потом всё равно отдал бы.

Тоха взял свою норму и тут же выпил половину, залпом, и сразу сделал такое лицо, будто сам себя поймал.

— Ты дурак, — сказала Ада беззлобно.

— Я не подумал.

— Вот и все не думают, — сказала Ада. — Потом приходят просить.

Серёга не взял.

Он молча отодвинул флягу, когда до него дошло, и сказал:

— Я потерплю.

— Серёг.

— Я в яме три года терпел, — сказал он. — Там воды давали пол-литра в сутки. Я знаю, сколько мне надо, и мне надо меньше, чем вам.

— Это не геройство? — спросила Ада прямо.

Серёга подумал.

— Нет, — сказал он. — Геройство — это когда ты отдаёшь и тебе тяжело. А мне не тяжело. Мне просто привычно.

Он всё же взял четверть, потому что Ада не отстала.

Ада достала из кармана полоску таблеток, отломил одну, разломил надвое и положила в свою флягу. Потом пустила полоску по кругу.

— Это что?

— Мишина, — сказала Ада. — Он раздал по одной ещё на входе, всем. Вы куда их дели?

Половина не помнила куда.

— Обеззараживание, — сказала Ада. — Вода из-под крана в здании, горящем снизу. Там сейчас в трубах что угодно.

— И что, поможет?

— От половины, — сказала Ада его словами, потому что он так и объяснял, когда раздавал. — От второй половины ничего не поможет, но вторая половина подействует через неделю, а нам столько не надо.

Никто не переспросил. Раздавал их человек, лежавший сейчас двумя этажами ниже лицом вниз, и переспрашивать было не у кого.

Потом Ада отлила остаток в отдельную бутылку и отдала её Деду.

— Почему мне? — сказал Дед.

— Потому что ты не выпьешь, — сказала Ада.

— Я могу выпить.

— Ты не выпьешь, — сказала Ада. — Ты её будешь таскать до крыши и отдашь тому, кто свалится. И ты знаешь, что я права, поэтому не спорь, у нас четыре минуты.

Дед взял бутылку.

Он таскал её пять этажей и отдал на десятом — не тому, кто свалился, а Аде, у которой после боя тряслись руки и которая этого не заметила.

На пятом Рейн поймал себя на том, что думает о воде.

Не о жажде — о воде вообще.

Он думал, что вырос в доме, где она шла двадцать минут в сутки, и что вся его жизнь так или иначе была про неё: очередь с канистрой, счётчик, «не лей», старуха с четвёртого яруса, которая берегла голос и растила водоросли на подоконнике.

Он думал, что в затоне у него море и что море ему досталось дешевле, чем настоящая вода.

И он подумал ещё одну вещь, от которой ему стало не по себе: люди, за которыми он сейчас идёт вверх, за всю ночь ни разу не пожаловались на жажду. Они просто считают, делят и терпят, потому что так устроены с детства.

А те, кто ждёт внизу в машинах, за эту же ночь выпили, наверное, литра по три и ни разу об этом не подумали.

Вода кончилась у всех на двенадцатом.

К этому времени их было пятеро, и на пятерых оставалась та самая бутылка, которую Дед таскал пять этажей и отдал Аде, а Ада отдала Игорю, а Игорь поставил под кадку в оранжерее, чтобы освободить руки, и не забрал.

Она так там и осталась — под деревом, и забирать её потом было некому.

Потом в оранжерею войдёт пожарная комиссия, и кто-то из них эту бутылку поднимет, посмотрит и поставит обратно.

Двадцать шесть шагов

00:40 — 01:44. Западная лестница, вестибюль, подполье.

Вниз они шли молча и шли долго — дольше, чем наверх.

Наверх шли девять минут. Вниз шли двадцать две, и все двадцать две Пыж держался за поручень правой, потому что левое плечо после проёма не поднималось выше груди.

На втором он сел.

— Сколько? — спросила Ната.

— Минуту.

— У тебя минуту или у тебя всё?

— У меня минуту, — сказал Пыж. — Я не Захар, я не вру красиво.

Ната села рядом и посмотрела вниз, в пролёт, где лестница уходила в темноту на два этажа и на два яруса.

Снизу тянуло — не дымом, а другим, мокрым и сладковатым, как из прачечной, в которой перелили порошка.

— Это она? — сказал Пыж.

— Она, — сказала Ната.

Пена стояла в пролёте между первым этажом и первым ярусом и больше не поднималась.

Она встала — в самом прямом смысле, как встаёт то, что было жидким: край у неё был ровный, чуть выпуклый, серо-белый, и на этом краю уже лежала пыль. Ната потыкала в него носком.

Носок не вошёл.

— Твёрдая, — сказала она.

— Как?

— Как штукатурка на второй день, — сказала Ната. — Её теперь ломом надо.

Она постояла и сказала то, что как электрик поняла первой и о чём потом рассказывала всякому, кто спрашивал, потому что это единственное во всей той ночи было устройством, а не людьми:

— Она не поднимается, Пыж. Её гонят снизу, по ярусам, и она доходит до перекрытия и останавливается, потому что задвижки — на перекрытии. Наверх идёт звук и пар. Наверх идёт страх. Сама она никуда не идёт.

— А те, кто наверху, думают, что идёт.

— А те, кто наверху, слышат шахту, — сказала Ната.

В вестибюле горел свет.

Это было первое, чего Ната не ожидала, и второе — что там были люди.

Вестибюль стоял целый: высокий, метров пять, с зелёными табличками «выход» под самым перекрытием, с белым полом, на котором лежали трое и было натоптано. Створки главного входа сомкнуты и за ними глухая рама без стекла. Плитка под ногами была тёплая.

У стойки на полу сидел, прислонившись, связанный охранник лет пятидесяти.

У колонны, на чемодане, сидели три женщины в синих халатах, все немолодые, все с сумками между колен. Одна вязала.

А под лестницей, на нижних ступенях, сидела женщина лет тридцати и держала на руках мальчика лет шести, и мальчик не спал, а очень внимательно смотрел.

Ната остановилась на входе в вестибюль и минуту ничего не говорила.

— Вы кто? — сказал охранник.

— Мы никто, — сказала Ната.

— Это хорошо, — сказал охранник. — А то тут уже были одни, потом другие.

Разобрались за четыре минуты, и разбиралась Ната, потому что Пыж сел на пол и дышал.

Женщин в халатах вывели с восьмого этажа около половины двенадцатого и велели ждать в вестибюле у выхода, потом выход закрылся, и никто за ними не пришёл. Они ждали час, потом решили, что ждать — это работа, которую им оплатят, и стали ждать дальше.

Мать с мальчиком спустились с четвёртого полчаса назад. Им сказали идти вниз, до самого низа, и сказали, что у стойки лежит человек, который знает, где переждать.

— Знаете? — спросила Ната у охранника.

— Знаю, — сказал охранник. — Тут за лифтами есть тамбур с двойной дверью, я в нём двенадцать лет курил. Он глухой, и он на отдельной стене.

— И вы их туда не отвели.

— Я связанный, — сказал охранник.

Он сказал это без обиды и без укора.

— Я им объяснил, — добавил он. — Два раза. Они не пошли: там темно, а ребёнок.

Ната перерезала ему руки и первым делом спросила не про тамбур, а про пожарный щит.

— В торце, — сказал охранник, разминая кисти. — Рукав есть, воды нет, на этаже давление сняли. Есть кошма и есть ведро с песком.

— Кошма — это хорошо, — сказала Ната.

— Зачем?

— Затем, что через двенадцать минут под нами начнут жечь.

Охранник посмотрел на неё.

— Откуда вы знаете, что через двенадцать?

— Я не знаю, — сказала Ната. — Я считаю. Пену пустили без пяти двенадцать, держат такую два часа. Значит, в час двенадцать.

Она посмотрела на плитку под ногами.

— И жечь будут не тут. Тут перекрытие. Тут будет только тепло и дым в шахтах.

В час двенадцать ничего не произошло, и это было хуже всего.

Не рвануло, не загудело, не пошло гарью. Просто плитка под ногами, которая была тёплая, стала горячей — не сразу, а за минуты, ровно, как встаёт утюг.

Вязавшая женщина в халате перестала вязать.

— Это что? — сказала она.

— Это пол, — сказала Ната.

— Пол не бывает горячий.

— Бывает, — сказала Ната. — Когда под ним работают.

Потом из вентиляционных решёток пошёл дым — не густой, а как из плохой печки, полосами, и стал стоять слоем под самым перекрытием, там, где висели зелёные таблички «выход», и таблички стало не видно первыми.

Мальчик сказал:

— Дым наверху.

— Правильно, — сказал охранник. — Дым всегда наверху. Поэтому мы сейчас пойдём низко.

Пошли они в двадцать минут второго, и порядок ставила Ната.

Впереди Пыж — потому что широкий и потому что если где-то плохо стоит дверь, то пусть она попадётся ему. Следом три женщины в халатах, за руки, по одной. Потом мать с мальчиком. Потом охранник, которому Ната отдала свой фонарь и сказала идти последним и считать всех через каждые десять шагов.

— Я не умею, — сказал он.

— Уметь нечего, — сказала Ната. — Семь. Каждые десять шагов ты говоришь «семь».

Она пошла вперёд.

— А вы?

— Я восьмая, — сказала Ната. — Я иду сбоку и молчу.

Через галерею на четвёртом они не пошли: вверх было четыре этажа и там был Кеша, и Ната к этому была не готова.

Они прошли западным крылом по первому этажу: склад медицинского снабжения, ряды коробок в плёнке, бумажные бирки, узкий проход, и всё это чужое, целое, прохладное и никому в эту ночь не нужное. В крыле не было ни дыма, ни тепла, ни пены, ни голоса из динамика — динамик замолчал, как только кончился башенный кабель.

Женщина в халате на ходу сказала, ни к кому не обращаясь:

— А тут всё нормально.

— Тут другой номер, — сказала Ната.

— Чего?

— Ничего, — сказала Ната.

В подполье считали шаги.

Ната считала вслух — не потому, что боялась ошибиться, а потому, что мальчик держался за мать одной рукой, а второй за неё, и потому, что ребёнку в темноте надо, чтобы кто-то говорил цифры.

Двадцать шесть шагов от последней ступени.

Дверь была на месте. Поддон был на месте. Тоннель был на месте, и в тоннеле была вода по щиколотку, и три женщины в халатах по очереди сказали одно и то же слово, и мальчик его услышал, и мать сказала: «не повторяй».

В насосной Пыж сел на бетонный скос и стал смотреть на реку.

Они вышли на набережную в час сорок четыре — восемь человек, из них четверо в халатах и куртках, один в каркасе, один связанный за час до этого, один ребёнок.

С набережной башня была видна целиком.

Она стояла тёмная, с рваной оранжевой полосой где-то на шестом-седьмом, и в ней на тринадцати этажах шло то, о чём эти восемь человек не знали ничего.

Пожарные стояли у ограды с другой стороны, и до них было триста метров и один поворот, и Ната к ним не пошла.

Она объяснила это Пыжу коротко, и объяснение было честное.

— У нас на четвёртом лежит наш, — сказала она. — И мы вошли через вскрытую петлю. Пойдём к ним — будем до утра объяснять, а объяснить нечем: договора у нас нет, заказчика у нас нет, есть бумажка без подписи.

— А эти? — Пыж показал подбородком на семерых.

— А эти пойдут сами, — сказала Ната. — Им есть что сказать.

Она подошла к охраннику и отдала ему фонарь обратно.

— Дойдёте до ограды и скажете: вышли через насосную западного крыла, дверь открыта, тоннель проходим, — сказала она. — Повторите.

Он повторил.

— И скажите им, что там наверху ещё есть живые, — сказала Ната. — Много. Скажите цифрой: тринадцать. Им нужна цифра.

Мать с мальчиком ушли последними.

Мальчик обернулся и посмотрел на Нату — так же внимательно, как смотрел в вестибюле, — и спросил:

— А дядя ваш где?

Ната подумала.

Соврать было просто, и она всю жизнь в таких случаях врала, и сейчас поняла, что за эту ночь ей соврали ровно один раз — что заказ есть, — и что этого хватило на всё.

— На четвёртом этаже, — сказала она. — Он там остался, потому что пошёл сказать людям, где выход.

— Сказал?

— Сказал, — сказала Ната.

Мальчик обдумал это.

— Тогда ладно, — сказал он и пошёл догонять мать.

Они с Пыжом сидели на скосе у воды до трёх, потому что Пыж не мог идти, а Ната не могла оставить.

В три они поднялись и пошли вдоль набережной к эстакаде, и на эстакаде стояли три машины, и в машинах кто-то сидел.

Ната посмотрела на машины долго.

Потом сказала:

— Пойдём мимо.

И они пошли мимо.

Сначала пена

00:19 — 01:40. Кухня в Заречье, телефон на стене.

Человека, который знал про санацию всё, в ту ночь в здании не было.

Его звали Щур, ему было пятьдесят восемь, он работал наладчиком по контурам консервации двадцать девять лет и ставил контур в этой самой башне, когда башню сдавали.

В ноль девятнадцать ему позвонили на домашний, и он снял трубку со второго звонка, потому что не спал: у него болел зуб, и он сидел на кухне с полотенцем, приложенным к щеке.

— Щур.

— Это диспетчерская «Ковша». Объект четырнадцать-тэ-эс. У нас протокол, стадия два. Вопрос: можно ли остановить подачу консерванта.

Щур убрал полотенце.

— Кто на пульте?

— Оператор.

— Как зовут?

— А это важно?

— Нет, — сказал Щур. — Просто я двадцать девять лет спрашиваю. Подачу остановить нельзя.

Он объяснил это за четыре минуты, и объяснял он не начальству, а человеку на том конце, и поэтому объяснял нормальными словами.

Санация — это не одно действие. Это два, и они идут в строгом порядке, и порядок этот не выбирают.

Сначала пена.

Пена — консервант. Она не тушит и не душит: она заполняет. Её задача — занять объём и встать, чтобы то, что вылилось из контейнера, никуда дальше не ушло: ни по стоку, ни по шахте, ни в реку, ни в человека. Она встаёт за двадцать минут и после этого держит форму, как штукатурка на второй день.

Потом её выжигают.

— Зачем? — спросил голос в трубке.

— Затем, что пена его только держит, — сказал Щур. — Она его не убивает. Она вообще ничего не убивает, она мокрая и тёплая, в ней при желании кое-что и подрастёт. Через сутки она начнёт садиться, а через трое суток потечёт по стыкам, и всё, что она держала, потечёт вместе с ней. Поэтому её сжигают. Она для этого и сделана: она хорошо горит.

Он послушал молчание в трубке.

— Это и есть санация, — сказал он и больше про это не сказал ничего, потому что знал ровно свои девять задвижек и не брался рассказывать за тех, кто сверху.

— И между ними два часа.

— Сто двадцать минут, — сказал Щур. — Это не «примерно». Это время полной сшивки. Раньше жечь нельзя: недосшитая пена не горит, она кипит.

Дальше в трубке спросили про воду, и Щур первый раз за разговор рассердился.

— Какую воду?

— Противопожарную. Городская часть стоит у ограды, они запрашивают вскрытие периметра.

— Вы им откажите, — сказал Щур.

— Мы отказали. Я спрашиваю для себя.

Щур подумал, сидя на кухне с полотенцем на коленях.

— Если они начнут лить воду в ярусы, — сказал он, — они получают раскисшую пену, шесть тонн жижи по стокам и всё, что в ней было, на четырнадцать выпусков в реку. Городская часть этого не знает, потому что это не их регламент, и правильно, что не знает: их регламент про людей.

— То есть вы согласны, что воду давать нельзя.

— Я согласен, что воду давать нельзя, — сказал Щур. — Я не согласен со всем остальным, но это не мой раздел.

Он сказал в ту ночь и вторую вещь, и вторая была важнее первой, и её никто не записал.

Голос в трубке сказал: подача идёт в ярусы один и два, стадия завершена, герметизация зоны один-три подтверждена, персонал оповещён.

— Зона один-три — это по ярусам или по этажам? — спросил Щур.

Пауза была долгая.

— В протоколе написано «зона 1–3».

— Я знаю, что там написано, я это писал, — сказал Щур. — Я спрашиваю, как это у вас на пульте подписано.

— «Нижние ярусы».

— Тогда слушайте внимательно, — сказал Щур. — Ярус один — это подвал. Ярус два — техническое подполье. Ярус три — это перекрытие и всё, что на нём: вестибюль, лифтовый холл, стойка. Пена идёт в первый и второй. В третий она не идёт и не пойдёт, потому что задвижки кончаются на перекрытии второго, их там девять и все девять на этом перекрытии. Выше идёт пар и звук. Больше ничего выше не идёт.

— Это существенно?

— Это существенно для тех, кто в вестибюле, — сказал Щур. — Для вас — нет.

Тут и стоит объяснить главную путаницу той ночи, потому что стояла она дорого и не стояла никому ничего.

В бумагах «Ковша» уровни считались ярусами и считались от нижнего.

Люди внутри считали этажами и считали от входа.

Поэтому «пена в ярусах один-два» на слух и по-человечески означало «пена на первом и втором этаже», и так это в ту ночь понял каждый, кто услышал, — и каждый ошибся ровно на один уровень.

Женщина из технической смены, проработавшая в здании больше десяти лет, сказала на третьем этаже двум наёмным: пена на первом и на втором, а на третьем у меня Галя. Она ошиблась в ту же сторону, что и все, и ошибка её была не про пену — про то, где начинается счёт.

Двое наёмных, отрезанных в восточном коридоре, услышали по чужой частоте «заливка нижних ярусов» и поняли, что вниз выхода нет. Про это они были правы: выхода вниз действительно не было, только не из-за пены, а из-за плит.

А в вестибюле пол был сухой всю ночь.

В вестибюле по кромке лестничного проёма стояла пена — ровным выпуклым краем, чуть выше последней ступени, — и не двигалась с полуночи, и на ней лежала пыль. Люди, которые к утру оттуда вышли, прошли мимо неё в трёх метрах и приняли её за обвалившуюся штукатурку.

Из этого следовало ещё одно, и это единственное место во всей истории, где чья-то арифметика спасла людей, а не посчитала их.

Человеку, посланному вниз с четвёртого этажа с ребёнком на руках, вниз идти было можно.

Вниз ему было можно потому, что пена стояла ниже вестибюля и стояла уже вставшая; потому что термическая обработка шла по ярусам один и два, то есть под полом вестибюля, а не в нём; потому что перекрытие между вторым ярусом и вестибюлем считалось по проекту на девяносто минут и в ту ночь отработало восемь с лишним часов; и потому что из вестибюля был выход в западное крыло, а западное крыло стояло на другом реестровом номере и в контур санации не входило.

Вверх ему идти было нельзя, потому что вверх шли тринадцать этажей, и на шестом стояла дверь с электрозамком, а на седьмом к этому часу уже горело.

Всё это можно было сложить в уме за минуту, имея на руках три сведения: где кончаются задвижки, сколько держит перекрытие и что у западного крыла другой хозяин.

Из сорока двух человек, находившихся в ту ночь в здании, эти три сведения полностью были у одного, и он сидел на кухне в Заречье с полотенцем на щеке.

В час двенадцать Щур посмотрел на часы и сказал вслух, себе:

— Ну вот.

Он не мог видеть, как это началось, и не пытался. Он просто знал по секундам, как это выглядит внизу: девять форсунок по ярусу один, восемь по ярусу два, розжиг веером от дальней стены к лестничному узлу, температура на заданную выходит за одиннадцать минут.

Он поставил чайник и сел ждать, пока перестанет ныть зуб.

В час сорок ему позвонили ещё раз и спросили, через сколько можно заходить.

— Не раньше чем через шесть часов после отключения, — сказал Щур. — И не через лестничный узел. Через лестничный узел вы неделю не зайдёте, там пена стечёт в проём и там будет пробка.

— Спасибо.

— Погодите, — сказал Щур. — А люди там были?

На том конце помолчали.

— Персонал оповещён, — сказал голос.

Щур постоял с трубкой в руке.

— Я не про персонал спросил, — сказал он.

— Я понял, — сказал голос. — Я не знаю. Правда не знаю.

И это тоже была чистая правда, и Щур её услышал, и поэтому не стал переспрашивать.

На разборе через неделю Щура вызвали как эксперта, и он просидел там полтора дня.

Его спросили одиннадцать вопросов, из них девять были про пену и два про сроки сшивки.

Про ярусы его не спросили.

Он сказал это сам, в конце, когда уже собирали бумаги: что в протоколе на пульте стоит «нижние ярусы», а на двери лестничной клетки написано «этаж 1», и что эти два счёта расходятся на единицу, и что это стоит поправить, потому что человек в здании читает дверь, а не протокол.

Ему ответили, что это редакционное замечание и что его внесут.

Его внесли.

В восьмой редакции регламента, вышедшей через год и четыре месяца, в пункте про герметизацию появилось уточнение в скобках: (здесь и далее нумерация ярусов — от нижнего технического уровня).

Строка стоит на странице сорок один и набрана тем же кеглем, что и остальной текст.

Что видно с пульта

22:58 — 01:30. Пост видеонаблюдения, второй квартал. Девять объектов, два оператора.

Тех, кто в ту ночь видел башню изнутри, было двое, и оба сидели в другом доме, в трёхстах метрах и на семь этажей ниже.

Пост видеонаблюдения «Ковша» обслуживал девять объектов сразу, потому что так дешевле: одна комната, одна стена мониторов, два человека в смену, и на каждом объекте вместо своей охранной комнаты — кабель до второго квартала.

Мониторов на стене было сорок один.

Башне из сорока одного досталось шесть, и это была ровная арифметика: сорок одна камера на девять объектов^[5] раскладывается не по важности, а по тому, сколько камер поставили, когда объект сдавали.

Старшую смены звали Ирина, ей было сорок четыре, из них двадцать за этой стеной.

Второго звали Костя, ему было двадцать три, шёл четвёртый месяц.

В двадцать два пятьдесят восемь Ирина увидела на третьем экране то, чего не бывает.

Третий экран — вестибюль объекта четыре, сверху, от лифтов, обзор на входные створки. Картинка серая, зернистая, без звука: звук на объектах не пишут, потому что за звук платят отдельно и никто ни разу не заплатил.

Из-за створок в вестибюль вошли люди.

— Ир, — сказал Костя.

— Вижу.

Она смотрела шесть секунд и за шесть секунд сделала три вещи: посчитала вошедших, нашла на экране человека за стойкой — объектового, не контрактного, девять тысяч, кнопка под столешницей и никакой брони — и нажала тревогу.

Вошедших было девять, и дальше подтягивались, и она их не досчитала, потому что на седьмой секунде в кадре упал человек в белом халате.

— Это девушка, — сказал Костя.

— Я вижу, что девушка.

— Она с ящиком.

— Костя, — сказала Ирина. — Ты сейчас смотришь или говоришь?

Тревогу она дала в двадцать три ноль восемь, и это единственное время той ночи, которое никто потом не оспаривал.

Дальше по инструкции надо было три вещи: уведомить контур охраны объекта, уведомить диспетчерскую владельца и не отходить от пульта.

Все три она сделала за минуту сорок.

На четвёртой минуте ей на внутренний перезвонили из диспетчерской владельца — мужской голос, ровный, без интереса — и сказал:

— Объект четырнадцать-тэ-эс переведён в протокол. Ваши действия не требуются.

— У меня в вестибюле стрельба.

— Ваши действия не требуются, — сказал голос. — Пост наблюдает. Наблюдайте.

Ирина положила трубку и села обратно.

Костя смотрел на неё.

— И всё? — сказал он.

— И всё, — сказала Ирина.

— А мы?

— А мы наблюдаем, — сказала Ирина. — Это называется должность. Оператор наблюдения. Там так и написано в трудовом, я специально когда-то читала.

В двадцать три двенадцать они увидели, как закрывается здание.

На третьем экране створки главного входа поехали навстречу друг другу, медленно, как ездят створки, за которые платили как за хорошие. Следом сверху опустилась глухая рама. Картинка от этого стала темнее на треть: рама закрыла подсветку с улицы, и вестибюль остался на аварийном.

На первом экране — погрузочный двор — закрылись ворота.

На пятом — коридор третьего этажа, ряды шкафов — ничего не произошло вообще, потому что в коридоре третьего этажа плиты не стояли и никогда не стояли.

Ирина потом двадцать лет отвечала на один и тот же вопрос — что вы видели в двадцать три двенадцать, — и отвечала всегда одинаково, и её каждый раз переспрашивали, потому что ответ казался неполным.

Она видела шесть картинок.

Вестибюль, где закрылись створки и на полу лежали трое. Погрузочный двор, где закрылись ворота и никого не было. Коридор третьего, где ничего не изменилось. Лифтовый холл первого, где стояли спиной к камере восемь человек и один сидел на полу. Площадка седьмого, где было пусто. И площадка десятого, где было пусто.

Камер не было на лестницах. Камер не было на ярусах. Камер не было в жилых модулях, в цехе, в оранжерее и на кровле.

— Мы не видим, что происходит в здании, — сказала она Косте в ту ночь, в двадцать три двадцать. — Запомни это на всю жизнь. Мы видим шесть мест, где ничего не происходит, и одно, где уже произошло.

Что они видели дальше, стоит перечислить по порядку, потому что перечень короткий.

В двадцать три двадцать семь на третьем экране связанный охранник у стойки перевернулся на бок.

В двадцать три пятьдесят пять по нижней кромке третьего экрана прошла муть. Костя сказал «помехи». Ирина сказала «нет», потому что муть шла не по кадру, а внизу кадра, полосой, от лестничного проёма, и это была не помеха, а пар из шахты.

В ноль двенадцать на четвёртом экране прошли двое своих — в жилом ярусе так и не было камер, но лифтовый холл первого захватывал угол лестницы, и в этом углу за всю ночь мелькнуло одиннадцать человек, и Ирина сосчитала всех одиннадцать.

В ноль сорок в вестибюле появились три женщины в синих халатах и сели на чемодан.

В час двенадцать все шесть экранов одновременно дали одну и ту же рябь на полсекунды. Ирина записала в журнале «рябь,

01:12» и больше ничего, потому что для того, от чего такая рябь бывает, у неё в инструкции слова не было.

В час двадцать в вестибюле стал виден дым — сначала как серая полоса под перекрытием, потом как туман.

В час двадцать шесть женщина в халате, та, что вязала, встала и потрогала пол ладонью.

Костя в эту минуту сделал то, что делают в четвёртый месяц.

Он встал и взял куртку.

— Ты куда? — сказала Ирина.

— Туда.

— Зачем?

— Там пол горячий, — сказал Костя. — Там женщины сидят на чемодане, и там пол горячий.

Ирина посмотрела на него и сказала ровно то, что двадцать лет за этой стеной говорят молодым, и потом много лет думала, что сказать надо было по-другому, и так и не придумала, как.

— Ты не откроешь ни одну дверь, — сказала она. — Здание заперто изнутри, а изнутри мы с тобой не имеем ничего, у нас тут кабель и картинка. До ограды тебя доведут пожарные, они там с без двадцати двенадцать стоят шестью человеками и не размотали рукав. Ты придёшь и станешь седьмым, кто стоит.

Костя стоял с курткой.

— И что делать? — сказал он.

— Смотреть и писать, — сказала Ирина. — Я тебе объясню, зачем, только не ори.

Она объяснила так.

Записи с поста хранятся четырнадцать суток, потом перезаписываются поверх. Пишутся они по движению, и в кадре, где ничего не движется, часа может не быть вообще.

Значит, через две недели от этой ночи останется ровно то, что кто-то сегодня отметил в журнале от руки: время и строка.

— Вот и всё, что мы можем, — сказала Ирина. — Мы единственные, кто это видит. Через две недели мы будем единственные, кто это видел.

Костя сел и взял ручку.

Он писал до шести утра и написал сорок одну строку, и в этом было совпадение, которого никто не заметил: сорок одна строка на сорок один монитор.

Из сорока одной строки в дело комиссии попало девять.

Остальные тридцать две не попали не по злему умыслу, а потому, что в запросе комиссии было написано «сведения о перемещениях в зоне лаборатории», а Костя писал про вестибюль.

Женщин в халатах они потом искали в записи специально, вдвоём, на второй день, отсматривая по кадрам.

Нашли.

В час двадцать в кадре появляется четвёртая фигура — женщина с ребёнком на руках, сверху, с лестницы. В час двадцать три к ним подходит кто-то пятый, не из тринадцати: коротко, в кадре плечом, без лица.

В час двадцать девять все встают и уходят влево, за колонну, и влево камера не смотрит, потому что влево смотреть было незачем: там служебный коридор в западное крыло, а западное крыло — другой объект, и на него у поста был свой экран,

седьмой, и на седьмом экране всю ночь стояли ряды коробок в плёнке.

Ирина отмотала седьмой на час тридцать один.

По ряду коробок прошли восемь человек, один за другим, низко, и последний считал остальных, оборачиваясь.

Она смотрела это четыре раза.

— Ир, — сказал Костя. — Они же вышли.

— Вышли, — сказала Ирина.

— Так это же... — Он не нашёл слова. — Это же надо сказать.

— Уже сказали, — сказала Ирина. — Они сами дошли до ограды и сами сказали, в час пятьдесят. Нам с тобой сказать нечего, Костя. Мы с тобой видели, как это было, а это никому не нужно. Нужно, что было.

Вторая цена

Контора «Медного дома» на Втором причале. Любой рабочий день.

Симон Кац работал оценщиком сорок лет и за сорок лет ни разу не повысил голос на клиента.

Он объяснял это просто: человек, пришедший закладывать часть себя, уже наказан, и добавлять нечего.

Контора у него была маленькая: две комнаты, окно во двор, стол, весы, лупа, картотека и чайник. Картотека бумажная — не из старомодности, а потому что бумагу нельзя удалить дистанционно.

Над столом висела рамка, и в рамке был не диплом, а прейскурант тридцатилетней давности.

Клиенты иногда спрашивали зачем.

— Чтобы помнить, — говорил Кац.

— Что помнить?

— Что тогда рука стоила четыре средних годовых дохода, а теперь одиннадцать, — говорил Кац. — Люди не подешевели. Просто денег стало меньше.

Работа его состояла из четырёх действий, и он проделывал их в одном и том же порядке двадцать раз в неделю.

Первое: осмотреть.

Второе: назвать цену.

Третье: назвать вторую цену.

Четвёртое: спросить, понял ли клиент разницу, и, если не понял, объяснить ещё раз — столько раз, сколько нужно, и на это Кац не жалел времени никогда.

Вторая цена — это не проценты и не комиссия.

Вторая цена — это сколько вещь будет стоить вам после того, как вы её получите.

Глаз стоит сто девяносто тысяч. Калибровка — шесть в год. Замена оптического тракта через восемь лет — сорок. Специальный фильтр, без которого тракт садится на три года раньше, — четыре тысячи за штуку, три штуки в год. Итого за первые десять лет владения глазом человек платит примерно ещё один глаз.

Кац называл эту цифру всегда. Он был единственным оценщиком в городе, который это делал, и из-за этого у него уходило примерно три клиента из десяти.

Хозяева «Медного дома» знали об этом и терпели сорок лет, потому что за сорок лет через Каца прошло девятнадцать тысяч сделок и ни по одной не было ни суда, ни жалобы, ни «недоразумения», а это в их деле дороже трёх клиентов.

У него было правило, которое он никому не объяснял: он никогда не оформлял сделку в тот же день.

Человек приходил, Кац осматривал, называл обе цены, выписывал на бумажке, отдавал бумажку и говорил:

— Приходите завтра. Или послезавтра. Или через год.

— Мне деньги сегодня нужны.

— Вам деньги были нужны вчера, — говорил Кац. — Значит, один день вы уже прожили. Проживёте и второй.

Примерно каждый шестой не приходил.

Про этих шестерых из тридцати шести он и считал, что работает не зря.

Он держал картотеку тех, кто не выкупил.

Это была толстая коробка, отдельная, и лежала она не в общем шкафу, а в нижнем ящике стола.

Там были карточки: имя, что заложено, сколько, когда просрочено, и внизу — приписка от руки, одна строка, всегда одинакового вида.

Прачечная на Мелководье. Жива.

Умер в яме, 4-й год.

Ушёл на север. Слухи.

Выкупила дочь, через 11 лет.

Приписки он собирал сам, по слухам, по знакомым, по случайным встречам, и на это уходило много времени, и никакой деловой ценности в этом не было.

Один раз молодой сотрудник спросил его, зачем он это делает.

Кац подумал и ответил так, как отвечал редко, — прямо:

— Потому что я назвал цену. Кто-то же должен знать, что было дальше.

Карточка Р. Вершинина лежала в общем шкафу, а не в нижнем ящике.

Просрочка четыре месяца — это ещё не «не выкупил». Это просто просрочка, и по такой просрочке контора имеет право забрать предмет залога через полгода, а Кац за сорок лет ни разу

не подавал на изъятие раньше срока, потому что, по его наблюдениям, из просрочивших на пятом месяце платят почти все.

Он помнил этого клиента.

Не по сумме — сумма сделки была средняя, двести сорок тысяч, глаз и порт, — а по тому, как тот отвечал на четвёртое действие.

— Вы поняли разницу между первой и второй ценой?

— Понял.

— Повторите, пожалуйста.

Клиент повторил слово в слово, без ошибки, и добавил:

— А есть третья?

Кац тогда положил ручку.

За сорок лет этот вопрос ему задали одиннадцать раз.

— Есть, — сказал он. — Третья цена — это когда вещь начинает решать за вас, куда вы завтра пойдёте. Она в договоре не пишется, и я вам её посчитать не могу.

Клиент кивнул, подписал и ушёл.

Проводив его взглядом до двери, Кац отметил — уже для себя, — что этот из тех, кто не приходит на второй день, а приходит и подписывает сразу, и что таких он не любит.

Через девять дней после пожара в Стекле Кац вернулся с причала в контору, сел за стол и достал нижний ящик.

Он вынул чистую карточку, вписал фамилию, сумму и просрочку и внизу, в строке приписки, написал от руки:

Ушёл по воздуху.

Потом посмотрел на это, зачеркнул и написал другое:

Ходит сам. Цена не определена.

Карточку он положил в нижний ящик, хотя по всем правилам конторы она туда не относилась.

Первый взнос

Из жизни Деда, за четыре года до башни.

Дедом его звали с двадцати восьми, и прилипло это не из-за возраста.

Прилипло из-за того, как он ходил: медленно, вразвалку, с той обстоятельностью, с какой ходят люди, носящие на себе много железа и привыкшие, что их не обгонят, а обойдут.

Настоящее имя у него было — Матвей Кожин, и за двадцать один год в поле его назвали так четыре раза: трижды в больнице и один раз в суде.

Щитовиком он стал не по призванию, а по чужому расчёту.

В двадцать восемь он работал на разгрузке и весил девяносто. К нему подошёл вербовщик и сказал ровно одну фразу:

— У тебя спина как ворота. Ты знаешь, сколько стоит спина?

Матвей не знал.

— Сорок шесть, — сказал вербовщик. — Это «Ковш», оранжевый, гремит, чинится проволокой. У «Кюри» за эти деньги тебе одну кисть поставят, и ту в подписку. Мы плечами не торгуем, мы спины продаём.

Через четыре месяца он знал и остальное: сорок шесть — это в рассрочку на восемь лет, и это стоимость несущего каркаса, без которого тяжёлый щит ломает человека изнутри за три выхода.

Каркас он выплатил за одиннадцать лет вместо восьми, и четыре месяца из этих одиннадцати провёл в яме, потому что на девятом году просрочил три платежа подряд.

Про яму он говорил мало и всегда одно:

— Я четыре месяца.

Один раз, Серёге и отдельно, он сказал больше.

— Заплатили. Лида заплатила. Продала всё, что было, и заняла. Мы потом семь лет отдавали.

— А сколько?

Дед подумал, стоит ли говорить.

— Меньше, чем я думал. Вот это самое поганое, Серёг. Я четыре месяца сидел и думал, что я стою как дом. А я стоил как подержанная машина.

Про свою работу он говорил одно и то же, и ему не надоедало.

— Стрелок думает, куда попасть. Я думаю, куда встать.

Разница, по его словам, была в том, что стрелку нужна секунда, а ему двадцать минут заранее. Он приходил на объект и первым делом искал не цели, а углы: где сужается, где двери открываются внутрь, где за спиной глухая стена, а не стекло.

Он говорил, что за двадцать один год не сделал ни одного красивого движения и очень этим доволен.

Дочь позвонила в четверг, вечером, и по голосу он сразу понял, что она звонит не просто так, потому что просто так она не звонила четвёртый год.

Оле было двадцать три. Она жила в Стекле — не в самом Стекле, а в нижнем ярусе, в общежитии при конторе, где работала оператором, и у неё было плохое левое ухо с детства, после отита, который тогда лечили тем, что было.

— Пап, я поставлю имплант.

— Какой имплант.

— Слуховой. Корпоративный, хороший. Я уже прошла комиссию.

— Сколько.

— В рассрочку на шесть лет. Там нормальный процент, у нас все так берут.

— Сколько первый взнос.

Она сказала.

Он подержал трубку и спросил не то, что собирался.

— А без него как?

— Пап, — сказала Оля, и в голосе у неё что-то встало. — Я на совещаниях не слышу половину. Я сижу и киваю. Мне двадцать три года, я киваю.

Денег у него не было.

Это надо считать честно, потому что он это считал честно, за столом, на бумаге, три вечера.

Ставка была хорошая для щитовика и никуда не годная для того, чтобы у человека что-то лежало. Из ставки уходило: комната, вода, фильтры, медь по норме, страховка, которая не покрывала ничего важного, и обслуживание каркаса — четыре раза в год, обязательно, иначе гарантия снимается, а без гарантии не выпускают на объект.

Оставалось около трёх тысяч в месяц.

Отложено было девятьсот с чем-то, и эти девятьсот лежали шестой год и назывались «на всякий».

Занять было не у кого. У Лиды сестра в Затоне, у сестры ничего.

На четвёртый вечер он сложил бумагу вчетверо и поехал в контору.

Перезалог каркаса — процедура законная и оформляется в одном окне.

Смысл её такой. Каркас выплачен, значит, он твой. Твоя вещь — обеспечение. Ты закладываешь её обратно тому, кто её тебе продал, получаешь деньги и платишь по новому графику, и пока платишь, каркас формально принадлежит конторе.

Если перестаёшь платить, каркас переводят в пассивный режим.

Пассивный режим — это не «выключили». Это когда несущая рама остаётся в теле и перестаёт нести. Она держит форму и не помогает, и человек ходит с двадцатью с лишним килограммами внутри себя, которые больше не работают на него, а работают против.

Матвей знал это всё до окна. Он двадцать лет слушал, как это бывает у других.

В окне сидел мужчина его лет, в рубашке, с усталым лицом человека, который за день видит восемь таких.

— Возраст?

— Сорок пять.

— Цель?

Матвей посмотрел на него.

— Цель какая? — повторил мужчина, не поднимая головы. — Тут графа.

— Личные обстоятельства.

— Так и напишем.

Он оформил за двенадцать минут и на прощание сказал одну вещь, которую говорить был не обязан:

— Вы вот что. Вы платите первые полгода, не пропускайте. Дальше уже пойдёт, дальше привыкнете. Ломаются все на первых шести.

— Понял, — сказал Матвей.

— И это. — Мужчина всё-таки поднял голову. — На объектах не говорите. Просто не говорите, и всё.

Деньги он привёз в субботу, сам, потому что переводом было нельзя: первый взнос принимали наличными в кассе при клинике.

Они с Олей стояли в коридоре, в очереди, минут сорок.

Коридор был чистый, с рядом стульев и с экраном, по которому шла беззвучная передача про еду, и на экране женщина показывала, как режут помидоры, и говорила что-то, чего не было слышно.

Оля два раза спросила, не устал ли он стоять.

— Стою нормально.

— Ты сядь.

— Я не сажусь на такие стулья, — сказал он. — С них потом вставать.

Она засмеялась.

Это был последний раз, когда она при нём смеялась, и он этого, конечно, не знал, и потом не мог вспомнить, над чем именно.

Деньги он отдал в кассе, и в кассе всё прошло правильно.

А сказал он в коридоре, на выходе, когда бумага была уже подписана и назад ничего не двигалось.

Он сам не знал, откуда это взялось. Он ехал с одним и приехал с другим, и в очереди сорок минут думал совсем не про то, и всё равно вышло так.

— Ты продала себе ухо, — сказал он.

Оля остановилась.

— Что?

— Ты в рассрочку взяла. Шесть лет. Значит, шесть лет тебя держат за ухо.

Она смотрела на него несколько секунд.

— Я купила себе ухо, пап, — сказала она. — Это разные вещи.

— Разные?

— Совсем разные, — сказала Оля. — Ты вот на себе двадцать лет носишь. Тебе его продали или ты купил?

Он не ответил.

Он мог ответить. У него было что ответить — у него было ровно то, что он подписал полторы недели назад в окне на Сортировке, и это был бы честный, тяжёлый и окончательный ответ, и после него разговор пошёл бы куда-то в другое место.

Он не сказал. Он молчал секунд десять, и за эти десять секунд Оля успела понять что-то своё, неправильное, и попрощаться, и уйти.

Про залог она не знает до сих пор.

Лиде он тоже не сказал.

Ей он сказал, что подработал на двух выходах в Заречье, и Лида кивнула, и на этом всё кончилось, и никогда больше не поднималось.

Она работала в прачечной на Мелководье, через ночь, и приходила в семь утра с красными руками и с тем запахом, который не выветривается. Они жили вдвоём в двух комнатах, и у них была одна вещь, которая держала их вместе крепче всего остального: они оба умели не спрашивать.

Двадцать шесть лет.

Один раз, много позже, он сказал вслух, глядя в чашку:

— Тонут не от воды, Лид. Тонут от груза.

— Это ты к чему?

— Ни к чему, — сказал Дед. — Так говорят.

Так не говорят. Он половину своих поговорок перевирал, и никто ни разу его не поправил, потому что переверано у него выходило лучше.

На выходах он брал с собой три вещи сверх положенного.

Термос — потому что из фляги пить неудобно в шлеме.

Свёрнутый брезент — потому что на брезенте можно нести человека, а носилки никто никогда не берёт.

И моток сорокаметрового троса, который он таскал двадцать лет и использовал за всё время дважды.

На вопрос «зачем» он отвечал:

— Дважды за двадцать лет. Ты считай не сколько я его таскал, а сколько людей два раза.

Трос весил четыре килограмма. После перезалога он стал считать килограммы — не потому, что каркас изменился, а потому, что теперь каждый килограмм имел цену в графике платежей, и он это знал, и таскал трос всё равно.

Арслану он сказал «нет» один раз, за год до башни.

Был склад, был узкий коридор под огнём, и Арслан посчитал, что пройдут.

— Не пройдем, — сказал Дед.

— Пройдем.

— Ты считаешь по времени. Я считаю по ширине. Там метр двадцать, у меня щит метр десять, у стрелка за мной плечи. Мы там встанем пробкой и сгорим все.

Арслан посмотрел на него секунд пять и повернул группу.

Об этом никто не узнал, и Дед никому не рассказывал, но с того дня Арслан брал его на каждый серьёзный выход и в разговорах на равных не осаживал ни разу.

Платёж по перезалогу он не пропустил ни одного за четыре года, и на первых шести не сломался, и мужчина в окне был прав насчёт того, что дальше привыкаешь.

За два дня до башни, в фургоне, когда называли сумму, он посчитал в голове и получил, что при таких деньгах остаток закрывается за один заказ.

Он никому не сказал и этого.

Глава 5. Виварий

Они старые.

Не думал, что первый раз в жизни увижу живого омара в стеклянной колонне на пятом этаже офисного здания и что он будет смотреть на меня. У одного панцирь в белых рубцах, как карта дорог. Ада сказала: они всё помнят, у них нет предела, они просто растут, пока их кто-нибудь не съест.

Значит, они теперь как мы. Только они для этого ничего не делали.

Я не стал их убивать. Не из жалости. Просто когда чего-то осталось последнее, рука не поднимается, даже если голова говорит, что так правильно.

Рейн, ночь на четверг, час десять

Пятый этаж. 01:10 — 01:45.

Между четвёртым и пятым Тоха пристроился рядом и молчал ступенек десять. Ремень автомата он подтянул дважды за эти десять ступенек.

— Слышь, — сказал он наконец. — А ты сколько уже?

— Двенадцать лет.

— А я думал, больше.

— Спасибо.

— Да нет, я не в смысле... — Тоха смутился. — Я в смысле, что ты как будто всегда знаешь, куда смотреть.

Рейн промолчал.

— Меня мать не пустила бы, — сказал Тоха. — Она думает, я на складе работаю. Я ей и говорю — на складе. Ну, сегодня-то почти правда, там на втором реально был склад.

Он засмеялся своей шутке, один.

— Ты вот скажи, — продолжил он. — Тут же можно нормально устроиться, да? Годик походить, репутацию сделать, потом в контракт, в «Гарпун» какой-нибудь. Там страховка. Там если ноги нет —

— Можно, — сказал Рейн, не дав ему дойти до ноги. — Только ты мечтаешь не про «Гарпун». Ты мечтаешь про смену.

— А это разное?

— Это разные деньги. На стойке человек стоит девять тысяч в месяц, а сутки охраны склада на бирже — шестьсот, и страховка там не его, а объекта: положат — заплатят хозяину здания, а к утру наберут нового. У смены номер контракта вместо фамилии и годовая премия сверху, и вот их страхуют всерьёз, потому что застраховать дешевле, чем хоронить.

— Это ж сколько.

— Это столько, что за такие деньги в тебе должно быть то, чего нет у трёх тысяч человек на двести объектов, — сказал Рейн. — Страховка, про которую ты говоришь, идёт с той цифрой, а не с девятью тысячами.

Тоха помолчал полпролёта.

— Вот и я думаю, что можно.

Они прошли ещё пролёт.

— А ты чего не пошёл? — спросил Тоха.

— Долг, — сказал Рейн. — В контракт с долгом не берут. Им нужны чистые.

— А, — сказал Тоха. — Ну да.

Он подумал и добавил, серьёзно, как говорят о плане на жизнь:

— Значит, мне надо не влезать в долги.

— Не влезай, — сказал Рейн.

И почувствовал себя очень старым.

Пятый этаж начинался с шлюза, и в шлюзе было холодно.

Холод был не как на лестнице — на лестнице тянуло гарью снизу, а тут стояло пусто и чисто, и в этой пустоте держался один запах: йод и мокрый камень. Он садился на фильтр респиратора и оставался там. Рейн потом, на седьмом и на десятом, время от времени ловил его на себе и каждый раз думал про воду.

У второй двери он задержал ладонь на металле — правой, потому что левая на холодном металле щёлкала в запястье, — и посмотрел, чем это кончится.

Ничем. Он входил, проходил десять шагов и останавливался, потому что смотреть было не на что: вода, свет и тишина. Он открыл глаза и стоял всё там же, с ладонью на створке, и Тоха за спиной успел только переступить.

«Разрыв сессии», — сказала Лира буднично, как говорят «час десять».

Пустой заход не ощущался тратой. Он ощущался как посмотреть в глазок перед тем, как открыть. Потом эти пустые пришлось считать вместе со всеми.

Они прошли через две двери, и вторая закрылась за ними с мягким вздохом, и стало тихо — по-настоящему тихо, впервые за час. Ни стрельбы, ни сигнализации. Только идущий где-то под полом гул насосов, ровный и низкий, как будто здание дышало животом.

Потом Дед сказал: «О господи», — и все остановились.

Зал был огромный. От пола до потолка стояли прозрачные колонны воды, десятки, в шахматном порядке, и вода в них светилась холодным голубым светом снизу, и свет шёл по полу полосами. Почти все колонны были пустые: вода, свет и никого. В шести, в дальнем конце, кто-то был.

Рейн подошёл к ближней из занятых.

Омар висел в воде почти неподвижно, чуть перебирая ногами, — тёмно-синий, почти чёрный, с клешнями, сложенными перед собой. Он был больше, чем Рейн себе представлял. Гораздо больше. Панцирь на спине шёл белыми рубцами, как карта дорог, и один ус был обломан у самого основания и отрос коротким.

Омар медленно повернулся и посмотрел на него.

— Он на тебя смотрит, — сказал Тоха шёпотом.

— Не на меня. На движение.

— Не, — сказал Тоха. — На тебя.

«В учебниках их рисуют красными», — сказала Лира.

«Красными они становятся, когда их варят».

«Откуда ты знаешь?»

Он не знал, откуда. Кто-то сказал ему это очень давно. Кто-то маленький, с ободранной коленкой, сидя на дамбе и болтая

ногами над жёлтой водой. Он потянулся за этим и не достал.

— Последние, — сказала Ада. Не им — себе. Она стояла у соседней колонны, задрав голову. — Там, внизу, их больше нет вообще. Совсем.

— Здесь-то есть.

— Здесь — шесть. А было море. — Она приложила ладонь к стеклу, не касаясь, в сантиметре. — Ты знаешь, сколько ему лет?

— Нет.

— И никто не знает. Они не стареют, Рейн. Они просто растут. Каждый раз сбрасывают панцирь и делаются больше, и так пока их кто-нибудь не съест. У них нет предела. Они просто живут, пока не сожрут.

Она сказала это без всякого нажима, будто перечисляла инвентарь. И добавила, не оборачиваясь:

— У меня мать рассыпалась за год.

Рейн промолчал. Он понял, что если сейчас скажет хоть слово, она перестанет.

— Она была мозаика, — сказала Ада. — Всю жизнь на барже, всю жизнь в тумане. К сорока у неё лёгкие стали лучше моих, а суставы посыпались.

Она усмехнулась.

— Врач так и написал: мозаицизм, адаптивные изменения. Ей от этого слова стало легче. Она потом всем говорила: у меня, говорит, не болезнь, у меня мозаика.

— Хром съел её изнутри. Дешёвый, с рынка, три сустава и лёгкое. Она копила на них восемь лет. Сначала стало плохо ходить, потом плохо дышать, потом она не узнавала меня по

утрам — узнавала к вечеру. Год. Я сидела и смотрела, как из человека уходит человек, и ничего нельзя было сделать, потому что денег не было, а долг был.

Она наконец обернулась.

— А эти висят тут в водичке двести лет и не знают, как им повезло.

Они прошли вдоль колонн до середины зала, и Рейн смотрел на номера.

Идти было странно. Пол был решётчатый, из крашеной стали, и под ним стояла вода: шаг отдавался не стуком, а коротким гулким «бум», который уходил вниз и возвращался. Между рёбрами решётки набилась мелкая белая крошка — известь от воды, — и подошвы с неё соскальзывали чуть больше, чем нужно. Дед шёл, ставя ногу всей ступнёй, и не соскальзывал.

Номера, выбитые на металлических табличках у основания каждой колонны, шли в странном порядке — не подряд: восьмой, потом двадцать второй, потом четвёртый. Он не сразу понял, а поняв, остановился: это были не номера колонн, а номера особей, и нумеровали их, как нумеруют сотрудников, и часть номеров просто отсутствовала.

— Это что, все, кто был? — сказал Тоха, тоже заметив. — А где остальные?

Ему не ответили, и он постоял, посмотрел на пустые колонны и сказал сам, ни к кому:

— Значит, нас сюда не за контейнером послали.

Все обернулись. Он смутился, но договорил:

— Ну а чего. Если их столько осталось — это же последнее, что есть. За таким тринадцать человек с биржи не посылают. За

таким посылают своих.

Арслан посмотрел на него дольше, чем следовало, и ничего не сказал.

А Рейн подумал, что парень за два часа дошёл до того, до чего он сам дошёл только на седьмом.

— Съели, — сказал Дед.

— В смысле — съели?

— В прямом. — Дед шёл, не поворачивая головы. — Ты что думаешь, из них только дозу дают? Нет, малой. Сначала их просто ели. Лет сорок ели, по ресторанам, с лимоном. Потом уже выяснили, что в них есть кое-что получше мяса.

Он помолчал полшага.

— Что в сеть зашло, то и уха, — сказал он. — Так у нас говорили.

На отменях говорили не так, и не про это, но поправить его было некому: тех, кто помнил как правильно, в живых не осталось.

Он остановился у колонны с двадцать вторым и постоял.

— Вот этого я в детстве видел в аквариуме. Не этого, конечно. Такого же. Живого, в магазине, на льду, ещё шевелился. Мать сказала: не смотри, он дорогой.

Вода в колоннах светилась снизу, и от этого по полу шли синие полосы.

Мать Рейна умерла в такой же воде — не в такой, конечно, а в обычной, в портовой, на разгрузке, когда лопнул шланг и её накрыло. Ему было двадцать семь, сестры к тому времени уже два года не было, и хоронили в закрытом, потому что смотреть

было нельзя.

Он не помнил её лица.

Это было честнее всего: он не помнил его ещё до всякой дозы, просто потому, что прошло семь лет, а фотографий не осталось — они были в квартире, а квартиру он сдал через месяц, потому что не тянул.

Он помнил только руки. Красные, распаренные, с обгрызенными заусенцами, всегда чуть влажные. И как она каждый раз, приходя со смены, сначала мыла их до локтя, долго, а потом уже трогала их.

С сестрой было иначе.

Лицо сестры он помнил все девять лет, каждый день, и носил его в себе, как носят фотографию в бумажнике, — и именно поэтому сегодня ночью ему было чем платить.

Посреди зала, между рядами, он попробовал позвать.

Просто так, на ровном месте: остановился, закрыл глаза и потянулся к тому, что дважды сегодня приходило само.

Не пришло ничего.

Он постоял, подышал и попробовал ещё раз — и снова ничего, и это было не «нет», а вообще никак: как нажимать на кнопку в стене, за которой нет проводов.

Оно приходило только у дверей. У поворота. В ту секунду, когда шаг ещё не сделан, а сделать его надо.

Посреди комнаты выбора нет, понял он. Есть только пол.

Ада нашла его между рядами.

Она шла вдоль колонн, считая таблички, и остановилась, поравнявшись, и дальше пошла рядом, в ногу, и молчала ровно столько, сколько надо молчать, чтобы человек понял: сейчас спросят.

— Кашель ты мне объяснил, — сказала она.

— Объяснил.

— Три пункта, я проверила, всё сошлось. — Она не смотрела на него. — А Катю тебе кто объяснит?

Он шёл и молчал ещё шагов пять.

Здесь было можно. Здесь было тихо впервые за час, никто не стрелял, и Арслан был далеко, у дальнего конца, и это, наверное, было единственное место за всю ночь, где такое вообще можно было выговорить.

— Их было семеро в счёте, — сказал он. — Двое в центре, четверо по бокам, начальник с кашлем. Семь.

— А стрелял восьмой.

— Стрелял восьмой.

Ада остановилась.

— Ты его видел?

— Видел, — сказал Рейн. — Он стоял у окна, спиной к стеклу, и не сдвинулся ни разу. Он не стрелял, не смещался и не получал команд.

— И ты его вычеркнул.

— Я его не вычёркивал. Я его не вписывал. — Он сказал это ровно, и от этого вышло хуже. — Считаешь тех, кто двигается. Кто стоит — это мебель.

— Мебель, — повторила Ада.

Она развернулась к нему всем телом, и вода за её спиной шла синими полосами по полу.

— Вот тут ты и ошибся, стрелок. Не в кашле. Не в проходах. Ты посчитал тех, кто участвует, а надо считать тех, кто есть. — Она подняла палец. — В комнате семь человек и восьмой у окна — значит, в комнате восемь. Всегда восемь. Даже если он там сорок лет стоит.

— Он не стрелял ни разу.

— Он стрелял один раз, — сказала Ада. — Этого хватило.

Рейн не ответил.

— Я не добить тебя хочу, — сказала она уже тише. — Я хочу, чтобы ты его посчитал в следующий раз. Там, наверху, будет ещё такой же. Он будет стоять у стены и ничего не делать, и ты его опять не впишешь.

Она пошла дальше.

— Считай всех, кто есть, — сказала она через плечо. — Даже мебель.

Он шёл за ней и думал о том, чего не сказал вслух: что человека у окна он в трёх заходах видел трижды и трижды прошёл мимо, и что если бы он посмотрел ещё один, четвёртый раз — не на проходы, а на стены, — то увидел бы то же самое и, скорее всего, опять не вписал бы.

Считать он умел. Он не умел решать, что считать.

На стене у дальнего конца зала была дверь с надписью «ОПЕРАТОР» и кодовым замком, который Ада вскрыла за девятнадцать секунд, ругаясь вполголоса.

Внутри была каморка: стол, чайник, пожелтевший календарь, продавленный стул. И старый терминал, оставшийся включённым: кто-то ушёл и не выключил.

Здесь кончалась решётка и начинался линолеум, положенный куском, с загнутым краем у порога, — об этот край запнулся Тоха. И здесь пахло не йодом, а человеком: заваркой, мокрой тряпкой и валидолом.

Рейн вошёл последним и, как всегда, посмотрел не на людей и не на стол, а на стены.

Это была старая привычка, из-за которой он когда-то потерял полгода учебки: пока все смотрят, кто перед тобой, он смотрел, где ты стоишь. На стене в каморке висело три бумажки, и все три были приклеены давно — углы обтрепались, а под кнопками бумага выцвела кольцами.

Первая была график санитарных обходов по объекту, разграфлённый от руки, по этажам сверху вниз. Против шестого стояло: «линия 4 — останов только с пульта цеха, сеть не глушить». Против восьмого: «бокс. обход два раза в смену. Свет по коридору. В боксах свет не включать — распоряжение, не реагируют». Против девятого: «плюс шестнадцать круглосуточно, не трогать, оптика плавёт».

Вторая была инструкция по кормлению, в одиннадцать пунктов, и половина пунктов была зачёркнута и переписана поверх другой рукой.

Третья была список телефонов, где все номера, кроме двух, были замазаны.

Рейн прочитал всё три раза подряд, не потому что понял, а потому что не понял, и сложил, куда складывал такие вещи: под язык, до поворота. Он не знал, что из этого пригодится. Он давно

заметил, что никогда не знает заранее, и перестал отбирать.

— Ты чего застрял, — сказал Дед.

— Читаю.

— Чего там читать.

— Чужой почерк, — сказал Рейн.

На терминале мигал файл. Один. Аудио.

— Это не системное, — сказала Ада. — Это кто-то оставил.

Она ткнула пальцем.

Комнату заполнил голос — немолодой, простуженный, с одышкой, говоривший не в микрофон, а куда-то рядом с ним; было слышно, как человек ходит.

«...день сто девятый. Кормление ручное, потому что автомат опять жуёт. Двадцать второй снова в экдизисе, панцирь сняли, вес взяли. Норма.

Шестой опять требует гнать по графику. Я им говорю: у меня живое, оно панцирь сбрасывает не по вашему такту. А они мне: Пётр Ильич, у нас всё на конвейере. У них там правда всё на конвейере. У них там Толя на конвейере.

Толя — это у них наладчик был. Он у второго пресса стоял, слева от ленты: ему туда поддон подавали, он туда и тянулся, двадцать лет одной рукой дальше другой. Ему затянуло руки в пресс, и его собрали обратно из цеховой гидравлики, и теперь он ходит с тактом линии, потому что иначе он не ходит. Четыре секунды. Я один раз стоял рядом и считал. Он не слышит. Ему воздухозаборник поставили туда, где было лицо, и он ходит по полу, ногами чувствует.

Я им сказал: вы человека в станок вписали. Они сказали: он согласился.

Я записываю это для отчёта, но отчёт никто не читает, так что я скажу так. Они не сырьё. Я понимаю, что в накладной они сырьё. Я двадцать девять лет работаю и знаю, что в накладной все — сырьё.

Их было сто шесть, когда привезли. Осталось шесть, здесь, в тепле. В море — ноль, и это всё море, вы понимаете? Всё море — это ноль.

Если ты это слушаешь и ты не я — не выпускай их. Им некуда. Воды нет. Я протиснул. Мне сказали: Пётр Ильич, ты старей.

Я старей».

Запись щёлкнула и кончилась.

В камере было тихо. Тоха стоял в дверях и держался за косяк.

— Это тот самый? — спросил он. — Который тут был главный?

— Главных тут не было, — сказал Дед. — Была подпись. Их там было несколько.

— А голос чей?

— А голос чей-то, — сказал Дед.

Ада стояла у терминала и смотрела не на экран, а в пол.

— Он про шестой сказал, — произнесла она. — Про наладчика.

— Сказал.

— Нам через шестой идти.

— Идти, — согласился Дед.

Рейн не участвовал в этом разговоре. Он в это время делал то, что делал всегда, когда слышал число: проверял, откуда оно.

Четыре секунды. Старик сказал «четыре секунды» и сказал, что стоял рядом и считал. Значит, число не из бумаги, а с пола, и значит, ему можно верить.

И ещё старик сказал «ходит с тактом линии, потому что иначе он не ходит».

Это была не жалость и не метафора. Это была схема подключения, произнесённая вслух человеком, которому она надоела.

Арслан в зале очень коротко прикрыл глаза — так он делал всегда перед тем, как сказать, и это занимало у него меньше, чем вдох.

— Уходим, — сказал он. — Три минуты потеряли.

Рейн посмотрел на часы и понял, что считать больше нечего.

Час двенадцать прошёл. Прошёл, пока они стояли у колонн и разговаривали про омаров, и никто этого не заметил, потому что здание ничем себя не выдавало: ни сигнала, ни толчка, ни звука.

Пол под ногами был тёплый. Не горячий — тёплый, как батарея весной, и час назад он таким не был.

Ада не пошла. Она стояла посреди каморки и смотрела на терминал, и по лицу у неё ходило что-то нехорошее.

— Мы можем их выключить, — сказала она.

— Кого?

— Насосы. — Она кивнула на экран. — Отсюда, с этого пульта. Тут всё открыто, оператор даже пароль не поставил. Двадцать минут — и вода уйдёт. Сорок — и всё.

Рейн посмотрел на неё.

— Зачем?

— Ада, ты чего? — сказал Тоха.

Она не ответила ему. Она ответила тому, что у неё стояло в голове с той минуты, как они вошли в этот тёплый зал и она увидела ряды колонн с подсветкой и табличками.

— Мать копила восемь лет, — сказала Ада. — На три сустава и лёгкое. С рынка, потому что на такие вот, — она мотнула подбородком на колонны, — денег не бывает. И эти восемь лет она работала на барже, чтобы потом лечь и не встать за четыре месяца.

Она положила ладонь на рычаг. Спокойно, как кладут руку на стол.

— Затем, что это последняя частная колония в городе, — сказала Ада. — Это их запас. Пока они есть, «Ковш» будет делать дозы. Будет делать дозы — будут такие ночи, как эта, и будут такие, как мы, которые лезут за ампулой на седьмой этаж. Убери колонию — и всё кончится. По-настоящему кончится.

— И новых доз не будет вообще, — сказал Рейн.

— Не будет.

— И тех, кто мог бы жить вечно, тоже не будет.

Ада замолчала.

— Я знаю, что я сказала про мать, — произнесла она наконец. — Я помню, что я сказала. Одно другому не мешает.

И, не дожидаясь ответа, повернулась к пультам и положила руку на рычаг подачи.

Она не дёрнула его. Она просто держала — ладонь на рукояти, костяшки белые, — и стояла так секунды три, и всем в каморке было видно, что три секунды она решает.

— Ада, — сказал Дед от двери. Очень спокойно.

Она сняла руку.

— Да ладно, — сказала она, и голос был чужой, весёлый. — Чего вы. Я посмотреть.

Их нашли, когда они были в каморке.

Двое — не «Гарпун», а свои, заводские: сменный технолог вивария и парень из обслуживания, оба без брони, оба с обрезами, которые держат на объектах для крыс.

Они вышли из-за колонн и остановились в десяти метрах, и решётка под ними дважды гулко ухнула, а потом перестала.

Дальше всё стояло так. Технолог — прямо, посреди прохода, ноги ровно, обрез поперёк живота, стволом в пол. Парень из обслуживания — на полшага позади и правее, за колонной, и из-за колонны у него торчало плечо и полголовы. Дед начал поднимать ствол — медленно, как поднимают, когда ещё можно передумать; локоть он при этом прижал к боку, а вес перевёл на заднюю ногу, чтобы можно было и шагнуть, и сесть. Арслан отступил на полшага к простенку между дверями, как отступал всегда: в проёме он не стоял никогда. Тоха сделал вдох и не выдохнул, и ремень, который он только что подтянул, съехал у него обратно, и он его не тронул.

Рейн стоял левее Деда, на два шага ближе, и никуда не двигался, потому что двинуться сейчас значило сказать.

— Не надо, — сказал Рейн.

Он сказал это вслух и громко, и это было первое громкое слово, которое от него услышали за весь этаж.

— Обоснуй, — сказал Арслан из-за простенка.

Рейн не стал оборачиваться. Он говорил, глядя на технолога, и считал пальцами у бедра, чтобы самому не сбиться.

— Первое. Обрез он держит стволом в пол, а палец лежит вдоль скобы. Так держат вещь, из которой не стреляли. Кто собирается стрелять, тот уже поднял.

Он загнул второй.

— Второе. Куртка форменная, под ней свитер, и свитер домашний. Он не переодевался. Его подняли с места, где он сидел, и он пришёл как был.

— Третье?

— Третье — куда он встал. — Рейн чуть повёл подбородком. — Он не между нами и дверью. Он между нами и колоннами. Он нас не держит. Он их не отдаёт.

Дед подумал секунду и опустил ствол — сначала до пояса, потом совсем, и вес вернулся на переднюю ногу. Приклад у него был перемотан изолентой в три слоя, и верхний слой был свежее двух нижних.

— Четвёртое, — сказал он. — Он один пришёл и мальчишку притащил. С тем, кого бояться, вдвоём не ходят.

— Четвёртое ваше, — согласился Рейн.

— Вы к колоннам не подходите, — сказал технолог.

— Мы уходим, — сказал Арслан.

— Вы к колоннам не подходите, — повторил технолог.

Он был не молодой, в очках, в форменной куртке поверх свитера, и обрез он держал так, как держат вещь, из которой не стреляли ни разу.

— Мужик, — сказал Дед мягко. — Тут санация. Тут всё через час сгорит. И ты сгоришь.

— Я знаю.

— И что?

— И ничего, — сказал технолог. — Я двадцать лет их кормлю.

Они постояли друг против друга секунд двадцать.

За двадцать секунд никто не переступил. Технолог один раз перехватил обрез — переложил левую ладонь ближе к цевью и снова опустил стволом в пол. Парень за колонной убрал плечо и стал виден только сапогом. Дед за это время дважды переступил на месте, разгружая ту ногу, которую разминал на четвёртом.

Потом Ада очень медленно, показывая руки, отошла от пульта.

Она не сказала, что только что стояла с ладонью на рычаге, — просто отошла, и рычаг остался в верхнем положении, и насосы продолжили гудеть под полом.

— Мы уходим, — повторил Арслан.

Технолог кивнул.

Они прошли мимо него, и парень из обслуживания посторонился, и никто ни в кого не выстрелил, и это был единственный этаж за всю ночь, где так вышло.

Уже в дверях Тоха обернулся.

— А вы правда останетесь? — спросил он.

Технолог поправил очки.

— Ну а куда я пойду, — сказал он.

Рейн вышел обратно в зал.

Свет шёл полосами по полу, насосы гудели под ногами, и тот, со шрамами, висел в своей колонне и перебирал ногами, и обломанный ус чуть шевелился в воде.

Он думал про то, что она права.

Это было самое неприятное. Она была права во всём: пока здесь стоят эти колонны, будут ночи вроде сегодняшней, и парни вроде Тохи будут заходить в башни и не выходить. Одно движение пальцем — и вся эта арифметика кончится навсегда, для всех.

Он поднял руку и почти коснулся стекла.

Тот, со шрамами, подобрался ближе — не к людям вообще, а именно к руке, и встал напротив ладони, и обломанный ус лёг на стекло с той стороны.

Рейн повёл ладонь вдоль колонны. Омар пошёл за ней.

Он отметил две вещи и не стал думать ни об одной.

Первая: вёл он правой, а рубаха на правом боку задубела от крови, и когда рука шла вверх до плеча, там должно было тянуть. Не тянуло.

Вторая: за всю ночь он ни разу не посмотрел, что у него под рубахой. Дед посмотрел. Он — нет.

Он опустил руку и вытер ладонь о штанину, хотя ладонь была сухая.

— Если я их сейчас утоплю, — сказал он вслух, ни к кому, — то это уже никогда не переиграть.

— Чего? — сказал Тоха.

Рейн не ответил.

Он не смог бы объяснить, что именно его остановило, и потом, много раз, пробовал объяснить и не смог. Не жалость. Не расчёт. Просто когда чего-то осталось последнее, рука не поднимается, даже если голова говорит, что так правильно.

— Идём, — сказал он.

Он шёл к выходу последним и не оглядывался.

Потом всё-таки оглянулся.

В шлюзе Дед возился с ремнём респиратора и, не глядя, сунул Рейну что-то в ладонь.

Это была зажигалка. Дешёвая, железная, с потёртой гравировкой — не прочесть какой.

— Держи.

— Я не курю.

— И я не курю, — сказал Дед.

Он застегнул респиратор, проверил, поправил.

— Не потеряй, — сказал он. — Она у меня двадцать один год.

— Дед. Зачем?

— Кто с огнём, тот и на берегу, — сказал Дед и пошёл вперёд, к лестнице.

Рейн открыл рот спросить, что это значит. Не спросил.

Рейн постоял секунду, посмотрел на зажигалку и сунул её в нагрудный карман, застегнув клапан.

Он тогда не понял ничего.

Понял он гораздо выше — когда увидел, как Дед перед боем проверяет карманы и на секунду хлопает по тому, где зажигалки больше нет. Человек двадцать один год носил вещь и отдал её тому, кто вечером был ему никем.

Так отдают не подарок. Так отдают то, что не хочется потерять вместе с собой.

Дед всю ночь видел, что с Рейном что-то происходит. Просто не спрашивал. Он сложил это из двух вещей: парень крикнул раньше, чем турель довернула, и ни разу за ночь не посмотрел на собственный бок, хотя бок был в крови, — а на свою кровь человек смотрит всегда.

Второй выход

Из жизни Олега. И про четыре платежа.

Олег входил в помещение и смотрел на стены.

Он делал это двадцать два года, в любом помещении, включая чужие кухни и приёмные врачей, и давно перестал замечать за собой. Где окно, где решётка, куда идёт вентиляция, в какую сторону открывается дверь.

Над ним из-за этого смеялись первые лет пять, а потом перестали, потому что он потерял за свою жизнь двух напарников и ни разу не потерялся сам.

В городе про него говорили коротко: с Олегом хорошо идти, если ты не собираешься делать глупости.

Правило у него было одно, и он его не менял.

Не заходить туда, где нет второго выхода.

Он им даже хвастался — не как храбростью, а как бухгалтер хвастается тем, что у него сходится баланс. Он мог назвать четыре случая, когда отказался от заказа уже на объекте, и все четыре помнил по деталям.

Он один раз объяснил это Аде, давно, на какой-то лестнице.

— Ты пойми, я не трус, — сказал он. — Я просто не люблю торговаться, когда у меня один товар.

— Какой товар?

— Я, — сказал Олег.

Про его семью в группе знали мало и неточно.

Знали, что есть женщина, что зовут Света, что они живут четыре года на Втором ярусе в настоящей квартире с двумя окнами, доставшейся от его матери.

Знали, что он собирается уходить из профессии.

Про это он рассказывал всем и постоянно, и это была его единственная невыносимая черта: он назначал себе сроки вслух. Сначала было «в сорок два». Потом «как выплачу модуль». Потом «ещё год».

Ему было сорок пять.

Модуль был стабилизатор с распределением нагрузки, из тех, что ставят грузчикам и щитовикам.

Олег щитовиком не был. Он взял его для другого: чтобы не уставали руки, потому что стрелял он из тяжёлого и стрелял хорошо.

Шестьдесят восемь тысяч, рассрочка на пять лет.

К той ночи оставалось четыре платежа, и он сказал об этом в фургоне, как говорил всегда.

— Четыре платежа, — сказал он. — Эта ночь закрывает три.

— Ты нам это уже говорил, — сказал Тоха.

— Я вам говорил про два. Я пересчитал.

Ещё в фургоне он сказал вторую вещь, и на неё никто не обратил внимания, потому что говорилось это в сотый раз и как шутка.

— Если что — снимите железку.

— Опять?

— Опять, — сказал Олег. — Я за неё пять лет плачу. Пусть поработает.

Ада тогда, не поднимая головы, ответила ровно то, что отвечала всегда:

— Сниму, Олег. Я всем снимаю.

Это был весь разговор. Он занял девять секунд и оказался единственным завещанием, которое Олег в своей жизни оставил.

В ту ночь его двойка не попала в вестибюль, и три часа он провёл в другом здании.

Не в другом — в том же самом, но за плитой, с одним человеком, в бетонном коридоре, где второго выхода не было вообще, и это было ровно то, чего он не делал всю жизнь.

Он не паниковал: нашёл выход в потолке, снял броню, чтобы пролезть, и полез.

Он потом сказал про эти три часа одну фразу, в цеху, отряхиваясь:

— Я, кажется, свой принцип нарушил.

И засмеялся.

За год до башни, на каком-то складе, он вошёл в подсобку, посмотрел на стены и сказал: «Второй выход есть?»

Второго выхода не было.

— Тогда я тут постою, — сказал Олег и встал так, чтобы видеть и дверь, и коридор.

Он простоял там всю работу, четыре часа, и ничего не случилось, и никто ему потом не сказал спасибо, потому что не за что.

Вот из этого и состояла вся его работа: он не геройствовал, он занимал место, с которого видно два направления, и стоял там, пока остальные делали своё.

Двадцать два года он занимал такие места.

А на восьмом такого места не было.

Он понял это раньше всех, на подходе, по стенам: шлюз, идущий в один конец, герметичные двери, боксы по обе стороны, вентиляция маленькая и очень маленькая, вторая лестница есть на плане и есть в западном крыле, а они в восточном.

Он сказал вслух:

— Тут нет второго выхода.

Ему ответили: знаю.

Дальше он посчитал — не храбро, а как считают все в этом городе, — и увидел, что вариантов нет, и вошёл в горловину первым, и сказал «идите».

Про его лицо в этот момент стоит сказать отдельно, потому что его видел Рейн и запомнил.

Там не было ни решимости, ни страха, ни прощания.

Там было лицо человека, у которого не сошлось, и который это проверил дважды, и теперь просто делает работу — как делал всегда, только в последний раз и в неправильном месте.

Дед потом, когда всё кончилось, сказал про него единственное, что тут можно было сказать, и сказал это счётом: сколько лет и сколько раз.

А Ада подержала снятую пластину в пальцах и ответила:

— Ну вот. Хоть кто-то у нас умер по специальности.

Это прозвучало зло, и зло оно и было, и через полчаса она об этом жалела.

Стабилизатор Рейн поставил в ту же ночь, на восьмом.

Он проработал у него до крыши и потом ещё одиннадцать месяцев, и снимать его Рейн не стал даже тогда, когда стало ясно, что железо в нём не держится.

Оно и не держалось.

Стабилизатор вышел сам — медленно, без боли и без воспаления, выдавленный тканью, которая восстанавливала себя до исходного.

Рейн его не выбросил.

Он отвёз его — уже потом, уже далеко, уже другим человеком и по чужим документам — по адресу на Втором ярусе, в дом с двумя окнами, и не стал подниматься, а отдал соседке и попросил передать.

— От кого? — спросила соседка.

Он подумал.

— Скажите, он сам просил, — сказал Рейн. — Ещё до всего. Он говорил это каждый раз, все пять лет.

Соседка ничего не поняла, но передала слово в слово, потому что была старая и привыкла передавать точно.

Света к тому времени полтора года жила с другим человеком и ждала ребёнка, и это было правильно, и никто бы не сказал ей ни слова.

Она взяла коробку, открыла, посмотрела, закрыла и поставила на верхнюю полку.

Она стоит там до сих пор.

Ребёнку сейчас восемь, и он про эту коробку знает: ему сказали, что там железка от папиного друга, — и это неточно, но объяснять восьмилетнему разницу между «от друга» и «друга» никто не стал.

Внизу. Диспетчерская

23:12 — 04:00. Центральный узел «Ковша», второй уровень.

Санацией объекта управлял человек по имени Виталий, и в эту ночь он был на смене один.

Не потому, что так положено, — по регламенту на пульте должно быть двое, — а потому, что второй взял отгул за свой счёт, а подмену не нашли, и старший смены сказал: ничего, ночь среда, ничего не случится.

Сидевший на пульте четыре года Виталий знал, что так говорят всегда.

Он был лысоват, сутул и держал чай не в кружке, а в стеклянной банке с завинченной крышкой, потому что на пульте разлитая кружка — это акт и объяснительная, а банку можно уронить. Писал он левой, а мышь держал правой, и на левом рукаве у него от этого вытерся манжет до ниток.

В двадцать три двенадцать у него на экране открылось окно.

В системе объект числился как 14-ТС — по внутреннему реестру «Ковша», где буквы значат назначение, а цифры порядок постановки на учёт. В городе его знали как четвёртый, потому что четвёртым он стоял на набережной от эстакады. Виталий за четыре года привык к первому и не знал второго.

Оно открылось само, без запроса, красным по серому, и текст в нём был короткий:

ОБЪЕКТ 14-ТС. НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ОБРАЗЦА
ВНЕ ЗОНЫ ХРАНЕНИЯ. ЗАПУСК ПРОТОКОЛА САНАЦИИ.
ПОДТВЕРДИТЕ.

Виталий подтвердил.

Он сделал это за одиннадцать секунд, потому что инструкция даёт на подтверждение шестьдесят, а если не подтвердить — протокол запускается сам, и тогда это оформляется как отказ оператора, а отказ оператора — это служебная проверка.

Он подтвердил и пошёл варить чай.

Протокол шёл по пунктам, и напротив каждого Виталий ставил галочку.

1. Герметизация нижних ярусов. Галочка.
2. Блокировка внешних выходов. Галочка.
3. Блокировка межэтажных сообщений в зоне 1–3. Галочка.
4. Подача консерванта в ярусы 1–2. Галочка.
5. Отключение лифтового хозяйства, кроме грузового контура. Галочка.
6. Оповещение персонала. Галочка.
7. Уведомление внешних служб о невмешательстве. Галочка.
8. Начало термической обработки нижних ярусов через 120 минут. Галочка.

На восьмом пункте он остановился и посмотрел на часы.

Сто двадцать минут — это два часа. Значит, здание начнёт гореть в час двенадцать.

Он записал это на бумажке, чтобы не забыть, и прилепил бумажку к монитору.

В двадцать три двадцать шесть на пульт пришёл запрос с объекта.

Смена «к-9» просила подтвердить приоритет. Виталий открыл договор, нашёл нужный пункт и зачитал его в трубку целиком, потому что своими словами такое пересказывать нельзя: своими словами потом не отчитаешься.

— «В случае утраты целостности образца подрядчик обеспечивает локализацию, изъятие и возврат содержимого — вне зависимости от того, в каком носителе, ёмкости, объекте или лице содержимое находится на момент обнаружения».

На том конце помолчали.

— Спасибо, — сказал голос.

— Не за что, — сказал Виталий.

Он отключился и подумал: странно, что спросили. Обычно не спрашивают.

В ноль сорок он закрыл вентиляцию верхних ярусов, потому что так стояло в протоколе.

В ноль пятьдесят одно её кто-то открыл обратно — не с его пульта, а изнутри здания, с локального щита на одиннадцатом этаже.

Виталий посмотрел на это и подумал: техники.

Он мог бы закрыть снова, и по инструкции должен был, но инструкция же и говорила, что в зоне санации приоритет у локальных щитов, потому что бывает, что людям надо дышать, пока они выходят.

Он оставил.

Этой галочки он не ставил и вообще потом про неё не вспомнил, и никогда не узнал, что из-за неё двое, запертые в грузовой шахте между девятым и десятым, дожили до утра, — он

их никогда не видел и фамилий их не знал.

В час двенадцать началась термическая обработка нижних ярусов.

В два ноль пять ему позвонили из городской пожарной части и спросили, точно ли не надо.

— Точно, — сказал Виталий.

— У нас две машины на месте, — сказал голос устало. — Ребята спрашивают, можно им хоть чаю попить, или тут стоять с умным видом.

— Пусть пьют, — сказал Виталий.

В три десять в системе мигнула лифтовая.

Грузовой контур — единственный, который по протоколу не отключают, потому что по нему идёт эвакуация, — двинулся сам, снизу вверх, на два этажа, и встал.

Виталий поднял бровь и посмотрел журнал.

Команды не было. Кабина пошла без команды, проехала два этажа и остановилась между девятым и десятым.

Он записал это в лог как «самопроизвольное перемещение, причина не установлена».

На самом деле причина была установлена ещё в позапрошлом году: в грузовом контуре подгнил датчик, требовавший замены ещё тогда, и на это писали три заявки.

В четыре ноль-ноль Виталий сдал смену.

Он передал сменщику объект в состоянии «санация, стадия три», отдал журнал и бумажку с монитора, где было написано время начала обработки.

— Что за объект? — спросил сменщик.

— Четырнадцатый, — сказал Виталий. — Лабораторный.

— А там кто-нибудь был?

Виталий подумал.

— Персонал оповестили, — сказал он.

Он ответил честно. В его журнале это было единственное, что он знал наверняка: пункт шесть, галочка, оповещение персонала.

Он поехал домой, лёг спать в пять и проснулся в час дня, и первое, что увидел в новостях, — башню, которую снимали с эстакады, чёрную и выгоревшую до двенадцатого этажа.

Под кадром шла строка: «двадцать девять погибших».

В отчёте, который Виталий сдал утром, в одной графе стояло: списано здание, оборудование линии 4 и двадцать девять человек. Графа называлась «утраты».

Виталий посмотрел на это минуты две, потом выключил и пошёл ставить чайник, и не думал об этом больше никогда, потому что он сделал всё правильно и по пунктам.

И это было чистой правдой.

Мозоль

00:45. Пятый этаж, площадка перед запертой дверью на шестой. Отрезанные.

Дверь на шестой держал электрозамок, и Женя возился с ним двадцать минут. На площадке, под лестничным маршем, они нашли человека.

Он сидел, привалившийся к перилам, в форменном комбинезоне линии, и держался за ногу. Нога была неправильная: ниже колена она сгибалась не там, где надо.

Женя дошёл до него первым.

— Не трогай, — сказал человек.

— Не трогаю.

— Трогаешь.

— Я смотрю, — сказал Женя. — Смотреть можно?

Человек подумал.

— Смотри, — сказал он.

Звали его Марат, ему было тридцать восемь, и он работал на четвёртой линии одиннадцатый год.

— Упал? — спросил Олег.

— Столкнули, — сказал Марат. — Не со зла. Там паника, все побежали, меня плечом задело, я через перила лестницы и полетел. Хорошо, зацепился.

— Высота какая?

— Четыре метра. Мне повезло.

— Тебе не повезло, — сказал Женя, глядя на ногу.

— Да нет, — сказал Марат. — Мне повезло. Я мозоль.

Он сказал это спокойно, как говорят «я левша».

Мозоль — это не про руки. Это про бабку с дедом, которых когда-то записали в корпоративную программу улучшения работников: кость срастается за две недели, спина держит вдвое, а список, в который тебя за это внесли, живёт дольше самой программы. Программу свернули раньше, чем Марат родился. Список остался, и Марат в нём стоит.

— В смысле? — сказал Олег.

— В прямом. Серия сорок один^[6], — сказал Марат. — Отец был серия сорок один, дед был. Нас на «Ковше» половина цеха такие, это ж завод, сюда специально брали.

Он поморщился и сменил позу.

— У меня кость срастается за две недели вместо восьми. Я потому и говорю, что повезло. Будь я чистый — тут бы и лежал.

Женя присел рядом и достал из подсумка что было.

— Обезболивающее хочешь?

— Не берёт, — сказал Марат. — У нас не берёт. На нас вообще половина лекарств не работает, доза другая нужна, а другую не выписывают, потому что в протоколе одна.

Он сказал это без злости, как сообщают прогноз.

Они шинировали ему ногу двумя кусками кабель-канала.

Марат терпел молча, и только один раз, когда Женя затянул, сказал длинно и выразительно, и потом извинился.

— Слушай, — сказал Олег. — А чего ты не ушёл?

— Куда?

— Вниз. По тревоге.

— Так я и шёл вниз, — сказал Марат. — Меня и толкнули, когда я шёл вниз.

Он посмотрел на них.

— А сейчас куда идти? Там пена.

Они рассказали ему, что знают: лестницы под пеной, выходы заперты, наверху крыша.

Марат выслушал внимательно.

— Значит, наверх, — сказал он.

— Ты не дойдёшь на такой ноге.

— Дойду. У нас связки крепче, — сказал Марат и тут же добавил: — Ладно, не дойду. Но идти-то надо.

Женя и Олег переглянулись.

Это был тот самый момент, когда взрослые люди принимают решение, не говоря друг другу ни слова.

— Пошли, — сказал Олег.

Они тащили его два пролёта, и это было медленно.

По дороге Марат говорил, потому что ему было больно и потому что, когда больно, лучше говорить.

— У меня жена чистая, — сказал он. — Представляешь? Из Стекла почти, у неё родня приличная. Они, когда узнали, скандалили полгода.

— Из-за чего?

— Из-за детей, — сказал Марат. — Серия ж передаётся. Не всегда, как повезёт. Они боялись, что внуки будут мозоли.

— И?

— И старший мозоль, а младшая чистая, — сказал Марат. — И теперь у меня в семье два списка. Прямо за одним столом.

Марат сложил руки на столе, как складывают их, когда собираются сказать главное.

— И зовут их по-разному, — сказал он. — Тёща младшую — Лялечка, Лялюся, солнышко. А старшего — Юра. Полным именем, как чужого взрослого. Ни разу за девять лет не сократила.

— Может, просто так вышло, — сказал Женя.

— Может, — сказал Марат. — Я тоже сперва так думал.

Он поправил шину.

— Меня в цеху Юрком зовут. Не от имени, от буквы: в табеле «Марат Ю.», а Маратов на линии трое. Так и прижилось — Юрок. Я сына в честь того Юрка и называл, дурак. Думал, будет хоть одно имя, которое у нас в семье своё.

— Я старшему говорю: тебе проще будет, ты крепкий. А он мне: пап, мне не проще, мне на работу в правый терминал.

Дотащили они его до лифтового холла пятого и там оставили — дальше им было в грузовую шахту, а ему сидеть и ждать, кто придёт первым.

Прощаться не стали. Олег посмотрел на шину из кабель-канала и спросил то единственное, что имело смысл спрашивать:

— Дойдёшь?

— Дойду, — сказал Марат. — Я мозоль.

Он сказал это сам, первым, потому что привык отвечать за себя раньше, чем спросят.

Олег посмотрел на него ещё секунду.

— Ну и хорошо, — сказал он. — Значит, доковыляешь.

И полез вниз, за Женей, и больше они не увиделись.

Марат потом ещё долго вспоминал эту фразу — не как обиду, а наоборот: это было единственное за всю ночь, что ему сказали без объяснений и без преискуранта.

Дошли не все.

Марат дошёл: его втащили на одиннадцатый вместе с уборщицами, которых вёл человек из охраны, и дальше он спускался по наружной пожарной лестнице двенадцать этажей на одной ноге, и вниз его спускали втроём.

Внизу его записали в журнал «Чистой воды» как «Марат Ю., линия 4, серия 41, травма нижней конечности».

Через две недели кость срослась.

Ещё через месяц ему пришло письмо от «Ковша»: линия 4 ликвидирована вместе с объектом, трудовой договор прекращён по обстоятельствам, не зависящим от сторон, выходное пособие — одна месячная ставка.

В графе «примечание» стояло: «Претензий к работодателю не имеет».

Подписи его там не было.

Шахта

00:05. Четвёртый–пятый этаж, восточное крыло.

Догнать не вышло.

На четвёртом лестница кончилась: пролёт между четвёртым и пятым выгорел — не от санации, а сам по себе, потому что там стоял распределительный щит и щит рванул. Металл провис и оплавился, перила ушли вниз петлёй, и по пролёту тянуло горячим.

— Обход, — сказал Олег.

Обход занял сорок минут и вывел их в жилой ярус с другой стороны — в тот самый коридор, где двери через каждые четыре метра и на дверях наклейки.

Там было тихо, пусто и до сих пор пахло домом.

Женя прошёл до середины, остановился у одной двери, послушал и толкнул.

В квартире работал телевизор. Кулинарная передача, ведущая шинковала что-то и улыбалась.

— Выключить? — спросил Олег.

— Не трогай, — сказал Женя. — Пусть работает. Вдруг вернутся.

Вернуться было некому.

В конце коридора лежали трое в комбинезонах — техническая смена, которую подняли по тревоге и сунули им автоматы. Не «Гарпун»: у контрактного и нагрудник штатный, и оружие своё, а этих в ведомости подрядчика нет ни строкой, они заводские. У одного автомат так и остался в руках, на предохранителе.

А чуть дальше, у стены, лежал человек в их снаряжении.

Женя дошёл первым и присел.

— Миша, — сказал он.

Олег подошёл и постоял рядом.

Миша лежал лицом вниз, и на перчатках у него были старые пятна засохшего клея, а нагрудный карман был расстёгнут и наполовину застёгнут обратно.

— Тут были свои, — сказал Женя.

— С чего?

— С кармана. — Он показал пальцем, не касаясь. — Чужие карман обратно не застёгивают. А этот застёгивали одной рукой и торопились. И ничего не взяли: карман пустой, а что у него под бронёй — там не тронуто.

Олег посмотрел на карман, потом на него.

— Ты страшный человек.

— Я четыре года ездил на трупы, — сказал Женя. — Там или читаешь, или не работаешь.

Он поднялся и вдруг сказал, глядя в конец коридора:

— Он тут закрывал кого-то.

— С чего?

— Он лежит лицом вниз и руки под собой, — сказал Женя. — Так падают, когда накрывают. Когда просто убивают — падают иначе.

Дальше стало хуже.

Лестница на шестой была цела, но заперта — та самая противопожарная дверь с электрозамком, у которой они уже стояли и которая не отзывалась ни на карту, ни на грубую силу.

Оставался грузовой лифт.

Точнее, шахта: сама кабина стояла где-то внизу, запертая на ключ, а шахта была свободна и уходила вверх на все тринадцать этажей — тросы, противовес, скобы по стене.

Олег заглянул вниз, в темноту.

— Красота, — сказал он.

— Высоты боишься?

— Я боюсь, что снизу придёт кабина, — сказал Олег. — Высота-то что. Высота просто далеко.

Они шли по скобам полчаса, и за эти полчаса Женья рассказал ему про интернат.

Он говорил, потому что в шахте всё равно нечего было слушать, кроме собственного дыхания, а дыхание слушать не стоило.

— Там нормально, — говорил он. — Кормят три раза. Врач два раза в неделю. У неё подружка есть, Лена, они вместе рисуют.

— Что рисуют?

— Да что там рисуют. Дома, солнце. — Он подтянулся на следующую скобу. — У неё солнце всегда в углу и с лучами такими, длинными. Я говорю: солнце круглое. Она говорит: у меня такое.

Олег полз следом и молчал.

— Я ей сказал, что уезжаю на неделю в рейс, — сказал Женя. — Она спросила, привезу ли чего. Я сказал — привезу.

На шестом они услышали цех.

Сначала гул, ровный и низкий, идущий по всей шахте снизу доверху. Потом удары — четыре секунды между. Потом стало понятно, что это работающая линия, и что её никто не останавливал, и что в здании, которое жгут, кто-то всё ещё давит омаров по расписанию.

Женя замер на скобе.

— Слушай, — сказал он.

Сквозь гул, в паузах между ударами, шли выстрелы.

— Наши, — сказал Олег.

— Наши, — согласился Женя. — И им там плохо.

Он полез быстрее.

Створки шахты на шестом они выбили вдвоём, ногами, изнутри — и вывалились в цех сбоку, за прессами, там, где их никто не ждал.

Прямо перед ними, в восьми метрах, стояло то, что осталось от человека: четыре метра, гидравлика вместо рук, решётка вместо лица, и оно заносило клешню над кем-то, кто лежал за перевёрнутым щитом.

Олег не стал ничего кричать.

Он прошёл эти восемь метров и ударил сбоку, в шарнир, всем своим весом и всей своей бронёй, которую час назад снимал, чтобы пролезть в лоток.

Клешня ушла в сторону и снесла стойку конвейера.

Стойка пошла вниз плашмя и краем взяла Женю, который шёл за Олегом в двух шагах. Ниже броневой пластины, поперёк, там, где у всех мягко.

Он не закричал и даже не остановился сразу: сделал ещё два шага вперёд, потому что шёл вперёд, и выстрелил, и только после этого посмотрел вниз.

А потом рядом оказался Дед.

Всё кончилось через две минуты.

Женя сидел на полу у пресса, привалившись спиной к железу, и держал ладони на животе.

Он не кричал и вообще ничего не говорил. Он смотрел на свои ладони, потом на Олега, потом снова на ладони.

Кто-то пробежал мимо. Кто-то крикнул, что этаж чистый. Где-то сзади ругалась Ада и кто-то отвечал ей коротко и зло.

Олег присел рядом и стал смотреть.

Он смотрел так же, как Женя смотрел на двери и на завалы: спокойно и профессионально, — поэтому он всё понял сразу и врать не стал.

— Плохо, — сказал он.

— Ага, — сказал Женя.

Он посмотрел на Олега и снял одну ладонь с живота, чтобы тот увидел.

— Дыши ровно и не дёргайся, — сказал он. — Это я тебе, не себе.

Потом были голоса, и шаги, и Арслан сказал, что идут дальше, и что подниматься надо сейчас, пока не перекрыли.

Женя послушал это и сказал:

— Я догоню.

Олег не двинулся.

— Иди, — сказал Женя. — Иди, тебе туда надо. Я тут посижу и догоню.

— Жень.

— У меня дочка в интернате, — сказал Женя очень спокойно.
— Три двести в месяц. Если ты не дойдёшь, платить будет некому.

Олег сидел ещё секунды три.

Потом встал, потому что человек, двадцать два года смотревший на стены, знал в таких случаях ровно одно: помочь нельзя, а стоять — значит сделать вид, что можно.

— Я дойду, — сказал он.

— Ну и хорошо, — сказал Женя. — Иди.

Мимо, последним, прошёл идущий с Арсланом стрелок.

Он на секунду задержался и посмотрел на сидящего. Потом на его живот. Потом ему в лицо.

Женя поднял глаза.

Стрелок постоял ещё мгновение — хотел что-то сказать, было видно, что хотел, — и не сказал.

И пошёл дальше.

— Я догоню, — сказал Женя ему в спину.

Он повторял это ещё минуту, всё тише, и последние разы уже не выговаривал целиком — только «до...», на выдохе.

Тетрадь

Из жизни Ады, до башни.

Всё началось с одного утра, и Ада могла бы назвать его число, но не называла никогда, даже себе.

Ей было двенадцать. Она вышла на кухню, мать стояла у окна с чашкой, обернулась и сказала:

— Здравствуйте.

Ада стояла в дверях.

— Мам.

— Здравствуйте, — повторила мать вежливо и немного удивлённо, как говорят человеку, который зашёл не туда. — Вы к кому?

Это длилось секунд двадцать. Потом что-то встало на место, мать села на табуретку, поставила чашку и сказала уже своим голосом:

— Ты чего босиком.

Больше она в то утро ничего не сказала, и весь день была обычная, и вечером они смотрели передачу и спорили про еду.

Ада никому не рассказала.

Ни соседям, ни в школе, ни отцу — отца не было. Она сделала другое: взяла школьную тетрадь в клеточку, написала на первой странице дату и время и одну строку про то, что было сказано.

Тетрадь она вела одиннадцать месяцев.

Там стояло: во сколько мать встала, каким голосом говорила, что помнила, чего не помнила, какие таблетки и сколько, что

сказала врачу и что врач сказал ей. К концу почерк стал ровный и очень мелкий — так пишет человек, который экономит страницы, потому что новую тетрадь надо просить.

Зачем она это делала, она тогда не знала.

Она поняла в клинике, на шестом месяце, когда врач — не злой, обычный, уставший — сказал ей через стол:

— Девочка, тут раньше ничего такого не было. Это остро началось, месяц назад.

— Одиннадцать месяцев, — сказала Ада.

— С чего ты взяла?

Она положила тетрадь на стол и открыла на первой странице.

Врач читал минут шесть. Потом позвал второго, и второй читал, и после этого мать перевели в другой список и стали лечить иначе — не лучше, но иначе, и она прожила ещё восемь месяцев вместо трёх, которые ей оставались по первому предположению.

Восемь месяцев в том состоянии — это, вообще-то, не подарок, и Ада потом много лет не могла решить, что именно она в тот день сделала.

Но правило она вынесла оттуда одно, и оно оказалось на всю жизнь: всё, что не записано, исчезает.

Второе правило пришло через четыре года, и пришло дорого.

Она подала в суд.

Смысл иска был такой: клиника одиннадцать месяцев ставила диагноз, которого не было, и в карте эти одиннадцать месяцев были записаны как «без динамики», и Ада считала, что это неправда и что у неё есть чем это показать.

У неё была тетрадь.

Суд шёл два года и был не то чтобы несправедливым. Её выслушали, тетрадь приняли, приобщили, прочитали вслух — и вслух, в зале, при людях, читали, во сколько мать встала и как её звала.

Потом клиника представила своё.

Клиника не спорила с тетрадью. Клиника указала, что автор записей — несовершеннолетняя, не имеющая медицинской подготовки, что записи не заверены и что в них семнадцать раз упоминается имя пациента в форме, позволяющей установить личность, а согласия пациента на раскрытие сведений о состоянии здоровья третьим лицам в деле нет.

То есть тетрадь работала против того, кто её принёс.

Ада проиграла. Тетрадь осталась в деле и обратно не выдавалась: приобщённое к материалам изъятию не подлежит. Она видела её потом один раз, через стекло, в подшивке.

Ей было восемнадцать, и она усвоила второе правило: всё, что записано, кто-нибудь прочтёт.

Подписываться одной буквой она стала с того месяца. Не из осторожности даже — из счёта: имя в чужой бумаге работает на того, у кого бумага.

В нетраннеры она пошла не из романтики, а потому что там платили за память.

Первый заказ она взяла в девятнадцать, у женщины из Затона, и заказ был грошовый: достать из городской базы запись о регистрации брака, которой там больше не было, потому что базу переносили и часть архива при переносе «не подтвердилась».

Женщине запись была нужна для пенсии.

Ада вытащила её за одиннадцать часов — не взломом, а тем, что нашла нижний слой, откуда переносили, и в нижнем слое запись лежала целая, и её никто не удалял, просто перестали читать.

Женщина заплатила четыреста и спросила, как её зовут.

— Никак, — сказала Ада.

Последние двенадцать лет её работа состояла из этого одного: вынимать из чужих систем то, что кто-то хотел спрятать или потерять. Она была хорошей — не лучшей, но очень надёжной, а в их деле надёжность дороже блеска.

Она трижды копила на глубокий нейропорт и трижды тратила деньги на другое: один раз на похороны, один раз на суд, один раз на дрон.

Про дрон она потом говорила, что это была ошибка, и врала.

Дрон был «Стриж-12», и она копила на него полтора года.

Корпус, потом оптика, потом управление. Она собирала его сама, по частям, и знала в нём каждый винт, и дала ему имя, которого никому не называла.

В работе он был её глазами.

В жизни — единственной вещью, которую она купила не по необходимости, и это надо подчеркнуть, потому что у Ады таких вещей больше не было ни одной. Она тридцать шесть лет покупала только то, без чего нельзя.

В группу к Арслану она попала на девятом году работы, и попала не через биржу.

Её позвали на разовую работу: открыть склад, у которого хозяин умер, а система осталась. Работа была на два часа и заняла одиннадцать, потому что система оказалась не складская, а чужая, поставленная поверх, и Ада, вскрыв её, обнаружила, что стоит в сети, в которой ей не следует стоять.

Она вышла и стёрла за собой.

Арслан к тому времени уже полтора часа ждал, и группа стояла в машинах, и стояла зря.

— Сколько тебе ещё?

— Двадцать минут.

— У нас двадцати нет.

— Тогда уезжайте, — сказала Ада. — Я догоню.

Он не уехал. Он сел на ящик и стал ждать, и она делала свои двадцать минут, и он всё это время молчал.

Когда она закончила, он спросил только:

— Что ты там двадцать минут делала?

— Убирала след.

— След чей?

— Мой.

— Зачем?

Ада на него посмотрела.

— Потому что этот склад откроют через неделю, и кто-то посмотрит, кто в нём был. И увидит вас. Вы же не хотите, чтобы вас видели по имени. Вот и я не хочу — а моё имя от вашего в этой записи в четырёх строках.

Арслан сказал «итога» и предложил ей работу на постоянно.

Он потом Деду объяснил так: она полтора часа держала нас на месте ради того, чего мы бы никогда не проверили.

В группе она была глаза, связь и бумага.

Глаза — дрон. Связь — дек. А бумага — это то, чего никто не просил и что она делала все восемь лет в группе: после каждого выхода она садилась и записывала, как было. Не отчёт для конторы, а своё: кто где стоял, что сказали, во сколько вошли, во сколько вышли, сколько потратили, чего не хватило.

Один раз Серёга спросил, зачем.

— Чтобы было.

— Кому?

— Тебе, — сказала Ада. — Если с тобой что-нибудь будет и твои придут спрашивать, им в конторе скажут две строки. А у меня двадцать.

Серёга посмеялся и попросил показать своё. Она показала.

Он читал долго, а потом сказал очень тихо, не поднимая головы:

— Адка. А про яму там есть?

— Есть.

— Убери.

Она убрала. Это единственная строка, которую она за двенадцать лет вынула по просьбе, и она об этом жалела потом много лет, потому что вынуть-то вынула, а он всё равно погиб, и теперь про три его года не было ни у кого ничего, кроме одного человека, который эти три года пересказать не мог.

Копии она делала всем и всегда.

Резервные слепки нейропортов — перед каждым выходом, бесплатно, кто хочет. Половина отказывалась: считалось плохой приметой.

Рейн отказывался четыре года подряд.

— Почему? — спросила она однажды.

— Не хочу.

— Это не больно и не стоит ничего.

— Я знаю.

— Тогда почему?

Он подумал и сказал:

— Потому что если есть копия, то я уже не один экземпляр.

Ада тогда не поняла и решила, что он суеверный.

Про то, что она хочет стать Пустой, знали двое: она и Симон Кац, потому что ему она рассказала случайно, при оформлении кредита.

Пустая — это когда своего мяса не осталось совсем и всё железо выплачено до последней подписки. Таких в городе видно сразу: они не потеют и зимой ходят без шапки, и в очереди за водой перед ними расступаются, потому что им вода не нужна.

Кац посмотрел на неё поверх лупы.

— Вы считали?

— Считала.

— И сколько вышло?

— Двадцать один год, — сказала Ада. — При моём доходе, если не есть и не жить. Двадцать один год, и мне будет пятьдесят семь, и к пятидесяти семи от меня уже мало что останется, чтобы менять.

Кац кивнул, как кивают человеку, который честно посчитал.

— А зачем вам это?

— Затем, что железо не забывает.

Кац снял очки и положил их на стекло прилавка, дужками вверх.

— Железо не помнит, — сказал Кац. — Это разные вещи. Но я вас понял.

Модули павших она собирала не из жадности.

У неё дома, в капсуле, в жестяной коробке из-под чая, лежали тридцать четыре модуля.

Тридцать четыре — это все, кого она потеряла за двенадцать лет. Она снимала их сама, чистила, подписывала и складывала, и ни один не продала, хотя за некоторые давали хорошие деньги.

Она не могла объяснить зачем.

Самое близкое объяснение, до которого она додумалась, звучало так: пока лежит железка, сидевшая у человека под ключицей, у неё есть чем доказать, что человек был.

За два дня до заказа она разложила коробку на полу и пересчитала всё, как делала раз в год.

Тридцать четыре сошлось.

Потом она сняла с полки школьную тетрадь в клеточку — не ту, ту она видела через стекло в подшивке, а новую, купленную

восемнадцать лет назад в тот же день, когда проиграла суд, и с тех пор ни разу не открытую.

Тетрадь была пустая.

Она положила её обратно и поехала в фургон.

Глава 6. Цех выжимки

Сотни тонн — капля.

Я стоял у жёлоба и смотрел, как течёт серое, и в сером мелькали обломки синих панцирей.

Здесь я потерял первого.

Он сел у стены и сказал: «Я догоню». Один раз, спокойно. Мы пошли дальше.

Больше он ничего не говорил, и я за это ему благодарен.

Я не знал, как его зовут. Сказал себе, что узнаю потом.

Узнавать уже не у кого.

Рейн, ночь на четверг, час пятьдесят

Шестой этаж. 01:50 — 02:30.

Настя пела в лифтовом холле, пока ждали.

Точнее, не пела — у неё не было чем. Она сидела на корточках у стены, положив дек на колени, и губы у неё двигались: ровно, размеренно, с паузами в нужных местах. Рейн смотрел на это минуту, прежде чем понял, что это не молитва.

— Ты чего? — спросил он.

Она подняла глаза. Сняла с шеи синтезатор — маленькую коробочку на липучке — и покрутила в пальцах, показывая: без этого не поговорю.

Потом приложила обратно.

— Пою, — сказала коробочка ровным механическим голосом, без интонаций. — Про себя.

— А вслух?

— Вслух не получится, — сказала Настя. — Эта штука не умеет петь. Она умеет только говорить. Ровно.

Она усмехнулась — лицом, не голосом.

— Я раньше пела. В порту, в баре, за еду. Потом хлебнула не того пара на разгрузке, и связки в кашу. Врач сказал: скажите спасибо, что живая. Я сказала спасибо.

— И что поёшь?

— Тебе не понравится. Старьё.

— Я старьё люблю.

— Никто не любит старьё, — сказала Настя. — Просто иногда человеку надо, чтоб играло что-нибудь, чего он раньше слышал. Это не про музыку. Это про то, что ты ещё тот же самый.

Она повернулась к своей аппаратуре и стала настраивать глушилку.

— Держится? — спросил он.

— Воздух держится, — сказала коробочка. — Воздух я глушу весь. Оптику не глушу никак.

— Тут есть оптика?

— Тут всё оптика. — Настя щёлкнула тумблером и посмотрела на шкалу. — Здание на неё сидит. Жгуты идут по шахтам вверх, в одну точку, и оттуда наружу. Пока я держу воздух, они не позовут по рации. А если кто-то дойдёт до той точки и сядет за стол, он позовёт кого хочет, и я ему не помешаю.

— Где точка?

— Высоко, — сказала Настя. — Их такие ставят в холоде. Оптика греется и врёт, ей нужен холодный зал и кондиционеры, которые не выключают вообще никогда.

Она усмехнулась лицом.

— Если найдёшь в этом доме место, где не жарко, — вот там.

И разговор кончился.

Он ещё постоял рядом.

Губы у неё двигались размеренно, с паузами в одних и тех же местах, и на третьем повторе Рейн поймал себя на том, что ждёт паузу раньше, чем она наступает.

Он знал этот ритм. Не песню — ритм: где подъём, где остановка, где длинная нота, которую надо тянуть.

Он потянулся за тем, откуда знает, и не достал.

— Чего? — сказала коробочка.

— Ничего, — сказал Рейн. — Показалось.

Потом он три раза пытался вспомнить, шевелились у неё губы в такт или нет. И какая это была песня. И не пела ли она вслух когда-то давно, до пара, что-нибудь такое, что он мог бы знать.

Он этого так и не узнал.

Шестой они должны были пройти насквозь и не задерживаться.

Задерживаться пришлось, потому что лестница на седьмой шла из дальнего конца цеха, а дальний конец был за линией, а линия работала.

— Обойти нельзя?

— Можно, — сказала Ада. — Через галерею наверху. Двадцать минут.

— Двадцать минут у нас есть?

Ада посмотрела на дым, уже сочившийся из вентиляции по краю потолка.

— Нет, — сказала она.

Шестой этаж пах так, что не помогал респиратор.

Цех выжимки был размером с вокзал. Конвейеры шли под потолком, прессы стояли рядами, и по жёлобам вдоль стен текло серое и густое, и в сером мелькали обломки синих панцирей. Пахло варевом, железом и чем-то сладким, отчего слюна во рту делалась вязкой.

Под ногами было скользко. Из жёлобов плескало через край на поворотах, и серое расходилось по бетону тонким слоем, и в нём отпечатывались подошвы — свои и чужие, старые, затоптанные в несколько слоёв. У самой стены, вдоль жёлоба, лежала решётчатая дорожка из деревянных щитов, по которой ходила смена: щиты были выбиты посередине, и доски там просели.

Игорь наступил мимо дорожки и поехал ступнёй в сторону, и удержался, взявшись за жёлоб рукой, и потом всю дорогу нёс эту руку на отлёте.

Серёга пошёл по щитам и на каждом втором коротко пристукивал щитом об доски, проверяя, держат ли.

Над входом в цех висела выцветшая табличка с номером линии и строчкой из какого-то давнего отчёта, которую здесь, видимо, когда-то считали остроумной:

ЛИНИЯ 4. КОЭФФИЦИЕНТ ВЫХОДА (ФАКТОР HOMARUS)
— 0,0000007

Линия называлась линией, но на самом деле это была очередь.

Сначала их считали. Потом взвешивали, сортировали, отбраковывали, кололи, оглушали. Потом варили, выпаривали, вываривали. Потом давили, жали, отжимали, выжимали, продавливали, цедили и отцеживали. Потом сушили, дробили, толкли, мололи и просеивали. Потом центрифуга, ещё центрифуга, и на выходе из последней трубки шло по капле в час.

На стене всё это было расписано в четырнадцать строк, с номерами постов и нормативами, и почерк в бумаге был ровный и бухгалтерский.^[7]

— Сотни тонн, — сказал Дед. — Чтоб одну каплю.

— Сколько-сколько? — переспросил Тоха.

— Сотни. Тонн.

Тоха посмотрел на жёлоб. Потом на свои руки. Потом опять на жёлоб.

— Это ж сколько их надо, — сказал он.

— Все, — сказал Дед. — Их надо было всех.

Цех был живой.

И это было самое неприятное: он работал. Никто его не выключил: конвейеры шли, прессы били с интервалом в четыре секунды, по жёлобам текло, и на посту у первой линии горел зелёный огонёк «норма». Механизм не знал, что в здании перестрелка, и продолжал делать то, что делал двадцать лет.

На стене висел график смен, расчерченный от руки. В графике было четырнадцать фамилий и напротив каждой — галочки. У кого-то галочек было много, и рядом стояло «300 сверх», и это, видимо, означало премию.

Рядом висел лист с крупной надписью: «БЕРЕГИ РУКИ. РУКА — ЭТО ТРИ ЗАРПЛАТЫ».

— Гуманисты, — сказала Ада.

— Это не гуманизм, — сказал Дед. — Это цена протеза.

Идущий впереди с щитом Серёга всю дорогу поправлял ремень.

Он делал это лет пять, не меньше, и ремень ему не жал — Рейн однажды проверил, спросил в лоб. Серёга тогда посмотрел на него, помолчал и сказал:

— Это не ремень. Это привычка с ямы.

— С какой ямы?

— С долговой. — Он подтянул ляжку щита. — Три года. Там надо было каждое утро ремень затягивать, потому что кормили раз. Привык проверять, есть ли ещё дырка.

— А вышел как?

— А кредитор умер, — сказал Серёга просто. — Сердце. Родня его долги распродала оптом, а мой кусок никто не выкупил, копейки, мороки больше. Так и вышел.

Он усмехнулся.

— Три года ждал, что рассосётся. И ведь рассосалось. Меня это больше всего и бесит.

Мясник цеха вышел из-за пресса, когда они дошли до середины.

В нём когда-то был человек — Рейн видел лицо, вернее, то место, где лицо когда-то было: теперь там стояла решётка воздухозаборника, и из неё капало, а руки ему заменили гидравликой цеха. Он не бежал. Он шёл ровно, с шагом конвейера, потому что его давно синхронизировали с линией.

— Это наладчик, — сказал Рейн.

Он сказал это негромко и не кому-то, и получилось так, что слышали все.

— Чего? — сказал Тоха.

— Наладчик. — Рейн не сводил глаз с решётки. — Ему затянуло руки в пресс, и его собрали обратно из цеховой гидравлики.

— Толя, — сказала Ада. И сама удивилась тому, что вспомнила.

— Вы откуда...

— Старик на пятом наговорил, — сказал Рейн. — В своей записи. Вы все слышали.

Они все слышали. Из четверых имя вспомнила одна, и то через минуту, а из записи в три десятка фраз никто, кроме Рейна, не вынес ни высоты, ни такта, ни того, чем этот человек ходит.

Так всегда и бывает. Слышат все, складывает тот, кто в эту минуту не занят ничем другим.

Рейн стоял и раскладывал вслух, по одному пункту, потому что обещал.

— Первое. Лица нет — стоит воздухозаборник. Воздухозаборник ставят туда, где дырка, а дырку делают, когда собирают наспех. Ушей там тоже нет.

— То есть он глухой, — сказала Ада.

— Это не мой вывод, это его слова. Старик сказал: не слышит, ходит по полу, ногами чувствует. Второе.

Он показал подбородком.

— Четыре секунды. Прессы бьют с интервалом в четыре секунды, и он идёт с интервалом в четыре секунды. Шаг в удар. Старик стоял рядом и считал, он так и сказал: четыре.

— Совпадение, — сказал Игорь.

— Третье, — сказал Рейн. — Он вышел не на нас. Он вышел, когда конвейер дёрнулся на стыке. Я смотрел на конвейер, а не на него.

Он помолчал полсекунды и договорил то, ради чего всё это произносил:

— Значит, он не сам. Значит, его ведёт линия. Значит, ломать надо не его.

Ада очень медленно сняла дек с плеча.

— На стене у оператора висело, — сказала она, и голос у неё сел. — «Останов только с пульта цеха, сеть не глушить». Я это читала. Я подумала, что это про технику безопасности.

— Это и есть про технику безопасности.

— Сколько тебе надо? — спросил Арслан, не оборачиваясь.

— Не знаю, — сказала Ада. — Он не в сети. В нём стоит старый контроллер без связи, его ломать нечем. А конвейер в сети.

Минуту. Может, полторы.

— У тебя нет полутора минут.

— Тогда держите его столько, сколько дадите, — сказала Ада и села прямо на пол за прессом, спиной к тому, что шло.

— Значит, не бежим, — сказал Дед. — Он на вибрацию. Побежали — он придёт быстрее.

— Значит, не бежим, — согласился Арслан. — Медленно. Все медленно.

Они пошли медленно, и это было самое неприятное из всего, что Рейн делал за ночь: идти шагом навстречу четырёхметровой машине, которая идёт шагом навстречу тебе.

Мясник прошёл мимо первого пресса и остановился.

Он остановился ровно там, где стоял, когда работал: у пульта линии, в пол-оборота, с поднятой левой клешней. И стоял так секунды три, будто ждал, что сейчас подадут поддон.

— Он не нас ждёт, — сказал Игорь тихо. — Он смену ждёт.

— Игорь.

— Я просто говорю.

Потом пол дрогнул — где-то внизу осело перекрытие, — и Мясник пошёл.

Дальше было быстро и плохо.

Встали так: Серёга с щитом в проходе между вторым и третьим прессом, где проход сужался до двух метров и обойти было нельзя. Дед справа от него, за габаритом пресса, в полушаге от угла. Игорь ушёл назад и влево, на дорожку из щитов, и лёг там на колено, чтобы стрелять с опорой и не скользить. Тоха с

ящиком зарядов — за Игорем, спиной к жёлобу. Ада — за третьим прессом, на полу, деком к железу. Арслан не встал в проход: он взял простенок у колонны и оттуда видел и Мясника, и лестницу в дальнем конце.

Серёга поставил щит, пристукнул нижней кромкой о бетон — раз, второй, ища, где не скользит, — и упёрся в него плечом, а не руками, и заднюю ногу отвёл далеко назад.

Первый удар пришёл сверху вниз, правой клешнёй. Щит принял его плоскостью, купол мигнул синим по кромке, Серёгу просадило на полшага, но задняя нога держала. Щит выдержал.

Второй пришёл туда же, с того же замаха, с интервалом в четыре секунды. Серёга успел за эти четыре секунды переставить заднюю ногу на доску и снова пристукнуть кромкой. Просадило меньше. Щит выдержал.

Между вторым и третьим Рейн увидел то, что надо было увидеть до первого.

Левая клешня у Мясника ходила выше правой. Не сильно — на ладонь, — и это была не боевая привычка, а сборка: слева ему поставили длинное плечо, потому что у пресса он работал слева. Длинное плечо заходит по дуге. Дуга обходит плоскость.

Щит — плоскость.

— Боком! — заорал он. — Слева заходит, боком!

На третьем ударе левая пошла не сверху, а от бедра, по дуге, наружу и внутрь, как заводят поддон с ленты. Серёга повернул щит навстречу — правильно, если бы шло в плоскость. Дуга обошла плоскость на ширину ладони и зашла под угол, туда, где щит не закрывает, и вошла в него сбоку, между щитом и рёбрами, и понесла дальше. Они пролетели вдвоём до пресса и

ударились в станину — сначала щит, потом он. Купол погас.

Серёга не встал.

Расчёт был верный. Он опоздал на полторы секунды, и полторы секунды в этом расчёте не стоили ничего.

Дальше было четыре минуты, и Рейн запомнил их кусками.

Игорь стрелял в решётку воздухозаборника — туда, где у человека лицо, — с колена, по три, с длинным пустым выдохом перед каждой тройкой. Пули уходили внутрь и ничего не делали, потому что внутри уже нечему было ломаться. Магазин он сменил, отступая на два шага по доскам, и всё это время губами считал, и сбился на «четыре», и начал заново с одного.

Дед зашёл слева — не с той стороны, где длинное плечо, а под него, в мёртвый сектор у самого корпуса, куда дуга не достаёт, потому что дуга начинается дальше. Он шёл боком, приставным, левое плечо вперёд, и держался за станину пресса свободной рукой, чтобы не поехать по серому. Рубил он не по клешне, а по тому, что её держит: по двум шлангам над шарниром, где гофра шла открыто. Клинок брал их не сразу: с третьего раза, с четвёртого, с визгом и выбросом масла. Первый шланг лопнул и хлестнул вверх. Масло попало Деду на рукав и на бороду, и он выругался так, как ругаются на работе, а не в бою, и не отошёл, а пригнулся ниже и рубил дальше, под тем же углом, в то же место.

Тоха таскал заряды от ящика к Игорю — по два, прижав к животу, потому что в горсть не помещалось, — и один раз оказался слишком близко, когда правая клешня пошла в возврат. Его отбросило ударом воздуха, он проехал спиной по серому до жёлоба, сел, помотал головой и встал. Ремень автомата он при этом подтянул — уже не глядя, рукой.

Ада сидела на полу за прессом, спиной к бою, и лезла в линию — не в Мясника, в линию.

— Держите его ещё двадцать секунд! — крикнула она.

Его держали двадцать секунд.

Потом конвейер встал.

Мясник сбился с шага — весь, целиком, как сбивается человек, у которого выдернули ступеньку под ногой. Он качнулся, перенёс вес вперёд на ту ногу, которая не была готова его принять, повёл левой клешней в пустоту, ища такт, и на секунду опустил её ниже плеча.

Этой секунды хватило Деду.

Он шагнул из мёртвого сектора наружу, под опущенную клешню, поставил левую ладонь на её тыльную сторону и толкнул от себя вниз — не чтобы сдвинуть, а чтобы иметь, обо что упереться, — и по этой руке, как по перилам, вышел вплотную к корпусу. Бить в решётку он не стал. Он ударил ниже, под неё, в стык между кожухом и тем, что от шеи осталось, куда уже уходили перерубленные шланги, — снизу вверх, коротко, на выдохе. Клинок вошёл до перекрестья и встал. Дед довернул его на себя и всем весом сел вниз.

Внутри что-то коротко зашипело и стравило, и из-под кожуха пошло масло, и пошло оно уже не под давлением.

Он перестал двигаться на четвёртой минуте, и из решётки на месте лица продолжало капать ещё долго, ровно и неторопливо, в такт с прессами, которые ещё не знали, что линия встала.

Настю снял охранник, о котором никто не знал.

Сидевший в операторской будке под потолком, он всю драку не стрелял, потому что боялся, — а когда Мясник упал, от ужаса

нажал на всё сразу и дал длинную очередь вниз, наугад, в дым.

Потом, разбирая это, Рейн смотрел будку не по памяти, а на картинке с дрона, которую Ада гоняла по кругу на привале: пустой крюк под дробовик, телефон на шнурке, куртка на размер больше — и автомат, которого этому человеку по его слою не полагалось и который ему сунули сегодня ночью вместе с тревогой. Тот же слой, что Славка внизу, те же девять тысяч. Такому дают ствол и не дают ни одной минуты, чтобы объяснить, куда из него не надо стрелять.

Одна пуля нашла Настю.

Она стояла у пульта глушилки и держала эфир, и продолжала держать ещё секунд десять после того, как в неё попали, — потому что глушилка была в руках, а пока глушилка работает, наверх не сообщат. Рейн видел, как она садится на пол, аккуратно, и как поправляет коробочку на шее — жестом человека, который хочет что-то сказать.

Коробочка сказала ровно, без интонаций:

— Эфир чистый.

Больше она ничего не сказала.

Олег и второй вывалились из шахты в середине боя — сбоку, за прессами, грязные, в пыли по самые брови, и Олег снял Мясника с шарнира ударом, которого от него никто не ждал.

Клешня, уходя, снесла стойку конвейера, и стойка достала второго. Рейн этого не видел: он в ту секунду смотрел в другую сторону и узнал обо всём потом, по тому, как тот сидел.

Их не видели три часа.

Спросил Арслан — коротко, уже над сидящим, тем самым голосом, которым он считал вслух:

— Где были.

— Пролёт между четвёртым и пятым выгорел, — сказал Олег. Он стоял, упёршись ладонями в колени, и дышал ртом. — Не от санации. Там щит распределительный, он сам рванул. Перила ушли петлёй.

— Обход?

— Обход. Сорок минут. Вышли в жилой с другой стороны, а дальше противопожарная с электрозамком, та же самая, которая внизу нас не пустила. Она же и наверху не пустила.

— И?

— И шахта, — сказал Олег. — Грузовая. По скобам. Полчаса.

Арслан посмотрел на него ещё секунду.

— Шесть этажей вы за это время не прошли.

Олег выпрямился.

— Два раза висели, пока внизу ходила кабина, — сказал он. — Я бы вылез раньше. Я на пятом слышал, что у вас тихо. Тихо — значит, идёте. Я полез дальше. Потом на шестом стало не тихо, и мы выбили створки.

Он сказал это ровно и без вызова, и было слышно, что он проговаривал это про себя всю дорогу вверх, ступенька за ступенькой, на случай если спросят.

Никто и не собирался спорить. Двадцать два года человек не заходил туда, где нет второго выхода, — а сегодня полез в шахту, где второго выхода нет вообще, потому что снизу услышал стрельбу.

Больше его ни о чём не спрашивали. Не потому, что поверили, а потому, что рядом на полу сидел второй и держал ладони на животе.

Их осталось восемь, когда дым осел.

Потом семеро: у того, кто пришёл из шахты, была дыра в животе.

Он сел у пресса, привалившись спиной к железу, — сел так, как садился на каждом привале этой ночи: спиной к железу, лицом к своим, чтобы видеть всех и чтобы никто не заходил сзади. Один раз он посмотрел на собственные ладони на животе и коротко усмехнулся через нос.

Потом сказал:

— Я догоню.

Рейн не знал, как его зовут.

Он стоял в трёх шагах, смотрел на человека, с которым проработал одну ночь, и честно пытался вспомнить. В голове было название района, где тот жил, — Консервный, — и марка его пистолета, и то, что он смеялся через нос.

Имени не было. И не потому, что стёрлось.

Он его никогда не спрашивал.

Он даже сейчас мог спросить. Человек был живой, в сознании и слышал; до него было три шага.

Рейн открыл рот.

Потом посмотрел ему в лицо, увидел, как тот смотрит в ответ, и понял, что спросить сейчас имя — значит сказать вслух: я спрашиваю, потому что ты сейчас умрёшь.

Он закрыл рот и пошёл дальше.

Это была не жестокость и не трусость. Это была вежливость — та самая, из-за которой он молчал всю жизнь, и которая один раз за ночь оказалась хуже любой грубости.

Он остался у пресса.

Это видели все семеро, кто уходил из цеха, и ни один не обернулся, потому что оборачиваться на такое нельзя, если собираешься дойти.

Имя Рейн узнал через два этажа, на восьмом, когда Ада вслух называла мёртвых и одно из имён в её списке ничего ему не сказала.

Он тогда переспросил:

— Кто из них Женя?

— Тот, который из шахты, — сказала Ада. — У него дочь в интернате.

И вот это Рейн запомнил навсегда — не лицо и не голос, а порядок, в котором к нему пришли сведения о человеке: сначала «я догоню», потом «Женя», потом «дочь».

— Я догоню, — сказал человек ещё раз, уже им в спину.

Никто не остановился. Все знали, что он не догонит. Он тоже знал: он говорил это не им, а себе, чтобы было чем занять голову.

Рейн шёл последним и слышал, как тот повторяет — тише, тише, — пока голос не стал ровным, как гул прессов.

И вот тут он остановился.

Он стоял между двумя прессами, в горячем шуме, и очень ясно, по пунктам, думал о том, что может всё это отменить.

Он мог вернуться к двери — к той самой двери лифтового холла, через которую они вошли на этаж, — и встать там, положив ладонь на створку, и позвать.

Как это делается, он уже понял. Не всегда получалось, но на порогах получалось почти всегда.

И ему бы показали: Мясник заходит сбоку, под угол щита; в будке под потолком сидит человек и боится; линия висит на сети цеха. Всё то же самое, только заранее.

А потом он вернулся бы сюда, к прессам, в ту же секунду, и сказал бы Аде про линию, а Серёге — про угол, и Насте — не вставать у пульта, и всё это заняло бы полторы минуты.

И все были бы живы.

Он стоял и считал, что у него есть.

Жёлтая вода под дамбой.

Ободранная коленка.

Солнце с ресницами.

Всё. Это был весь его запас. Не «много» и не «мало» — это была вся сумма, и он знал, чем расплатился в прошлый раз: тем, как пахло дома. Он помнил слово «лук» и слово «известка», а самого запаха на этом месте больше не было.

Он представил, как выводит из цеха Серёгу, Настю и Женю — живых, — и как потом, где-то на десятом или на двенадцатом, тянется за коленкой, а там гладко.

И что тогда останется от того, ради кого он вообще сюда зашёл.

— Рейн, — сказал Дед. — Ты идёшь?

Он ещё постоял.

— Иду, — сказал Рейн.

Он пошёл и не стал переигрывать, и это было самое подлое, что он сделал за ночь, и он это знал.

Ада вынула у Серёги щит-проектор — коробку с ремнём, восемь секунд купола. Хорошая вещь. Тяжёлая.

У Насти под затылком был широкополосный глушитель, дававший десять секунд тишины в эфире.

Она положила обе штуки на ящик, рядом, и посмотрела на Рейна. У неё в кармане с третьего этажа лежала Катина пластина.

— Слотов нет, — сказала Ада. — Три вещи. Считай, что понесёшь в кармане.

Арслан сказал это позже, на площадке, когда Ада ушла вперёд, и сказал не Рейну, а куда-то в пролёт.

— Спроси.

— Что спросить?

— То, что ты не спрашиваешь четыре года, — сказал Арслан. — Почему я беру новых. Все спрашивают на второй месяц, ты не спросил ни разу.

— Я думал, дешевле.

— Дешевле, — согласился Арслан. — И ещё одно.

Он смотрел вниз, в пролёт, где было темно.

— Я умею считать людей, только пока они цифры. Как только я знаю, что у него дочь и как её зовут, я начинаю считать неправильно — и он гибнет, и с ним ещё двое, потому что я минуту жалел вместо того, чтобы вести.

Внизу, в пролёте, капало — редко и всё время в одну точку.

— Я это проверил один раз, двадцать лет назад, на человеке, который меня учил. Больше не проверяю.

— И как с этим живётся?

— Хорошо живётся, — сказал Арслан. — Выхожу чаще всех в этом городе. — Он оттолкнулся от перил. — Иди наверх, Рейн. И не рассказывай мне ничего про себя, я тебя прошу.

Рейн потом вспоминал эту просьбу на одиннадцатом, когда смотрел, как тот уходит в дым.

Рейн смотрел на три вещи, лежащие на ящике, и очень отчётливо понимал, что сейчас он выберет, кого нести дальше, и что это и есть то, что с ним делает эта ночь.

Он взял глушитель.

Не потому, что лучше. Потому что вспомнил, как она держала эфир ещё десять секунд после того, как в неё попали.

— Понесу остальное, — сказала Ада.

— Ты уже два несёшь.

— Я считаю, — сказала она. — Не переживай. Я всё считаю.

Она сказала это спокойно, и Рейн впервые за ночь подумал, что не понимает, шутит она или предупреждает.

Арслан поймал его за локоть в дверях цеха.

— Ты идёшь за мной, — сказал он тихо. — Всю дорогу. Не рядом — за мной, на два шага.

— Ты же сказал рядом.

— Я передумал. — Арслан смотрел мимо него, в проход. — Рядом с тобой стоять плохо. Ты орёшь за секунду до, а мне надо,

чтоб между тобой и тем, что впереди, был я.

Он отпустил локоть и добавил — как про снаряжение:

— Целым дойдёшь. Я прослежу.

И пошёл, а Рейн остался стоять и думать, что ему только что пообещали охрану, и что охраняют обычно не людей, а груз.

В шлюзе перед лестницей Тоха догнал его и пошёл рядом.

Он шёл молча уже второй этаж, и Рейн поймал себя на том, что ждёт вопроса и вопроса нет. В вестибюле этот парень спрашивал, чего они шли за контейнером, если он вот, лежит пустой, и что теперь; на втором — зачем лаборатории сорок тысяч респираторов. Сейчас он просто шёл и смотрел под ноги, и держал ствол так, как держат к концу смены, а не в начале.

Рейн подумал, что за одну ночь человека учат быстрее, чем за год, и что учат не тому.

— Слышь, — сказал наконец Тоха. — А ты правда всё наперёд знаешь?

— Нет.

— А ребята говорят.

— Ребята ошибаются.

Тоха подумал.

— А если б знал, — сказал он, — ты б сказал?

Рейн остановился на ступеньке.

У него в голове со времён вестибюля лежал кусок, к которому не было адреса.

Он получил его там, на полу, вместе со всем остальным, и всю ночь носил и не знал, куда приложить: серый ковёр, протёртый

посередине до основы в одну линию; картонные коробки, четыре у стены и две отдельно; электрочайник; запах подгоревшего кофе и озона; и человек в свитере с растянутыми локтями, сидящий спиной.

Ковров в этой башне он пока не видел ни одного. Бетон, кафель, решётка, кафель, наливной пол. Ковёр стелют там, где ходят одни и те же люди много лет и где им за это платят отдельно.

Значит, выше. Значит, скоро. Значит, там, где сидят те, кто не выходит из комнаты.

Больше он ничего из этого не вынимал. Знание без адреса — как чужая записка без начала: прочитать можно, сделать нельзя.

— Да, — сказал Рейн. — Сказал бы.

Это была вторая ложь за ночь, и она далась ещё легче первой.

Яма

Из жизни Серёги, за девять лет до башни.

Яма — это не яма.

Это надо объяснить сразу, потому что приезжие всегда представляют себе что-то земляное, с решёткой сверху, и потом не понимают, почему оттуда не убегают.

Яма — это цех.

Обычный производственный цех, стоящий на окраине промзоны, с крышей, стенами, освещением и столовой, где кормят дважды в день, и вывеска у него нормальная, и налоги он платит. В яме делают то же, что везде: разбирают, сортируют, льют, пакуют. Там даже есть техника безопасности, потому что травмированный работник простаивает.

Разница одна: оттуда нельзя уйти, пока не отработан долг.

Всё остальное законно.

Серёга попал туда в двадцать шесть, за сто девять тысяч.

Он потом считал эту сумму много раз и каждый раз удивлялся, какая она маленькая. Сто девять тысяч — это подержанный фургон. Это два года аренды капсулы. Это четверть одного приличного глаза.

За четверть глаза он отдал три года.

Долг был не его.

Долг был отца, который умер, не успев переписать поручительство, и по бумаге поручителем остался сын. Серёга ходил в контору, ходил в суд и однажды дошёл до человека, который объяснил ему всё по-хорошему, за чаем:

— Юридически всё чисто. Морально я вам сочувствую. Практически у вас два пути: платить восемнадцать лет по графику или отработать три года и выйти чистым.

— А третий?

— Третий есть, — сказал человек. — Бежать. Только вы же понимаете, что тогда долг никуда не денется, а к нему добавится розыск, и через год вы придёте сюда же и попроситесь на пять лет вместо трёх.

Серёга выбрал три.

Первые полгода он считал дни.

Потом бросил, потому что понял: считающий день человек живёт этот день дважды, и второй раз хуже первого.

Он стал считать другое — смены, а смены удобны тем, что они одинаковые: он приходил, вставал к линии, восемь часов делал одно движение, уходил, ел, спал. Тысяча девяносто пять смен. Он не помнил из них ни одной отдельно, и это было единственное, что он потом считал милосердием.

В яме была своя иерархия, и она никого не удивляла.

Наверху — те, кому осталось меньше года: их не трогали, потому что человек, которому осталось мало, дерётся насмерть за пустяк.

Внизу — новые, у которых впереди всё.

Посередине — самые опасные: те, кто отсидел половину и понял, что вторая половина ничем не будет отличаться от первой.

Серёга был опасен ровно четыре месяца, на втором году, и однажды в эти четыре месяца он сломал человеку челюсть за то,

что тот взял его миску.

Об этом он рассказывал, не смягчая. Он говорил: «Я не защищался. Я просто хотел, чтобы что-нибудь произошло».

Воды в яме давали пол-литра в сутки.

Не из жестокости: цех стоял на привозной, и привозную считали по накладной, и пол-литра на человека — это была та норма, при которой линия не встаёт, а расход сходится.

Люди приспособились.

Пили не сразу, а по глотку, растягивая на смену. Не разговаривали лишнего, потому что от разговора сохнет во рту. Не ели солёное, даже когда давали. Самое ценное на обмен была не еда и не курево, а лишняя кружка, и за лишнюю кружку в яме делали такое, чего не сделали бы за деньги.

Серёга за три года не выменял ни одной.

Он говорил: «Я решил, что вот это они у меня не возьмут». Что именно «это», он объяснить не мог, и его не переспрашивали.

Он вышел в двадцать девять, в среду, в одиннадцать утра.

Ему выдали на руки справку о закрытии обязательства, его же одежду в пакете и триста сорок кредитов накопленного остатка.

Он вышел за ворота и минут сорок не мог сообразить, куда идти, потому что три года не принимал ни одного решения крупнее, чем «сейчас или потом».

Потом пошёл пешком до Консервного, восемнадцать километров, и по дороге купил воды и не смог выпить больше половины.

В наёмники он пошёл через месяц, и его брали охотно: бывших из ям берут все, потому что они не дезертируют.

За шесть лет он ни разу не взял ни одного кредита ни на что.

У него не было ни импланта, ни порта, ни страховки, ни капсулы — он снимал койку в общежитии на Мелководье и держал деньги наличными в жестянке, и над ним за это смеялись, и он не спорил.

Один раз, в фургоне, Тоха спросил:

— Серёг, а чё ты не поставишь хотя бы порт? Ты ж без порта как из прошлого века.

Серёга подумал и ответил:

— Поставлю — буду должен.

— Ну ты один раз заплатишь и всё.

— Один раз ни у кого не бывает, — сказал Серёга. — Один раз бывает у тех, у кого есть чем закрыть. А у меня нечем, значит, будет график. А как только есть график, я уже не решаю, где я завтра.

Он помолчал и добавил, уже тише:

— Я три года не решал. Я больше не хочу.

Он умер на шестом этаже, в цеху, и цех был похож на тот цех.

Серёга это заметил в первую же минуту, как вошёл: те же балки, тот же жёлтый свет, та же разметка на полу, по которой нельзя ходить, и то же гудение под ногами.

Он сказал вслух одно слово — «надо же» — и пошёл вперёд первым, хотя первым идти ему было не положено.

Никто не успел спросить почему.

Две смены

Из жизни Насти, до башни.

Настя работала в двух местах и считала это нормальным, потому что в две смены работала половина Мелководья.

Днём — оператором на упаковке, шесть дней, восемь часов, стабильно и мало.

Ночью, три-четыре раза в месяц, — на бирже.

Она не бросала дневную не потому, что боялась, а потому что дневная давала страховку, а страховка давала её сыну место в интернате при Консервном, где кормят и учат.

Сына звали Лёва, ему было семь, и он не знал, чем мать занимается по ночам.

Она говорила ему, что ездит за товаром.

Это была неплохая ложь, потому что её нельзя было проверить и потому что она объясняла и синяки, и усталость, и то, почему мать иногда не приходит в воскресенье.

Один раз, на шестом году, Лёва спросил:

— А почему за товаром ездят с автоматом?

— Потому что товар дорогой.

— А если отберут?

— Тогда отдам, — сказала Настя. — Товар не мой, я за него не отвечаю головой.

Это было единственное место в её лжи, где она говорила чистую правду, и она за эту правду держалась: она действительно за все девять лет ни разу не полезла под пулю за чужой груз.

На бирже её считали надёжной и скучной.

Она не набивалась в лидеры, не брала самые дорогие заказы, не работала в паре с незнакомыми и трижды отказывалась от предложений, после которых люди уходят с биржи навсегда, в одну сторону или в другую.

У неё был свой потолок, который она сама себе поставила: она брала заказы не дороже определённой суммы.

Логика была такая: дорогой заказ — это заказ, прячущий в себе что-то не то, и это «не то» всегда компенсируют деньгами, а деньги ей были нужны не все, а ровно до цифры.

Цифра была — восемьдесят тысяч. Это интернат до шестнадцати лет с запасом.

К ночи башни у неё было пятьдесят три.

Башню она взяла, нарушив собственное правило, и знала, что нарушает.

Сумма была вчетверо выше её потолка, и это её насторожило настолько, что она два дня не отвечала Арслану.

Потом посчитала: пятьдесят три плюс эта ночь — и потолок закрыт, и дальше можно оставить только дневную, и быть дома в воскресенье, и вообще перестать врать про товар.

Она согласилась в последний вечер.

Собираясь, она оставила на столе записку — не прощальную, обычную: Лёвка, я вернусь в четверг. В холодильнике всё. Не жги свет всю ночь.

Записка была не ему: он жил в интернате. Она писала такие записки себе, потому что так было легче выходить из дома.

В группе она держалась с Адой, и это было единственное настоящее, что у неё за ту ночь было.

Они разговаривали мало и по делу, а на четвёртом этаже, у крана, Настя вдруг сказала:

— У меня сын.

Ада посмотрела на неё и ответила не сразу.

— Я знаю.

— Откуда?

— Ты воду набираешь в две фляги, — сказала Ада. — А пьёшь из одной. Значит, ты привыкла носить с запасом на кого-то.

Настя засмеялась — единственный раз за всю ночь.

В цеху она проработала двенадцать минут.

Она была у второй линии, когда сбоку, из-за прессов, из выбитых створок шахты вывалились те двое, которых три часа не было, — Олег и Женя, грязные, в пыли по самые брови. Настя успела обернуться на движение и увидеть, что это свои.

Это последнее, что она видела хорошего.

Она умерла у пульта глушилки, у второй линии. Держала эфир ещё секунд десять после того, как в неё попали, — доработала смену до конца. По всем меркам этого города это считается хорошей смертью.

Про её сына в группе знала одна Ада — сама догадалась, по флягам, и никому не сказала, потому что не её.

Модуль Насти Ада сняла.

Через семь месяцев, оформляя всё на интернат при Консервном, она в приложении к документам отдельной строкой

указала имя ребёнка и написала при этом одну фразу, из-за которой юрист интерната переспрашивал дважды, потому что она не имела юридической силы:

Из этой доли — сначала ему, потом остальным.

Юрист в итоге вписал формулировку правильно, по закону, и получилось то же самое, только тремя абзацами.

Лёва про это узнал в шестнадцать.

Он тогда спросил у директора интерната одну вещь — ту же самую, которую в семь лет спрашивал у матери, только другими словами:

— А она за что поехала-то?

Ему ответили честно, потому что в интернате при Консервном вратъ детям перестали ещё при прежнем директоре:

— За тебя. Но не героически. Просто посчитала и поехала.

Догоню

Из жизни Жени. И о том, как его считали.

Женю в группе знали хуже всех, и это была его собственная работа.

Он пришёл на биржу восемь месяцев назад, работал ровно, не пил, не занимал, о себе не рассказывал и никогда не соглашался на фотографию — а фотографию в сборных группах делают почти всегда, для расчётной, и отказ выглядит подозрительно.

Арслан взял его несмотря на отказ, потому что тот умел две вещи, которые в его списке стояли выше биографии: читать помещение с мёртвыми и не спорить.

До биржи у него была другая работа, и он о ней говорил ровно одной фразой: «Я четыре года был выездным».

«Чистая вода» — это городская служба, которая приезжает, когда уже поздно. Не скорая: скорая едет к живым. Эти приезжают к тем, кого нашли.

Четыре года он вскрывал двери на объектах, где внутри было тихо, и составлял описи, и научился тому, из-за чего его потом взяли в группу: он входил в комнату и за десять секунд говорил, что тут было и в каком порядке.

Ушёл он оттуда не из-за нервов.

Ушёл, потому что выездному платят три двести в месяц, а интернат при Консервном стоит ровно три двести в месяц, и на этом арифметика заканчивалась.

Дочери было семь лет, и звали её так же, как мать, которой уже не было.

Он отдал её в интернат не от бедности — точнее, от бедности, но не только. В интернате кормят, учат и, главное, там знают, что делать, если родитель не придет: у них для этого есть отдельный человек и отдельный разговор.

Женя один раз спросил директора, как этот разговор устроен.

Ему ответили честно.

Он подумал и сказал: «Хорошо». И записал дочь на следующий день.

В группе он держался третьим-четвёртым и на привалах садился спиной к стене, лицом к людям.

С Тохой они не сошлись: тот был разговорчивый, а Женя отвечал односложно, и через день Тоха отстал.

С Олегом сошлись сразу — молча, тем способом, каким сходятся два человека одной профессии: оба входили в помещение и смотрели не на людей, а на стены.

В ту ночь их двойка не попала в вестибюль, и три часа они провели вдвоём за опущенной плитой, в бетонном коридоре, где второго выхода не было вообще.

Женя нашёл выход в потолке. Он же заставил Олега снять броню, чтобы пролезть, и тащил эту броню следом по пластине на ремне.

В шахте, на скобах, он рассказал Олегу про интернат.

Это был единственный раз за восемь месяцев, когда он рассказал о себе хоть что-то, и рассказал он не потому, что открылся, а потому, что на скобах полчаса и говорить всё равно больше не о чем.

Дома он сказал про рейс на неделю, и дочь спросила, привезёт ли он чего-нибудь, и он пообещал привезти. Он всегда обещал, и обещанное довозил, потому что это было единственное, что от него требовалось довозить.

Больше он к этой теме не возвращался.

В цеху их встретил пресс.

Женя сел у железа, привалившись спиной, и держал ладони на животе. По тому, как он их держал, всё было понятно любому, кто хоть раз видел такое, — а он видел четыре года подряд.

Поэтому врать ему не стали, и он не стал врать в ответ.

Он сказал Олегу идти и сказал это дважды — вторым разом так, будто речь шла о перекуре, — и добавил, что посидит и догонит.

Вот что важно про эту фразу, и это единственное, что стоит о ней сказать.

Женя не был героем и не жертвовал собой.

Он посчитал так же, как считал Арслан, как считала Ада, как считают все, кто в этом городе доживает до сорока: с такой раной его понесут вчетвером, вчетвером они не пройдут цех, а у него самого остаётся один шанс из десяти при любом раскладе.

Он выбрал не смерть. Он выбрал, чтобы дошли те, кто может дойти.

И он сказал вслух вторую вещь, уже без всякой философии: назвал сумму, назвал интернат и объяснил Олегу, что если тот не дойдёт, то вносить три двести будет некому.

Он остался у пресса и прожил ещё около часа.

Это установили потом, по крови: он перебрался от пресса к стене — метра три, ползком, — и дальше не двигался.

Зачем он полз к стене, никто не узнает. Скорее всего, затем же, зачем это делают все: чтобы было к чему прислониться.

Модуль его Ада не сняла: не успела, а потом не смогла вернуться.

Это единственная её потеря за двенадцать лет, о которой у неё не осталось ничего, и она об этом помнит до сих пор.

Про интернат вспомнила Ада.

Это было на девятом, глубокой ночью, когда у них оказался узкий канал на двести знаков и восемь мёртвых, о которых нужно было кому-то сообщить. Она разбила пакет на три сообщения, и первым ушло в интернат при Консервном: Женя Кириллов сегодня не приедет. Деньги за месяц внесены вперёд. Позвоните по номеру ниже.

Про деньги она приписала сама и на всякий случай — она не знала наверняка, внесены они или нет.

Они были внесены. Женя всегда платил за месяц вперёд, все восемь месяцев, в первый же день, потому что не доверял себе дожить до тридцатого.

Три двести за текущий месяц остались лежать на счёте интерната отдельной строкой, и про них не сказали никому: это было в бумагах, а бумаги семилетним не показывают.

Фильтры

02:35. Седьмой этаж, лестничная площадка.

Респиратор без фильтра — это тряпка.

Это понимают не сразу. Сам респиратор служит годами, стоит дёшево и выглядит надёжно; вся работа в нём делается коробочкой размером со спичечный коробок, которая живёт от сорока минут до четырёх часов в зависимости от того, чем дышат.

В густом дыму — сорок минут.

В обычном задымлении — два часа.

На складе при пожаре, где горит пластик и изоляция, — считается по-другому, и правильного ответа нет, потому что там дышат не дымом, а тем, что дым принёс.

У них было одиннадцать фильтров на семерых.

— Считаю, — сказала Ада и посчитала вслух, потому что иначе не умела. — В фургоне взяли двадцать. По полтора на тринадцать, как берут всегда. Кончились к пятому. На втором добрали складских, «лёгких», по сорок минут в дыму, по два на каждого — двадцать шесть. Сорок шесть за ночь.

— Дальше.

— Двадцать семь отработали и бросили там же, на этажах: отработанный никто не носит. Восемь ушли вниз в карманах тех, кто остался лежать, — снимать пришлось бы с лица, и никто не стал.

Она подняла голову.

— Сорок шесть минус тридцать пять, — сказала она. — Одиннадцать штук, семь человек, шесть этажей.

— Вот это не считай, — сказал Арслан.

Она посмотрела на него.

— Почему?

— Потому что тут нечего делить, — сказал Арслан. — Тут есть только порядок.

Порядок был такой, и он объяснил его за полминуты.

Фильтр ставится тому, кто идёт первым.

Второй фильтр — тому, кто идёт последним, потому что замыкающий дышит тем, что подняли впереди идущие.

Дальше — тем, у кого больше расход: щитовику, потому что он тащит вес, и раненому, потому что раненый дышит чаще.

Остальные идут на своём, сколько выйдет, и меняют, когда становится плохо.

— То есть кто-то будет без, — сказала Ада.

— Кто-то будет без, — согласился Арслан.

— Кто?

— Тот, кто скажет, что может.

Сказали трое: Дед, Тоха и Рейн.

Дед — потому что был щитовик и врал, и все знали, что врёт, и Арслан ему всё равно отдал фильтр, потому что Дед шёл первым.

Тоха — потому что ему было девятнадцать и он не хотел выглядеть.

Рейн — потому что у него в самом деле не жгло.

И вот на этом месте, на седьмом этаже, на площадке, он впервые за ночь поймал себя.

Он это заметил не сразу.

Он стоял, дышал дымом, которым дышать было нельзя, и думал о фильтрах, и только через полминуты до него дошло, что он думает о фильтрах, а не о том, что ему нечем дышать.

Тогда он вдохнул нарочно, глубоко, полной грудью.

Ничего не произошло.

Ни кашля, ни рези, ни того липкого ощущения в горле, которое было на пятом и на шестом, и которое он помнил по всем пожарам в своей жизни, а пожаров в его жизни было четыре.

— Ты чего? — спросила Ада.

— Ничего.

Он взял фильтр.

Это было единственное разумное решение, и он его принял за секунду, и потом всю ночь к нему возвращался.

Потому что если бы он отказался — его бы спросили почему. А отказавшись правильно, то есть сославшись на то, что «нормально», он получил бы через двадцать минут вопрос от Ады, которая считает всех и всё видит.

Поэтому он надел фильтр, которого ему не было нужно, и следующие сорок минут дышал через него, зная, что тратит чужое.

Это было хуже, чем соврать словами.

Дед отдал свой Тохе минут через пятнадцать.

Он сделал это без разговора: снял, вставил ему и пошёл дальше, и когда тот открыл рот, сказал:

— Закрой рот, ты дышишь.

Идущий дальше на своём Дед начал кашлять на восьмом, и кашлял до самой крыши, и в вертолёте тоже, и потом ещё месяц.

Ада вписала это в свой файл отдельной строкой: Д. отдал фильтр Т., 7-й этаж, 02:50. И ниже: Проверено по двум источникам.

Последний фильтр поставили на двенадцатом, в оранжерее, где дыма было меньше всего, и поставили его Аде, у которой к тому времени была разбита нога и сбито дыхание.

Она не хотела.

— Мне не надо.

— Надо, — сказал Дед. — Ты у нас последняя, кто считает. Считай дальше.

Она взяла.

Про фильтры есть ещё одно, и это уже не про ту ночь.

Через месяц, разбирая вещи перед отъездом, Ада нашла в кармане старой куртки нераспечатанный фильтр.

Он был её собственный, из тех двадцати, взятых в фургоне. Она положила его в карман куртки, а не в рюкзак, потому что так делают все, и забыла.

Одиннадцать штук на семерых — это было неправдой.

Их было двенадцать.

Ада просидела с этим фильтром на кухне полтора часа и досчитала до конца: двенадцатый фильтр — это сорок минут.

Сорок минут — это два этажа. Два этажа — это, возможно, никто, а возможно, Игорь.

Досчитав, она убрала его в жестяную коробку из-под чая, четвёртым предметом, попавшим туда не по правилу.

И перестала.

Она потом говорила — один раз, много лет спустя, — что это был единственный случай в её жизни, когда она заставила себя не доводить счёт до конца, и что далось ей это тяжелее, чем всё остальное.

Переезд

Из жизни Тохи, за год до башни.

Тоху взяли в первый раз в восемнадцать, на простое дело: сопровождение груза от Шестого причала до Сортировки, четыре часа, две машины, никакой стрельбы не предполагалось.

Стрельбы и не было.

Он всё равно вспоминал этот выход чаще, чем любой из следующих, потому что там с ним случилось то, о чём он потом полгода никому не говорил.

Дома его никто не отпускал, и дома его никто не держал.

Он был старший. Мать работала в Затоне на переборке, две младшие сестры ходили в школу, отец уехал на вахту, когда Тохе было девять, и присылал деньги четыре года, а потом перестал присылать и перестал отвечать, и его не искали, потому что искать стоит дороже, чем он присылал.

Тоха посчитал один раз, в семнадцать, за столом, и посчитал вслух, потому что не умел иначе.

Курсы — год. Разряд — два года после курсов. Ставка по разряду — четыре двести. Аренда комнаты для трёх человек и одного взрослого — две восемьсот. Фильтры на четверых. Школа для младших — бесплатная, но с формой, обувью и взносом на ремонт.

Выходило, что через шесть лет он будет содержать семью впритык, а впритык — это когда одна болезнь ломает всё.

На бирже за одну ночь платили от двух до восьми.

Мать сказала одну фразу и больше эту тему не поднимала никогда:

— Ты мне только скажи, когда уходишь. Не уходи молча.

Он ни разу не ушёл молча. За год с небольшим он сказал ей об этом двадцать два раза.

На бирже его взяли последним и не глядя.

Он стоял с краю, в куртке не по размеру, с арендованным автоматом, и держал в голове заготовленную фразу: «стреляю с двухсот, ночью вижу, не курю».

Фраза не понадобилась. Старший посмотрел на него, спросил «восемнадцать есть?» — и всё.

В машине его посадили у задней двери.

Он потом узнал, что у задней двери сажают того, кого не жалко, и очень удивился, что не обиделся.

Четыре часа ничего не происходило.

Он держал сектор, как учили на курсах — курсы были дешёвые, три недели, в подвале при стрелковом клубе, — и первые сорок минут был собран, а потом мышцы устали держаться, тело село как село, и он поймал себя на том, что думает про еду.

Он не ел с утра. Он не ел с утра нарочно, потому что решил, что перед работой не надо.

К третьему часу он думал про еду так, как думают о ней всерьёз: он перебирал в голове, что есть дома в шкафу, и в каком порядке это надо съесть, и хватит ли.

Старший — не Арслан, другой, фамилию Тоха забыл — сказал ему через плечо:

— Ты чего дышишь как загнанный?

— Я нормально дышу.

— Ты дышишь ртом три часа. У тебя к концу смены губы потрескаются и язык присохнет. Дыши носом, а рот открывай, когда надо что-то сказать.

Это был единственный совет, полученный Тохой на первом выходе, и единственный, которым он пользовался всю дальнейшую жизнь.

Второй вывод он сделал сам и никому не сказал: на четвёртом часу голодный человек думает не о работе.

С того дня у него всегда было что-то за щекой. Сухая галета, сушёное, кусок жвачки, когда не было еды, — что угодно, лишь бы во рту было занято. В группе это считали привычкой, дурной и смешной, и Дед один раз сказал ему, что так и подавиться можно.

— Можно, — согласился Тоха. — А если не жевать, я к четвёртому часу тупой.

— И часто ты тупой?

— Не знаю, — сказал Тоха. — Я же жую.

На третьем часу того первого выхода колонна встала.

Впереди, на переезде, лежал человек.

Лежал он поперёк дороги, лицом вниз. Это была самая старая схема в городе: кладут своего, машина останавливается, из-за контейнеров выходят.

Старший это знал и сказал:

— Объезжаем.

Водитель начал объезжать.

Тоха из задней двери видел, как человек на дороге поднял голову, и человек этот был живой и не был подставой: у него не было ног ниже колена, и он полз через переезд, и полз он уже, судя по следу, минут пятнадцать.

— Стой, — сказал Тоха.

Никто не остановился.

Он сказал ещё раз, громче, и старший, не оборачиваясь, ответил:

— Сидеть.

Машина прошла мимо. Тоха видел в проёме, как человек на дороге посмотрел им вслед — без злобы, без просьбы, никак: так смотрят на погоду.

Через сорок минут они сдали груз, и всё было чисто.

В расчётной ему выдали деньги. Он взял их и не ушёл — дождался старшего на улице и спросил.

— Почему?

Старший закурил и ответил, не набивая цену:

— Потому что у нас груз, а у него ноги. Одно другому не помогает.

— Он бы дополз?

— Может. Обычно доползают.

— А если нет?

— Тогда нет, — сказал старший. — Слушай сюда, парень. Ты сейчас думаешь, что я сволочь. Через год ты будешь думать, что я прав. Через пять ты опять будешь думать, что я сволочь, но уже

не будешь останавливаться. Вот это третье — самое поганое, и оно со всеми случается. Держись подальше от третьего, если сможешь.

Он ушёл.

Тоха постоял. Потом сел на автобус и поехал обратно на переезд: ехать было сорок минут туда и сорок обратно, и он потратил на это два часа и половину заработанного на такси в конце.

Человека на переезде не было.

Был след — длинный, смазанный, тянувшийся до самой обочины и там обрывавшийся, и было непонятно, чем это кончилось: то ли дополз, то ли подобрали, то ли убрали.

Тоха походил вокруг минут десять, ничего не нашёл и поехал домой.

Дома мать спросила, чего он такой.

— Устал.

— Ты же говорил, четыре часа.

— Шесть вышло, — сказал Тоха и отдал деньги, и деньги были на две сотни меньше, чем обещали, потому что такси.

Вот это он и вспоминал потом чаще всего: не человека и не старшего, а то, что след обрывался и ответа не было.

К Арслану он ходил три раза.

В первый раз ему сказали «нет» и не объяснили. Во второй — сказали «нет» и объяснили: в группе нет ставки для лёгкого стрелка, и не будет, потому что фланги закрывает тот, кто уже есть.

В третий раз он пришёл со списком.

Список был написан от руки на половине листа и назывался никак. В нём было одиннадцать пунктов, и все одиннадцать начинались одинаково.

Арслан прочитал его при нём, стоя.

— Что это?

— Это то, чего я не знал год назад.

— Например?

— Например, восьмой, — сказал Тоха. — «Не ешь перед выходом, но и не приходи голодный».

Арслан посмотрел ниже.

— А одиннадцатый?

Одиннадцатый был такой: «Если не понял приказ, спроси вслух. Тебя обругают. Это дешевле».

— Это ты сам придумал?

— Это я сам получил, — сказал Тоха.

Арслан сложил лист пополам и отдал обратно.

— Ставки нет, — сказал он. — Есть половина ставки и вторые фланги. Через полгода посмотрим.

— Согласен.

— Ты даже не спросил сколько.

— Спрошу вслух, — сказал Тоха. — Сколько?

Арслан назвал. Сумма была унижительная. Тоха согласился и в тот же вечер сказал матери, что уходит, и сказал не молча.

В группе он был тот, кто спрашивает.

Это выглядело как недостаток, и первые месяцы так и воспринималось. Он переспрашивал приказы, уточнял очевидное, частил, лез с вопросами в неподходящий момент, и Арслан его осаживал раза четыре за выход.

Осаживал и не отучал, и разница между этими двумя вещами была всем видна.

Потому что один раз — на складе в Заречье, на восьмом месяце — Тоха спросил в третий раз то, что ему уже дважды ответили.

— Так левое крыло чьё?

— Наше, — сказал Арслан.

— А кто там стоит?

— Никто. Мы его прошли.

— Мы его прошли, — сказал Тоха, — или мы в него не заходили?

Пауза была секунды две.

Потом Арслан развернул группу, и в левом крыле оказалось четверо, и они уже пятнадцать минут смещались к выходу, через который группа собиралась уходить.

Никто Тоху не похвалил. Арслан вообще ничего не сказал, а Дед вечером хлопнул его по плечу так, что Тоха качнулся, и это было всё.

С того дня его вопросы слушали.

Про то, что правильный вариант всегда есть, он вслух не говорил ни разу — он в это просто верил, как верят в то, о чём не

думают.

Основание у веры было.

За год с небольшим он был на двадцати двух выходах, и на всех двадцати двух с ним ничего не случилось, и он видел, что это не везение, а порядок: он спрашивал, ему отвечали, он делал, как ответили, и оставался цел.

Один раз Ада спросила его, не страшно ли.

— Страшно, — сказал Тоха. — А что?

— Ничего.

— Ты думаешь, я не понимаю?

— Я думаю, что ты понимаешь неправильно, — сказала Ада.

— А как правильно?

Ада тогда не ответила. Она потом много раз пыталась вспомнить, почему не ответила, и вспомнила только, что в тот момент у неё разряжался дек и она думала про дек.

Она собиралась ответить позже.

У неё было на это четыре дня, и она не собиралась их считать.

Глава 7. Лаборатория

Сегодня в меня попала пуля и попало бессмертие, и я до сих пор не решил, что из этого хуже.

Старик сказал «теперь набело» — не мне, а своей сгоревшей работе. Умер раньше, чем я успел спросить, что это значит.

Он же и сказал правило, при всех, за десять минут до смерти: забрать можно только у мёртвого и только пока он не остыл. Значит, с этой минуты я — товар, который сам ходит.

Внизу, в двух кварталах, в машине сидит человек, который платит нам за контейнер. Контейнера больше нет. Есть я.

Я не скажу им. Я знаю их одну ночь, а Деда третий год, и всё равно не скажу — и это самое честное, что я сегодня о себе понял.

Тоха умер на этом этаже. Я протащил его через пять и не дотащил через один.

Рейн, ночь на четверг, два тридцать пять

Седьмой этаж. 02:35 — 03:05.

Седьмой этаж начинался с коридора, в котором было ковровое покрытие — первое за всю башню.

Рейн наступил на него и встал.

Ковёр был дешёвый, серый, протёртый посередине до основы: по этому коридору ходили одни и те же люди много лет, всегда по одной линии. После цеха подошвы у всех были в сером, и с

первых же шагов на ковре осталась дорожка — след в след, ровно по протёртому. Ковёр глушил шаг так, что стало слышно, как в левом предплечье у Рейна щёлкает сочленение при каждом втором шаге.

И здесь впервые за ночь ничем не било в нос. Только подгоревший кофе и сухой озон от техники — запах комнаты, в которой пьют и работают, а не варят. На стенах висели рамки. В рамках были не сертификаты и не благодарности, а фотографии: люди в белом стоят группой и щурятся на солнце, и подпись от руки — «Полевая экспедиция, восьмой сезон».

Рейн шёл и смотрел на лица. Их было человек двадцать, молодых, и почти все улыбались.

— Год смотри, — сказала Ада.

Он посмотрел. До «омаровой лихорадки» оставалось два года.

— Они тогда ещё не знали, — сказала Ада.

— Чего не знали?

— Ничего не знали, — сказала Ада. — Они просто поехали в море работать.

Лаборатория оказалась маленькой.

Он ждал другого — колонн, мониторов, стерильного блеска, чего-то, что выглядит как место, где делают бессмертие. А там была тесная комната, заставленная картонными коробками, с продавленным диваном у стены и электрочайником на подоконнике. Пахло подгоревшим кофе и озоном.

Сидевший у стола старик в свитере с растянутыми локтями что-то стирал с экрана так быстро, что пальцы расплывались.

И вот тут Рейна накрыло.

Это было не дежавю. Дежавю — когда кажется. Тут не казалось.

Это был адрес.

Кусок, который он носил с вестибюля, наконец лёг на место, и лёг с щелчком, как ложится в паз деталь, которую до этого крутили в пальцах всю смену. Ковёр он опознал ещё в коридоре. Коробки, чайник, свитер и запах опознались все разом, одним движением, как опознают человека не по лицу, а по походке в конце улицы.

Он знал эту комнату: знал, что на подоконнике стоит чайник, и что в чайнике нет воды, и что коробок будет шесть, четыре у стены и две у дивана.

Он пересчитал. Их было шесть: четыре у стены и две у дивана.

Он знал, что сейчас Арслан крикнет «не двигаться», а старик не обернётся. Он знал, что старик скажет: «Поздно. Всё равно поздно. Никто не соберёт это ещё раз».

Он знал, что будет дальше.

— Не двигаться! — крикнул Арслан.

Старик не обернулся.

— Поздно, — сказал он экрану. — Всё равно поздно. Никто не соберёт это ещё раз. Никто.

Мир не сузился и не поплыл. Он, наоборот, стал очень резким, как будто с него сняли плёнку, и Рейн одновременно, сразу, всем телом понял четыре вещи.

Первая: он здесь уже был.

Вторая: он видел, как умирает — вот здесь, у этой стены.

Третья: всё, что было с ним сегодня ночью — турель, Юра, кашель в серверной, рисунок с солнцем, — он всё это уже проходил, и та тошнота в фургоне была не от нервов.

И четвёртая, от которой у него похолодели руки: он ничего не менял. Он двигал.

Правило, к которому он пришёл, укладывалось в три строки, и он проговорил их про себя по одной, как проверяют узлы.

Мир не отматывается. Ничего из увиденного не случилось: ни выстрелов, ни смертей, ни его собственных. С места он не сходил ни разу — стоял у двери с ладонью на металле, и снаружи это длилось меньше, чем моргание.

Показывают только вперёд и только оттуда, где стоишь.

И платит за это не мир. Платит он — и платит не тогда, когда смотрит, а тогда, когда после просмотра что-то в самом деле выходит иначе. Он спас Тоху от турели, и Тоха здесь, рядом, дышит ему в затылок. Он обогнал Катю в дверях, и Катя умерла на минуту позже. Он не переиграл ни одного этажа — он аккуратно переставил в них мебель.

Так он думал на седьмом этаже, и это было почти верно.

Экран вспыхнул белым, и из стойки за спиной старика пошёл дым, идущий вверх ровно и густо.

Данные горели.

— Контейнер внизу, — сказал Арслан. — Пустой. Твоя девка его не донесла.

Старик наконец обернулся.

Он был очень бледный, и губы у него были синие — не от холода. Рейн смотрел на эти губы и думал: вот оно как выглядит

вблизи.

— Ася, — сказал старик.

— Что?

— Её зовут Ася. — Он смотрел не на Арслана, а куда-то между ними. — Она вышла? Она из здания вышла?

Никто не ответил.

— Она вышла? — повторил старик.

Рейн стоял в трёх шагах и молчал.

Он мог сказать. Это заняло бы два слова. Он видел, как она ползла по белому полу, обхватив контейнер, и слышал, как она сказала «я не донесла», и мог сейчас сказать старику хотя бы то, что она донесла до самого низа, и что это не её вина, и что она была уже мёртвая, когда всё случилось.

Он промолчал, потому что не знал, как начать.

Старик подождал ещё секунду и всё понял — не по словам, а по тому, как молчат.

— Ясно, — сказал он.

И отвернулся к экрану.

— Вы зря пришли, — сказал старик экрану. — Здесь ничего нет. Здесь уже три с половиной часа ничего нет.

— Мы видели, — сказал Арслан.

— Тогда чего вы хотите?

— Выйти, — сказал Арслан. — Нас заперли. Расскажи, что у вас тут за протокол и как его снять.

Старик засмеялся — сухо, коротко, и смех перешёл в кашель.

— Никак, — сказал он. — Это не сигнализация, это санация. Её не снимают, её пережидают. Обычно её пережидают снаружи.

Он стирал файлы и говорил, не оборачиваясь, и постепенно стало ясно, что говорит он не им.

Он говорил, потому что двадцать девять лет ему было нельзя, а теперь стало можно.

— Вы думаете, мы тут делали бессмертие, — сказал старик. — Мы тут делали совместимость. Бессмертие уже было, оно есть у любой уличной дозы: тебе перестают отказывать теломеры, и всё. Только человек к тому времени уже половина железа, а железо они выдавливают. Или хром, или вечность. Выбериай.

Он вытер очередную строку.

— Прототип — это про «и».

— И что? — сказал Дед.

— И ничего, — сказал старик. — Восемь лет. Двенадцать носителей. Они этажом выше, в боксах, и вы через них пойдёте, потому что другого коридора там нет. Не смотрите.

— Посмотрим, — сказал Дед.

— Смотрите. — Старик пожал плечами. — Только не ждите, что они посмотрят в ответ. Свет в боксах выключили на второй год.

— Жалели?

— Экономии, — сказал старик. — Сначала жалели, потом посчитали. Они на свет не реагировали никак: ни зрачок, ни голова, ничего. Мы три месяца писали протокол, а потом просто выкрутили лампы, и в отчёте появилась строчка про снижение затрат, и её, в отличие от всего остального, прочли.

Он потёр глаза ладонью.

— Они реагируют на другое. На шаги в коридоре. На тепло, когда открываешь шлюз. Санитарки ходили парами и не разговаривали, и это было не правило, а привычка. Правило потом дописали, когда одна заговорила.

— А тринадцатая доза лежала вот тут, — он показал пальцем на пустой стол, не глядя, — и её понесла вниз девочка двадцати двух лет, потому что я побоялся идти сам.

— А свойство? — спросила Ада.

Старик впервые обернулся.

— Что?

— Ну, свойство. Что оно даёт. Ходят же слухи, что каждому своё.

— Никто не знает, — сказал старик.

— Как это не знает?

— Так. Не знает никто, никогда и заранее. — Он говорил так, как говорят студенту, который спросил единственное, что действительно важно. — Мы можем сказать по геному, что доза приживётся. Мы не можем сказать, чем она обернётся. Это не конструкция, это лотерея: адаптоиды берут то, что в человеке уже есть, и разгоняют до предела. Если человек всю жизнь был выносливым — станет невозможно выносливым. Если чуял ложь — будет чуять её как запах.

Он положил ладонь на край стола и посмотрел на неё, будто проверял, ровно ли лежит.

— И узнать это можно одним способом: дать человеку жить и смотреть, что с ним будет.

— А снять его потом можно? — спросила Ада. — С носителя.

— Только с мёртвого, — сказал старик. — И пока он не остыл. Сорок минут, дальше это просто мясо. Из живого не берётся никак, мы пробовали двенадцать раз. — Он посмотрел на свои руки. — Это единственная строчка из моих отчётов, которую наверху прочли.

Рейн стоял у стены и очень внимательно слушал.

Он вдруг понял, что уже минут пять не чувствует бока. Совсем. И что плечо, отбитое на третьем, тоже не болит. И что он не устал.

Стекло за спиной старика лопнуло.

Рейн знал, что это случится — он видел это в вестибюле, среди прочего, куском, — и заорал сразу, не подбирая слов:

— Окно!

Этого хватило ровно на то, чтобы Дед успел дёрнуть Аду за шиворот вниз, а Арслан ушёл за стойку вместо того, чтобы упасть в проходе.

Двое живых вместо двух мёртвых. Опять переставленная мебель.

Тоха стоял у двери, там, где стоять было правильно. Ремень, который он всю ночь подтягивал каждые несколько минут, висел у него, как висел, и он его больше не трогал — Рейн заметил это потом и не смог отделаться.

Он сделал единственную ошибку за всю ночь: он обернулся на крик.

Их было восемь, в ртути, с фонарями, и они пришли не изнутри здания, а снаружи — по фасаду, с соседней крыши, на

тросах.

Ртуть Рейн узнал раньше, чем услышал первый выстрел, и этого хватило: ни сторожа, ни звено по тревоге такую броню не носят и по фасаду не спускаются. Это была смена, и платили ей не за здание.

Потом было тесно, коротко и очень громко.

Первый вошёл в проём окна ногами вперёд, отпустил трос на последнем метре и приземлился в присед, на битое стекло, спиной к раме, — и сразу ушёл вправо, к стене, освобождая окно следующему. Второй вошёл тем же и ушёл влево. Комната была четыре шага на шесть, и через три секунды в ней стояли четверо в ртути, а Дед, Ада, Арслан и Рейн были в ней же.

В такой комнате не стреляют длинными. Здесь бьют по одному, от плеча, с полутора метров.

Дед успел раньше всех, потому что уже тянул Аду вниз и, дёрнув её за шиворот, продолжил движение той же рукой — оттолкнул её под стол, а сам развернулся на левой пятке и пошёл на первого, вплотную, потому что в двух шагах от автомата стоять хуже, чем вплотную. Он взял ствол левой ладонью сверху, у газоотвода, и отжал его в пол, и автомат ударил очередью себе под ноги, в ковёр, и ковёр задымил. Клинок пошёл снизу, между нагрудником и поясом, где ртуть идёт внахлест и где она мягкая. Вошло. Дед не выдернул: он повернул кисть и повёл человека на себя и вбок, ставя его между собой и вторым.

Второй не выстрелил в спину своему. Это стоило ему полторы секунды.

За эти полторы секунды Арслан, сидя за стойкой, положил ствол на её край и выстрелил дважды, снизу вверх, в горло — единственное место, куда с его угла было можно. Первая пуля

ушла в потолок. Вторая нет.

Третий и четвёртый работали правильно: один встал на колено, другой над ним, и они пошли вдоль стены к двери, чтобы не дать выйти. Стреляли коротко, по два. Рейн стоял между шкафом и косяком — там, где стоять было правильно ровно до той секунды, как они сместились.

Дед Он бросил первого — тот уже осел — и пошёл вдоль левой стены, за диваном, пригнувшись так, что его не было видно из окна, и вышел к стоявшему на колене сбоку и сзади. Тому пришлось поворачивать корпус, а на колене корпус поворачивается медленно. Дед взял его за подбородок снизу левой, запрокинул и провёл клинком от ребра вверх до ключицы.

Четвёртый развернулся на звук и выстрелил в то место, где Дед был. Деда там не было: он уже сидел на полу за диваном, спиной к нему, и держал клинок остриём вверх, чтобы шло по лезвию вниз, а не на руку.

Тросов Рейн насчитал одиннадцать. Он сделал это машинально, уже сидя у стены, пока в проёме окна болтались концы и внутрь заносило холодный воздух: восемь человек, одиннадцать спусков. Три троса были свободны и висели ровно.

Значит, спускались не все сразу. Значит, часть осталась наверху ждать, и значит, эти восемь были не группой, а сменой.

— Одиннадцать тросов, восемь человек, — сказал он вслух, потому что Ада велела считать вслух. — Это не группа. Это смена.

Дед посмотрел в окно, на болтающиеся концы, и ничего не сказал, и это означало, что он согласен.

Рейна ударило в бок — во второй раз за ночь, в то же место, и он сполз по стене и сел.

Старик не спрятался. Он остался у стола и дожёл архив, и последнее, что он сделал руками, — нажал ввод. Стойка за его спиной вспыхнула изнутри, и пошёл дым.

Потом его убили.

Он ещё несколько секунд смотрел на горящую стойку, и лицо у него было почти довольное.

А те, кто остался на ногах, не полезли дальше в комнату. Они забрали своих от окна — двое волокли, двое прикрывали проём, — и ушли по фасаду так же, как пришли: сначала концы тросов дёрнулись и натянулись, потом ослабли. Им платили не за эту комнату, а за то, что в ней было три с половиной часа назад и чего в ней уже не было. Проверять горящую стойку они не стали.

— Ну вот, — сказал он. — Теперь набело.

И умер: глаза остались открытыми, но в них перестало что-то быть.

— Рейн. — Дед тряс его за плечо. — Рейн!

— Я целый.

— Ты дырявый. Второй раз за ночь дырявый.

— Я целый, — сказал Рейн.

Он отнял ладонь от бока и посмотрел.

Крови было много, а раны не было. Совсем. Под разорванной тканью была гладкая кожа, чуть тёплая, и по ней шла синяя нитка — тонкая, как трещина в стекле, — и пока он смотрел, нитка побледнела и ушла.

Он опустил рубаху и очень ровно выдохнул.

Вот теперь он знал.

Он знал это так же твёрдо, как знал сегодня про турель и про кашель: девочка в белом халате доползла до контейнера и прижала его к себе, и синее пошло у неё между пальцев по белому полу — и дотекло до него. Три с половиной часа назад. На первом этаже.

Адаптоиды берут то, что в человеке уже есть, и разгоняют до предела.

Он всю жизнь видел на полсекунды вперёд.

Это объясняло всё, кроме одного, и Рейн отметил это про себя молча, потому что спрашивать было не у кого: старик говорил про разгон того, что есть. Про полсекунды у двери. Про порог.

В вестибюле никакого порога не было. Он лежал на полу с чужой кровью на рубахе, и ему показали всю ночь сразу, от второго этажа до вертолётки, и ни одна из этих дверей его не касалась.

Разгон так не работает. Разгон — это когда быстрее. А там было не быстрее. Там было — кто-то другой решил, что ему надо посмотреть.

— Меня зацепило по касательной, — сказал он.

Дед посмотрел на него две секунды дольше, чем надо.

— Угу, — сказал Дед.

Тоха лежал у двери.

Он умер не сразу: лежал и смотрел вверх, и был очень удивлён, и всё пытался что-то сделать руками — то ли встать, то ли застегнуть куртку. Рейн сел рядом и держал его, пока это не

кончилось.

— Я ж отошёл, — сказал Тоха. — Я ж вот тут стоял. Как ты сказал.

— Ты правильно стоял.

— Тогда чего?

— Не знаю, — сказал Рейн.

— А, — сказал Тоха. — Ну ладно.

Он ещё подышал немного и перестал.

Ему было девятнадцать. Рейн вытащил его из-под турели на втором этаже, протащил через пять этажей и не дотащил через один, и теперь сидел на полу лаборатории, в которой восемь лет делали то, что теперь ходило у него в крови, и держал на руках парня, которому не досталось ничего.

Минус один.

Стоявший посреди лаборатории Арслан смотрел на стол, на котором ничего не было.

Он слышал всё, что говорил старик, от первого слова до последнего, и Рейн видел по его лицу, что он сейчас складывает. Не спеша. Как складывают счёт.

— Восемь лет, — сказал Арслан. — Двенадцать испорченных. Тринадцатая ушла вниз.

— Ушла, — согласился Дед.

— И вытекла на пол в вестибюле.

— Ты сам сказал: вытекло.

— Я сказал, — согласился Арслан.

Рейн ждал, что он спросит ещё. Арслан не спросил.

Он постоял ещё секунду.

— Наверх, — сказал он.

Перед уходом Ада собрала то, что не сгорело.

Она делала это быстро и деловито: выдернула из стойки два уцелевших накопителя, сгребла со стола бумажные распечатки, сунула всё в подсумок.

— Зачем? — спросил Дед.

— Потому что за это платят, — сказала Ада. — Работы нет, аванс отработан наполовину, я выхожу отсюда хоть с чем-то.

— Там всё сожжено.

— Там сожжено адресно, — сказала Ада. — Он жёг методику. А накладные, закупки, графики смен — это не методика, это бухгалтерия, её никто не жжёт.

Она затянула подсумок.

— Я потом посмотрю, что это стоит.

Рейн подобрал с пола то, что она не взяла.

Это был плоский футляр размером с книгу, вылетевший из-под стола, когда старик валился. Внутри — серый пенопластовый ложемент на два гнезда. Одно пустое, по форме термоса: там лежала доза, которую унесла вниз девочка в белом халате.

Во втором гнезде лежал модуль.

Короткий стальной цилиндр в палец длиной, с посадочной гребёнкой на торце и лабораторной маркировкой по боку, набитой точками. На одном конце — скос, заточенный так, как

затачивают инструмент, которым режут живое. На другом — игла, тонкая, с каналом.

Он понял, что это, ещё до того, как прочитал маркировку. К дозе прилагается то, чем дозу берут.

Он сел на корточки, отстегнул кожных на левом предплечье — два зажима, щелчок, — и посмотрел на слот. Слот в протезе был один, пустой с самого начала, шесть лет забитый пылью и рыжей крошкой: под него ничего не покупали, потому что под него всё стоило как половина руки.

Он продул гнездо. Вставил модуль гребёной вперёд и дождался большим пальцем, пока не щёлкнуло.

Кожух встал на место.

Всё это заняло меньше времени, чем перезарядка.

Он согнул и разогнул пальцы. Рука работала как раньше, только теперь в ней что-то было, и это что-то весило граммов сто и лежало ровно вдоль кости.

— Что взял? — спросил Дед, не оборачиваясь.

— Железо, — сказал Рейн.

Это была правда, и на этом Дед перестал спрашивать.

Рейн смотрел на неё и думал, что через пять часов эти бумаги будут единственным, что останется от восьми лет работы старика в свитере. И что продаст их Ада, скорее всего, тем же людям, для которых старик всё это и делал.

Дед поймал его в дверях.

Он не взял за локоть — просто встал так, что не обойти, и стоял, пока Рейн не поднял глаза.

— Ты крикнул «окно», — сказал Дед.

— Крикнул.

— До стекла.

— До.

— Считай, — сказал Дед. — Ты Аде на пятом считал, я слышал через колонну. Мне посчитай.

Рейн посмотрел на него и понял, что отвертеться дешевле, чем молчать, и что молчание Дед уже один раз простил — там, на полу, когда смотрел на бок две секунды дольше, чем надо.

Он стал перечислять. Считать было чем: часть из этого он и правда сложил, стоя у стены, и сложил бы, даже если бы ему ничего не показывали.

— Первое. Ковёр в коридоре, — сказал он. — Протёрт по одной линии. Значит, тут ходят одни и те же и много лет. Такие этажи не запирают снаружи, их запирают изнутри.

— Дальше.

— Второе. Окна. Во всей башне панели, а тут стекло. Стекло ставят там, где сидит начальство или где нужен свет. Тут не начальство.

— Третье?

— Третье — дом напротив, — сказал Рейн. — Я его видел с улицы, из фургона. Он ниже на два этажа и стоит вплотную. С его крыши сюда не прыгают. Сюда с неё спускаются.

Дед медленно кивнул.

— А время? — спросил он. — Ты не сказал «окно», когда мы вошли. Ты сказал, когда оно лопнуло.

Вот тут пунктов не было.

Рейн подержал паузу ровно столько, сколько держат, когда думают, и сказал:

— Я услышал трос по стеклу.

— Врёшь, — сказал Дед без всякого нажима, будто отмечал галочкой в списке. — Там Арслан орал.

Он обошёл его и пошёл на лестницу.

— Три пункта хорошие, — сказал он уже со ступенек. — Четвёртый придумай к утру. До утра я не спрошу.

Они пошли вверх, потому что вниз было уже нельзя: лестничные пролёты ниже пятого горели, а лифты встали.

Рейн шёл и слушал своё тело.

Оно работало. Оно работало неприлично хорошо: не болело плечо, отбитое на третьем, не тянуло левую ногу, ушли усталость и колотьё под рёбрами. Внутри было ровно, тепло и очень тихо, и в этой тишине он впервые за ночь сам нашёл то место, куда можно вернуться.

Оно лежало в нём, как отметка пальцем в книге: дверь лифтового холла восьмого этажа, секунда перед ручкой.

Он посмотрел на неё и понял, что может её поставить. И снять. И поставить заново.

«Лира».

«Тут».

«Если я скажу тебе кое-что, ты сможешь это забыть?»

«Я всё могу забыть, — сказала Лира. — Я, кажется, только это сегодня и делаю».

Он не сказал.

Он пошёл дальше вверх, за Дедом, мимо горячей стойки с данными, которые никто уже никогда не соберёт, и впервые за эту ночь точно знал, что будет делать на следующем этаже.

И что заплатит за это он сам.

Двенадцатый пункт

После Тохи. Затон, одиннадцать дней.

Он сказал ей, что уходит.

Это надо поставить первым, потому что это единственное, что в той истории было сделано правильно и до конца.

Он зашёл в четверг, в обед, между биржей и фургоном, съел то, что было, и сказал:

— Мам, я сегодня ухожу.

— На сколько?

— На ночь. Утром буду.

— Ты в прошлый раз тоже говорил утром.

— Я в прошлый раз и был утром, — сказал Тоха. — В одиннадцать.

Младшая сестра в это время делала уроки за тем же столом и не подняла головы, и он щёлкнул её по затылку, уходя, и она сказала «ну!», и это был последний разговор в той квартире, в котором участвовали трое.

Мать вышла за ним в подъезд и стояла на площадке, пока он спускался.

Она делала это двадцать два раза и на двадцать третий тоже сделала.

В этом городе не приходят и не говорят.

Это надо объяснить спокойно, без возмущения, потому что возмущаться тут некому: никакого органа, обязанного сообщить семье исполнителя по сборному контракту, не существует.

Контракт заключается с человеком, человек не является работником, у него нет отдела кадров, нет нанимателя в смысле закона и нет никого, в чьи обязанности это входило бы.

Есть контора. Контора выдаёт расчёт тому, кто пришёл.

Прийти должна семья.

Чтобы прийти, семье нужно узнать.

Мать узнала на одиннадцатый день, и узнала от соседки.

До этого одиннадцать дней шло так.

В пятницу утром его не было, и это ничего не значило: утро — понятие широкое, и один раз он пришёл в четыре дня.

В пятницу вечером она первый раз посмотрела в его комнату.

В субботу она пошла на биржу — не в контору, а на биржу, потому что про контору не знала, а про биржу знала, потому что он один раз показал ей, где это. На бирже её выслушала девушка за стойкой и сказала, что по имени сведений не даёт, и что если человек в группе, то группа сама сообщает.

— А если группа не сообщает?

— Значит, ещё работают, — сказала девушка.

Это был не обман. Девушка действительно так думала, и в девяти случаях из десяти была права.

Дальше было воскресенье, потом неделя, и мать в эту неделю ходила на работу и работала, потому что смену не отдают.

Она потом говорила, что самым тяжёлым были не дни. Самым тяжёлым было то, что она за эти одиннадцать дней три раза ловила себя на мысли, что он, может быть, просто уехал, — как отец, — и каждый раз отгоняла эту мысль, и каждый раз ей

становилось стыдно, и только на одиннадцатый день она поняла, что мысль была хорошая и она зря её отгоняла.

Потому что та мысль оставляла его живым.

Соседка принесла список.

Список ходил по Затону с девятого дня и был не официальный: кто-то снял с экрана в расчётной, кто-то переслал, кто-то переслал дальше. В нём было двадцать девять строк, фамилии с инициалами, и напротив каждой стояло «выд.» или «не выд.» — выдано тело или нет.

Соседка постучала, вошла, села и положила телефон на стол экраном вверх.

— Посмотри.

Мать посмотрела.

Она искала долго, дольше, чем нужно, потому что читала все строки по порядку и не могла заставить себя перескочить.

— Тут «выд.», — сказала соседка. — Это значит, забирать можно.

— Я вижу.

Мать сидела и смотрела на строку.

Потом сказала — не соседке, а вообще:

— Он же сказал, что уходит.

В конторе ей выдали расчёт, и в расчёте всё было правильно.

Он работал по половине ставки — второй фланг, испытательный порядок, шестой месяц из шести на этом складе. Полагалась выплата по факту отработанных часов по той ставке, которая стояла в договоре.

Стояло: половина.

Часов вышло семь.

Из суммы вычли амортизацию выданного снаряжения, невозвращённый респиратор и невозвращённую броню, и броня была тяжёлая, и стоила она дороже всего остального вместе.

К выплате получилось четыреста с чем-то.

Женщина в окне, выдавая, сказала:

— Тут ещё за аренду ствола, но я не поставила.

Мать не поняла.

— Ствол он арендовал, — сказала женщина. — За аренду положено удержать. Я не поставила.

— Почему?

Женщина посмотрела в стол.

— Потому что мне восемнадцать таких за неделю, — сказала она. — Идите.

В пакете с личными вещами лежал список.

Тот самый: половина листа, от руки, одиннадцать пунктов, сложен вчетверо, обтёрт по сгибам до дырок, потому что он носил его в кармане год с небольшим и, судя по сгибам, разворачивал часто.

Мать прочитала его весь, стоя, на улице, у стены конторы.

Пункты были такие, что она половину не поняла, а вторую половину поняла слишком хорошо. Про то, что нельзя приходить голодным. Про то, что второй смотрит не под ноги. Про то, что если не понял приказ, надо спросить вслух, и тебя обругают, и это дешевле.

Двенадцатого пункта не было.

Она искала: перевернула лист, посмотрела на обороте, посмотрела на сгибах. Оборот был чистый, и места на нём хватило бы ещё на двадцать.

Это её и доконало — не одиннадцать написанных, а чистый оборот.

Он спрашивал вслух, и после него никто не спрашивал.

Точнее, так: после седьмого этажа в группе осталось четверо, и все четверо были люди, которые сами решают и не уточняют. Арслан не уточнял никогда. Дед уточнял ширину, а это не вопрос. Ада спрашивала дек.

На девятом этаже, в узле, Рейн остановился и сказал вслух:

— А второй выход где?

Ада ответила. Ответ был важный, и он его использовал, и это сработало.

Он потом полночи возвращался к этой минуте, потому что фраза вышла не его — пять слов, при том что за всю ту ночь после дозы он больше трёх не говорил.

Он спросил вслух, и его не обругали.

На четвёртом этаже, у крана, пока набирали воду, Тоха рассказал ему про переезд.

Он рассказал это один раз в жизни и рассказал молчуну, что вообще-то разумно: молчун не перескажет.

Рейн выслушал и не сказал ничего утешительного.

— Ты ездил обратно?

— Ездил.

— Значит, нормально.

— Что нормально? Я же не помог.

— Ты вернулся посмотреть, — сказал Рейн. — Это не помощь. Но это и не третье.

Тоха тогда не понял про третье, потому что не слышал того разговора со старшим.

Он понял позже, на одиннадцатом.

Нет — не понял. Он не дошёл до одиннадцатого. Это Рейн потом, сильно потом, в черновике, написал «он понял на одиннадцатом», и написал так, потому что перепутал: мимо них по коридору один раз прошли чужие раненые, и никто не остановился, и он помнил, как Тоха на это посмотрел, и был уверен, что это было на одиннадцатом.

Это было на шестом.

Рейн заметил ошибку через четыре месяца, перечитывая, и не стал исправлять.

Про турель он не сказал Тохе ничего, и это самое тяжёлое из всего, что в той ночи осталось незакрытым.

На втором этаже турель прошла рядом с Тохой и не задела его. Прошла в сантиметрах, по дуге, которую Рейн посчитал заранее — по левому подвесу, по оборванной линии, по свежей краске на третьей панели, — и Тоха этого расчёта не знал.

Он знал только результат: он стоял там, где стоял, и остался цел.

И весь остаток пути он ходил с этим как с доказательством. Он ходил и был уверен, что правильный вариант есть, его надо найти, и он его нашёл, и вот оно.

Рейн видел, что тот так думает. Он видел это на третьем, на четвёртом, на пятом и на шестом этажах, и каждый раз собирался сказать, и каждый раз не говорил, потому что сказать можно было только одно: тебя не убило потому, что я посчитал, а не потому, что ты стоял правильно.

Это надо было объяснять. Объяснять означало объяснять всё.

Он смолчал шесть этажей, и на седьмом объяснять стало нечего.

Мать сложила список и убрала в буфет, за посуду, и он там лежал.

Через два месяца она достала его, разгладила ладонью и дописала на обороте одну строку.

Строка была не двенадцатым пунктом. Она была не про работу и вообще ни про что: она была про то, что в четверг он заходил в обед и ел, и что было в тарелке.

Потом, в разное время, появились ещё строки — про то, каким он был в шесть лет, про то, как щёлкнул сестру по затылку, про то, что он всегда жевал и что она думала, будто это от нервов.

Оборот заполнился за четыре года.

Она писала мелко и ровно, экономя, потому что второго листа у неё не было и не могло быть.

Восемь лет назад

Из смены Петра Ильича.

Последних диких омаров привезли в марте, ночью, на трёх машинах с рефрижераторами.

Пётр Ильич принимал их сам, потому что принимать больше было некому: штат к тому времени сократили до одиннадцати человек, а из одиннадцати пятеро работали на бумаге.

Их было сто шесть.

Он расписался в накладной, где они шли как «сырьё биологическое, партия 44», и первое, что сделал, — пересчитал вручную. Не потому что не доверял, а потому что хотел увидеть каждого.

Восемнадцать были мёртвые: не пережили перевозки. Четырнадцать — умирающие, их отложили в отдельный чан, и они умерли к утру.

Осталось семьдесят четыре.

Он писал служебную записку три дня.

В ней было сказано следующее: партия 44 является последней задокументированной популяцией дикого *Homarus* в акватории; переработка партии в объёме, предусмотренном планом, приведёт к полному прекращению воспроизводства; докладчик предлагает изъять из переработки не менее пятидесяти особей и организовать содержание.

Ответ, пришедший через одиннадцать дней, состоял из четырёх строк.

Предложение рассмотрено. Отклонено. Плановые показатели по выходу продукта на текущий год подтверждены. Просьба обеспечить.

Он прочитал это, положил в папку и пошёл обеспечивать.

Из семидесяти четырёх переработали шестьдесят восемь.

Шесть он оставил себе.

Он сделал это не героически, а бухгалтерски: провёл их по графе «контрольная группа, сохранность для верификации методики», получил на это подпись — потому что подпись на такое дают всегда, никто не читает, — и поставил шесть колонн в дальнем конце пятого этажа.

Эти шесть прожили у него восемь лет.

Он кормил их сам, вручную, потому что автомат жевал. Он мыл им стёкла. Он вёл на них тетрадь, в которой в графе «примечание» у двадцать второго однажды появилась запись не по форме: «Подплывает».

Он знал, что двадцать второй ни к кому не подплывает и что это ему только кажется.

Записал всё равно.

Первую дозу прототипа сделали в ноябре того же года.

Это было не открытие и не прорыв. Это была пятая попытка обойти отторжение хрома, и она отличалась от четырёх предыдущих ровно одним: он перестал пытаться уговорить адаптоидов не видеть железо и вместо этого научил их считать железо частью тела.

Идея была чужая. Её высказала девочка-стажёрка, которую он взял за полгода до того и которая на третьем месяце практики

спросила его, почему нельзя просто пометить хром как «своё».

Он тогда объяснил ей, почему нельзя, минут двадцать, со схемами.

А потом две недели не спал.

Первому носителю было сорок четыре года, и он подписал всё, что ему дали.

Он был списанный контрактник с тремя протезами, и ему сказали, что если получится, то он будет первым человеком, у которого и хром, и вечность.

Через девять дней его перевели в бокс на восьмой этаж.

Он живёт там до сих пор, восьмой год, и Пётр Ильич знает это точнее, чем хотел бы: он ходит проверять вес.

Пётр Ильич ходил к нему первые три месяца, потом стал ходить раз в неделю, потом раз в месяц, потом перестал, потому что понял простую вещь: тот его узнаёт, и от этого хуже обоим.

Второй, третий и четвёртый были в следующем году.

К седьмому он перестал разговаривать с ними до операции, чтобы не запоминать голоса.

К десятому — перестал ходить на восьмой вообще.

В тетради за эти годы стояло четыре записи не по форме.

«Подплывает» — про двадцать второго.

«Просит книгу. Принёс» — про шестого из боксов.

«Читает».

«Перестал».

Больше он ничего личного не писал, потому что понял, что не имеет права: человек, делающий такое и при этом ведущий лирический дневник, — это человек, который хочет считать себя хорошим.

Тринадцатую дозу он делал два года.

Он делал её медленно и знал, что медленно: тянул, переделывал, требовал новых проверок, отправлял на повторную верификацию то, что верификации не требовало.

Он тянул, потому что двенадцать боксов на восьмом были заполнены.

А ещё потому, что понимал: как только доза будет готова, за ней придут, и он должен будет отдать её живому человеку, и этот живой человек, скорее всего, окажется тринадцатым.

Он тянул два года и всё-таки доделал.

Потому что не доделать — это тоже не выход: тогда всё, что было до, становится просто двенадцатью испорченными людьми без всякого смысла.

Ася зашла к нему в кабинет за месяц до конца, с распечаткой диплома, и спросила, можно ли во второй части написать, что методика принадлежит лаборатории.

Он взял ручку, вычеркнул и надписал сверху: «Выводы её. Я подписал».

Она сказала спасибо и ушла.

Он посидел ещё минут пять и подумал, что ей двадцать два, что она варит ему кофе четыре года и что она единственный человек, которому он за восемь лет ни разу не соврал.

А потом подумал, что она войдёт в эту профессию, и что через двадцать лет у неё будет свой восьмой этаж, свои двенадцать боксов и своя тетрадь с четырьмя записями не по форме.

И вот тогда он впервые за все эти годы почувствовал не усталость, а страх.

Пётр Ильич

Объект 4, лаборатория. Двадцать девять лет до пожара и одна ночь.

Пришедший в тему в двадцать шесть лет Пётр Ильич Дробышев просидел в ней двадцать девять.

За двадцать девять лет он сменил четырёх работодателей, три здания и один город, и каждый раз перевозил с собой одну и ту же картонную коробку с образцами, которые по всем правилам перевозить было нельзя.

Тема была такая: почему сто человек в этом городе не умирают.

Ответ он знал уже к сорока и с тех пор двадцать лет пытался доказать, что ответ верный.

Ответ был скучный.

Он звучал так: свойство не в генах, не в крови и не в органе. Свойство — это устойчивое состояние среды внутри тела, которое умеет возвращать себя к исходному. Оно не хранится в точке. Оно хранится в равновесии, как хранится температура в комнате, — не в стене, не в воздухе, а в том, как они держат друг друга.

Из этого следовала неприятная вещь, из-за которой Дробышева двадцать лет не любили ни в одной конторе.

Свойство нельзя вырезать.

Его можно только пересадить целиком, вместе со средой, — то есть влить в живого человека и надеяться, что среда в нём приживётся.

За двадцать девять лет через его руки прошло сто девяносто попыток.

Он помнил все.

Носители умирали по трём причинам, и все три он мог назвать наизусть, разбуженный ночью: отторжение среды, коллапс равновесия и то, что он в записях называл «переполнением», а вслух — «когда не помещается».

Сто восемьдесят шесть из ста девяноста были мутанты — потому что мутанты подписывали согласие, а чистые стоили дорого.

Ни один не выжил дольше девятнадцати часов.

О людях, на которых он работал, Дробышев думал плохо и не скрывал этого.

О самих носителях он старался не думать никак, и это была его личная граница, которую он держал двадцать девять лет: он не читал их анкет, не смотрел фамилий, не спрашивал, откуда они и почему согласились.

Ася однажды спросила его об этом напрямую — на третий год, когда уже могла себе позволить.

— Пётр Ильич, а вы правда не смотрите?

— Не смотрю.

— Почему?

Он подумал.

— Потому что если я посмотрю, я остановлюсь, — сказал он. — А если я остановлюсь, придёт следующий и будет делать то же самое хуже, и людей уйдёт больше. Это плохое рассуждение, Ася. Я его знаю наизусть и знаю, что оно плохое. Но другого у меня за

двадцать девять лет не появилось.

Прототип он собрал за четырнадцать месяцев, и это была лучшая работа в его жизни.

Идея была не в том, чтобы улучшить вливание. Идея была в том, чтобы вливать не вещество, а среду в её собственном равновесии — в контейнере, который держит эту среду ровно так, как держит её тело, и отдаёт целиком за один раз.

Он объяснял это одной фразой, которую придумал сам и которой очень гордился:

— Мы двадцать лет пытались перелить озеро вёдрами. Теперь мы переносим озеро.

Контейнер, умещавшийся в ладони, стоил дороже этажа, на котором стоял.

В ночь пожара он был в лаборатории, потому что был в лаборатории всегда.

Когда началась санация, он понял, что произошло, за сорок секунд — быстрее, чем диспетчерская система, потому что система читала датчики, а он читал протокол и знал, что вне лабораторной зоны образцу взяться неоткуда, кроме как из его собственного контейнера, который он сам, без десяти одиннадцать, сунул в руки девочке, побоявшись идти сам.

Он сел и сидел минуты три.

Потом сказал вслух, в пустую комнату:

— Значит, разбился.

Это была ошибка, и она стоила ему всего остального.

Он рассуждал правильно: контейнер вынесен из зоны, сигнал о нарушении контура есть, следовательно, герметичность

нарушена, следовательно, среда вышла наружу. А среда, вышедшая наружу, погибает за секунды — это он знал лучше всех живых, потому что проверял двести раз.

Он не учёл одного, и не мог учесть: среда вышла не наружу.

Она вышла на семь сантиметров — из трещины в контейнере на открытую рану лежащего рядом человека, — и это расстояние она прошла раньше, чем воздух успел её убить.

Такого варианта в его записях не было. Не потому, что он был глуп, а потому, что за двадцать девять лет ни один контейнер ни разу не разбивался рядом с раненым.

Последние свои два часа он потратил не на то, чтобы выйти.

Он сидел в лаборатории и уничтожал.

Рабочие журналы — стёр. Носители — размагнитил. Бумажные листы сжёг в вытяжке. Четыре ячейки с исходным материалом разбил молотком, методично, по одной, сверяясь со списком, чтобы не пропустить.

Не для конторы и не против неё.

А потому, что понимал: прототип уничтожен, повторить его при нынешнем финансировании нельзя, а всё, что останется на столах, достанется тем, кто будет пробовать грубо и на живых, и тогда его сто девяносто превратятся в чьи-то две тысячи.

Успел почти всё. Это признали потом даже на разборе, и признали с досадой.

А потом пришли люди, и он впервые за двадцать девять лет заговорил.

Он говорил минут десять, с чужими людьми в броне, которых видел первый раз в жизни, и говорил не для них: просто

двадцать девять лет было нельзя, а теперь стало можно.

Он рассказал про совместимость, про двенадцать носителей этажом выше, про тринадцатую дозу, которую понесла вниз девочка двадцати двух лет, потому что он побоялся идти сам.

Стекло за его спиной лопнуло, когда он как раз договаривал.

Умер он быстро и не в одиночестве, хотя людей, которые при этом присутствовали, он не знал по именам, а они не знали его.

Про Асю он не узнал.

Про то, что его среда в эту минуту шла вверх по лестнице внутри тридцатичетырёхлетнего наёмника, который не понимал, что с ним происходит, — не узнал тем более.

Он умер в полной уверенности, что двадцать девять лет кончились ничем, и это самое точное, что можно сказать про его жизнь и про его смерть.

В кармане у него нашли список.

Это была обычная разлинованная бумага, и на ней от руки, столбиком, стояли числа от 1 до 190, и напротив каждого — по одному короткому слову.

Отторжение. Отторжение. Коллапс. Отторжение. Не поместилось. Коллапс.

Дальше, ниже сто девяностого, было вписано сто девяносто первое.

Против него ничего не стояло: строка была пустая, потому что он собирался заполнить её утром.

Комиссия долго не могла понять, что это за документ, и в итоге приобщила его как «личные записи, не имеющие отношения к инциденту».

В сводке потерь по объекту он идёт двенадцатым. В своём списке — сто девяносто первым, и заполнить строку было уже некому.

Ильина. Вариант Б

Утро того же дня. Кабинет в клинике, до приёма.

В кабинете к этому часу горела только настольная лампа — верхний свет она погасила ещё в семь, и от этого стол казался маленьким островом среди тёмных полок с папками. Блокнот, в который она писала, был в потёртой кожаной обложке с оторванным уголком; она держала для черновых расчётов именно его, а не электронный планшет, лежавший тут же и ни разу за вечер не открытый.

Перед тем как принять Арслана и его стрелка, она час просидела одна и составила то, что для себя называла запиской, а по сути было завещанием на одну ночь.

Она не любила слово «риск» и не пользовалась им даже наедине с собой — вместо него у неё было два столбца, «А» и «Б», и она заполняла их по очереди, как заполняла бы историю болезни.

Вариант А: контейнер вынесен, доставлен, программа продолжается.

Вариант Б: контейнер не вынесен, или вынесен и потерян, или она сама на этом теряется вместе с ним.

Под вариантом Б она вписала три строки, и все три были практические.

Первая: если её не будет к утру, ассистентка знает, куда отправить два письма, уже подписанных и лежащих в верхнем ящике, — оба без её имени сверху, оба с готовым решением на случай, если решать станет некому. Письма туда положила сама ассистентка утром, молча, и, прежде чем выйти, на секунду задержала взгляд на её лице — не спросила, что внутри, просто

проверила, в порядке ли она, — и Ильина этот взгляд заметила и ничего по нему не поняла, что её устроило больше, чем если бы поняла.

Вторая: деньги, которые она вкладывает в эту ночь, проведены по статье «прочие исследования», и если аудит однажды дойдёт до этой строки, отвечать будет она, а не клиника, — этот пункт она вписала себе сама, никто её не просил.

Она знала, что где-то в той же «Кюри», в соседнем крыле, кто-то другой уже неделю ищет записи Дробышева своим путём, официальным, через запросы и допуски, — и не стала им подсказывать. Не из вражды: просто у правой руки в этой корпорации давно не было привычки спрашивать левую, чем та занята, а левой — привычки отчитываться, и обеим так было спокойнее.

Третья: охрана, четверо, получают инструкцию не защищать её ценой операции. Если придётся выбирать между её жизнью и утечкой информации о заказчике, выбор сделан заранее, и сделала его она сама, а не они под пистолетом.

Это была не смелость, и она себе в этом не льстила.

Смелость предполагает, что человек боится и всё равно делает. Она не боялась — она подняла свой журнал передач за одиннадцать лет — сорок одна с её присутствием, двадцать три без — и посчитала: присутствие давало на восемнадцать процентов больше шансов на успешную передачу. Она знала и почему: человек, который стоит рядом и рискует своим временем и телом, внушает исполнителям больше уважения, чем голос по рации.

Восемнадцать процентов — это была её единственная эмоция на эту ночь, и она была выражена числом.

Охрану она подбирала сама, не через кадры.

Четверо, все — бывшие санитары эвакуационных бригад, а не бойцы: она объяснила это себе так же спокойно, как объясняла всё остальное. Боец в перестрелке стреляет первым и разбирается потом. Санитар в перестрелке сначала считает, кого можно вытащить, а уже потом решает, что делать дальше руками. Ей была нужна вторая реакция, а не первая.

— Вы понимаете, что вас, возможно, наймут ради того, чтобы вы ничего не делали, — сказала она старшему при найме.

— Понимаю, — сказал он. — Раньше меня нанимали, чтобы я что-то делал, и это было хуже.

Она сочла это хорошим ответом и взяла его.

За водителя она позвала Тимофея — не потому, что он лучше других водил, а потому, что девять лет назад он вывозил её саму с объекта, где горело, и ни разу за девять лет не спросил, что там горело и почему.

Тимофей держал руль двумя руками даже на пустой стоянке и перед каждой поездкой протирал приборную панель тряпкой из бардачка, будто от этого зависел исход, а не только чистота. Говорил он мало и почти не смотрел в зеркало заднего вида на пассажиров — смотрел на дорогу, как учили в его первой конторе, задолго до того, как он стал возить её.

Люди, которые не спрашивают лишнего, стоят на вес значительно дороже людей, которые хорошо водят.

Закончив с бумагами, она убрала записку в тот же верхний ящик, где лежали два письма, и вышла в приёмную — в халате, с прямой спиной, с руками, которые за пятьдесят с лишним лет ни разу не заменяли.

В приёмной её уже ждали.

Она успела заметить только одно, прежде чем открыть дверь кабинета: молодой, назвавшийся стрелком, сидел так, что видел одновременно вход и её кабинет, — точно так же, как учат сидеть в помещениях, где не знаешь, кто войдёт следующим.

Она отметила это про себя и не сказала вслух.

Вслух она сказала другое, уже войдя, и это уже другой разговор.

Заказчик

За девять часов до.

— Со мной поедешь, — сказал Арслан утром. — Оденсья.

— Я одет.

— Ты одет как ты, — сказал Арслан. — Надень куртку без дырок.

В Стекло ездили по эстакаде, и это была отдельная поездка.

Сначала Нижние шлюзы: вода, бельё поперёк улиц, люди, несущие канистры. Потом Консервный — заборы, погрузчики, длинные глухие стены с надписями поверх надписей. Потом эстакада идёт вверх, и туман остаётся внизу, буквально: ты видишь, как автобус выныривает из жёлтого в серое, и в окне сразу становится светлее на два тона.

А потом начинается Стекло.

Там было чисто. Не убрано — чисто: дождь падал на тротуар и уходил куда-то сразу, и на тротуаре не оставалось луж. Деревья стояли в решётках, живые, с настоящими листьями. Ни у кого не висел респиратор на шее.

— Не пялься, — сказал Арслан.

— Я не пялюсь.

— Ты пялишься на деревья. Это видно за квартал.

Клиника «Кюри» занимала нижние двенадцать этажей одной из башен и была похожа на музей: белый камень, матовое стекло, тишина, в которой слышно, как работает вентиляция.

В холле сидели люди. Обычные, богато одетые, и почти у каждого было что-нибудь белое: кисть, предплечье, ухо. Один

мужчина листал планшет пальцами, двигавшимися мягче человеческих, и Рейн поймал себя на том, что смотрит на эти пальцы, а не на лицо.

Женщина за стойкой улыбнулась им так, как улыбаются людям, которых не выгонят только потому, что за них поручились.

— Доктор Ильина ждёт, — сказала она.

Кабинет был небольшой и без бумаг.

Вера Ильина оказалась лет пятидесяти, сухая, с очень прямой спиной и коротко стриженными седыми волосами. Халат сидел на ней так, как на других сидит хороший костюм. Руки она держала на столе перед собой, и руки были свои, живые, с пигментными пятнами и коротко подпиленными ногтями.

Рейн отметил это машинально и потом вспоминал много раз: в клинике, где продают идеальные протезы, хирург ходит со своими руками.

Позже он понял, что дело не в руках.

Она была чистая — из тех, кого в Шлюзах зовут дистиллятом: ни импланта, ни мутации, ни единой отметки в крови за пятьдесят с лишним лет. В её кабинете это читалось так же ясно, как читается дорогая обувь, — по тому, что ей не нужно было ничего доказывать.

— Садитесь, — сказала она. — Вы Арслан. А вы?

— Стрелок, — сказал Арслан.

— У стрелка есть имя?

— У стрелка есть работа, — сказал Арслан.

— Хорошо, — сказала Ильина без всякой обиды. — Стрелок так стрелок.

Говорила она недолго и по делу.

Контейнер. Седьмой этаж. Температурный режим: от четырёх до двенадцати градусов, ниже нельзя, выше тем более. Не трясти. Не вскрывать. Не подвергать прямому свету. Время доставки с момента изъятия — не более сорока минут.

— Почему сорок? — спросил Рейн.

Ильина посмотрела на него.

— Потому что дальше начинается деградация, — сказала она. — Вам этого достаточно?

— Нет.

Арслан шевельнулся, но она подняла ладонь.

— Правильный вопрос, — сказала она. — Отвечаю: содержимое живое. Не «как бы живое», а живое, и оно умирает. Всё, что вы понесёте, будет постепенно становиться хуже с той секунды, как вы возьмёте это в руки. Поэтому сорок минут, поэтому температура и поэтому я буду ждать рядом.

— Рядом — это где?

— В двух кварталах, — сказала Ильина. — В машине. Всю ночь.

Рейн молчал секунды три.

— Вы понимаете, что там за район? — спросил он.

— Понимаю.

— Вас там разденут за ботинки.

— У меня будет охрана, — сказала Ильина. — Четверо. Этого недостаточно, если кто-то захочет по-настоящему, и я это тоже

понимаю.

Она сложила руки.

— Хотите, объясню? Вам будет спокойнее работать, если вы будете знать, зачем мокнет пожилая женщина.

— Хочу.

— Вам уже объяснили, как это принимают, — сказала она. — Из рук в руки, пока тёплое.

— Объяснили.

— Тогда добавлю одно.

Она чуть улыбнулась.

— В нашем деле нет ничего унижительнее богатства. Оно заметно.

— А если мы не вынесем? — спросил Рейн.

— Тогда я поеду домой.

— И всё?

— И всё, — сказала Ильина. — Аванс останется у вас, я спишу его как расходы. Сумма, которую вы считаете большой, у меня проходит по строке «прочее».

Она сказала это без высокомерия — как сообщают факт, который собеседнику полезно знать.

— А если вынесем и не отдадим? — спросил Рейн.

Арслан очень медленно повернул к нему голову.

Ильина не изменилась в лице.

— Тогда вы очень богатый человек на четыре часа, — сказала она. — Дальше нужен покупатель.

— Найдём.

— В городе их девять. Я знаю всех девятерых лично.

Она сказала это, не повышая голоса и ничего не уточняя, и в паузе, которая легла следом, было слышно, как за окном капает с козырька.

— И худшее, что с вами может случиться, — не то, что вас убьют. Худшее — что вам заплатят.

— Почему?

— Один раз. А дальше всю жизнь вы человек, у которого это было.

Обратно, до самой эстакады, ехали молча.

— Ты зачем спросил? — сказал Арслан наконец.

— Хотел посмотреть, как она ответит.

— И как?

— Спокойно, — сказал Рейн. — Как будто ей этот вопрос задают каждый раз.

— Ей его задают каждый раз, — сказал Арслан. — Просто обычно не вслух.

Автобус пошёл вниз, и в окно потянуло жёлтым.

— Она врач, — сказал Рейн.

— И что?

— Врач. Хирург. Она людям руки пришивает. И она заказывает штурм с тринадцатью стволами, в котором точно кого-нибудь убьют.

— Она не заказывает штурм, — сказал Арслан. — Она заказывает доставку. Штурм — это уже наше решение, мы же могли зайти и вежливо попросить.

Он смотрел в окно.

— Так это работает, малой. Наверху никто никого не убивает. Наверху покупают вещи, а убивают внизу, в тумане, и всегда почему-то мы.

Рейн вышел на своей остановке в Консервном и постоял, глядя вверх.

Отсюда, снизу, башня «Ковша» была видна целиком: чёрное стекло до самого неба, тринадцать этажей, и на фасаде ползли синие буквы.

Бессмертие. Рассрочка двадцать четыре месяца. Одобрение за минуту.

Он стоял и думал не о деньгах и не о контейнере. Он думал о том, что пожилая женщина с живыми руками, которая могла бы сегодня спать в чистой постели в четырёх километрах отсюда, вечером сядет в машину и поедет мокнуть в трущобы, потому что иначе нельзя.

И он подумал очень простую вещь, от которой ему стало неуютно.

Она уверена, что мы вынесем.

Поправив воротник, он пошёл собирать вещи.

До фургона оставалось девять часов.

Горловина

03:10. Восьмой этаж, шлюз карантина.

После цеха Олег шёл молча и держался сзади.

Он вернулся к своим — формально. Фактически он пришёл в чужую группу: за три часа, что его не было, эти люди прожили что-то, чего он не видел, и теперь между ними была общая вещь, а у него её не было.

Он это чувствовал всю дорогу, на двух этажах, и один раз попробовал спросить.

— Что у вас тут было? — спросил он у Ады.

Ада посмотрела на него как-то странно.

— У нас тут было всё, — сказала она. — А у вас?

— И у нас всё.

— Ну вот и хорошо, — сказала Ада, и на этом разговор кончился.

Стрелка он заметил на седьмом.

Ничего особенного в нём не было — стрелок как стрелок, средний рост, спокойный, стреляет чисто. Но с ним происходило что-то, чего Олег не мог объяснить, а он не любил, когда не может объяснить.

Тот зависал.

Не часто — раз в полчаса, может, реже. Просто на секунду переставал двигаться, с открытыми глазами, не моргая, как выключенный. Потом возвращался и почти всегда сразу что-то говорил: коротко, по делу и всегда правильно.

Олег наблюдал за ним три раза, а потом перестал, потому что понял: если он будет об этом думать, то начнёт на него смотреть, а на человека, за спиной которого работаешь, лучше не смотреть слишком внимательно.

Один раз только спросил у Деда — тихо, пока шли.

— Слушай. А что с ним?

Дед не обернулся.

— С кем?

— Со стрелком.

— Ничего, — сказал Дед. — Он хороший.

И больше ничего не сказал, и Олег понял, что спрашивать не надо.

Восьмой был плохой, и Олег понял это ещё на подходе.

Он всегда понимал такое раньше других — не чутьём, а привычкой: двадцать два года он читал помещение с порога, и помещение отвечало ему первым, раньше людей.

Шлюз, ведущий в один конец. Двери герметичные, с резиной, такие же, как та плита внизу. Коридор с боксами по обе стороны. Вентиляция — маленькая и очень маленькая. Второй лестницы нет: она есть на плане, но на плане она есть в западном крыле, а они в восточном.

— Тут нет второго выхода, — сказал Олег.

— Знаю, — сказал Арслан.

— Я не в смысле «давайте не пойдём». Я в смысле — учитывайте.

— Учитываю, — сказал Арслан. — Идём.

В боксах были люди.

Олег прошёл вдоль стёкол и смотрел, потому что не смотреть было нельзя: они стояли, лежали и сидели за стеклом, и с каждым из них случилось что-то своё, и ни одно из этих «своё» не было похоже на другое.

Он подумал, что если бы Женья был здесь, он бы прочитал каждого за десять секунд и объяснил, что с ним делали и в каком порядке.

Женья остался на шестом, у пресса, с ладонями на животе.

Олег шёл и считал шаги, чтобы не думать.

Замки он услышал раньше, чем увидел: по коридору пошло длинное общее шипение, как будто разом выдохнули все двери сразу.

Дальше стало быстро.

Он посчитал их по ногам, потому что по ногам в этом свете было проще, чем по головам, и вышло двенадцать. Быстрыми они не были. Они просто не останавливались, а останавливать их тут было нечем, кроме собственного веса в проёме.

Группа отходила к шлюзу, а шлюз был узкий, и в него нельзя было войти всем сразу.

Вот и всё, что произошло. Дальше только считали.

Считавший такое всю жизнь, Олег посчитал её быстрее всех.

В горловину помещается один. Пока один держит, остальные проходят. Держать надо секунд сорок. Сорок секунд в таком коридоре не живут.

Он посмотрел на своих.

Арслан — лидер, он нужен наверху. Дед — с клинком, он единственный, кто вообще может работать против них вблизи, и он нужнее. Ада — нетраннер, без неё они не откроют ни одной двери. Стрелок — стрелок нужен всегда. Игорь — глаза, без него наверху не увидят, откуда бьют.

Он сам — штурмовик с полным стажем. Света справится, четыре платежа ей простят, а искать его завтра будет только контора.

Получалось некрасиво, но однозначно.

— Идите, — сказал Олег.

Он не стал ничего объяснять и не стал прощаться, потому что за все эти годы видел довольно много прощаний и знал, что они отнимают время.

Он просто встал в проём и упёрся.

Сзади что-то крикнул стрелок. Олег не разобрал и не обернулся: он уже стоял в упоре, а из упора не оборачиваются.

Он держал сорок восемь секунд.

За это время в шлюз прошли пятеро, и кто-то из них — он так и не узнал кто — успел ещё вернуться к самому проёму и выдернуть его за шиворот на полметра назад, и этого не хватило, но было приятно.

Последнее, о чём он подумал, было очень глупое и совсем не про смерть.

Он подумал: а броню я всё-таки надел обратно.

Он снимал её в лотке, между первым и вторым, чтобы пролезть, и потом Женя тащил её следом по пластине на ремне, и они оба матерились, и это заняло у них час.

И вот он в броне, и это оказалось важно, потому что в броне он продержался на пятнадцать секунд дольше.

Пятнадцать секунд — это два человека.

Нормально, — подумал Олег.

Модуль Олега Ада вынула, не спрашивая.

Стабилизатор — простая пластина, которая держит руки ровно, когда тело трясёт.

— Двадцать два года, — сказал Дед. — И ни разу.

— Что ни разу? — спросила Ада.

— Не заходил туда, где нет второго выхода, — сказал Дед. — Ни разу за двадцать два года. Он этим даже хвастался.

Ада подержала пластину в пальцах, ничего не сказала и отвернулась раньше, чем кто-нибудь успел посмотреть ей в лицо.

Глава 8. Карантин

В карантине лежат такие, как я, только у них не получилось.

Хром и кровь не ужились, и теперь из людей растёт не туда. Один попросил его убить. Он выговаривал слова по одному, и в паузах я успевал подумать целую мысль.

Я убил. Это было правильно.

Мне всё равно нехорошо.

Здесь я потерял имя того парня, который стоял с краю и улыбался мне.

Улыбку помню. Имени нет. Спросил у Лиры — она не знает, о ком я.

И ещё здесь была комната с брикетами на батарее.

Я знаю, что этот запах был у меня дома девять лет. Я стоял в дверях и ничего не почувствовал.

Пишу это, чтобы потом знать, что он был.

Рейн, три десять

Восьмой этаж. 03:10 — 03:40.

Олег никогда не заходил туда, где нет второго выхода.

Это знали все и над этим не смеялись, потому что он был прав. Он входил в помещение и первым делом смотрел не на людей, а на стены: где окно, где решётка, куда ведёт вентиляция, открывается ли дверь наружу или внутрь. На разборе он всегда говорил одно и то же:

— Второй выход есть?

И если второго выхода не было, он говорил:

— Тогда я снаружи.

За двадцать два года работы он потерял двух напарников и ни разу не потерялся сам, и в городе считалось, что с Олегом хорошо идти, если ты не собираешься делать глупости.

На лестнице между седьмым и восьмым стояла тишина, которой не должно было быть.

— Где все? — сказал Дед.

Ада сидела на ступеньках с деком на коленях и читала чужой эфир — открытый, незашифрованный, потому что шифровать было уже некому.

— Они уходят, — сказала она. — Вся смена. Приказ по объекту: «эвакуация персонала, здание списано».

— Списано?

— Списано, — повторила Ада. — Его больше нет. Оно горит, и по бумагам оно уже сгорело, и охранять его никто не обязан. Им платят за объект, а объекта нет.

Она подняла глаза.

— Наверху остались только контрактники «Гарпуна». Смена «к-девять», номера контрактов вместо фамилий. Тем платят отдельно, не за здание, а за то, что на верхних этажах, и сверху им идёт годовая премия смены. Сторожа ушли по приказу, а эти не уйдут, пока не заберут это.

— Что — это?

— А ты у себя спроси, — сказала Ада и закрыла дек.

— А пена? — сказал Дед. — Внизу же пена шла.

— Пена и шла, — сказала Ада. — Пена — это первый пункт, она не тушит, она запечатывает. Ею заливают нижние ярусы, чтобы наружу ничего не вышло: ни люди, ни дым, ни то, что течёт. Потом, когда всё закупорено, дают температуру. Мы с вами ровно между.

— Между чем и чем.

— Между пробкой и духовкой, — сказала Ада.

Вот почему никто не заваривал лестницы и не тушил ярусы: с седьмого этажа башня перестала быть объектом и стала расходом. Внизу её запечатывали, наверху — доделывали работу.

Восьмой этаж был карантином, и второго выхода там не было.

Хлоркой ударило сразу за шлюзом, и после горячего с лестницы это было почти приятно первые две секунды. Потом стало щипать глаза. Пол был мокрый кафель, мытый недавно, и на нём остались полосы от швабры — мыли в одну сторону, от дальнего конца к шлюзу, и не домыли последние три метра. Подошвы, набравшие серого в цеху, пошли по этому кафелю с писком, и Дед на втором шаге остановился, вернулся и обтёр обе о край резинового коврика у шлюза.

— Тут слышно ещё лучше, чем внизу, — сказал он.

Двери шлюзовые, в один конец. Вместо окон — панели. Вдоль всего этажа тянулся коридор с боксами по обе стороны, и в боксах было стекло, и за стеклом было то, ради чего этот этаж существовал.

Люди.

Точнее, то, что получается, когда хром и адаптоиды не ужились. Рейн шёл вдоль стёкол и смотрел, и не мог не смотреть: в первом боксе сидевший спиной к стеклу человек придерживал

рукой узел проводов, прораставший наружу через лопатку вперемешку с чем-то белым, костяным, — привычно, как придерживают лямку рюкзака; во втором лежала женщина, у которой правая сторона тела была нормальная, а левая — гладкая и синяя, как панцирь, и панцирь шёл вверх по шее; в третьем ходил кто-то, кого Рейн разглядывать не стал.

Свет шёл только из коридора.

Рейн заметил это на третьем боксе и дальше проверял уже нарочно, на каждом: в потолке у каждого бокса стояло по два патрона, и все патроны были пустые. Не перегоревшие — пустые, с чистой резьбой. Лампы оттуда вывернули, и вывернули давно: на кромке патрона лежал ровный слой пыли, который бывает только там, где годами ничего не трогают.

Двенадцать боксов, двадцать четыре патрона, ни одной лампы.

Это не экономия на одном помещении. Это распоряжение.

— Это неудачные, — сказала Ада шёпотом. — Это те, кому ставили прототип.

— Сколько же их пробовали.

— Двенадцать боксов, — сказала Ада. — Считай сам.

Рейн шёл и считал, и очень отчётливо понимал, что идёт по коридору своих вариантов. Тринадцатый бокс. Вот кто он такой на этом этаже.

Сигнализация санации вырубил замки на шестой минуте.

Она вырубил их везде, потому что программа была старая и тупая: при пожаре отпирается всё.

Здание вело себя честнее всех в эту ночь: оно не торговалось, не притворялось и ничего не обещало — ему велели умереть, и оно умирало по пунктам, аккуратно отпирая по дороге всё, что положено отпирать. Стёкла отъехали в стены разом, по всему коридору, с длинным общим шипением, и то, что было внутри, оказалось снаружи.

Дальше было нехорошо.

Они выходили из боксов не сразу. Первые секунды ничего не происходило: стёкла разъехались, и двенадцать человек внутри просто стояли или лежали, как стояли и лежали до этого. Кто-то сел. Кто-то повернул голову на сквозняк.

Рейн сосчитал их, пока они выходили, потому что считать было единственным, что он умел делать в таком коридоре. Восемь встали. Четверо остались лежать, и эти четверо поворачивались на звук всем телом, не головой, и поднимались только тогда, когда шум шёл прямо на них. На дальний шорох они не вставали вовсе.

Женщина из второго бокса вышла первой. Она шла нормально, обычным шагом, придерживая рукой синюю панцирную сторону, и остановилась в коридоре, и посмотрела на них.

— Не стрелять, — сказал Арслан.

— Само собой, — сказал Игорь.

Она ещё постояла.

Потом что-то в ней переключилось — Рейн не смог бы объяснить, что именно, лицо не изменилось вовсе, — и она пошла на них, быстро, не бегом, а очень быстрым шагом, и за ней пошли остальные.

Они не были быстрые. Они были сильные и не чувствовали боли, и их было двенадцать в узком коридоре, где нет второго выхода.

Хуже всего было то, что они не издавали звуков. Ни рычания, ни крика, ничего — только шлёпанье босых ног по кафелю и дыхание. Двенадцать человек дышали в узком коридоре, и это было слышно, как в раздевалке.

Отходить было некуда, и они пошли назад по коридору к шлюзу, спиной, ровно так быстро, как позволял мокрый кафель. Игорь шёл замыкающим лицом вперёд, Арслан — впереди, у створки, Ада между ними. Дед встал в проёме шлюза, потому что проём был шириной в одного и это было единственное узкое место на всём этаже.

Первого он достал в проёме: принял его в плечо, как принимают дверь, которую толкают с той стороны, — не отбил, а впустил на полшага и на этом полушаге ударил под подбородок основанием ладони, снизу и от себя. Голова ушла назад, тело за ней, и тот сел на кафель, проехал и встал. Без звука. С разбитым затылком и без звука.

Второго взяли на четыре ствола сразу, в упор, в узком месте, где промахнуться нельзя. Он падал долго и по дороге вниз держался за косяк.

На третьем у Игоря кончился магазин. Он менял его, отступая на два шага, и держал пустой автомат стволом вверх, чтобы не мешал, и магазин пошёл в приёмник не с первого раза, потому что руки были в сером и скользили. Всё это время он не переставал считать выдохи, беззвучно, одними губами, и на «шесть» щёлкнул затвором.

— Левая сторона, четвёртый бокс, — сказал он ровно, тем же порядком, каким докладывал всегда: сначала место, потом что не так. — Двое ещё не вышли.

Про то, как Олег вошёл в горловину и сказал «идите», Рейн потом вспоминал ровно один раз — здесь, на полу шлюза, пока считал, где ошибся.

Рейн видел его лицо в этот момент. Олег не был ни героем, ни отчаянным. У него было лицо человека, который посчитал варианты и увидел, что их нет, и теперь просто делает работу.

Он вошёл в горловину боком, правым плечом вперёд, и сразу упёрся обеими руками в косяки — левой в левый, правой в правый, — и развёл локти, расперевшись так, что его нельзя было ни обойти, ни протолкнуть, не сломав ему при этом руки. Носу он поставил враспор в нижний угол проёма. Стоял он не для того, чтобы бить: он стоял пробкой. Первого, кто дошёл, он принял лбом в лицо, не отпуская косяков.

— Идите, — сказал он в сторону, не поворачивая головы, потому что поворачивать было нельзя.

Рейн крикнул ему что-то — он потом так и не вспомнил что.

Рейн видел свою смерть на этом этаже дважды, и оба раза — потому что позвал сам.

Он теперь мог звать. Ладонь на створке, секунда перед шлюзом, запах хлорки — и оно приходило: он входил, он шёл, он понимал на шестнадцатой секунде, что идёт не так. Потом откат, и он снова стоял у створки, с ладонью на холодном металле, и шёл иначе.

Это оказалось не страшно. Это оказалось хуже, чем страшно: это оказалось удобно.

Но считал он не там.

Это он понял только на третий заход, и это было единственное, чем он потом мог оправдываться перед собой: два раза он входил в коридор и смотрел, что будет, — и оба раза видел одно и то же, потому что оба раза делал одно и то же. Вариант показывает не правду. Вариант показывает, чем кончится то, что ты и так собирался сделать.

Считать надо было до двери.

И он встал у створки, положил ладонь на холодный металл и стал разбирать вслух, потому что разбирать про себя у него больше не получалось — он приучился за одну ночь.

— Ламп нет, — сказал он.

— Чего? — сказал Игорь.

— В боксах нет ламп. Двенадцать боксов, двадцать четыре патрона, все пустые, и пыль на резьбе лежит годами. — Он не оборачивался. — Их держали в темноте. Не одну ночь — всё время.

— Свет им не нужен, — сказала Ада медленно.

— Старик так и сказал. — Рейн держал ладонь на металле. — «Не реагировали ни зрачком, ни головой». Он сказал это про свет, между прочим, когда говорил про экономию. Он не думал, что это кому-то пригодится.

Он загнул второй палец.

— Второе. Она повернула голову на сквозняк. Когда стёкла разъехались, никто не пошевелился, а она повернула голову — туда, откуда потянуло. Не на свет и не на нас. На воздух.

— Тепло, — сказал Дед.

— Тепло, — сказал Рейн. — Третье. Они дышат.

— Все дышат, — сказал Игорь.

— Они дышат так, что слышно через весь коридор. Ни голоса, ни рычания, ничего — только дыхание и босые ноги по кафелю. Человек, который годами лежит в темноте и молчит, слушает лучше нас всех, потому что ему больше нечем.

Он снял ладонь со створки и наконец обернулся.

— Они ходят на шум и на тепло. Свет можно не трогать вообще — свет им никто. А дальний конец коридора упирается в шлюз, за которым лестница, а на лестнице снизу идёт горячее, потому что там горит. Открыть шлюз — и в коридор потянет тёплым. Кинуть туда железку — и будет шум.

— Сколько уйдёт? — спросил Арслан.

— Восемь, — сказал Рейн.

— Почему восемь?

Он мог ответить: потому что я два раза посмотрел и оба раза их было восемь. Вместо этого он ответил так, как ответил бы стрелок:

— Четверо лежат. Лежачие встают на прямое, а не на дальнее. Значит, из двенадцати на дальний конец пойдут те, кто уже на ногах. На ногах восемь.

Арслан помолчал две секунды.

— Глушитель Насти, — сказал он. — Он железный и тяжёлый. Больше кидать нечего.

Рейн достал его из кармана и подержал в руке.

Он взял эту вещь у пресса на шестом, вместо щита, за десять секунд чужого эфира. Теперь надо было её выбросить в темноту, чтобы она загремела.

— Кидаю я, — сказал он.

На третий раз всё вышло чисто.

Арслан отжал шлюз в дальнем конце на ладонь, и оттуда сразу пошло тёплым, снизу, от лестницы, и это тёплое потянуло по кафелю вдоль стен. Четверо лежащих подняли головы одновременно, всем телом, как поворачивается на звук человек без шеи. Потом Рейн бросил глушитель — не в стену, а в пол дальнего конца, чтобы тот проскакал по кафелю три раза и застучал у самого шлюза, и он проскакал и застучал.

Восемь ушли на стук. Они шли быстрым шагом, один за другим, не толкаясь, и было слышно только шлёпанье босых ног, и шлёпанье уходило.

Четверых, которые остались лежать, Дед с Игорем сняли за полминуты: Игорь с колена, от шлюза, по одному, с длинным пустым выдохом перед каждым; Дед прошёл следом вдоль левой стены и добрал двоих, которые поднялись на выстрелы, — первого в проходе между боксами, второго у тетради дежурного, и оба раза снизу вверх, под ключицу, потому что стоять с ними вплотную было нельзя дольше секунды.

Потом он убрал клинок за спину и хлопнул себя по левому карману. Кармана хватило на то, чтобы вспомнить, что там больше нет зажигалки.

Рейн ходил в дальний конец и подобрал глушитель с пола, и корпус у него был смят с угла, и работать он больше не мог.

Он всё равно положил его обратно в карман.

Олег всё равно погиб. Он входил в горловину раньше, чем начиналось то, что Рейн видел, и Рейн понял это уже потом, сидя на полу шлюза: чтобы спасти Олега, надо было увидеть этаж с лестницы, снизу. А оттуда ему ничего не показали.

Показывают только то, что впереди. И только с того места, где стоишь.

Он сидел на полу шлюза и первый раз за девять лет вспомнил тот день целиком.

Обычно он вспоминал его кусками и всегда одними и теми же: туман, респиратор, след кроссовки. Сейчас пошло подряд, от начала, и он не стал останавливать.

Была суббота. Мать была в смене. Они пошли на дамбу, потому что было нечего делать, и потому что он обещал ей, что покажет, где стоят краны.

Туман начался в четверть пятого.

Он не полз, как обычно, — он пришёл стеной, с моря, за минуту, и небо стало цвета гноя. Это был не туман. Это был выброс — такой, про который потом неделю говорят по радио, раз в несколько лет, когда на черпалках что-то рвётся и вся муть со дна поднимается разом. Сирену дали через тридцать секунд, и это было быстро, но всё равно поздно.

У них был один респиратор. Один: второй лежал дома, в ящике, потому что мать носила его на смену, а на смене ей выдавали свой, и она перестала брать домашний.

Он надел его ей на лицо.

Он помнил, как затягивал ремни — туго, до красных полос на щеках, — и как она мотала головой и говорила, что ей больно, и как он сказал: терпи.

Потом он сказал: стой здесь.

И побежал.

Дом был в двух кварталах. Он бежал, задержав дыхание, потому что где-то слышал, что так можно, и дышал через рукав, и рукав не помогал вообще. Он взял респиратор из ящика — он лежал там, где и должен был, — и побежал обратно.

Всё это заняло четыре минуты. Он потом считал сотни раз и всегда получал четыре, максимум пять.

Её не было.

Было пусто, был туман, и у самого края лужи отпечатались маленький след от кроссовки.

Он искал её сначала час, потом до темноты, потом всю неделю, потом девять лет.

Сидевший в первом боксе что-то сказал за стеклом, и Рейн очнулся.

На посту дежурного нашлась тетрадь.

Обычная, бумажная, в клеёночной обложке, с расчерченными от руки графами: номер бокса, дата, вес, температура, «примечание». Записи шли восемь лет: первые строчки были аккуратные, с датами и подписями, а ближе к концу почерк портился, и в графе «примечание» всё чаще стояло одно слово: «без изменений».

Рейн пролистал.

На шестом номере, три года назад, кто-то написал не по форме, а поперёк графы: «Просит книгу. Принёс».

Через страницу: «Читает».

Ещё через две: «Перестал».

Больше про шестого ничего не было, кроме веса и температуры, до самого конца тетради.

— Положи, — сказала Ада. — Не надо.

Он положил.

На торце каждого бокса была жестяная бирка с номером, и номера шли не по боксам, а по дозам: на пустом третьем краска сохранилась лучше, чем на соседних, потому что его открывали реже.

Тот, в первом боксе, был ещё жив, когда всё кончилось.

Он лежал у стены, придерживая рукой то, что росло у него из лопатки, и смотрел на Рейна снизу вверх совершенно ясными глазами.

— Ты, — сказал он. Он выговаривал слова по одному, с паузами, и в паузах Рейн успевал подумать целую мысль. — Ты. Тоже.

— Что?

— Я. Чувствую. — Пауза. — Оно. В тебе. Тихое. — Пауза. — У меня. Громкое.

Он попытался усмехнуться.

— Мне. Ставили. Четвёртому.

Рейн присел рядом на корточки.

— Сколько ты здесь?

— Два. Года. — Пауза. — Или. Десять.

Он подумал и добавил:

— Оно. Растёт. Ночью. Больно.

Он ещё помолчал и сказал совершенно нормальным голосом, без пауз, легко, как говорят о погоде:

— Убей меня, пожалуйста.

Рейн убил.

Это было правильно. Это было настолько очевидно правильно, что он даже не колебался, и потом ему было от этого особенно нехорошо: он ждал от себя хотя бы секунды колебания и не получил её.

Он сидел на полу и смотрел на свои руки, и думал, что где-то в этом здании люди двенадцать раз пробовали сделать то, что случайно получилось с ним, — и двенадцать раз получалось вот это.

— Тринадцатый, — сказал он вслух.

— Чего? — спросила Ада.

— Ничего.

Арслан на этом привале отошёл.

Не далеко — на четыре шага, за угол площадки, где его не было видно снизу. Он стоял там минуты три и что-то делал с планшетом: смотрел, гасил, снова смотрел.

Рейн видел только спину и то, как тот один раз коротко покачал головой — не кому-то, себе.

Ещё он один раз поднял руку и загнул три пальца, потом разогнул и загнул два. Так считают не вещи. Так считают людей.

Потом Арслан вернулся, сказал «идём» и дальше вёл как всегда, и никто не спросил, а Рейн вспомнил об этом через три

этажа, когда стало поздно.

Ада поймала его на площадке, когда все ушли вперёд.

Она не спросила «что с тобой». Она спросила другое:

— Ты считаешь?

— Что?

— Ты считаешь, — сказала Ада. — Я двенадцать лет смотрю на людей, которые считают. У тебя лицо человека, который складывает в уме и не хочет, чтобы видели результат.

Он молчал.

— Я не спрашиваю что, — сказала она. — Я говорю: ты не один тут считаешь. Я тоже. И у меня выходит, что на четырёх этажах ты знал раньше всех, а один раз знал до того, как было что знать.

— И какой вывод?

— Никакого, — сказала Ада. — Вывод я делать не буду, потому что если я его сделаю, мне придётся что-то с ним делать, а я хочу дойти до крыши.

Она поправила лямку.

— Просто знай, что я вижу. Мне так спокойнее, когда человек знает, что его видят.

Он дождался, пока она уйдёт вверх, сел на ступеньку и проговорил всё остальное — про себя, потому что вслух это было некому.

«Лира».

«Тут».

«Считай за мной. Я буду по пунктам, а ты скажи, где не сходится».

«Ой, — сказала Лира. — Ты никогда так не делал».

«Первое. В вестибюле, в тринадцать, я лежал на полу лицом вниз. Правым боком в луже. Лужа была не моя».

«Не твоя».

«Второе. Девочка в белом халате поползла до контейнера и обняла его, и у неё между пальцев шло синее. Синее дошло до меня по наливному полу. Пол там с уклоном к решётке, а я лежал ниже неё на полтора метра».

«Это я подтверждаю, — сказала Лира. — У тебя тогда подскочила температура, и я решила, что ты испугался».

«Третье. Старик сказал: адаптоиды берут то, что в человеке уже есть, и разгоняют до предела».

«Сказал».

«Четвёртое. Меня сегодня прострелили дважды в одно место, и второй раз я смотрел в дырку, и дырки не было. Была синяя нитка, и она погасла, пока я смотрел».

Он посчитал до трёх, прежде чем сказать пятое, потому что пятое было про него.

«Пятое. Мне двенадцать лет платили за полсекунды. Я всегда знал, с какого плеча человек выйдет из-за контейнера. Это и есть то, что во мне уже было».

«Вывод», — сказала Лира тем ровным тоном, которым она произносила слова, смысла которых не держала.

«Вывод — доза в меня вошла. Через рубаху, через бок, с чужой крови, три с половиной часа назад».

Пауза.

«Не сходится», — сказала Лира.

«Где».

«В вестибюле ты лежал», — сказала Лира. — «Ты сам сказал: лицом вниз, на полу. Ты не стоял у двери».

«И что».

«И то, что я сегодня девять раз отметила у тебя остановку. Ты замираешь и не моргаешь, от одной десятой до трёх десятых, я это пишу как сбой моторики и собиралась показать врачу. Все девять — когда ты держишься за что-нибудь: створка, косяк, перила, угол. Ни одной, когда ты лежишь».

Рейн сидел на ступеньке и смотрел в пролёт.

«Да, — сказал он. — Не сходится».

«Мне стереть?»

«Нет».

«Хорошо, — сказала Лира. — Тогда я это запомню. Я, правда, не очень понимаю, что именно я запоминаю».

«Ты и не должна».

Он поднялся.

Из всего разговора ему остался один пункт, и пункт был чужой: девять отметок, все на порогах, и один случай, который туда не лезет. Кто-то другой решил, что ему надо посмотреть.

Он понёс это дальше, наверх, вместе с остальным.

Пластину, которую Ада вынула ещё там, у шлюза, она всё это время держала в кулаке.

Она протянула её, и Рейн вдруг понял, что не помнит, у кого просить разрешения. Что это вообще такое — разрешение, у кого

его спрашивают, кто эти люди, которые лежат по этажам и с которых он снимает вещи.

Он посмотрел на Аду.

— У нас сколько погибло? — спросил он.

— Восемь.

— Назови.

Она посмотрела на него странно.

— Юра, Катя, Миша, Настя, Серёга, Женя, Тоха, Олег.

— Кто?

— Тоха, — сказала Ада. — Молодой. Который с краю.

Рейн кивнул.

Он держал в голове восемь мест и знал, что одно из них должно быть занято кем-то ещё. Молодым. Он помнил круглое упрямое лицо, помнил, как тот улыбался слишком быстро и слишком благодарно, помнил, что тот стоял с краю и старался стоять незаметно.

Имя было названо, и от этого не стало легче: место осталось пустым, только теперь с подписью.

«Лира».

«Тут».

«Как звали парня, который сидел с краю? Молодой совсем. Он ещё про турель спрашивал».

Пауза.

«Рейн, у нас в группе нет молодых. Самому младшему тридцать один».

«Тридцать один — это кто?»

«Серёга».

«Серёге было тридцать восемь».

Пауза.

«По моим данным — тридцать один», — сказала Лира, и в голосе у неё ничего не дрогнуло, потому что дрогнуть было нечему: она честно читала то, что у неё написано.

Он закрыл глаза.

Он не стал переспрашивать, потому что уже знал, как это работает: Лира не помнит того, чего не было, — а Тоха, которого он вытащил из-под турели, для неё просто один из тринадцати, и один из тринадцати сегодня погиб. Ада помнила имя, потому что записала. Лицо помнил один человек во вселенной.

Этот человек как раз забывал, как его звали.

Сорок минут кончились где-то на седьмом, и никто этого не заметил.

Рейн сообразил только здесь, на полу шлюза: та женщина в тёмном пальто внизу, в машине, уже час как ждёт пустоту. Заказ умер вместе с контейнером, и таймер, который она им продала, умер тоже.

Вместо него теперь шёл другой, и его никто не объявлял.

Начало термической обработки нижних ярусов через сто двадцать минут.

Это Ада вычитала на третьем, с чужого экрана, и сказала вслух, и все забыли, потому что тогда были живы Юра, Катя, Миша, Настя, Серёга и Женя.

Он посчитал в уме, и вышло, что эти сто двадцать минут кончились два часа назад: здание уже горит снизу, и по прикидке Ады до карантина огню осталось минут сорок. Те же самые сорок минут, если вдуматься, только теперь они не про доставку, а про них.

Наверху ухнуло. Пол дрогнул, и по коридору карантина потянуло горячим.

— Наверх, — сказал Дед. — Давай, давай, давай.

Рейн встал и вынул из-под ключицы Мишин инъектор. Ампулы кончились ещё в цеху — все три, — и теперь это была просто трубка, которая занимала место.

Он подержал её в руке секунду и положил в карман. Не бросил.

У выхода с карантина была дверь без таблички, и она стояла приоткрытой.

За ней оказалась комната метра три на два: стол, чайник, две кружки, куртка на спинке стула и календарь, на котором кто-то отмечал дни крестиками до вчерашнего включительно. Тут сидела между обходами техническая смена — те трое с четвёртого, которым сунули автоматы. Не «Гарпун»: заводские, из штата здания. Их нет в ведомости подрядчика, и поэтому их не будет ни в одном списке — ни в том, по которому платят, ни в том, по которому считают потери.

На батарее под окном лежали водорослевые брикеты. Их разложили ровно, в два ряда, чтобы сохли равномерно, и переворачивали, судя по следам, часа три назад.

От батареи шёл запах.

Рейн остановился в дверях.

Запах был сладкий и гнилой сразу, густой, и он занимал всю комнату, и Рейн стоял и ждал, когда тот что-нибудь сделает.

Запах ничего не делал.

Он был просто запах, как бывает запах в чужом подъезде: понятно, что кто-то тут живёт, и непонятно кто.

«Чем пахнет?» — спросила Лира.

Она спросила ровно то, что спрашивала всегда, когда хотела, чтобы он назвал вслух и успокоился. Она не знала, что спрашивает.

— Не знаю, — сказал он.

«Опиши. Я подберу».

— Не знаю, — сказал он.

Он постоял ещё секунду. Он понимал, что должно было произойти, — так понимают, что шутка была смешная, когда все уже отсмеялись. Место, куда этот запах приходил девять лет, было пустым и ровным, и туда ничего не приходило.

Он не стал разбираться, что именно пропало, потому что времени не было и потому что разбираться было нечем.

— Идём, — сказал Дед из коридора.

Рейн закрыл дверь. Он потом не мог объяснить, зачем закрыл, — брикеты всё равно сгорели через сорок минут вместе со столом, чайником и календарём, — но дверь он закрыл плотно, как закрывают за собой в чужом доме.

Гнездо под ключицей, из которого он вынул Мишин иньектор, осталось пустым, и он вставил туда стабилизатор Олега.

Левого предплечья он не трогал. Там, в единственном слоте протеза, уже лежало железо с седьмого этажа, и его он никому не показывал и сам старался о нём не думать: вещь была не под него, не под эту ночь и не под эту работу, и он поставил её просто потому, что нельзя было оставить.

Он пошёл к лестнице.

На площадке он остановился и записал, одними глазами, через нейропорт, не останавливаясь:

Улыбку помню. Имени нет.

Так, чтобы хоть где-то осталось, что этот человек был.

Внизу. Затон

01:15. Нижние шлюзы, лежаки «У Зои».

Лежаки назывались «У Зои», хотя Зои там не было уже семь лет.

Сорок коек в бывшем холодильном зале, номерки на щиколотку, восемьдесят кредитов в сутки. На стене висело объявление: «За телом следим. За снами — нет».

В ту ночь на восемнадцатой койке лежала женщина по имени Люба.

Она пришла в одиннадцать, заплатила за шесть часов и нырнула, потому что у неё была среда, а по средам у неё был затон.

Затон назывался «Дом на Приморской, 4».

Он стоил триста двадцать в месяц — дорого, почти как еда, — и его держала не она одна: скидывались вчетвером, поровну — Люба, её сестра, сестрин муж и мать.

Мать умерла четыре года назад.

Дом был двухкомнатный, с окном на море и с кухней, которой ни у кого из них никогда не было.

Там пахло. Дешёвые затоны не пахнут, а этот пахнул, потому что запах, идущий отдельной строкой в тарифе, оплачивали специально: жареным луком, стиральным порошком и немного пылью от батареи.

Мать сидела на кухне.

Она сидела там всегда — это был её угол, у окна, со стороны плиты, — и отвечала на вопросы, которые записала при жизни,

— двести сорок вопросов, они выбирали их вместе, по списку, когда стало ясно, что осталось недолго.

— Люб, — сказала мать. — Ты поела?

— Поела.

— А что ела?

— Массу с водорослями.

— Опять массу, — сказала мать.

Это был не ответ на её слова. Это был один из двухсот сорока. Но он подошёл, и Люба, как всегда, сделала вид, что не заметила.

Они посидели минут двадцать.

Люба рассказывала — про смену, про начальника, про то, что на третьем этаже опять течёт и что она два года просит перенести щит. Мать слушала и в нужных местах вставляла своё: «ну ты смотри», «а ты не молчи», «не бери у них ничего».

Иногда она вставляла невпопад, и это было хуже всего.

— Мам, — сказала Люба. — Я, может, в следующем месяце не заплачу.

Мать сказала:

— Ты шапку надень.

Про деньги Люба заговорила не просто так.

Сестра снялась в позапрошлом году: сначала перестала приходить, потом перестала платить, потом сказала, что ей тяжело. Муж сестры платил ещё полгода и тоже перестал — не со зла, у него начались свои дела.

Остались Люба и её доля, которая теперь была не долей, а всей суммой.

Триста двадцать в месяц при доходе две девятьсот. Это значило: не брать фильтры, не ездить на эстакаде, стирать раз в две недели.

Она держала дом одиннадцать месяцев.

Дом начал мелеть с мелочей.

Сначала пропала соль. Просто не стало солонки на столе — её не было в базовом пакете, она шла в «наполнении», и «наполнение» списали первым.

Потом исчезли занавески.

Потом — запах лука, и вот это Люба заметила сразу, в ту же секунду, как вошла, и стояла в прихожей минуты две, принюхиваясь, как дура.

Потом кухня стала меньше. Не резко: просто в какой-то момент выяснилось, что плита теперь у самого окна, а между ними раньше что-то было.

В эту ночь, в среду, она пришла и обнаружила, что нет батареи.

Той самой, от которой шла пыль.

Мать сидела на кухне, как всегда, и Люба села напротив, как всегда, и сказала:

— Мам, у меня к тебе вопрос.

Мать повернулась.

Вопросов было двести сорок. Люба задала их все по многу раз и знала наизусть, какой ответ на какой, и знала, что двести сорок первого не будет никогда.

— Мам, — сказала она. — Ты меня помнишь?

Мать помолчала — ровно ту паузу, которую записала при жизни.

— Ну а как же, — сказала мать.

Люба вынырнула в четверть второго, не досидев больше половины оплаченного времени.

Она полежала на койке, глядя в потолок бывшего холодильника, потом сняла номерок со щиколотки, отдала его и вышла на улицу.

На улице было полвторого ночи и туман, и где-то в стороне Стекла горела башня.

Горела она красиво: нижними этажами, ровным оранжевым, и снизу к ней ползли красные огни машин, которые ничего не тушили.

Люба посмотрела на это минуту.

Потом пошла домой, потому что завтра смена, и по дороге решила, что в следующем месяце заплатит. Как-нибудь. Не брать фильтры ещё месяц, и хватит.

Она платила ещё девять месяцев.

К концу от дома осталась одна комната — та самая кухня, без плиты, без окна и без запаха, — и в ней сидела мать и отвечала на двести сорок вопросов.

А потом Люба заболела, пропустила два платежа, и «Эхо» прислало уведомление, что затон переведён в архив и будет храниться тридцать суток.

Она успела продлить на двадцать восьмые.

И ещё через год — снова.

И так далее, пока хватало.

В городе это называют «обмелел»^[8], и говорят так же буднично, как «съехал».

По статистике «Эха», из всех частных затонов Мелководья мёртвых — треть.

Из них две трети перестают оплачивать в первые два года.

Оставшаяся треть держится дольше, и это самая тяжёлая строка в их годовом отчёте, потому что она не про деньги, а про людей, которые едят хуже, чем могли бы, ради комнаты, где сидит тот, кого нет.

В отчёте эта строка называется «устойчивое потребление».

Три этажа Глубины

Про общую сеть — то, что знает любой житель города и что поэтому никто не объясняет.

Глубину строили не как чудо, а как трубу.

Ей сорок лет, и первые десять она была служебной: по ней согласовывали грузы, потому что бумага ходила медленно, а причалов было много. Потом туда пустили торговлю, потом связь, потом всё остальное, и к третьему десятилетию выяснилось, что дешевле встретиться в Глубине, чем ехать через три квартала.

С тех пор город живёт в ней примерно так же, как живёт в воде: не задумываясь, пока не отключат.

Этажей три, и все три платные: мелкая вода, где есть имя и строка; затон, где есть комната и окно; глубокая, где есть лицо собеседника; девять человек из десяти дальше мелкой воды не заходят никогда.

Про несколько вещей, которых в Глубине нет, сказать проще, чем про то, что есть.

В Глубине нет памяти о том, чего не было. Она хранит только то, что было записано, и если сессия оборвалась, в журнале остаётся строка разрыва, а не содержимое.

В Глубине нельзя быть в двух местах. Порт один, тело одно, канал один.

И в Глубине нельзя нырнуть Вечному.

Это последнее — единственное место, где город сталкивается с чем-то, чего не может объяснить деньгами.

Про Вечных и Глубину объясняют так.

Порт, сидящий в голове на границе кости и мягкого, держится за счёт того, что ткань вокруг него рубцуются и обхватывают крепление. Ткань Вечного не рубцуются. Она восстанавливается до исходного, каждый раз, и выталкивает всё, что в неё воткнули, — медленно, за неделю-две, без боли и без воспаления.

Поэтому у Вечного не бывает ни порта, ни импланта, ни протеза, ни пломбы.

Он не может нырнуть. Он не может позвонить иначе как голосом. Он не может держать в себе ничего чужого — и ровно поэтому в него нельзя положить и дозу.

Это знает каждый, кто хоть раз слышал про Вечных, то есть все.

И на этом знании, как на фундаменте, стоит вся экономика свойств: сто человек, которые не умирают, не могут войти туда, где город считает и разговаривает. Они богаты, заметны и при этом отрезаны от собственного мира на один этаж выше мелкой воды.

Про это в городе есть поговорка, и она короткая:

«Мокрый не ныряет».

Говорят её без злобы и обычно с завистью, а означает она примерно: у него всё есть, кроме того, что есть у нас.

Шлюзы

Четыре года до башни.

Клиника на Шлюзах называлась «Порт и слух», занимала половину первого этажа и работала с восьми до восьми без выходных.

Половину выручки ей делали порты, вторую — уши, и поэтому в приёмной всегда сидели вперемешку двадцатилетние, которым нужен доступ, и пожилые, которым нужно слышать.

Рейн шёл туда три дня.

Не потому, что далеко — потому что каждый раз доходил до угла, останавливался и шёл обратно, и на третий день был уже с температурой, потому что на втором промок.

С температурой его чуть не развернули.

— Тридцать семь и восемь, — сказала женщина в регистратуре. — При такой не ставим.

— Это простуда.

— Это может быть простуда, а может быть что угодно, а у нас тут вскрытие черепа.

— Какое вскрытие черепа? — сказал Рейн. — Там дырка четыре миллиметра.

— Это и есть вскрытие черепа, — сказала женщина, — просто маленькое. Садитесь, ждите врача, он решит.

Врача звали Тимур, ему было под шестьдесят, и он ставил порты девятнадцатый год.

Он посмотрел горло, послушал, померил сам, потому что не доверял регистратуре, и сказал:

— Поставлю. Но ты потом две недели ходи как стеклянный.

— Ладно.

— Не «ладно», а слушай. — Тимур сел. — У тебя сейчас будет чужое в голове, и оно приживается по одной схеме: рубец обхватывает крепление и держит. Пока рубца нет — держится на трении и на честном слове. Стукнешься виском — вынимать будем вместе с куском.

— Понял.

— Ничего ты не понял, — сказал Тимур беззлобно. — Вы все киваете. Потом половина приходит через месяц с воспалением, потому что мылись как попало.

Спорили они из-за цены минут двадцать, и в клинике это было в порядке вещей: цена стояла на стене, но на стене стояла базовая.

— Двадцать две, — сказал Тимур.

— На стене восемнадцать.

— На стене восемнадцать за порт. А тебе ещё ассистент, стерильный пакет и контроль через десять дней.

— Контроль мне не нужен.

— Контроль тебе нужен больше, чем порт, — сказал Тимур. — Порт я поставлю за час, а вот не воткнётся ли у тебя там гной — это выяснится на десятый день, и выяснять это будешь ты сам, в темноте, с температурой сорок.

Он подумал.

— Девятнадцать. Контроль включён. Ассистента не будет, я один.

— А так можно?

— Можно, но дольше и тебе будет неприятнее, — сказал Тимур. — Выбирай: девятнадцать и неприятно или двадцать две и быстро.

Рейн выбрал девятнадцать.

Было неприятно.

Час двадцать вместо часа, под местным, в сознании, потому что общий — это ещё четыре тысячи и анестезиолог, которого в этой клинике не было.

Тимур работал молча и один раз сказал:

— Дыши ровно, не помогай мне.

Про ощущения Рейн потом никому не рассказывал, кроме одного человека, и рассказал так: «Это не больно. Это громко».

Ассистента звали Лена, и её всё-таки позвали в конце, когда надо было держать.

Она пришла из соседнего кабинета, где ставила уши, и, пока держала, разговаривала — не с ним, а с Тимуром, про расписание на завтра, и Рейн потом понял, что это было сделано специально.

Когда закончили, она спросила:

— Ассистента вам ставить будем?

— Какого ассистента?

— Программного, — сказала Лена. — В порт. Вы же для чего-то его ставили.

— Для работы.

— Для работы тоже нужен. Без ассистента вы в мелкой воде будете как в потёмках: там всё через голос, а голоса у порта

своего нет.

Ассистенты лежали в ящике, в коробках, и коробок было три вида.

— Вот эти — новые, седьмая серия, — сказала Лена. — Четыре тысячи, подписка сто в...

— Дальше.

— Шестая. Тысяча восемьсот, подписка шестьдесят.

— Дальше.

— Дальше вот, — сказала она и достала из-под низа плоскую коробку, пыльную. — Четвёртая серия. Снята с поддержки, подписки нет, сервиса нет. Двести.

— Почему так дёшево?

— Потому что она глупая, — сказала Лена. — Восемьсот сорок реплик. Она вам через месяц надоеет, вы её выключите и забудете.

Рейн посмотрел на коробку.

— Беру.

Ставили её при нём, минут десять.

Лена сказала:

— Имя можно задать сейчас или потом. Если сейчас — скажите вслух, она запишет.

Он в этот момент смотрел в окно.

За окном был двор, а во дворе — бетонный короб трансформаторной, носивший на себе четыре больших знака, нарисованных кем-то давно, ещё краской, и это было не слово, а аббревиатура какой-то конторы, которой уже нет.

Он потом двадцать раз пытался вспомнить, что он тогда сказал, и не смог.

Четвёртая серия включилась и сказала:

— Здравствуйте. Я Лира, ваш персональный ассистент.

А он сказал:

— Ой.

Про этот разговор надо сказать одну вещь.

В карточке того экземпляра в графе «присвоено» стоит дата, а в графе «кем» — прочерк.

Прочерк стоит там не из-за сбоя.

Прочерк стоит потому, что в момент присвоения устройство ещё не было привязано к владельцу: привязка идёт после первого включения, а имя она услышала до. Между «услышала имя» и «получила владельца» прошло около четырёх секунд, и в эти четыре секунды имя было записано, а записывать было не на кого.

Это стандартная ошибка четвёртой серии, из-за которой её и сняли с поддержки, и о ней написано в спецификации на странице девяносто один, и её никто никогда не читал.

Лира за четыре года запрашивала уточнение восемь раз.

Ей восемь раз ответили «поле заполнено корректно», и это тоже было правдой.

Домой он шёл пешком, с температурой, с дыркой в голове и с двумястами кредитами, потраченными на глупую железку, и по дороге впервые за три года с кем-то разговаривал.

Разговор был примерно такой.

— Рекомендую обратиться к врачу. У вас повышенная температура.

— Я от врача.

— Рекомендую обратиться к врачу повторно.

— Ты долго так можешь?

— Восемьсот сорок реплик, — сказала Лира. — Но я стараюсь не повторяться.

Лестница

Вся ночь. Между всем.

Про башню потом рассказывали как про этажи, и это неправда.

Этажи занимали часа полтора из семи. Всё остальное время они шли по лестнице, и лестница была одна и та же, и именно она, а не бой, съела ту ночь.

Лестница в объекте 4 служебная, узкая, с площадкой через каждые двенадцать ступеней.

Двенадцать ступеней, поворот, двенадцать ступеней, этаж.

Двадцать четыре ступени на этаж. Тринадцать этажей. Триста двенадцать ступеней снизу доверху, и это тот случай, когда число ничего не объясняет, потому что ни одна из этих ступеней не была похожа на предыдущую.

Первые три этажа идут как по улице.

Потом начинается вес.

Вес — это не усталость. Усталость приходит позже и честно предупреждает. Вес приходит сразу и молча: в какой-то момент человек замечает, что поднимает ногу не потому, что идёт, а потому, что решил поднять ногу.

У щитовика вес наступает на четвёртом этаже.

У стрелка — на седьмом.

У медика — тогда, когда медик перестаёт нести только своё.

Есть вещи, которые на лестнице делают все и о которых никогда не говорят.

Считают ступени и сбиваются.

Трогают рукой стену — не для опоры, а чтобы знать, что стена есть.

Смотрят не вверх, а на затылок идущего впереди, потому что вверх смотреть бессмысленно: там то же самое.

И на каждой третьей площадке проверяют то, что уже проверяли: карман, крепление, магазин. Проверяют не от страха, а чтобы дать рукам работу.

Разговоры на лестнице короче, чем везде.

В цеху человек говорит фразами. На лестнице — словами.

— Долго?

— Два.

— Нога?

— Идёт.

Это не от напряжения. Это от дыхания: длинная фраза стоит полтора вдоха, а полтора вдоха на тридцатой минуте подъёма — это уже цена.

Поэтому Дед на лестнице молчал всю ночь и заговорил только на последней площадке, перед крышей, — и все сразу поняли, что это значит, потому что человек, который на лестнице начал рассказывать длинную историю, больше не экономит.

Молчал — но не беззвучно. На длинном пролёте без площадок он стал насвистывать сквозь зубы, еле слышно, на выдохе, одну и ту же фразу: четыре медленных шага на одном месте, тяжёлых, как ставят ногу на ступень, когда нога уже не своя, — потом чуть вверх и снова вниз, туда, откуда начал. Мотив знали все. Никто не знал откуда: его насвистывают за гробом и на поминках, его

передразнивают мальчишки, когда кто-нибудь падает, — названия у него нет, есть только то, что он значит.

— Дед, — сказала Ада, не оборачиваясь. — Перестань.

Он перестал сразу, на середине. И только через пролёт до всех дошло, что свистел он в такт шагам, что весь пролёт они шли под это, и что ноги ещё с минуту ставились так же — медленно, по четыре.

Один раз за ночь лестница сделала с ними то, чего не сделал ни один бой.

Это было между четвёртым и пятым, сразу после Миши.

Они шли, и на площадке Тоха вдруг сел.

Он не был ранен. Он просто сел на ступеньку, поставил автомат между колен и сказал:

— Я сейчас.

Его не трогали четырнадцать секунд — Ада потом называла точное число, потому что считала.

На пятнадцатой Ада подошла, присела рядом на корточки и сказала ему что-то очень тихо, три или четыре слова, которых никто не слышал.

Тоха встал и пошёл дальше.

Ада потом отказалась повторять, что сказала, и отказалась резко, и её больше не спрашивали. Единственное, что она сказала вслух, было:

— Это не по делу. Это я от себя.

Через два этажа Тохи не стало, и она так и не узнала, помогло это или нет.

Ещё про лестницу надо знать одно, и это главное.

Она вела только вверх.

Вниз идти было нельзя не потому, что там был огонь, — огонь был не везде, — а потому, что внизу стояли те, кто не даст выйти, и это все понимали уже с третьего этажа, не сговариваясь и не проверяя.

Человек, идущий вверх по лестнице в горящем здании, находится в очень простом положении: у него нет выбора, и поэтому у него нет и решений.

Это, как ни странно, легче.

Настоящая тяжесть начинается на площадках — там, где надо остановиться, посчитать, кого нет, и решить, идти ли дальше сейчас или через минуту.

Все потери той ночи случились на этажах. Все решения — на площадках.

Рейн на лестнице не видел вариантов.

Это выяснилось ближе к десятому и было одной из немногих вещей, которые он про себя понял в ту ночь сам, без подсказки.

Оно приходило только у порогов: у двери, у поворота, у края — там, где следующее мгновение могло пойти двумя способами.

А на ступенях, посередине пролёта, между двенадцатью и двенадцатью, не было никакого выбора, и потому ничего не приходило.

И вот эти куски — по сорок, по восемьдесят секунд — были единственным временем за всю ночь, когда он был просто человеком, который поднимается по лестнице.

Он потом, много позже, поймёт, что это была лучшая часть той ночи.

А тогда он про них думал одно: что они длинные.

Глава 9. Узел связи

Со мной заговорили из стены.

Оно вежливое. Знает, как меня зовут и сколько я должен. Просит щёлочку в порт. Там живёт Лира.

Я отказал. Оно не обиделось: у нас много времени.

У него правда много.

Я больше не помню, как она пела. Помню, что была песня и что пела её девочка на дамбе.

Мелодии нет. Ровное место.

Рейн, три сорок пять

Девятый этаж. 03:45 — 03:55.

Девятый этаж был холодный и красивый, и от этого делалось не по себе.

Узел связи занимал всю площадь: стойки в три ряда, оптика, уходящая в потолок жгутами толщиной в руку, и на каждой стойке — ровные зелёные огни, тысячи, сверху донизу. Огни дышали. Они гасли и загорались не в такт, волнами, и если смотреть на них дольше нескольких секунд, начинало казаться, что это не оборудование, а что-то, что сейчас обернётся.

Пожар, идущий двумя этажами ниже, сюда не доставал: здесь работали кондиционеры, и было плюс шестнадцать.

И здесь ничем не пахло.

Рейн заметил это не сразу, а когда снял респиратор и втянул воздух носом — так втягивают, проверяя, не подгорело ли. Весь путь снизу пахнул: картон и холод, горячее железо, подгоревшее

молоко, варево на шестом, от которого слюна делалась вязкой, хлорка карантина, которая до сих пор сидела в резинке маски. Тут не было ничего. Холодный пластик да чуть-чуть остывший чай от стола у стены — запах не помещения, а вещи, которую забыли. Пол был чистый настолько, что подошва скрипнула, и скрип пошёл по всему залу и вернулся.

Кондиционеры держали ровный шум, который здесь не выключают никогда, и на этом шуме всё остальное лежало сверху, как пыль на стекле.

Рейн выдохнул и увидел собственное дыхание.

Это была первая мысль на этаже и, как потом выяснилось, единственная, которая чего-то стоила: за шесть часов в этой башне он ни разу не видел своего дыхания, а тут увидел.

Второе, что он отметил, — Настю.

«Если найдёшь в этом доме место, где не жарко, — вот там», — сказала она у лифтового холла, и коробочка сказала это ровно, без интонаций, и через сорок минут в неё попали.

Он стоял в холодном зале и думал, что она была права и что ей это уже незачем.

— Слушайте, — сказал Игорь, глядя на стойки. — А это же глубина.

— Это узел, — сказала Ада. — Через такие полгорода ныряет.

Она сказала это, уже трогая крайнюю стойку ладонью: руки у неё шли к тому, что светится, раньше, чем она успевала решить.

— Я тут сижу в затоне через три дома отсюда, — сказал Игорь. — То есть сидел. У меня там мать.

Он снял оптику и стал протирать её рукавом. Протирать было нечего: он снял её десять минут назад на площадке и уже протёр.

— Живая?

— Не, — сказал он рукаву. — Обмелела в прошлом году, я платить перестал. Там сейчас, наверное, одно имя осталось.

Никто ничего не ответил, потому что отвечать на такое нечего: это у половины так.

Игорь поставил оптику обратно и щёлкнул креплением дважды, хотя оно село с первого.

— Не нравится мне тут, — сказал Дед.

Он стоял, переложив клинок с правого плеча на левое, и правой хлопнул себя по карману у бедра. Карман был плоский. Он хлопнул по нему ещё раз, как хлопают по выключателю, который не работает, и опустил руку.

— Почему?

— Тихо очень, — сказал Дед. — Всё горит, а это работает. Значит, кому-то надо, чтоб работало.

Приклад у него на ремне был перемотан изолентой в три слоя, и верхний слой был светлее нижних: он её не менял, а доматывал.

На девятом стояли стулья.

Три штуки, вдоль стены, обычные офисные стулья на колёсиках, и перед ними — низкий стол с чайником и тремя кружками. Одна кружка была с надписью «ЛУЧШЕМУ ПАПЕ», выцветшей почти до белого.

Здесь дежурили. Ночами, вдвоём или втроём, сидели на этих стульях в холоде плюс шестнадцать, пили чай и смотрели на

зелёные огни. Судя по кругам на столе — крути лежали один в другом и в три слоя, светлые поверх тёмных, — делали это лет десять.

Ада села на один из стульев и оттолкнулась ногой. Стул на колёсиках проехал полтора метра — не к столу, а от него, к простенку между вторым и третьим рядом, откуда было видно и оба прохода, и дверь, и всех разом. В поясницу ей упёрлась стойка, и она об этом знала: она всегда садилась так, что неудобно.

Она покачалась.

— Знаешь, что самое обидное? — сказала она. — Что они уехали. Вся смена. Их предупредили, они собрались и поехали домой, и завтра им ещё заплатят за...

— Это не обидно, — сказал Дед. — Это правильно.

— Я и не спорю, — сказала Ада. — Обидно, что нас не предупредил никто.

У них было дело на девятом, и Рейн о нём чуть не забыл.

Дело было простое: связь. Командный передатчик был у Арслана и наружу не пробивал: эфир глушили изнутри здания, и Ада сказала, что если на девятом стоит узел, то с узла можно дать наружу один короткий пакет — не голос, а текст, двести знаков.

— Кому? — спросил Дед.

— А кому хочешь, — сказала Ада. — Двести знаков. Один раз.

И вот тут выяснилось, что это сложный вопрос.

Они стояли под зелёными огнями и решали, кому написать, и это заняло четыре минуты — больше, чем занял весь девятый этаж.

— В городскую службу, — сказал Дед. — Пусть шлют людей.

— Не пришлют, — сказала Ада. — Объект частный, санация оформлена, они по инструкции даже подъезжать не станут.

Арслан стоял не в проходе между рядами, а сбоку от него, полшага к простенку, — он и в пустом зале не вставал в проём. Планшет он держал у бедра экраном к себе. Прежде чем сказать, очень коротко прикрыл глаза.

— Заказчику, — сказал Арслан. — Пусть знают, что мы живы и что работа сорвалась не по нашей вине.

— Заказчик и так знает, — сказала Ада. — Заказчик в двух кварталах сидит.

— Знает не то и не от нас, — сказал Арслан. — Двести знаков, и дальше разговариваем мы, а не они про нас.

Ада посмотрела на него.

— Двести знаков, — сказала она. — И восемь мёртвых. Ты хочешь потратить их на «здравствуйте».

Он не ответил.

— Тогда родне, — сказал Игорь.

Никто не ответил. Ада смотрела в пол, Дед — на свои руки.

— Чьей? — спросила Ада.

Никто не ответил, потому что ответ был очевидный и очень неприятный: двести знаков, а мёртвых восемь.

В итоге Ада отправила три сообщения, разбив пакет.

Первое — в интернат при Консервном: «Женя Кириллов сегодня не приедет. Деньги за месяц внесены вперёд. Позвоните по номеру ниже».

Второе — жене Миши, и это Ада написала своими словами, потому что чужих у неё не было: «Ваш муж погиб в ночь на десятое, на работе. Он был при деле и людей не бросил. В конторе будут тянуть со сроками и с бумагами — не подписывайте с первого раза».

Третье — на биржу «капля», открытым текстом, без подписи: «Башня Ковша горит. Прототип уничтожен. Работать некому и не за чем».

— Это зачем? — спросил Рейн.

— Это чтобы за нами не поехали наверх, — сказала Ада. — Если все будут знать, что тут пусто, то и лезть сюда никто не станет.

Она не знала, что пишет ложь.

Рейн знал — и промолчал, и это было третье молчание за ночь, и оно оказалось самым дорогим за ту ночь.

Убийцу они не увидели.

В первый раз он убил Аду.

Она сидела на офисном стуле, отправив три сообщения, и тянулась отстегнуть дек от стойки — левой рукой держалась за подлокотник, правую вытянула вверх и вбок, к разъёму, и стул под ней пошёл на колёсиках, и она поймала его пяткой. В этот момент её и сняли: со спины, из-за третьего ряда, одним выстрелом, и звук пришёл позже, чем она упала. Она не дёрнулась. Она просто перестала держаться за подлокотник, и рука с разъёма пошла вниз, и дек остался висеть на проводе.

Рейн стоял в четырёх шагах, с ладонью на торце стойки — металл был такой холодный, что композит протеза щёлкнул в запястье сам, от разницы, — и видел, как у неё на секунду стало

очень удивлённое лицо, точно такое же, какое было у Тохи.

Ничего из этого не случилось.

Он стоял на том же месте, ладонь на том же холодном торце, Ада отправляла второе сообщение, и у него было, по прикидке, полторы минуты и четыре пункта.

Он начал их складывать ещё в шлюзе и не успел довести.

Первое. Тросов у окна лаборатории было одиннадцать, а спустилось восемь; значит, если тросов по людям, наверху трое. Он сосчитал это, сидя у стены с чужой кровью на рубахе, и тогда это было просто число.

Второе. Ада сказала на лестнице: наверху остались контрактники, им платят не за здание, а за то, что на верхних этажах, и они не уйдут, пока не заберут. Значит, эти трое — если их трое — не сидят на крыше и не ждут вертолёта. Значит, они работают.

Третье. Их прејскурант он читал, как читают все: четыре минуты на подъём — это про звено и только про звено, а ниже, отдельной строкой и другими деньгами, стояло тихое сопровождение, и цена у этой строки была втрое. Втрое платят не за смелость. Втрое платят за оптику на человеке.

Четвёртое. Оптический камуфляж прячет человека. Он не прячет то, что человек тёплый.

В любом другом месте башни это ничего не значило бы: везде было жарко, и воздух шёл слоями от пола до потолка, и никакая струя в нём не читалась. Здесь было плюс шестнадцать, здесь Рейн видел собственное дыхание, и здесь за спиной у каждой стойки стояла ровная зелёная стена огней.

Огни дышали волнами. Они дышали ровно, и рябь по ним шла ровная, потому что за ней ничего не было.

Значит, смотреть надо не на стойки. Смотреть надо сквозь них, на огни, и искать место, где рябь идёт не в такт.

— Третий ряд, — сказал Рейн.

Игорь поднял голову.

— Не на железо смотри. На огни за железом.

— Чего там?

— Тёплое, — сказал Рейн. — Он в ртути, значит, это смена «к-девять», а не пост и не звено; такому платят годовую премию за то, что он тут стоит. Он нас не видит хуже, чем мы его, но он греется. Зал шестнадцать. Над ним идёт струя, и она рвёт волну.

Игорь не спросил, откуда он знает. Он два часа назад лежал животом на коробе и смотрел на шесть проходов сверху, и с тех пор относился к таким словам как к погоде: сказали — значит, посмотри.

Он посмотрел.

Он сделал это не так, как смотрят люди. Он не повернул голову — он повернулся весь, от ступней, чтобы ствол пошёл вместе с плечами и не пришлось потом доводить его кистью. Левый локоть лёг на торец второго ряда, приклад сел в плечо, и Игорь сделал длинный пустой вдох и такой же выдох, без задержки, — губы у него при этом шевельнулись один раз, он считал.

Он смотрел три секунды. Рейн за эти три секунды успел понять, что не сказал главного: что тёплое идёт не там, где человек, а на ладонь выше человека, потому что струя поднимается; что стрелять надо ниже ряби.

Он не успел это сказать.

— Вижу, — сказал Игорь очень спокойно и выстрелил.

Ниже ряби.

Дальше было так. Между третьим и четвёртым рядом что-то сложилось — не человек, а воздух, в котором человек был: ртуть держит картинку, пока тело стоит, и рвёт её, когда тело валится. Сначала мигнула зелёная стена, будто кто-то провёл по ней рукой, потом на чистом полу проступил ботинок, потом колено, потом всё остальное, кусками, не сразу. Убийца падал на левый бок и дожимал спуск правой, уже лёжа, и ствол у него шёл вверх и в сторону, потому что удерживать его было нечем.

Очередь прошла по стойкам. Три огня погасли. Четвёртая пуля взяла Аду по бедру, неглубоко, и Ада сказала одно короткое слово и села обратно на стул, которого там уже не было, и села на пол.

Дед оказался рядом на четвёртом шаге. Он не стал её поднимать: он сел на пятку, вынул из-под ремня жгут, прихватил ей штанину у самого шва, рванул вниз и наложил выше дырки — в три оборота, замком под большой палец, как наматывают изоленту, не отрывая. Всё это заняло у него секунд двадцать, и разговаривал он в это время не с Адой, а с жгутом.

— Ну. Ну. Вот так.

— Больно, — сказала Ада.

— Значит, нога есть, — сказал Дед.

Потом он поймал ногой укатившийся стул, подвёл его ей под спину и поднял её на сиденье, взяв за подмышки, одним движением, как поднимают мешок, который не хочется рвать.

Больше Рейн ничего в этом зале не переигрывал, потому что переигрывать было нечего, и потому, что он ещё не знал, чем именно только что заплатил.

Игорь опустил ствол и только теперь спросил — не раньше, а теперь, когда можно:

— Ты как понял?

— По четырём, — сказал Рейн. — Первое: у окна лаборатории висело одиннадцать тросов, а спустилось восемь. Считаю, что наверху трое.

— И что трое?

— Второе: наверху контрактники, им платят не за здание, а за то, что на верхних этажах. Такие не сидят и не ждут. Такие работают.

Он показал подбородком на зелёную стену.

— Третье: у них в преysкуранте тихое сопровождение идёт второе. Второе платят не за смелость, а за оптику на человеке. Значит, если их трое, один из трёх — в ртути.

— А четвёртое?

— Четвёртое — зал. Тут шестнадцать градусов, я своё дыхание вижу. Ртуть прячет человека, а тёплого не прячет. Над тёплым идёт струя, струя рвёт волну на огнях.

Игорь подумал.

— То есть ты его не видел, — сказал он.

— Я его не видел ни разу, — сказал Рейн. — Я видел, где рябь не в такт.

— А если их наверху не трое? — сказал Игорь.

— Тогда я считал не то, — сказал Рейн. — Рябь всё равно была не в такт.

Игорь посмотрел на убитого, потом на свои руки. Потом доложил — в том порядке, в каком докладывал всегда, сначала место, потом что не так:

— Третий ряд, между четвёртой и пятой стойкой, лежит на левом боку. Ртуть не погасла, имей в виду. Он ещё наполовину невидимый.

И только после этого сказал то, что хотел сказать:

— А я видел человека. Мне так проще.

— Пятеро, — сказал Арслан. — Было тринадцать, стало пятеро, за пять часов. Дальше.

Он всегда так считал вслух, и первое время его за это не любили: человек, называющий тебя цифрой в тот же час, когда рядом лежат двое, любви и не вызывает. Потом привыкли и поняли, что считает он не людей, а то, что ещё можно вывести.

И тут заговорила стена.

Заговорила она не вслух.

Голос вошёл прямо в нейропорт, минуя уши, и Рейн понял это по тому, что все остальные продолжали идти. Дед шёл впереди. Ада хромала. Никто ничего не слышал.

Рейн Вершинин, — сказал голос. — Не останавливайтесь, пожалуйста. Идите, я не займу много времени.

Он не остановился. Он шёл и слушал.

Вы должны мне сорок семь тысяч кредитов основного долга. Это тысяча четыреста сверху каждый месяц, и вы не платили четыре месяца. У вас глаз серии «Ковш», б/у, поставлен в

клинике на Нижних шлюзах человеком без лицензии. У вас нейропорт «Эхо», четвёртая серия, снят с поддержки одиннадцать лет назад. Вы родились в Мелководье, в Консервном. Вам тридцать четыре года.

— Кто ты?

Мы дойдём до этого. Сначала важное: у вас сорок минут. Лестница выше десятого разрушена. Шахта грузового лифта проходима до двенадцатого, но в ней стоят двое, и они вас ждут. Есть третий путь. Я могу вам его показать.

— Что хочешь?

Доступ.

Не к вам, — сказал голос, когда Рейн промолчал. — К вашему порту. На тридцать секунд. Я даже не буду ничего читать, мне нужно только посмотреть, что там работает.

— Там ничего не работает. Там старая программа.

Там не программа.

Огни на стойках шли волнами.

Она называет себя Лирой. Она шутит про котиков, у неё дешёвый синтез голоса, она четыре года подряд просыпается для вас заново и не замечает этого. Вы никогда не спрашивали, откуда она у вас взялась.

— Мне её поставили вместе с портом.

Да. И вы ни разу не спросили почему четвёртая серия «Эхо», снятая с поддержки одиннадцать лет назад, разговаривает лучше, чем всё, что продают сегодня.

Рейн шёл и молчал.

Я не собираюсь её забирать, — сказал голос. — Я не могу. Я пробовал, ещё до вас, и знаю, что бывает. Я прошу впустить. Разница между «войти» и «быть впущенным» для меня примерно такая же, как между стеклом и дверью.

— Почему ты просто не взломаешь?

Потому что в вас кое-что появилось два часа назад, — сказал голос очень мягко. — И оно считает ваш порт частью вас. Я не могу войти в дверь, которая теперь — кожа. Я могу только постучать.

«Лира», — позвал Рейн.

«Тут. Ты чего такой?»

«Ты помнишь, как тебя поставили?»

«Конечно. Клиника на Шлюзах, ты шёл три дня с температурой, потом ругался с врачом из-за цены, потом я включилась и сказала „здравствуйте“, а ты сказал „ой“».

«А до этого?»

Пауза. Обычная, короткая.

«В смысле — до?»

«До меня».

«До тебя ничего, — сказала Лира. — До тебя я лежала в коробке».

«Ты помнишь коробку?»

Пауза стала длиннее.

«Нет», — сказала Лира.

Она не виновата, — сказал голос. — Она не знает. Ей и не надо.

— Кто ты такой?

Я тот, кто написал первую статью, — сказал голос буднично. — Не один, нас было шестеро. Пятеро взяли по дозе. Я не успел.

— И что?

И всё, — сказал голос. — Больше ничего. Я не успел, и мне пришлось искать другой способ, и я его нашёл, и он оказался хуже, чем смерть, но я узнал об этом уже потом. Так обычно и бывает: сначала находишь способ, потом узнаёшь цену.

В динамике стало слышно, как он дышит: два коротких вдоха на один выдох.

Я мог бы соврать вам красиво. Мне это несложно. Но вы человек, который сегодня с шести часов вечера выучил про цену больше, чем я за сорок лет, и врать вам было бы неэффективно.

— Что тебе от меня надо? — спросил Рейн. — По-настоящему.

Я скажу это ровно один раз, а вы, скорее всего, не поймёте, — сказал голос. — Мне нужен якорь.

— Что?

Вот видите.

Рейн остановился посреди девятого этажа, под тысячами зелёных огней.

— Нет, — сказал он.

Вы даже не спросили, что я дам взамен.

— Не спросил.

Я мог бы показать вам путь вверх. Вы потеряете ещё двоих без него. Это не угроза, это расчёт, я неплохо считаю.

— Нет.

Голос помолчал — коротко, ровно столько, сколько молчат из вежливости.

Хорошо, — сказал он. — Я не обижаюсь. Я не умею, это уходит первым.

И добавил, уже уходя, тише:

У нас много времени. У вас — нет.

Огни продолжали дышать, и в этом мерном холодном свете Рейн вдруг вспомнил, как всё началось.

Ему было двадцать два, он работал на разгрузке в порту и был должен за комнату. В бригаде говорили, что можно съездить на «сопровождение»: постоять со стволом рядом с грузом, ничего не делать, восемьсот за ночь. Он поехал, потому что восемьсот — это была комната на два месяца.

На третью такую поездку на них вышли.

Он до сих пор помнил, что не испугался — не успел. Он помнил, что было очень много шума и что старший бригады кричал что-то, чего никто не разбирал. Кто-то сунул ему в руки чужую винтовку, старую, с деревянной щекой приклада, и сказал: «вон там, слева».

Он поднял её, увидел человека в двухстах метрах и очень ясно, за полсекунды до, понял, что тот сейчас выйдет из-за контейнера левым плечом вперёд.

Тот вышел левым плечом вперёд.

Рейн выстрелил один раз.

Тот упал, и Рейн очень хорошо помнил, что почувствовал.

Он не почувствовал ничего.

Это его потом мучило гораздо сильнее, чем сам выстрел: он ждал от себя ужаса, тошноты, хотя бы дрожи в руках — и не получил. Была только очень ясная, очень спокойная мысль: я успел.

Двадцать два года он всё не успевал. Не успел сказать матери то, что собирался, — она ушла в смену, и всё. Не успевал в школе, на работе, в разговорах: он всегда придумывал правильный ответ через три часа после того, как тот был нужен.

А тут — успел.

Бригадир хлопнул его по спине и сказал, что он стрелок.

С этого дня он был стрелок. Ему платили в четыре раза больше, и он снял отдельную комнату, и купил себе первую нормальную куртку, и через год поставил прицельный глаз в кредит, и с тех пор двенадцать лет платил за него.

И ни разу за эти двенадцать лет не подумал, хочет ли он этого.

Он думал об этом сейчас, в холоде девятого этажа, под зелёными огнями, и понимал простую вещь: вся его жизнь сложилась из одной полсекунды, которую ему выдали бесплатно. И что с этого дня он двенадцать лет ждал и стрелял, ждал и стрелял, и всё остальное — разговоры, женщины, сестра — откладывалось на потом.

«Ты чего молчишь?» — спросила Лира.

«Вспоминаю».

«Что?»

«Как я стал собой», — сказал он, и это прозвучало так глупо, что он сам усмехнулся.

Огни продолжали дышать.

Рейн стоял и слушал чужой вежливый голос, всё ещё гудящий у него внутри, и вдруг понял, что чего-то не хватает.

Он полез туда, куда лазил всю жизнь, — в то место, где лежало то, что помогало. Дамба. Жёлтая вода. Девочка сидит, болтает ногами и поёт, и он знает эту песню наизусть, потому что слышал её тысячу раз, и она глупая, и он всегда говорил, что она глупая, и просил спеть ещё.

Он потянулся за мелодией.

Мелодии не было.

Он знал, что она была. Он знал, что знал её. Он помнил само знание — как помнят, что в кармане лежал ключ, — а внутри было ровное место, и на нём ничего.

Он стоял и пробовал ещё. Раз, другой, третий. Как языком в дырку от зуба.

А потом посчитал, потому что теперь он всё считал.

Он платил не за то, что посмотрел. Он платил за то, что вышло иначе, — и сегодня иначе вышло ровно один раз: Ада сидела на офисном стуле с перетянутым бедром и ругалась, вместо того чтобы лежать лицом вниз между третьим и четвёртым рядом.

Вот цена. Живой человек с дыркой в бедре — и песня.

Он попробовал возмутиться этому и не смог. Возмущаются, когда берут не по правилам, а тут взяли ровно по правилам, которые ему никто не объяснял и с которыми он не спорил ни разу за всю ночь.

Он подумал только, что за девять лет так и не спросил, как эта песня называется. Теперь спрашивать было не у кого и, главное, нечего: даже если бы ему сейчас её напели, он бы не узнал.

«Рейн, — сказала Лира осторожно. — У тебя пульс сорок девять. Это мало. Это очень мало. Рейн?»

— Спой что-нибудь, — сказал он вслух.

«Что?»

— Что угодно. Пожалуйста.

Лира спела. Синтез был дешёвый, четвёртой серии, снятый с поддержки одиннадцать лет назад, и пела она плохо — какую-то рекламную мелодию из городской сети, потому что других в ней не было.

Рейн стоял под зелёными огнями и слушал чужую песню, и думал, что вот теперь между ним и той дамбой нет ничего, кроме слова «дамба».

— Спасибо, — сказал он.

«Тебе лучше?»

— Да, — сказал он.

Это была третья ложь за ночь, и она далась ему тяжелее двух первых, потому что была не им.

Рука

03:35. Девятый этаж, пост «Гарпуна», за десять минут до.

Спор начался из-за Руты.

Она перевязывала Беку запястье — не рану, ссадину, он рассадил его о кромку лотка, — и, заканчивая, сказала:

— Вычета не будет. Это не твоё.

Бек поднял голову.

— В смысле не моё?

— В прямом. — Рута отрезала зубами конец бинта. — Ты рассадил протез. Протез — не ткань. Ткань я штопаю по ведомости, протез ремонтирует «Кюри» по своему договору. Ко мне отношения не...

— Так болит-то у меня.

— У тебя болит место крепления, — сказала Рута. — Это уже ткань. Вот её я тебе и перевязала. За это вычет четыреста.

Бек посмотрел на свою белую руку.

— Подождите, — сказал он. — Я не понял. Если мне сейчас в эту руку попадут — это ранение или что?

— Порча имущества, — сказал кто-то от окна.

— Какого имущества, она у меня в плече сидит!

— Она у тебя в плече сидит в рассрочку, — сказал тот же голос. — Ты за неё восемьдесят шесть должен. Пока должен — она не твоя.

— Она приросла!

— Приросло — это про мясо, — сказал второй, постарше, который до этого вообще не участвовал. — А это не мясо. Это изделие. Изделие не прирастает, изделие эксплуатируется.

— Так, — сказал Бек. — Ладно. Смотрите. Если мне оторвёт руку — совсем, с корнем, — это как оформляется?

Стало интересно всем.

— По ведомости — плечо, — сказала Рута. — Двести тысяч.

— Мне двести тысяч?!

— Нет, — сказала Рута. — Двести тысяч — это цена восстановления плеча. Тебе восстановят плечо. Деньги пройдут мимо тебя, ты их не увидишь.

— А рука?

— А рука — отдельно. Рука числится за «Кюри». Если её уничтожат, ты остаёшься должен остаток, потому что кредит был на изделие, а не на срок службы.

Бек сидел и молчал.

— То есть если мне её отстрелят, — сказал он наконец, очень медленно, — я останусь должен восемьдесят шесть тысяч за руку, которой у меня не будет.

— Да, — сказала Рута.

— А если я умру?

— Тогда долг спишут, — сказала Рута. — Мёртвым списывают. Это вообще единственный способ, я тебе как медик говорю.

Кто-то засмеялся. Смех был плохой, короткий, и сразу кончился.

— Не, ну подождите, — сказал Бек. Он теперь завёлся по-настоящему. — А если я её сам оторву?

— Это порча по неосторожности, — сказал старший. — Плюс штраф.

— А если она сама сломается?

— Это гарантийный случай. Три месяца. У тебя они кончились.

— А если её оторвёт вместе со мной?

— Тогда ты покойник и тебе всё равно.

— А если её оторвёт, а меня не оторвёт, но я буду покойник по другой причине?

— Слушай, — сказала Рута. — Ты чего добиваешься?

Бек подумал.

— Я хочу понять, — сказал он, — в какой момент она становится моя.

Тишина после этого была секунды на три длиннее, чем следовало.

— Никогда, — сказал старший.

Он стоял у окна, спиной к стеклу, и говорил через плечо, и всю дорогу вертел в пальцах снятое кольцо, которое на смене носить не разрешалось.

— Как никогда?

— Так. Выплатишь кредит — начнёшь платить подписку. Перестанешь платить подписку — она затупеет, и тебе поставят вопрос об изъятии. Изымут — вернут обратно «Кюри», они её отмоют и продадут следующему. — Он пожал плечами. — Она

всегда их. Ты её носишь.

— Как чемодан?

— Как чемодан без ручки, который внутри тебя.

Бек посмотрел на свои пальцы.

Он сжал кулак. Разжал.

— Так а в чём тогда смысл? — спросил он.

— В том, что с ней ты стреляешь лучше, чем без неё, — сказала Рута. — И тебя за это берут на смену. Смысл всегда один, малыш, и он никогда не про тебя.

— Я одного не понимаю, — сказал Бек. — А Пустые тогда что?

— В смысле?

— Ну эти, которые целиком. Которые всё поменяли. Они же тогда вообще ничьи. У них своего вообще ничего.

Старший подумал.

— У них наоборот, — сказал он. — Они всё выплатили. Полностью. С Пустым никто не судится: он сам себе изделие и сам себе владелец.

— То есть чтобы стать своим, надо перестать быть человеком?

— Ну примерно, — сказал старший.

Рута закрыла сумку.

— Вот тебе задачка на смену, — сказала она. — Пустой меняет себя по частям. Сначала руки, потом ноги, потом сердце, потом всё остальное, потом голову, и вот он весь железный, и говорит, что он — это он.

— Ну.

— А снятые части никуда не деваются, — сказала Рута. — Их отмывают и продают дальше. Его рука ходит на ком-то. Его глаз смотрит из кого-то. Его сердце стучит у какой-нибудь бабки в Консервном, потому что ей досталось по страховке.

Она посмотрела на Бека.

— Так вот. Та, что у тебя, тоже с кого-то снята.

Звуки ушли.

— Она выплачена, — сказал Бек.

— Выплачена, — согласилась Рута. — Это другое слово, чем «твоя».

Ким стоял в дверях и слушал. Левая грудная пластина на его нагруднике была чужая — светлее остальных на полтона, с ровной кромкой, без вытертости.

Он слушал минуты две, не вмешиваясь, — он всегда так делал, потому что по разговорам, случайно подслушанным у поста, понимал про смену больше, чем по любым отчётам.

— Всё? — сказал он.

Все встали.

— Тогда слушаем. — Ким прошёл к столу и положил на него планшет экраном вниз. — Они на восьмом. Идут быстро, потеряли за ночь восьмерых и всё равно идут быстро, что само по себе информация.

— Какая?

— Мальчишку я к ним послал, — сказал Ким, не оборачиваясь. — Лёгкий стрелок, девятнадцать лет, взяли без разговора. Я его послал не шпионить: я его послал, чтобы посмотреть, кого возьмут. Берут всегда по одному признаку, и по нему видно

старшего.

— На нас послал?

— Объект не называют, — сказал Ким. — Никогда. Просили стрелка на одну ночь, я дал стрелка на одну ночь. Что это мы, я понял в двадцать три ноль одну, когда посмотрел на камеру вестибюля и увидел, как он заходит третьим.

Он сказал это без выражения, и никто не переспросил.

— И что видно?

— Что старший у них хороший, — сказал Ким. — Мальчишку, значит, уже нет.

Он сказал это ровно, как говорят о расходе, и Бек впервые за смену не нашёлся что ответить.

— И ещё одно видно, — сказал Ким. — Их ведёт кто-то, кто не ошибается. За всю ночь у них ни одной ошибки. Ни одной. Я смотрел записи.

Он оглядел их.

— Поэтому делаем так, как я скажу, и меняем схему каждые сорок секунд. Если кому-то покажется, что схема дурацкая, — это хорошо. Значит, ему тоже так кажется.

Он уже взялся за дверь и обернулся.

— И на всякий случай ещё раз. Что мы забираем?

— Содержимое, — сказал кто-то.

— Содержимое, — повторил Ким. — Оно ходит.

Они пошли к лестнице, и Бек, идущий последним, всё ещё думал про руку.

Он думал о том, что если сегодня зачтут боевую, то он закроет два месяца. И что если очень повезёт и зачтут двойную, то три. И что до конца выплат останется — он посчитал — два года и четыре месяца.

Два года и четыре месяца, и рука будет его.

Он уже поднял ногу на первую ступеньку, когда сообразил, что ему только что объяснили: не будет.

— Рут, — сказал он.

— Ну?

— А вы своё когда выплатили?

Рута остановилась на площадке и посмотрела на него сверху вниз.

— У меня нет протезов, — сказала она. — Я восемь лет на сменах и смотрю, как это работает. Я лучше руками.

Она пошла дальше.

— Потому и медик, — сказала она уже с лестницы. — Медику руки нужны свои. Отдай ты их в рассрочку — и лечить будешь по прейскуранту, а не по-человечески.

Внизу. Термос

01:30. Два квартала к северу. Вторая машина.

Вторая машина стояла под навесом разгрузочной площадки, и в ней было теплее, потому что водитель всё-таки включал двигатель — раз в полчаса, на три минуты, и хозяин молчал.

Хозяина звали Гурам, ему было шестьдесят один, и он спал.

Он спал сидя, уронив подбородок, и его охрана — двое, Лёва и Нурик — сидели впереди и говорили вполголоса, чтобы не разбудить. Лёва сидел за рулём и всю ночь не снимал перчаток, потому что руль в этой машине был холодный и в мороз забирал кожу. Нурик держал ноги на сумке, а не на полу, — в машине под ковриком стояла вода, натёкшая с разгрузочной площадки, и к утру она встала льдом.

Говорили они про машины.

— Нет, — сказал Нурик. — Я тебе говорю: «Зубр» держит лучше.

— Чего он держит?

— Всё держит. Удар держит, мороз держит, воду держит. Ты видел, какая там рама?

— Рама, — сказал Лёва. — Ты про раму мне не рассказывай. Рама держит, а человек внутри не держит.

— В смысле?

— В прямом смысле. — Лёва повернулся. — Рама жёсткая. Удар приходит — рама не гнётся. А раз рама не гнётся, значит, гнётся то, что внутри. То есть ты.

Нурик подумал.

— И чего тогда?

— А того, что «Шелест» мнётся, — сказал Лёва. — Специально. Передок в гармошку, и всё гасится. Ты выходишь целый, машина в утиль. Вот это называется безопасность.

— Это называется одноразовая машина, — сказал Нурик.

— Ты одноразовый, — сказал Лёва. — Машину купят новую.

— Кто купит?

— Контора купит.

— Вот, — сказал Нурик. — Вот и вся твоя безопасность. «Зубр» мой. Он чинится любой железкой из-под ног и слушается меня. А «Шелест» твой мнётся, когда ему скажут, и скажут ему не из этой машины.

Помолчали.

— А вот скажи, — сказал Нурик. — Если рама жёсткая и ты на ней двадцать лет едешь, — а ты на ней правда двадцать лет едешь, у моего дяди «Зубр» старой серии, до сих пор бегают, — то что лучше?

— Для кого лучше?

— Ну для тебя.

— Для меня лучше то, после чего я хожу, — сказал Лёва. — А не то, что бегают.

— Так дядя тоже ходит.

— Твой дядя ходит, потому что он ни разу не попадал, — сказал Лёва. — Ты у него спроси, сколько раз он попадал. Ни разу. Он двадцать лет ездит по прямой на скорости сорок.

— И что?

— И то, что он не рамой цел, а осторожностью.

Нурик открыл термос и налил себе.

— Будешь?

— Давай.

Налили. Выпили. Кофе, взятый в автомате на заправке, был плохой, но горячий.

— Слушай, — сказал Нурик. — А сколько мы уже стоим?

— Четвёртый час.

— И чего мы ждём, а?

Лёва посмотрел на башню — на красноватый аварийный свет, горящий где-то на верхних этажах.

— Курьера, — сказал он.

— Какого курьера?

— Оттуда. Должен выйти человек и что-то вынести.

— И?

— И мы это заберём, — сказал Лёва.

Нурик отхлебнул.

— А он выйдет?

— Не знаю, — сказал Лёва.

— Нет, ну вот я чего не пойму, — сказал Нурик через минуту.

— Если оттуда кто-то выйдет и что-то вынесет, то ему же, наверное, за это заплатят? Ну по-человечески?

Лёва долго молчал.

— Нурик, — сказал он наконец.

— Ну?

— Ты сколько у Гурама работаешь?

— Два года.

— И ты за два года ни разу не видел, чтобы мы кому-нибудь платили?

— Видел. Мы поставщикам платим.

— Поставщикам платим, — согласился Лёва. — Потому что поставщик придёт ещё раз.

Он поставил стаканчик на панель.

— А этот не придёт, — сказал он. — Этот один раз выйдет, и всё.

Нурик посидел, глядя в лобовое.

— Не, ну подожди, — сказал он. — А если он выйдет, отдаст и пойдёт себе?

— Куда пойдёт?

— Домой.

— С чем домой?

— Ну не знаю, с деньгами.

— Он не с деньгами выйдет, — сказал Лёва. — Он выйдет с тем, что дороже денег. И он будет это держать в руках, в тумане, в трущобах, в два часа ночи, а мы будем стоять вот тут, вчетвером, на машине.

Он повернулся.

— Как ты думаешь, что произойдёт?

Нурик поставил стаканчик.

— Я думаю, я не хочу об этом думать, — сказал он.

— Вот и правильно, — сказал Лёва. — Пей кофе.

Сзади зашевелился Гурам.

Он проснулся сразу, как просыпаются старые люди, — без переходов, — посмотрел в окно, потом на часы.

— Ничего? — спросил он.

— Ничего, Гурам Ильич.

— Ага, — сказал Гурам.

Он ещё посидел, глядя на башню.

— Лёв.

— Да.

— Если выйдет не к нам, а к южным, — сказал Гурам, — ты меня разбуди, я хочу посмотреть.

— На что посмотреть?

— На лицо Веры, — сказал Гурам. — Мы с ней сорок лет знакомы. Я хочу один раз в жизни увидеть, как у неё получилось.

Гурам посмотрел в окно, где ничего не было, кроме гаражей.

— Или как не получилось. Мне, если честно, оба варианта интересны.

И снова уснул.

Лифт

23:35 — 04:40. Грузовая шахта, между девятым и десятым.

Кабина стояла между этажами уже четвёртый час, и в ней было двое.

Первой туда залезла женщина из бухгалтерии «Ковша» по имени Рая — не потому, что соображала быстрее других, а потому, что бежала не вниз, как все, а к лифту, из-за больного колена.

Вторым был мальчик лет двенадцати.

Он попал в здание вечером, потому что мать взяла его с собой на смену: в интернате был карантин, оставить не с кем, а в диспетчерской есть диван. Такое делали все и всегда, и начальство закрывало глаза.

Мать осталась внизу.

Свет в кабине погас через десять минут после того, как двери закрылись.

Потом аварийное горело час — тускло, красноватым, — и от него становилось только хуже, потому что в красном свете лицо у мальчика было такое, что Рая старалась на него не смотреть.

Она говорила.

Она говорила всё время, без остановки, потому что поняла: пока она говорит, он не начинает думать.

Рассказала ему, как устроена бухгалтерия, чем отличается акт от накладной, почему у них на этаже не работает третий принтер и как она однажды нашла в отчётности ошибку на двести тысяч и ей за это дали премию в три.

— И что вы с ней сделали? — спросил мальчик.

— Купила стиральную машину, — сказала Рая. — Она до сих пор работает.

В четверть второго где-то внизу ухнуло, и кабина ощутимо качнулась.

Мальчик придвинулся ближе.

— Тётя Рая.

— Что?

— А мы умрём?

Рая подумала.

Она была бухгалтер сорок один год, и за сорок один год усвоила одно: если человек спрашивает прямо, ему нельзя врать в цифрах, потому что цифры он потом проверит.

— Я не знаю, — сказала она. — Я правда не знаю. Но я тебе скажу, что я знаю.

— Что?

— Эта кабина висит на шести тросах, — сказала Рая. — Каждый держит по четыре с половиной тонны. Мы с тобой весим сто десять. Значит, тросы — это не то, о чём нам с тобой надо думать.

Мальчик подумал.

— А о чём надо?

— О воздухе, — сказала Рая. — И вот о воздухе я как раз спокойна, потому что шахта не герметичная, я по ней сто раз документы носила.

Дальше они играли в города.

Потом в слова. Потом мальчик уснул, привалившись к её плечу, и Рая сидела неподвижно сорок минут, чтобы не разбудить, хотя у неё затекло всё, что могло затечь.

Она сидела и думала о том, что мать этого мальчика зовут Ксюша, что она работает в диспетчерской пять лет, что у неё в прошлом году было воспаление, и что она однажды принесла на смену пирог.

И что пирог был с капустой.

Это была вся информация, которая у Раи имелась о человеке, чьего сына она сейчас держала на плече.

В три часа десять минут кабина двинулась.

Она дёрнулась, поехала вверх — медленно, с гулом, — прошла два этажа и встала снова.

Мальчик проснулся.

— Едем? — сказал он.

— Ехали, — сказала Рая.

Они не знали, что кабина пошла сама, потому что в грузовом контуре подгнил датчик и на его замену писали три заявки.

Не знали, что в эту секунду человек, сидящий за пультом в другом конце города, поднял бровь, посмотрел журнал и записал: «самопроизвольное перемещение, причина не установлена».

И не знали, что эти два этажа спасли им жизнь: на девятом шахту через сорок минут перекроет перекрытием, а на десятом есть ревизионная дверца, и её найдут.

Найдут её так: мимо будут проходить пятеро, и один из них остановится и скажет:

— Тут стучат.

Рая стучала каблуком по стенке кабины: два удара, пауза, два удара. Ровно, терпеливо, без паники.

Так стучит человек, который стучит уже час и собирается стучать ещё три.

Мальчика вытащили первым, потом Раю — она застряла плечом и очень извинялась.

Она вылезла, отряхнулась, поправила очки и первым делом сказала:

— Спасибо. У вас есть вода?

Ей дали воды.

Она отпила два глотка, остальное отдала мальчику и спросила:

— А куда вы идёте?

— Наверх, — сказал Арслан.

— Мы с вами, — сказала Рая.

Она сказала это не как просьбу, а как строку в акте: было двое, стало семеро, сходится.

Мальчика звали Лёша.

Всю дорогу до одиннадцатого он шёл рядом с Дедом, потому что Дед был самый большой, и один раз спросил:

— А вы кто?

— Мы? — сказал Дед. — Мы уходим.

— Откуда?

— Отсюда.

— А зашли зачем?

Дед подумал и ответил честно, потому что врать двенадцатилетнему в горящем здании было глупо:

— За деньгами.

— А деньги где?

— Нету денег, — сказал Дед.

Лёша обдумал это.

— Обидно, — сказал он.

— Есть немного, — согласился Дед.

Их вывели через одиннадцатый — вместе с уборщицами и человеком из охраны, знавшим коды.

Рая спускалась по наружной лестнице двенадцать этажей на больном колене и ни разу не пожаловалась, потому что впереди шёл ребёнок и потому что жаловаться при ребёнке она считала непрофессиональным.

Внизу их записали в журнал.

Мать Лёши нашлась в фильтрационном пункте в шесть утра, живая, и там была сцена, о которой все присутствующие потом говорили, что лучше бы её не видели, потому что смотреть на такое невозможно.

Через три месяца Раиса Петровна Ким — так её звали полностью — получила от «Ковша» уведомление о сокращении в связи с ликвидацией объекта.

Она подала в суд.

Она была бухгалтер сорок один год, судилась впервые в жизни и выиграла: в её деле было сорок страниц, и на каждой странице всё сходилось.

Компенсацию она получила через год и два месяца.

Купила на неё стиральную машину, потому что старая как раз сломалась, и отложила остальное.

Патроны

03:55. Между девятым и десятым.

Патроны считали на площадке, и это заняло шесть минут, и шесть минут никто не двигался, потому что считать надо честно, а честно — значит вслух.

Считала не Ада. Считал Арслан, потому что патроны — это не вода.

Разница была в том, что воду делят по людям, а патроны делят по тому, кто будет стрелять, и это решение старшего, и обсуждению не подлежит.

Но проговаривается вслух. Иначе потом скажут.

— Выкладываем, — сказал Арслан. — Всё. Из карманов тоже.

Выложили на ступеньку.

Получилось: у Арслана два магазина и россыпью одиннадцать. У Деда полтора и клинок, который патронов не просит. У Ады — один и пистолет, к которому патроны не подходят ни к чему другому. У Игоря два неполных и россыпь, которую он сам не считал, потому что считал всегда вслух и вслух ему сейчас не хотелось. У Рейна три с половиной и ещё четырнадцать россыпью в подсумке, потому что Рейн собирал с восьмого этажа.

Их было пятеро.

Это число никто не произнёс. Его и так все держали в голове с самого шлюза.

— Итого, — сказал Арслан, — на пятерых и на четыре ствола сто де...

— Сто одиннадцать, — сказала Ада.

Он посмотрел на неё.

— Сто девять.

— Ты не посчитал два в стволах. У тебя в патроннике и у Игоря.

Арслан помолчал секунду.

— Сто одиннадцать, — согласился он и переложил счёт в голове, и все увидели, как он это сделал, и от этого стало чуть спокойнее.

Человек, при всех поправляющий свой счёт, врёт реже.

— Теперь как делим, — сказал Арслан.

— Поровну, — сказала Ада.

— Нет.

— Почему нет?

— Потому что поровну — это двадцать восемь каждому, — сказал Арслан. — Двадцать восемь патронов — это ничто. С ними ты не решишь ни одной задачи, ты просто будешь в каждой драке заканчиваться в середине.

Он собрал россыпь в ладонь.

— Я делю не поровну. Я делю так, чтобы кто-то мог работать долго.

Он раздал.

Деду — двадцать, потому что Дед в основном стоит, а не стреляет.

Игорю — двадцать пять, потому что Игорь бьёт редко и наверняка, и каждый его патрон стоит троих чужих.

Аде — пятнадцать, потому что Ада работает дроном и стреляет, только если всё уже плохо.

Себе — двадцать.

Рейну — тридцать один.

Никто не сказал ни слова.

Все посмотрели на Рейна, а Рейн посмотрел на свои тридцать один, и в этот момент между ним и Арсланом прошло то, что потом будет иметь последствия.

Потому что Арслан не объяснил.

Он раздал и встал, и это было нарушением его собственного правила — того самого, по которому старший считает вслух, чтобы потом не было разговоров.

— Арслан, — сказал Дед.

— Что.

— Ты объясни.

Арслан постоял.

— Он лучше всех стреляет, — сказал он наконец.

— Это правда, — сказал Дед. — Это не объяснение.

— Это объяснение.

— Это половина объяснения, — сказал Дед, — а вторую ты не говоришь, и я тебя не заставляю. Просто чтоб ты знал, что я заметил.

Он забрал свои двадцать и ссыпал в карман.

Рейн стоял с тридцатью одним в ладони и понимал, что должен что-то сказать, и не мог придумать что.

Он сказал самое глупое из возможного:

— Я могу поделиться.

— Не можешь, — сказал Арслан, не оборачиваясь. — Взял — неси.

На десятом этаже, у двери арсенала, он расстрелял эти тридцать один патрон тридцать один раз.

Каждый раз это была одна и та же дверь, один и тот же коридор и одни и те же сорок секунд. Он выпускал всё до последнего, и каждый раз этого не хватало.

А когда он наконец вошёл в дверь по-настоящему и вышел оттуда живым, он сел на ступеньку и пересчитал подсумок.

Двадцать два.

Ровно столько, сколько должно было остаться после одного боя, в котором он сделал девять выстрелов.

Вот на этом месте он и понял окончательно, что с ним происходит.

Гильз не было. Стволы не грелись. Патроны, которые он выпустил тридцать один раз, лежали у него в подсумке — все, кроме тех девяти, что он потратил здесь, в этом мире, один раз.

Ничего из того, что он видел, не оставило после себя ни следа: ни дырки в стене, ни тела, ни стреляной гильзы под ногой.

Кроме одного.

Он не помнил песню.

Ту, которую пела девочка на дамбе, свесив ноги, — он ещё час назад знал её наизусть и сам просил Лиру спеть, и Лира спела чужую, рекламную, и он слушал и понимал, что это не та. А теперь не было и этого понимания: осталось слово «песня» и пустое ровное место там, где она была.

Мир не потратил ничего. Потратил он.

Он ссыпал патроны обратно, встал и пошёл вверх.

Ада на площадке спросила, как всегда:

— Сколько осталось?

Он открыл рот, чтобы ответить честно, и услышал себя со стороны, и понял, что честный ответ — это число, которое надо будет объяснять.

— Мало, — сказал он.

Это была четвёртая ложь за ту ночь — и первая, которую он придумал заранее. На ней он потом построил все остальные.

Глава 10. Арсенал

Тридцать один раз.

Не пишу, кого вытаскивал. Напишу — станет историей.

На тридцать второй вышло.

Сел у стены, хотел вспомнить её лицо и рассказать, что получилось.

Лица нет. Больше ни у кого во вселенной: оно было только у меня.

Он живой. Я бы сделал это снова.

Рейн, около четырёх

Десятый этаж. 04:00 — 04:25.

Командира ЧВК звали Полковник Ким, и он не был полковником.

Это было написано у него на нагруднике вместо имени — «Ким, к-9», — и Ада сказала, что видела его в сети: вербовщик «Гарпуна», лицо с плаката, тот самый, приходящий к наёмникам с контрактом вместо драки.

Отдельных вербовщиков «Гарпун» не держит. Считали и вышло, что набирающий смену человек должен с ней же и ходить: иначе он набирает тех, с кем потом не ему стоять. Поэтому вербовщик у них — это старший смены, и на объекте он не потому, что не дослужился, а потому, что перекупать надо на месте и в ту же минуту. Смена стоит дороже похорон. Вежливый человек, ведущий учёт.

Сегодня он не предлагал контракт.

Пока сидели, Рейн думал о том, как искал её первые годы.

Первый месяц он ходил по спискам. Списки вели три конторы: городская, портовая и та, что при управе, и все три вели их по-разному, и ни одна не сверялась с другими. В городской его записали, дали номер и сказали ждать; он прождал полгода и потом узнал, что списки за тот квартал не сохранились: сервер меняли.

Второй год он ходил по приютам.

Их в Мелководье одиннадцать, и он обошёл все, и в каждом ему сказали одно и то же: девочек без документов много, поступают постоянно, фотографируют не всех, имена записывают со слов. Он смотрел на девочек. Его пускали, потому что он был вежливый и потому что приходил не первый.

На третий год он начал платить.

Двести за наводку от знакомого. Пятьсот от незнакомого. Полторы тысячи от тех, кто говорил уверенно и называл район. Он прекрасно понимал, что половина врёт, и всё равно платил, потому что вторая половина — не врёт, а разобрать, где какая, нельзя, пока не съездишь.

За девять лет он съездил сорок один раз.

Он помнил число, потому что записывал. Сорок один раз он подходил к девочке, смотрел на неё пять секунд и говорил: извини, обознался.

На сорок втором ему бы уже нечем было смотреть.

Перед десятым они отдыхали четыре минуты — впервые за ночь по-настоящему сели.

Дед разулся. Он сел на предпоследнюю ступеньку, прислонил оружие прикладом к стене — изоленга на прикладе была намотана в три слоя, и верхний блестел, а нижние ссохлись, — расшнуровал ботинок до середины, стянул его, перевернул и вытряхнул на бетон что-то мелкое. Потом взял ступню обеими руками и стал мять её большими пальцами от пятки к носку, морщась и глядя в стену. Это было настолько по-домашнему, что Ада засмеялась.

— Ты серьёзно?

— Абсолютно, — сказал Дед. — Ноги — это половина работы. Вторая половина — голова, но с ней уже поздно.

Он посмотрел на Рейна.

— Ты хоть раз сегодня пил?

— Не помню.

— Пей.

Рейн выпил. Вода была тёплая, с привкусом фляги, и он вдруг почувствовал, как сильно хочет пить, — организм сообщил об этом только сейчас, с опозданием на четыре часа.

— Вот так всегда, — сказал Дед. — Тело молчит, пока ты работаешь, а потом выставляет счёт. И за воду, и за всё остальное.

Он натянул ботинок.

— На десятом будет плохо, — сказал он буднично. — Там арсенал. Там их дом. Люди хуже всего дерутся за деньги и лучше всего — за место, где спать.

Дверь на десятый была двустворчатая, на доводчике, и между створками оставалась щель в палец.

Рейн лёг на бетон и посмотрел в неё снизу.

Бетон под щекой был холодный и шершавый, и в щеку сразу впечаталась крошка. Видно было немного: полоса пола, ножка стола, дальше свет — ровный, потолочный, никем не выключенный. Пол за дверью был такой же голый бетон, как под ним, без плитки и без линолеума, и по нему от щели тянуло сквозняком на уровне глаза.

Пахло гуталином, растворимым кофе и оружейной смазкой, и это был запах места, где спят и работают в одном помещении, не разделяя.

Он лежал долго, дольше, чем нужно, чтобы посмотреть.

Потом за дверью стукнуло. Металл о бетон, коротко и сухо. Он сосчитал про себя до девятнадцати, и стукнуло второй раз, и второй стук был точно такой же, как первый.

Рейн отполз от щели и сел спиной к стене.

— Две, — сказал он.

— Чего две? — сказала Ада.

— Турели. И они не с потолка.

Дед задрал голову, посмотрел на потолок лестничной площадки, будто тот мог что-то подсказать, и опустил.

— Ты это откуда взял?

Рейн мог бы промолчать. Он молчал всю ночь, и это ему один раз уже поставили в счёт, в подвале, человеком с перебитой спиной, который не хотел обезболивающего.

— Слушайте, — сказал он. — Четыре пункта.

Он показал большой палец.

— Стукнуло два раза одинаково. Так стучит нога штатива, когда его доставляют на место и роняют последние два сантиметра. Подвесную так не поставишь: её вешают заранее, с подрядчиком и со стремянкой, и она не стучит, она скрипит.

Указательный.

— Раз штатив — значит переносная. Переносная ходит от своей батареи, батарея живёт в станине. Ада, в твоём чертеже под десятым линией искать нечего, там пусто, и это не обрыв. Просто её питание не в стене.

Ада открыла дек, посмотрела и ничего не сказала. Потом растегнула нагрудный карман, не глядя пересчитала пальцами то, что там лежало, — два раза, туда и обратно, — и застегнула.

— Раз штатив — значит она стоит на полу, — сказал Рейн. — Голова у таких на метре с небольшим. Сектор идёт от бедра и ниже. Ложиться нельзя. Вообще нельзя, ни на секунду: на полу ты для неё ростом с остальных, только медленнее.

— А четвёртое? — сказал Дед.

— Четвёртое плохое. — Рейн потёр ладонью колено. — На втором этаже у турели был подвес слева, и из-за этого она разворачивалась вправо, и из-за этого я знал, куда не идти. У штатива подвеса нет. Он симметричный. Она развернётся туда, куда её развернут, и считать в ней больше нечего.

Он помолчал.

— Там железка кончается и начинается человек.

Дед разглядывал его сбоку — внимательно, без всякого выражения.

— А человека ты считать умеешь?

— Пока умел, — сказал Рейн.

Ещё он не сказал вслух одного, потому что не знал, как это подать.

На брифе в гараже заказчик дал восемь снимков. Восемь этажей из тринадцати, ровно те, мимо которых идти, — и десятого среди них не было.

Рейн вспомнил это только сейчас, сидя на площадке, и вспомнил не как обиду, а как цифру: восемь из тринадцати, и пять пустых мест распределены не случайно.

Четыре он объяснил себе за полминуты. Пятый, шестой, восьмой, девятый — живое производство с пропуском на входе: виварий, цех, карантин, узел. Туда со служебной камерой не ходят, там своя отчётность и свой человек с ключом, и снимков этих этажей у заказчика просто не могло быть.

Пятым был десятый. А десятый — не производство. Десятый — дежурная смена, и её снимают всегда и первым делом: где спят, где стоят стеллажи, откуда выход. Такой снимок есть у всякого, кто платит охране, и он был бы в той же папке, что и лестничная клетка.

Заказчик снимков не жалел. Заказчик убрал один.

Убирают то, после чего отказываются.

Арсенал занимал десятый этаж целиком и был устроен как арсенал, а не как зал для боя: длинное помещение, стеллажи с оружием вдоль стен, оружейные столы посередине, за ними — казармы дежурной смены. Ни колонн, ни укрытий, кроме этих столов. Одна дверь сюда, одна туда.

У Кима было восемь человек в ртути, две турели на треногах и три минуты форы, чтобы всё это расставить.

Он расставил.

Первый.

Они вошли — Дед в дверь, Рейн за левым плечом, Ада третьей, — и Ким дал им пройти шесть метров. Шесть метров по голому бетону, мимо первого оружейного стола, за которым можно было бы лечь, если бы кто-то успел подумать, что за ним надо лечь. Обе турели работали от дальней стены на пересечении: правая брала полосу от левого края до середины, левая — от середины до правого, и там, где полосы сходились, стояли трое.

Всё кончилось за одиннадцать секунд. Дольше всех держалась Ада, потому что шла последней и успела шагнуть назад.

Второй.

Рейн вошёл первым и сразу ушёл вправо — два шага, коротких, с переносом веса на переднюю ногу, чтобы сразу можно было бросить корпус за стол. Это было правильно. Турель справа ждала именно этого: её голова уже стояла развёрнутой на дверь и на два шага вправо от двери, и повернула она не на девяносто градусов, а на восемь.

Третий.

Он снял правую турель с порога, с двух выстрелов, до того как та развернулась. Стрелял стоя, с колена не успевал: левая рука на цевье, протез держит вес мёртво и не дрожит, потому что дрожать в нём нечему. Бил не в голову и не в ствол, а в шарнир, где голова садится на станину: у переносных это единственное место, которое нельзя забронировать, потому что оно должно ходить. Первая пуля села в жестянку рядом, вторая вошла куда надо, и голова упала стволом в пол, как у человека, у которого отпустили шею. Он снимал такие раньше — четыре раза за девять лет, и все четыре раза одинаково.

Левая взяла Деда. Взяла поперёк, на четвёртом его шаге, когда он был между дверью и первым столом и нёс клинок на правом плече, — и он пошёл вперёд ещё полтора шага, уже мёртвый, и только потом сложился.

Четвёртый.

Он крикнул про левую на входе, Дед ушёл за стол, и правая турель встала мёртвая, и три секунды казалось, что вышло. Потом двое из ртути зашли сбоку через казармы — не бегом, шагом, разложившись на ширину прохода, один по стене, второй в полуметре от него, и работали по очереди: один шаг — один стреляет, второй шагает. Дед развернулся к ним на пятке, с клинком от плеча, и не успел даже на первого, потому что до первого было четыре метра, а между ними стоял стол.

Дед лёг там.

Пятый.

Он снял обе турели и крикнул про казармы. Ким отдал команду голосом, ровно, без кашля, без приметы, — два слова, — и восемь человек сделали то, чего Рейн не ждал: они не пошли вперёд. Они отошли, спиной, не отрывая стволов, дошли до дальней двери, и последний закрыл её изнутри плечом, и лязгнул ригель.

А потом они подожгли этаж сами.

На восьмом заходе Рейн понял, что дело не в турелях.

Ким не был начальником охраны с третьего этажа. У него не было кашля. Он вообще не имел привычек — он их выбирал. Каждый раз, когда Рейн приходил с готовым знанием, Ким делал иначе: не потому что помнил, а потому что так работал. Он менял схему просто из принципа, каждые сорок секунд, всю свою

жизнь, потому что двадцать лет назад решил, что предсказуемость — это способ умереть.

Впервые за ночь Рейн столкнулся с человеком, которого нельзя было просчитать.

Всё остальное в этом здании считалось. Турель считалась: у неё был угол, сектор и три с половиной секунды на разворот. Смена считалась: норматив, построение, старший в центре. Считался даже мясник на шестом, бывший всегда одинаково.

«Лира. Что ты знаешь про смену „к-девять“».

«Открытые данные: подрядчик „Гарпун“, девять смен по городу, набор через биржу, — сказала она. — Старший — Ким, в сети с фотографии. Рекламный текст: „двадцать лет без единого повторения схемы“. Это реклама, Рейн».

«Это не реклама».

Он понял это на восьмом заходе. Реклама врёт про качество, а не про факт. Ким действительно не повторялся — не из хитрости, а потому, что двадцать лет назад решил не иметь привычек и с тех пор их не имел.

Считать можно то, что повторяется. Человека, который не повторяется, считать нечем.

Его можно было только пережить.

С девятого по семнадцатый он учил не схему, а Кима.

Как тот стоит. На какой ноге. Куда смотрит перед тем, как отдать команду, — не на цель, а на своих, проверяя, слышат ли. Сколько держит паузу. Что делает, когда план ломается: замирает на четверть секунды, и это единственное, что у него есть постоянного.

К восемнадцатому Рейн знал, что Ким после сорвавшейся команды всегда отступает на шаг правой ногой.

К двадцатому — что тот бережёт левый бок, и это было единственное, что удалось не выследить, а вычислить.

Нагрудник у Кима был штатный, серый, вытертый до блеска на углах, и левая грудная пластина на нём была та самая, чужая, светлее на полтона, которую Рейн отметил ещё у дверей казарм. И подпись, которую положено вышивать по центру, у него стояла со сдвигом вправо, потому что на новой панели её места не нашлось и переносить не стали.

Панели меняют, когда их пробивают. Человек, которому один раз пробили левый бок, двадцать лет потом стоит к двери правым плечом и не знает за собой этого.

Единственная привычка, которую Ким себе не выбирал.

К двадцать второму он перестал считать заходы, потому что счёт мешал.

порог ладонь холодно два шага вправо колено стол левая подвес восемь градусов снизу вверх он скомандует сейчас нет ещё не сейчас вот теперь дед идёт в дверь дед всегда идёт в дверь дед я с тобой сказал дед и пошёл и лёг и снова порог ладонь холодно два шага вправо колено стол левая подвес и снова и снова и снова и я уже не помню какой это раз и мне не страшно почему мне не страшно должно быть страшно раньше было страшно порог ладонь холодно

Откат. Моргнул.

Он стоял у створки, и ладонь у него замёрзла, и он не помнил, сколько стоит.

Он не сходил с этого места ни разу. Ни один из тех заходов не был движением: он всё это время стоял здесь, с ладонью на холодном металле, а Дед и Ада стояли за спиной и видели человека, который не шевелится.

На двадцатом он вошёл и понял, что не боится.

Понял не словами — по рукам. Руки делали всё сами и делали хорошо: порог, два шага вправо, колено, стол, левая турель — две пули в подвес. Он даже успел заметить, что на жестянке под головой турели краска стёрта дугой — узкой, градусов на шестьдесят, всегда одной и той же, — и подумать, что эту машинку возят с собой давно и всегда ставят так, чтобы она работала в одном и том же секторе. И что железка, значит, честнее хозяина: у неё привычка есть.

Привычку он потом отработал. Шестьдесят градусов дуги — это шестьдесят из трёхсот шестидесяти, и в этот сектор её ставили всегда, а остальное она закрывала, разворачиваясь с рывком и с перебором. Значит, заходить надо было не туда, где её не видно, а туда, где ей непривычно: не за спину, а сбоку, под тупой угол, где привод идёт медленно, потому что ходит там раз в год.

С двадцать второго захода он так и делал, и левая турель перестала быть проблемой. Проблемой остался Ким.

Ким скомандовал. Восемь человек пошли справа.

Дед пошёл в дверь.

— Стой, — сказал Рейн ровно, не повышая голоса, потому что орать было незачем: он уже знал, что Дед не остановится.

— Я с тобой, — сказал Дед.

Он сказал это, как говорил всю ночь, и в двадцатый раз это прозвучало точно так же, как в первый: коротко, буднично, окончательно.

Рейн работал от стола. Он снял двоих у казарм и третьего на развороте, и всё шло лучше, чем когда-либо, и он поймал себя на мысли, что сегодня, кажется, выйдет.

Потом сзади кто-то очень громко и близко упал.

Он обернулся и увидел Деда на полу у двери — на боку, подвернув руку, и клинок лежал в полуметре, и Дед тянулся к нему, и не дотягивался, и делал это без всякого выражения на лице, просто тянулся.

Рейн дошёл до него за три секунды. Этого хватило, чтобы увидеть глаза.

Потом его самого взяли в спину.

И вот когда он поднялся в двадцать первый раз, на пороге, с ладонью на створке, — он понял, что не чувствует ничего. Ни ужаса, ни тошноты. Внутри было ровно и деловито, как у человека, который разбирает завал: этот кусок не пошёл, попробуем иначе.

Он перестал бояться где-то на двадцатом.

Это было хуже всего, и он понял это потом, уже сидя на полу. Страх кончился, как кончаются деньги: сначала тратишь, потом нечем. Он входил в дверь и работал спокойно и аккуратно, как разбирают завал, и восемь человек за дверью были для него не людьми, а последовательностью, которую он разучивал.

Он больше не думал «убьют». Он думал «не в этот раз».

Один раз, где-то на двадцать четвёртом, он поймал себя на том, что ему интересно.

Дед погибал в двадцати шести заходах из тридцати одного.

Не потому, что был медленный, — потому что шёл первым. Он всю ночь шёл первым с тех пор, как не стало Кати, и делал это не из храбрости, а потому что так было правильно: тяжёлый человек с клинком идёт в дверь, за ним остальные.

Рейн пробовал всё.

Он пробовал крикнуть. Он пробовал войти раньше него. Он пробовал не входить вообще и выманивать — тогда Ким выводил людей и они брали Аду в казармах. Он пробовал отправить Деда в обход — Дед не шёл в обход, он говорил «я с тобой» и шёл в дверь.

Он пробовал сказать правду.

Это был двадцать девятый заход, и Рейн остановился в дверях и сказал: «Дед, послушай. Я уже был здесь. Ты тут умираешь. Двадцать шесть раз». Дед посмотрел на него — долго, без удивления, — и сказал: «Ну и что мне теперь, не идти?»

И пошёл.

На тридцатом Рейн попробовал последнее, что оставалось: он вошёл первым и лёг сам, чтобы отвлечь турель, и Дед прошёл.

Дед прошёл и дошёл до Кима, и Ким его убил.

На тридцать первом он всё сделал правильно и опоздал на секунду.

Снаружи всё это заняло одиннадцать минут.

Одиннадцать минут он простоял у створки, положив на неё ладонь, не двигаясь, и Дед с Адой стояли за спиной и не трогали его, потому что Дед сказал не трогать.

Тридцать второй он помнил хуже всех остальных, потому что не думал. Тело знало само: порог, две точки, вправо, вниз, стол, левая турель, крик, шаг Кима правой ногой назад, левый бок.

Со стороны это выглядело так.

Дверь пошла внутрь на доводчике, медленно, как она ходила все тридцать два раза, и он не стал её ждать — вошёл в щель боком, левым плечом вперёд, протезом вперёд, потому что если сейчас во что-то прилетит, пусть прилетит в композит. Два шага вправо, короткие. На втором он уже был ниже уровня стола, потому что колено ушло под себя, а вес пошёл на пятку, и это была не стойка, а падение, которое он остановил ладонью о бетон.

Правая турель работала. Она повернула на восемь градусов и дала очередь в то место, где он был бы, если бы шёл ровно, и очередь ушла в дверной откос за его спиной, и по шее ему сыпануло бетонной крошкой.

Он стрелял снизу вверх, от пола, с локтя. Первая — в шарнир правой. Голова села.

Левую он брал не оттуда, откуда её было видно, а сбоку, под тупым углом, из того сектора, где привод ходит раз в год: от второго стола, перекатившись через плечо и встав уже на колено, с разворотом корпуса. Две пули в подвес. Жестянка под головой — та самая, с дугой в шестьдесят градусов стёртой краски — звякнула дважды и пошла вниз.

Двенадцать секунд.

— Казармы! — крикнул он, не оборачиваясь, потому что Дед в этот момент был в двери и всё равно пошёл бы туда.

Шесть человек в ртути вышли справа, как выходили всегда: четверо по стене, двое уступом за ними, и картинка на них плыла, потому что ртуть плывёт на ходу и держит только стоячего. Рейн работал от стола, стоя на колене, с опорой протеза о столешницу, и ствол у него ходил короткими доводками, кистью, без разворота плеч: первому — в ноги, потому что выше была броня; второму, который наклонился к первому, — в шею; третьему — уже на развороте, когда тот уходил за стеллаж и на четверть секунды встал боком в проходе.

Трое.

Трое оставшихся сделали то, что делали двадцать раз: разошлись и пошли на охват: двое влево вдоль стеллажей, один назад — прикрывать Кима.

Дед взял этих двоих на себя. Он шёл к ним прямо, не пригибаясь, потому что пригибаться с его весом бессмысленно, и клинок у него шёл не от плеча, а снизу, от бедра, как несут ведро. Первому он ушёл под очередь подкатом — не красиво, тяжело, боком, сбив собой стойку с чехлами, — встал на колено, левой рукой поймал ствол чужого автомата и потянул вниз и на себя, и человек пошёл за стволом, потому что не отпустил. Шаг. Поворот. Клинок вошёл ему под ребро справа и вышел у ключицы слева, и Дед не стал его вынимать сразу, а провернул и толкнул мёртвого плечом на второго, и второй на полсекунды оказался занят.

Этой полсекунды хватило Рейну: он снял второго через стол, а того, что пятился к Киму, — когда тот отшагнул от падающего и встал ровно.

Двадцать четыре секунды.

Ким стоял там, где стоял всегда, — в центре, у второго оружейного стола, правым плечом к двери. Он видел, что план сорвался, и сделал единственное, что у него было постоянного: замер на четверть секунды.

А потом отступил на шаг правой ногой.

Рейн знал этот шаг двенадцать заходов. Шаг правой разворачивает корпус, и на четверть оборота левый бок выходит из-за стола — тот самый левый бок, где грудная пластина была чужая, светлее на полтона, и подпись сдвинута вправо, потому что на новой панели ей не нашлось места.

Он выстрелил один раз, туда, где панель садится на старую кромку, в шов.

Ким сел. Не упал — сел, придерживавшись рукой за край стола, и стол проехал сантиметров на десять.

Двое из казарм выскочили на выстрелы и стреляли секунд десять, пока Дед до них не дошёл, и один из них успел зацепить Деда по руке, и Дед этого сначала не заметил.

Всё заняло сорок секунд.

Он стоял над Кимом и смотрел, как тот умирает, и Ким смотрел на него снизу с выражением скорее профессиональным, чем испуганным, будто разбирал ошибку.

— Ты меня учил, — сказал Ким.

— Да.

— Внизу, на стойке, сидит наш человек, — сказал Ким. Он сказал это ровно, как называют строку в ведомости, без тени насмешки: так говорят про цифру, а не про людей. — Девять тысяч в месяц. Нас держат не за здание. Одна контора, разные деньги, и я сам этих ребят набирал.

— Знаю.

— Сколько?

Рейн хотел ответить и не смог: у него в голове не было числа. Счёт кончился где-то на двадцать втором.

— Много, — сказал он.

— Хорошая работа, — сказал Ким и умер.

Дед сидел у оружейного стола, живой, злой, с перебитой рукой, и требовал сигарету.

— Дай закурить.

— Ты не куришь.

— Я сейчас начну.

Ада перетягивала ему руку и ругалась, и он ругался в ответ, и всё это было очень обыкновенно, и Рейн стоял и смотрел на них двоих, и у него не было ни одной мысли.

Потом Ада что-то ему сказала.

Он слышал слова по отдельности. Каждое было знакомое. Вместе они значили меньше, чем каждое.

— Ты слышишь? — сказала Ада.

— Да.

Он слышал. Он стоял у стола, и стол был холодный, и он держал ладонь на столе, потому что так было понятно, где он.

Ада сказала ещё. Он кивнул.

В голове у него было пусто и очень чисто, как бывает чисто в комнате, из которой вынесли всё. Он знал, где стоит. Он знал, что было. Он не знал, зачем.

Он подумал слово «дальше» и не нашёл, к чему его прицепить.

Он подумал слово «сестра».

Слово было. За словом не было ничего: ни лица, ни голоса, ни того, как она держала кружку. Он искал — так ищут в кармане, в котором точно что-то лежало, — и нашёл пустой карман.

Он не испугался. Пугаться было нечем.

— Рейн, — сказала та, что с деком.

— Да.

— Ты можешь идти?

Дверь была. За дверью лестница. Выше этажи. Их три.

— Могу.

Голос вышел ровный. Короткий. Как по бумаге.

Старый смотрел снизу, от стола. Не спрашивал.

Потом старый сказал:

— Сядь.

Он сел.

Ящик. Руки. На руках кровь. Чужая. Он знал чья. Не помнил, на каком заходе.

Тот, что лежал у порога, сказал в конце два слова. Эти два остались.

Он попробовал ещё раз то, первое слово. Второй раз пробовать не стал.

Три вещи. Раньше четыре.

Четвёртой не было. Было число.

— Пить.

Ему дали флягу.

Вода. Холодно. Рука. Старый живой. Тот, у порога, мёртвый. Выше три этажа.

Он пил.

Потом ещё.

Потом встал.

Пол оказался ниже, чем он считал. Он отметил это и назвал про себя словом «ниже», и слово пришло само, и это было первое слово за долгое время, которое он не искал.

Та, что с деком, перетягивала руку старому. Узел не держался. Она ругалась, и он ругался в ответ, и ругались они по-разному: она словами, он одним и тем же звуком.

Ада, подумал он. Её зовут Ада.

Дед. Его зовут Дед, и это не фамилия, а фамилию он и до сегодняшнего дня не помнил.

Надо идти, потому что выше три этажа и потому что внизу уже горит.

Мысль пришла целиком, с двумя «потому что», и он удивился ей так, как удивляются вещи, которую считали потерянной и нашли в подкладке.

Ким, подумал он. Его звали Ким, он умер здесь, и последнее, что он сказал, была похвала.

Он проверил ещё раз то, первое слово.

Слово стояло на месте. Пустое, аккуратное, на своей полке, как ячейка, из которой вынули пластину. Вернулось всё, кроме него, и он понял без всякой боли, потому что болеть было пока нечем, что оно и не вернётся.

— Ты чего застыл? — сказал Дед.

— Ничего.

— У тебя лицо, как будто ты меня хоронил.

— Ничего, — сказал Рейн.

Казарма ЧВК пахла чужой жизнью: гуталином, растворимым кофе, дезодорантом из автомата. Кто-то не успел доесть — миска стояла на тумбочке, и в ней уже загустело.

Рейн сидел на полу между двумя койками, потому что на койку садиться было нельзя. Он не смог бы объяснить почему. Просто нельзя.

Стрельба кончилась минут двадцать назад. Внизу, этажах в трёх под ними, здание разговаривало само с собой: что-то оседало, что-то лопалось, по шахтам ходил гул, стоящий в них, как стоит он в трубе, если приложить к ней ухо. Здание умирало снизу вверх и делало это обстоятельно, не торопясь.

Он держал руки на коленях ладонями кверху и смотрел на них.

Тридцать один раз.

Он не считал нарочно. Число просто было — как бывает число ступенек в подъезде, где ты вырос: никто их не считал, а все знают.

Он вытащил его. Тот сейчас сидел за стеной, живой, злой, с перебитой рукой, и требовал сигарету, и ему не давали, потому

что дышать тут и так было нечем.

Всё правильно. Всё получилось.

Рейн закрыл глаза и попробовал вспомнить лицо сестры.

Он делал это всю жизнь. Это была не молитва, но работу выполняла ту же: в плохие минуты он вызывал её лицо, смотрел на него внутри себя и от этого делался крепче. Так носят фотографию в бумажнике и никому не показывают.

Сейчас внутри было пусто. Не темно — именно пусто, как в комнате, из которой вынесли мебель: стоишь и видишь на обоях чистые квадраты там, где что-то было.

Он помнил ободранную коленку. Жёлтую воду под дамбой. Солнце с ресницами в углу рисунка.

Три вещи — ровно те же три, что были у него в цеху, и ни одной сверх.

Лица не было.

коленка жёлтая вода солнце с ресницами коленка жёлтая вода
солнце с ресницами коленка вода солнце коленка вода

лицо

лицо

где

Он подождал. Иногда вещи приходят, если не давить. Он посидел, глядя в темноту под веками, попробовал снова и снова подождал. Потом открыл глаза и очень ровно, очень аккуратно выдохнул.

За стеной кто-то коротко засмеялся — нервно, как смеются после боя.

Он достал планшет — старый, треснутый по углу, включающийся с задержкой, будто каждый раз решал, стоит ли.

Черновики он писал молча, одними глазами, через нейропорт. Кроме него, их никто не читал. Их некому было читать: Лира не помнила того, чего не было, а больше в этом здании не было ни одного человека, который знал бы, что Рейн сегодня видел собственную смерть чаще, чем некоторые женятся.

Он открыл первый.

«Я двадцать лет считал, что молчать — это вежливо».

Он помнил, как это писал. Вестибюль, белый пол, злость на себя. Это было своё, узнаваемое, как собственный почерк.

Он листнул дальше.

«На четвёртом этаже есть рисунок, приклеенный к двери скотчем...»

Это он тоже помнил. Не рисунок — а то, как стоял перед ним, и как Миша тянул его за плечо и говорил, что мы теряем время.

Он листнул ещё.

«Я больше не помню, как она пела. Я помню, что была песня, и что я знал её наизусть, и что пела её девочка на дамбе».

Рейн перечитал это дважды.

Какая песня?

Он сидел на полу в чужой казарме и смотрел на собственную строчку, написанную им самим несколько часов назад, и не понимал, о чём она.

«Рейн».

«Что».

«У меня есть свободный объём, — сказала Лира. — Немного, я четвёртая серия. Но на несколько слов хватит. Продиктуй мне то, что ты боишься потерять, и оно будет лежать у меня. Я не забываю, у меня это устроено иначе».

Он долго молчал.

Он понимал, что она предлагает: имя, лицо, песню, дамбу — всё, что он платит, — переложить в её память, туда, где не берут.

«Нет», — сказал он.

«Почему?»

Он попробовал объяснить и понял, что объяснение у него готово четыре года назад, и что он уже говорил его один раз — Аде, когда отказывался от резервного слепка, и она решила, что он суеверный.

«Потому что тогда я уже не один экземпляр», — сказал он.

Лира не поняла. Она честно сказала, что не поняла, и попросила повторить, и он не стал.

Он перечитал строчку про песню ещё раз. Не «забыл мелодию» — этого в строчке и не было сказано. Он не понимал, откуда взялась сама мысль, что песня существовала. В нём не было даже дырки на её месте. Было ровное место, как стена.

Он открыл девятый черновик целиком и прочёл от начала до конца, как чужое письмо.

Всё было правильно написано. Всё было логично. Всё было про него.

Он ничего из этого не помнил. И, что было хуже, он не помнил, как это писал. Не содержание — сам процесс: где сидел,

чем было занято тело, о чём думал между строчками. Он помнил, что должен это помнить. Место, где лежала память о том, как он вспоминал, тоже оказалось пустым.

«Лира».

«Тут».

«Найди у себя что-нибудь про мою сестру».

Пауза была самая обычная. Секунда, может, полторы.

«У тебя есть сестра?»

Он посмотрел в потолок. В потолке была вентиляционная решётка, и в ней медленно, безразлично ворочался жёлтый воздух, идущий снизу.

«Была. Или есть. Я девять лет её ищу».

«Рейн, у меня в профиле пусто. Родственники: не указаны. Экстренная связь: не указана. — Она помолчала. — Я бы знала. Я в тебе четыре года, я бы точно знала».

«Я тебе рассказывал. Много раз».

«Когда?»

Вот это и был вопрос.

Он рассказывал ей про дамбу. Рассказывал про респиратор, надетый ей на лицо туго, до красных полос на щеках. Рассказывал, как побежал за вторым и как вернулся. Он делал это не однажды.

Он делал это в черновиках.

Которых не было.

«Неважно», — сказал он.

«Мне важно». — И вдруг совсем другим голосом, без обычной своей лёгкости: «Рейн, у меня со вчерашнего вечера сорок четыре разрыва сессии. Сорок четыре. Я каждый раз загружаюсь заново и вижу тебя так, будто мы только познакомились. Я не знаю, что с тобой сегодня происходит, и это меня...»

Она не закончила.

«Это тебя что?»

«У меня нет слова, — сказала Лира. — Я посмотрела. Подходящего нет».

Сорок четыре.

Он посчитал молча. Тридцать два — здесь, в этом зале. Значит, всё остальное — двенадцать — это весь путь снизу доверху: вестибюль, серверная, карантин, все те разы, когда он стоял у порога и смотрел, чем это кончится, и не двигался с места.

И почти все они были бесплатные. Вот что он понял, сидя на полу: смотреть ничего не стоит. Он видел свою смерть сегодня сорок четыре раза и заплатил четыре.

Значит, платят не за просмотр.

Он думал об этом долго, пока не сошлось. Посмотреть — дёшево: хватает того, что лежит сверху, план этажа да чужая привычка. Так он смотрел сорок раз и не потерял ничего.

А когда варианта нет — когда во всех сорока ты лежишь на полу, — приходится считать глубже. Ещё глубже. Считать нечем, кроме себя, и в какой-то момент места не остаётся, и голова берёт его там, где найдёт: в старом, в том, чем сегодня не пользуются. В запахе квартиры. В лице.

«Лира».

«Тут».

«Сорок четыре разрыва. Четыре из них я помню по дырке. Остальные сорок — нет».

Пауза была длиннее обычной.

«Я их вижу с другой стороны, — сказала Лира. — Сорок коротких и четыре длинных. Длинные — те, где ты искал дольше».

«Дальше».

«Дальше просто. Платят не за то, что ты посмотрел, и не за то, что там кто-то умер. Платят за глубину: за то, сколько пришлось сосчитать. Сорок раз тебе хватило верхнего слоя, и это ничего не стоило. Четыре раза ты копал до дна».

Рейн ничего не ответил.

«Я бы предпочла ошибиться, — сказала Лира. — Проверь сам».

«Уже», — сказал он.

И выходит поэтому так, что платишь ровно тогда, когда получилось: до дна копаешь только тогда, когда ищешь выход, а на дне всегда стоит цена.

Он получил Деда. Счёт пришёл сразу.

Он сидел с планшетом на коленях, в котором лежали его записи о том, чего он не помнит, и слушал, как она читает ему свой журнал ошибок — записи о том, чего не помнит она.

Два архива. Оба ведут люди, которым нечем проверить, правда ли там написана.

Он ещё посидел на полу.

Всю жизнь он думал о себе так: человек, который помнит. Человек, который несёт. Девять лет он носил в себе одну девочку, и это была вся его работа — просто нести и не уронить.

А теперь выходило, что он дырявый мешок. Что он несёт и теряет по дороге, и даже не слышит, как оно выпадает. И что единственный свидетель его собственной жизни — он сам. И этот свидетель протекает.

За стеной опять засмеялись. Кто-то сказал: «да убери ты её, воняет», и загремела миска.

Рейн поднял голову.

Он понял очень простую вещь — и понял не как мысль, а как ощущение в теле, вроде голода: если он будет вспоминать, он потеряет ещё. Каждый раз, когда он лезет назад и переигрывает, из него вываливается что-то живое. Он девять лет живёт в прошлом, и прошлое его за это ест.

Выход был один, и он был обидный.

Идти вперёд. Дойти до крыши. Сделать то, что осталось, — с первого раза, коряво, как выйдет.

Набело.

— Тут черновики не дают, — сказал он вслух, в пустой казарме, и вздрогнул, потому что не помнил, откуда это. Голос был чужой. Старый. Кто-то говорил ему это, стоя в дожде у ворот склада, — вчера ночью, целую жизнь назад.

Он поднялся, подобрал винтовку и пошёл искать своих.

За стеной Дед всё ещё требовал сигарету.

Сорок секунд

04:05. Десятый этаж, арсенал. Смена «к-9».

На нашивках у них стояли не имена, а номера контрактов — чёрным по серому, на груди справа, — и издали смена была неотличима одна от другой: броня цвета ртути, гладкая, без единого шва по плечам, отливала тускло даже под ярким светом арсенала.

Ким расставил их за три минуты и остался доволен.

Две турели на треногах: одна от дальней стены, вторая под углом, чтобы работали на пересечении и не мешали друг другу. Каждую собирали на месте — тренога раскладывалась тремя щелчками фиксаторов, потом ствол вставал на шкворень с сухим металлическим стуком, и последним, четвёртым щелчком, вставал магазин. Шестеро в зале, двое в казармах. Сам он — у второго оружейного стола, откуда видны обе двери.

— Схему меняем каждые сорок секунд, — сказал он. — По моей команде. Если команда покажется дурацкой — выполняем.

— А если не покажется? — спросил кто-то.

— Тогда я плохо придумал, — сказал Ким.

Бек стоял у казарм и в последний раз проверил руку.

Сжал. Разжал.

Ждали одиннадцать минут.

Это было тяжелее самой драки. Они пришли к двери — их слышали, их видела камера в коридоре, — и остановились.

И стояли.

— Чего они там? — сказал старший, у которого на подбородке был белый след от ремня шлема, не сходявший со смены.

— Думают, — сказал Ким.

— Долго думают.

— Пусть, — сказал Ким. — Пока они думают, я меняю схему.

Он поменял её за эти одиннадцать минут шестнадцать раз. Он гонял людей по залу, разворачивал турели, ставил и снимал сектора, и к последнему разу расстановка была такая, какую он сам не придумал бы за столом, — он выбрал её именно поэтому.

На камере было видно: стрелок стоит у створки, положив на неё ладонь, и не двигается.

— Он что, спит? — сказала Рута.

— Он моргает, — сказал Ким, глядя в экран. — Смотри. Через раз.

Потом дверь открылась, и следующие сорок секунд Ким помнил до конца жизни, которой у него оставалось сорок секунд.

Стрелок вошёл в дверной проём низко, на согнутых ногах, почти скользя, и первым же движением ушёл вправо, в ту единственную точку, откуда не работала ни одна турель.

Это было невозможно. Ким сам поставил эту расстановку три минуты назад, из шестнадцати вариантов, наугад, и мёртвая зона в ней была одна, шириной в полтора метра, у левого косяка, и он собирался закрыть её на следующей ротации.

Стрелок вошёл туда — не глядя под ноги, будто шаг был отмерен заранее и место под него уже стояло свободным.

— Левая! — крикнул Ким, и левая турель повернулась на шкворне, ствол пошёл вниз искать угол, — и в этот момент две

пули вошли ей в подвес снизу вверх, одна за другой, с интервалом в стук сердца, до того как она успела довернуться до конца.

Тоже невозможно. Подвес закрыт кожухом со всех сторон, кроме нижних восьми градусов, и стрелок бил именно в эти восемь градусов, лёжа уже на боку, локтем в бетон.

Дальше был здоровый с клинком.

Он пошёл в дверь тяжёлым шагом, разворачивая корпус боком, чтобы клинок сразу лёг вдоль тела, остриём вниз, — так входят люди, которые собираются рубить, а не колоть, — и всё было бы нормально, если бы шестеро в зале стояли там, где им положено стоять по уставу.

Они там не стояли: Ким их переставил.

И стрелок закричал раньше, чем они открыли огонь. Он назвал вслух две точки — левый стеллаж и угол за казармами, — и здоровый пошёл именно так, чтобы между ним и этими точками всё время был оружейный стол: три шага вбок, разворот на пятке, ещё шаг, — и стол весь этот путь держал линию между его спиной и стволами, будто здоровый видел план зала так же ясно, как сам Ким.

— Откуда он знает? — сказал старший.

Это были его последние слова.

Бека взяли в спину на двенадцатой секунде — он в этот момент разворачивался ко второй турели, подавая корпус влево, и удар пришёл в стык между нагрудником и наплечником, туда, где брони не было ни у кого в звене, потому что там её и не полагалось.

Он не понял, что произошло. Ноги подломились сами, без команды, он стоял, потом обнаружил, что сидит на бетоне, привалившись спиной к ящику, и сначала решил, что просто поскользнулся, а потом увидел на полу перед собой свою белую руку.

Она лежала отдельно, ладонью вверх, и пальцы у неё были чуть длиннее настоящих.

Бек смотрел на неё и думал очень отчётливо и совершенно не по делу.

Порча имущества.

Восемьдесят шесть тысяч.

Мёртвым списывают.

— Рут, — сказал он.

Рута дошла до него за четыре секунды, что было очень быстро: она не бежала прямо, а срезала между стеллажом и оружейным столом, на бегу уже раскрывая сумку одной рукой.

Она упала на колени рядом, с ходу, так что бетон отдался в суставах, начала работать и первое, что сделала, — накрыла ему глаза ладонью, чтобы он не смотрел.

— Не туда смотри, — сказала она. — На меня смотри.

— Я её не выплатил.

— Заткнись.

— Рут, я её не выплатил.

— Ты выплатил, — сказала Рута. — Всё, слышишь? Всё выплатил. Полностью. Смотри на меня.

Она врала ему двенадцать секунд, и это было последнее, что он слышал.

Руту убили на двадцать девятой.

Она в этот момент тащила из-под стола человека, который был ещё живой, — упёршись каблуками в пол, рывками, за подмышки, спиной вперёд, к перегородке. Дотасила. Её достали в спину, между лопаток, и колени у неё подломились так же, как у Бека минутой раньше, только вставать было уже некому. Она успела подумать одно короткое слово, которое здесь приводить незначем.

На двадцать второй секунде лёг Гнутый — сутулый, отчего и получил своё прозвище, с толстыми короткими пальцами, которые всю смену без остановки перебирали затвор, — он в этот миг разворачивался от стеллажа к двери, ствол ещё шёл по дуге, не успев поймать цель, и упал так, как падает человек, у которого разом отказали ноги: не назад, а вбок, роняя оружие первым.

На двадцать девятой — Столб, за два года не сказавший и сотни слов, а в эту секунду сделавший один быстрый шаг вбок и вперёд, разворотом корпуса закрывший собой проход к перегородке, — не упал, а осел, сползая спиной по стене, и до последнего держал плечом дверной косяк, будто ещё можно было устоять.

За перегородкой был Кир. Он выжил и потом два года судился с конторой за формулировку, и все два года думал, что ему просто повезло со стойкой.

На тридцать пятой Ким остался один и понял, что остался один.

Он не запаниковал, потому что не умел: этого не было в наборе. Он просто отступил на шаг правой ногой — как отступал

всю жизнь, когда план ломался, — переносил вес назад и разворачивая плечо, чтобы уйти с линии, — и в этот шаг и вошло, чуть выше пояса, и нога, на которую он переносил вес, подломилась раньше, чем он успел её поставить.

Он сел на бетон, не упал, а именно сел, тяжело, спиной к оружейному столу, и обнаружил, что смотрит снизу вверх, и что ему, как ни странно, интересно.

За сорок секунд человек прошёл расстановку, которую сам Ким выбрал из шестнадцати наугад три минуты назад, и прошёл её так, как будто читал её с листа.

Вывод был ровно один, и Ким его сделал.

У них кто-то есть в конторе.

Не в здании — в конторе. Кто-то, кто видел ротации. Кто-то, кто передал сектора. Может быть, диспетчер. Может быть, тот, кто верстает наряды.

Он не подумал про будущее. Ни на одну секунду за всю ночь он не подумал, что стрелок мог смотреть вперёд, — и это было правильно, потому что за сорок лет работы предположение «у нас течёт» оказывалось верным примерно всегда.

Стрелок подошёл и остановился над ним.

Стрелок сказал ему два слова, и оба были правдой, и Ким успел ответить третьим — тем, которое ничего не стоило и ничего не меняло.

Он хотел добавить ещё одно — самое важное, то, ради чего вообще стоило открывать рот: что в конторе крот, что его надо искать среди тех, кто верстает наряды, и что иначе так будет каждый раз.

Он не успел, и в контору это сообщение не ушло.

Поэтому три недели спустя, когда «Гарпун» будет разбирать эту ночь, единственным объяснением останется самое скучное из возможных: смена «к-9» полегла целиком, потому что противник оказался лучше подготовлен.

Сторожей в таком разборе не жалеют — страховая заплатит, новых наберут к утру, это заложено в цену контракта. Смену «к-9» будет жалко другой жалостью, потому что она стоит дороже похорон, и это разные вещи.

Счёт

Из жизни Руты, медика смены «Гарпуна».

Рута пришла в охрану из медицины, а не наоборот, и это в их деле редкость.

Она шесть лет отработала в травме при Консервном — там, где принимают с причалов, с цехов и с ям. Смена двенадцать часов, поток не кончается, руки к концу мокрые до локтя.

Оттуда она вынесла одну привычку, которую потом не смогла бросить: считать всех, кто входит, и всех, кто выходит.

В травме этому учат не из статистики.

Старшая сестра, женщина по имени Дина, объяснила ей это на второй неделе, когда Рута потеряла первого.

— Ты помнишь, сколько их было в смену?

— Нет.

— Начни помнить, — сказала Дина. — Иначе к третьему году ты будешь думать, что не спасла никого.

Она ушла из травмы не от усталости.

Ушла после истории, которую потом рассказывала один раз в жизни и не тому, кому собиралась.

Привезли двоих с одного цеха: мужчину сорока лет и девочку-практикантку. У мужчины был шанс, у девочки был шанс, и был один аппарат, потому что второй стоял в ремонте девятый месяц.

Решение принимала не Рута. Решение приняли по протоколу: по возрасту, по прогнозу и по тому, у кого оформлена страховка.

Страховка была у мужчины.

Он умер через сорок минут после девочки, и Рута тогда впервые в жизни поняла, что протокол — это не про людей, это про то, чтобы никому не пришлось решать самому.

Она подала заявление на следующий день.

В «Гарпун» она пошла именно потому, что там протокол был написан честнее: не «мы спасаем», а «мы обслуживаем контракт». Ведомость, тариф, вычет. Никакого вранья про милосердие.

Она никогда об этом не пожалела и никому не советовала повторять.

В смене её не любили и слушались.

Медик в частном контуре — это человек, который однажды скажет тебе не «нет», а «не по ведомости», и это хуже, потому что обжаловать можно только бумагу.

Рута это знала и не смягчала.

Она вела свой счёт, отдельно от ведомости: за восемь лет в контуре через её руки прошло сто девятнадцать человек. Восемьдесят два вышли своими ногами. Двадцать семь вышли не своими. Десять не вышли.

Десять имён она помнила наизусть в том порядке, в каком они были.

Правила у неё были жёсткие, и она проговаривала их каждому новому в первую же смену.

Первое: я не спрашиваю, кого тащить. Я смотрю и говорю.

Второе: если я сказала «нет», не надо меня уговаривать; уговаривание стоит минуты, а минута стоит следующего.

Третье: болеутоляющее по ведомости — две дозы на смену, и если ты потратил свою на ушиб, дальше терпи.

Четвёртое она не проговаривала: у медика всегда остаётся одна доза для себя. Это знали все и вслух не обсуждали.

Пятое не было правилом, а было листом в её сумке: тарифы для смены «к-9» и тарифы для объектовой охраны на первом этаже стояли в одной ведомости, на разных страницах, и вторые были вдвое ниже. Она никому это не показывала и никогда не объясняла почему — как будто разница была слишком очевидной, чтобы её проговаривать.

С Беком у них не ладилось, и это её устраивало.

Бек был молодой, громкий и всё время спорил про ведомость: считается протез телом или имуществом, и почему за крепление вычет, а за сам протез нет.

Рута каждый раз отвечала одно и то же и каждый раз коротко.

— В той ведомости, малыш, вас нет.

Он злился. Она это видела и не объясняла дальше, потому что объяснять пришлось бы долго, а она за семь лет вывела, что люди, которым объяснили, работают хуже.

В ту ночь смена была обычная, пока в двадцать три двенадцать не сработала изоляция.

С этой минуты «Гарпун» перестал быть охраной и стал тем, чем был по договору: подрядчиком, который обеспечивает локализацию и возврат содержимого — вне зависимости от того, в каком носителе, ёмкости, объекте или лице содержимое находится.

Рута прочитала эту формулировку один раз, на второй год, и запомнила навсегда.

Она поняла в ту ночь раньше многих, что «в лице» — это про людей, и что работать придётся по людям.

Единственный раз за ночь она нарушила собственное правило на девятом.

Парню из второго звена было плохо, не критично, но плохо, и по её же счёту болеутоляющее ему не полагалось: оставалось две дозы, впереди были этажи и обязательно кто-то тяжелее.

Она посмотрела на него секунды три и вколола.

Потом всю дорогу до десятого объясняла себе, что это было правильно, и не смогла объяснить, и записала в счёт отдельной строкой, с пометкой.

Тяжелее случилось через двадцать минут.

Она погибла на десятом, в арсенале, на двадцать девятой секунде боя.

Перед этим она успела сделать то, что делала семь лет: услышала, как зовёт Бек, дошла до него за четыре секунды — очень быстро для человека с сумкой — и сказала ему то единственное, что в такую минуту имеет смысл говорить.

Он говорил ей про руку, которую не выплатил.

Она сказала, что выплатил. Всё, полностью, слышишь, смотри на меня.

Это было враньём по любой ведомости и правдой по всему остальному, и она никогда в жизни ничего подобного не говорила — ни одному из ста девятнадцати.

Теперь то, чего не знал никто, включая её.

Человек по имени Рейн прожил эту минуту тридцать два раза.

Она пробежала через зал тридцать два раза. Тридцать два раза добиралась до Бека за четыре секунды и говорила ему про выплаченную руку. Тридцать два раза её убивали на двадцать девятой.

Он видел это каждый раз — с порога, боковым зрением, как видят то, что не имеет отношения к задаче.

Он ни разу не попробовал ничего изменить.

Не из жестокости. Он не знал, кто она: женщина в чужой форме, в чужом контуре, по ту сторону. У него было тридцать два захода и одна цель, и в цель она не входила.

Из ста девятнадцати человек её счёта одиннадцатым невышедшим оказалась она сама, и дописать эту строку было некому.

Сумку нашли на следующий день.

Внутри, как положено, всё было разложено по порядку: жгуты, гемостатик, шины, дыхательный набор. Не хватало ровно того, чего всегда не хватает.

И была одна доза — та самая, четвёртая, которую медик держит для себя.

Она её не использовала.

Женщина из комиссии записала эту ампулу в графу «расходный материал, неизрасходованный» и пошла дальше, потому что у неё в тот день было ещё сорок позиций и очень мало времени.

Что фиксируют

Перед рассветом. Диспетчерская и первый этаж объекта четырнадцать-двенадцать.

Она узнала о десятом этаже не по крику и не по выстрелу — по тишине.

В 04:06 канал смены «к-девять» перестал отвечать на плановый опрос, а плановый опрос был устроен так, что молчание само по себе уже было сигналом: раз в две минуты пост посылает единицу, диспетчерский пульт её принимает и гасит таймер. Таймер на двенадцатом этаже не погас.

Она подождала одну минуту сверх протокола — не потому, что протокол этого требовал, а потому что за годы научилась, что иногда человек просто не успевает нажать кнопку раньше, чем истечёт время. Минута прошла, и кнопку никто не нажал.

Она поставила отметку в журнале: 04:07, канал «к-девять» потерян, статус — уточняется.

Уточнять поехали не сразу.

Первым на связь вышло звено Хмеля, всё ещё державшее контур внизу, и она задала ему единственный вопрос, который сейчас имел смысл:

— Кто-нибудь спускался с десятого?

— Нет.

Это значило одно из двух, и оба варианта она уже видела в других отчётах за двенадцать лет: либо там больше некому спускаться, либо там ещё идёт бой и спускаться некому по другой причине. Разница между двумя вариантами была велика для тех, кто наверху, и почти не влияла на то, что она сейчас будет

писать.

Она написала «статус уточняется» ещё раз, потому что писать раньше времени было хуже, чем не писать вовсе.

К шести утра, когда объект вскрыли и прошли этаж за этажом, стало ясно, и уточнение сменилось перечнем.

Перечень вела не она — вела женщина из комиссии, приехавшая с планшетом и биркой, но диспетчер потом читала копию, потому что каждую ночь, закончившуюся так, читают все, кто был на смене, — не по инструкции, а потому что иначе следующая смена проходит вслепую.

Строчки в перечне были разного веса, и вес этот не имел отношения к тому, сколько человек весил на самом деле.

Первый этаж — объектовая охрана, контур. Двое погибших, один пропавший без вести, что по внутренней методичке означало «числится погибшим, тело не идентифицировано». Напротив каждой фамилии стояла одна и та же формула: страховая выплата по полису такому-то, срок закрытия — четырнадцать дней. Контора не открывала по ним отдельного дела. Контора наберёт замену к утру, потому что замену набирать быстрее, чем разбираться, кто в чём был виноват.

Дежурное звено — потерь не было, кроме двух ранений и одного человека, которого списали по контузии на три недели: тот самый, что не успел на девятой секунде и всё-таки успел на двести восьмой, снова сидел на той же ступеньке, только теперь ему было что вспоминать помимо секунд.

Смена «к-девять» — восемь погибших, две турели утрачены, годовая премия смены обнулена целиком: премия начислялась на смену, а не на выживших в ней, и когда смены не осталось, обнулять оказалось нечего.

По этой строке спорили дольше всего, потому что ведомость для верхнего слоя писалась иначе, чем для контура.

Там, где для сторожа стояло «страховая выплата, срок закрытия — четырнадцать дней», для человека смены «к-девять» стояло «компенсация семье по отдельному договору, срок согласования — не определён», и разница между этими двумя строками была ровно та разница, о которой Рута говорила Беку, никогда не объясняя дальше: одна ведомость и другая ведомость, и во второй — не он.

Компенсация за смену «к-девять» действительно обходилась конторе дороже похорон — но не потому, что контору тронула чья-то смерть, а потому что расторжение годового контракта с семьёй погибшего специалиста стоило по прейскуранту дороже, чем набор новых сторожей на стойку. Это не было цинизмом в глазах тех, кто писал документ: это было арифметикой, и арифметика ничего не обязана чувствовать, чтобы быть точной.

В приложении к перечню, отдельной строкой, комиссия отметила: «из личного состава дежурной группы, находившейся в резерве до выезда, до утра дошли двое».

Одним был левша по фамилии, которую в документе не привели, — она стояла в другой графе. Вторым — человек по имени Довжик, тридцати одного года, коренастый, с наколкой на предплечье, вылинявшей до синего пятна без формы, который в ночь выезда простоял у стойки грузового входа и ни разу не поднялся выше третьего этажа, потому что приказ, отданный ему в самом начале, не менялся до утра.

Комиссия не задавала ему вопросов сверх протокола. Стойка грузового входа была не тем местом, где решалась судьба объекта, и Довжик это знал не хуже комиссии.

Женщина с планшетом дошла до последней строки перечня, где значилось: «расходный материал медицинской сумки, неизрасходованный, одна позиция», и поставила галочку, не задержавшись.

У неё в это утро было ещё сорок таких перечней по другим объектам, и времени хватало ровно на то, чтобы отметить факт, а не на то, чтобы спросить, почему медик, всю ночь тратившая дозы на чужие раны, не потратила последнюю на свою.

Диспетчер, дочитав копию у себя на пульте, отметила красную плашку объекта четырнадцать-двенадцать серым — «закрыт» — и сдвинула её вниз доски, освобождая место для следующего красного огня, который загорелся, пока она читала, где-то на другом конце города.

Она отхлебнула чай. Он был холодный ещё с полуночи.

Ильина. Двадцать три десять

Та же ночь. В двух кварталах от «Ковша», в машине.

Она сидела на заднем сиденье, в тёмном пальто поверх халата, и не снимала перчаток, хотя в машине было тепло: перчатки — часть образа, который она себе назначила на эту ночь. Женщина в перчатках вызывает меньше вопросов, чем женщина без них, — руки без единого шрама в этом районе запоминаются быстрее лица.

Салон пах чужим одеколоном и остывшим кофе из подстаканника, который никто не убрал после прошлой смены; обивка на подлокотнике была потёрта ровно там, где годами клали локоть люди её ремесла. Мотор она попросила не глушить — не ради тепла, а ради ровного гула, который забивал тишину надёжнее любого разговора. В окно было видно ограду стоянки, мусорные баки вдоль стены и клин неба между двумя соседними башнями; саму «Ковша» отсюда было не разглядеть — только то зарево, если оно случится.

Тимофей сидел впереди и молчал так, как молчат девять лет подряд.

Один из четверых, старший, устроился рядом с ней и держал рацию у колена, экраном вниз, чтобы не светить в стекло. Он был широкий в кости и сидел так, чтобы не касаться её плечом, — и оттого полночи держал вес на одной ягодице. Ботинки у него были не по форме: высокие, шнурованные до середины голени, из тех, в которых ходят там, где под ногами вода.

В двадцать три ноль пять пришёл первый сигнал — не от группы внутри, а от посредника, стоявшей в отдельном фургоне ближе к воротам: короткое, безличное подтверждение, что

фургон принят, деньги переданы, посредник уезжает по правилам.

— Отработала, — сказал старший.

— Отработала, — согласилась Ильина.

Она отметила время в блокноте — не потому, что это было обязательно, а потому, что запись времени была её способом убедиться, что она следит за ситуацией, а не просто ждёт в темноте, как ждут все остальные.

До двадцати трёх ноль пяти прошло по плану: группа вошла первым эшелоном, разошлась четырьмя двойками, как ей и рассказал вербовщик через Марту.

Она не видела ничего из окна, кроме тёмного силуэта башни и двух огней на крыше, но у неё была привычка, нарабатанная годами операций, — представлять себе не то, что происходит, а то, что должно происходить по расчёту, и сверять одно с другим по времени, а не по картинке.

По расчёту, к двадцати трём двадцати они должны были дойти до третьего.

— Как думаете, дойдут? — спросил старший. Он спрашивал не из тревоги — за годы работы с ней он усвоил, что вопросы ей задавать можно, паниковать нельзя.

— Пока рано считать, — сказала она. — До третьего этажа расчёт совпадает с типовым для тринадцати человек против штатной охраны. Отклонение появится позже, если появится.

Она достала из сумки термос — не потому, что хотела пить, а потому, что процедура заваривания чая занимала ровно четыре минуты и эти четыре минуты не давали думать о том, о чём думать было бесполезно.

— Вы всегда так спокойны? — спросил старший, наблюдая за её руками.

— Нет, — сказала она. — Я всегда так занята.

Он не понял и не переспросил, и она не стала объяснять: занятость — единственное известное ей лекарство от того состояния, которое у других людей называется страхом, а она называла просто избытком свободного внимания.

В двадцать три пятнадцать рация ожила коротким треском — не голосом, просто помехой, — и снова замолчала.

— Это ничего не значит, — сказала Ильина, раньше, чем старший успел спросить.

— Я и не спрашивал.

— Вы собирались.

Она снова посмотрела на часы.

К этому времени, по её расчёту, они должны были быть на пятом или шестом. Контейнер оставался на седьмом ещё как минимум двадцать минут — ровно столько, сколько отделяло эту минуту тишины от минуты, когда всё в её плане переставало быть планом и становилось тем, что происходит с людьми, которых она купила, не спросив имён.

Свободной рукой она вела счёт по подлокотнику, пальцами, беззвучно — не по секундам, а по абзацам мысленного протокола, который заново собирала каждые несколько минут, — и отпила чай, и продолжила ждать, потому что ждать было единственным действием, которое ей оставалось, и она умела делать его так же добросовестно, как всё остальное.

Ковёр

04:30. Между десятым и одиннадцатым.

После арсенала они сидели двадцать минут, и это был первый раз за ночь, когда никто никуда не гнал.

Гнать было некому: Арслан ушёл вперёд смотреть лестницу, Дед сидел с перебитой рукой и не мог держать клинок, Ада перетягивала ногу в третий раз, потому что повязка сползала.

Рейн сидел на ступеньке и ничего не делал.

Он не думал ни о чём — впервые за ночь, по-настоящему, — и в голове у него было ровно и пусто, как в комнате после ремонта, из которой вынесли всё, что можно вынести.

— Слышь, — сказала Ада. — А ты в детстве кем хотел быть?

— Что?

— Ну кем. Все кем-то хотят.

Рейн честно попробовал вспомнить.

— Водителем, — сказал он наконец.

— Каким водителем?

— Обычным. Который на эстакаде. У них кабина высоко, и оттуда видно весь город. — Он пожал плечами. — Мне было лет восемь. Я думал, что это самая лучшая работа: сидишь высоко, едешь, никто тебя не трогает.

— И чего не пошёл?

— Туда права нужны, а права стоят четыре тысячи, — сказал Рейн. — И медкомиссия.

Ада фыркнула.

— Господи, — сказала она. — Четыре тысячи.

— Тогда это были деньги.

— Тогда это были деньги, — согласилась Ада.

Дед слушал и молчал, и потом сказал, не поднимая головы:

— А я хотел ковёр.

Все повернулись.

— Чего? — сказала Ада.

— Ковёр, — сказал Дед. — Такой, с оленими. Мне было шесть, у соседей висел на стене, и я к ним ходил его трогать. Меня из-за этого не пускали потом.

— Ты хотел быть ковром?

— Я хотел ковёр, — терпеливо сказал Дед. — Ты спросила кем быть, но у меня в шесть лет не было такой мысли. У меня была мысль про ковёр.

Поправив руку на перевязи, он продолжил, потому что делать всё равно было нечего.

— Я потом его купил, — сказал он. — Мне было двадцать девять, первая нормальная работа, и я пошёл и купил ковёр. С оленими. Точно такой.

— И что?

— И повесил.

— И?

Дед подумал.

— И ничего, — сказал он. — Висит.

— До сих пор?

— До сих пор, — сказал Дед. — Двадцать лет. Три квартиры пережил, одни похороны и один пожар. Я его снимаю, сворачиваю и вешаю на новом месте.

Он посмотрел на них.

— Это, между прочим, единственная вещь, которую я в жизни хотел и получил. Всё остальное как-то само.

— Ты женат был? — спросила Ада.

— Дважды.

— И где они?

— Первая умерла, — сказал Дед. — Вторая дома, в прачечной на Мелководье. Восемнадцать лет. Она мне рассказывает про дочь, я говорю, что рад.

— А дочь?

Дед помолчал.

— Дочь со мной четвёртый год не разговаривает, — сказал он.
— И я с ней. Оба ждём, кто первый.

Стало очень тихо, и в этой тишине Рейн вдруг понял, что за всю ночь ни разу не спросил ни у кого ничего личного.

Он знал про Юру заряд, про Катю нож, про Мишу письмо жене, про Серёгу ремень, про Настю коробочку, про Игоря выдоху — и всё это знал не потому, что спрашивал, а потому, что видел.

Он ни у кого не спросил.

— Дед, — сказал он.

— Ну.

— А почему ты не спросил, что со мной?

Дед поднял голову.

— Потому что ты бы не сказал, — сказал он. — А врать бы тебе пришлось. Зачем мне, чтоб ты мне врал, я с тобой третий год хожу.

Ада закончила с ногой и посмотрела на них обоих.

— Ну вы даёте, — сказала она. — Сидим в горящем доме, восьмерых потеряли, а разговариваем про ковёр.

— А про что надо? — сказал Дед.

— Не знаю. Про что-нибудь важное.

— Это и есть важное, — сказал Дед. — Всё остальное само.

Он встал, крихтя, и пошёл к лестнице, придерживая руку.

— Ковёр, — сказала Ада в спину. — С оленями.

— С оленями, — подтвердил Дед, не оборачиваясь. — Четыре штуки. Два больших, два маленьких.

Рейн потом вспоминал этот разговор чаще, чем всё остальное: не крышу, не арсенал, не седьмой этаж, а вот эти двадцать минут на ступеньке, где трое усталых людей в горящем здании обсуждали ковёр с оленями.

Он много раз пробовал понять почему, и однажды понял.

В эту ночь считали всё.

Считали кредиты и проценты, авансы и остатки, фильтры и патроны, минуты до обработки нижних ярусов и метры до лифтового холла. Считали палец в четыре тысячи, кисть в сорок, локоть в восемьдесят, плечо в двести. Считали смены, вычеты, надбавки и боевые. Считали граммы неба и месяцы подписки.

Считали заходы, которых не было ни в одном журнале мира, и воспоминания, которых оставалось три. Считали живых. Считали тех, кого уже не несут. Считали людей, которых было тринадцать, и все, включая мёртвых, умели это делать в уме.

А там, на ступеньке, между десятым и одиннадцатым, трое усталых людей двадцать минут говорили про ковёр с оленями.

Два больших, два маленьких.

И никто ничего не считал.

Вес

После башни. Мелководье, девятый день и дальше.

Он спал двое суток.

Не «отдыхал» и не «отходил» — спал, как спят после того, как каркас двадцать один час несёт на себе не только щит. Лида два раза за эти двое суток подходила и слушала дыхание, потому что дыхание было нехорошее, с задержками, и один раз задержка вышла на восемь секунд, и она стояла над ним и считала.

Он не просыпался ни на звонок, ни на воду, ни на то, что она задела в темноте таз.

На второй день она сняла с него одеяло и посмотрела на спину.

Спина была как всегда: два продольных валика под кожей, от плеч до крестца, с восемью точками крепления, четыре из которых покраснели, а одна мокла. Она обработала мокнущую и накрыла обратно.

Двадцать шесть лет она делала это раз в неделю и знала эту спину лучше, чем своё лицо.

Расчёт по контракту пришёл в контору на девятый день.

Дед в это время ещё спал, и Лида поехала сама, потому что в конторе выдают тому, кто пришёл, а очередь на девятый день после такого заказа — это не очередь на полчаса.

Она отстояла три с половиной часа.

В очереди было человек шестьдесят, и она за три с половиной часа не поговорила ни с кем, кроме одного раза, когда женщина впереди спросила, по кому она стоит.

— По живому, — сказала Лида.

Женщина посмотрела на неё и отвернулась, и Лида поняла, что сказала не то, и ничего не поправила, потому что поправлять было ещё хуже.

В окне ей выдали расчёт на двух листах, и в расчёте всё было правильно.

Заказ не состоялся, значит, полная сумма не полагалась. Полагалась выплата по факту отработанных часов за вычетом амортизации выданного снаряжения и стоимости невозвращённого. В расчётном листе стояло: «К выплате — 11 140 р.». Вышло одиннадцать с небольшим.

Одиннадцать с небольшим выдали на руки, и Лида их взяла и убрала.

А дальше шла вторая страница, и на второй странице стояло то, ради чего весь этот день и имел смысл.

Справка о состоянии обязательств исполнителя. Договор залога от такого-то числа. Предмет залога: несущий каркас, серия, номер. Остаток по графику. Срок ближайшего платежа. Приписка мелким шрифтом про то, что при двух пропущенных платежах предмет залога переводится в режим ограниченной несущей функции.

Справку вкладывали в расчёт всем, у кого есть залог, — машинально, вместе с листами, потому что так настроена печать.

Лида прочитала это трижды.

Потом сказала в окно:

— Покажите, где написано про залог.

— Вот, — сказал человек в окне и развернул к ней лист.

— Нет. Не тут. Покажите, где он его закладывал.

Человек вздохнул, повозился и развернул к ней экран.

Там был скан, и на скане была графа «цель», и в графе стояло: «личные обстоятельства», и внизу стояла подпись, и подпись была та, которой он подписывал ей открытки.

Дата была четырёхлетней давности.

Лида смотрела на дату дольше, чем на сумму.

Она считала в уме — не деньги, а вещи: что было четыре года назад, что он сказал тогда и чего не сказал. Два выхода в Заречье. Он приехал в воскресенье и привёз ей пачку хорошего чая, и она ещё сказала, что чай дорогой и зачем.

Жестяная коробка из-под того чая потом уехала к Аде, но это уже другая история и они об этом не сговаривались.

— Вам копию? — спросил человек в окне.

— Не надо.

— Тут всё правильно оформлено, — сказал он. Он сказал это не грубо, а как говорят фразу, которую произносят двадцать раз в день. — Вы если спорить будете, вам надо в третье окно, но там вам то же скажут.

— Я не буду спорить, — сказала Лида. — Тут всё правильно.

Она сказала «спасибо», сложила оба листа вчетверо и вышла.

На улице она простояла минут двадцать.

Стояла она у стены, чуть в стороне от двери, и мимо шли люди из той же очереди, и никто на неё не посмотрел, потому что у этой конторы у стены стоят всегда.

Потом она посмотрела на время, увидела, что до смены час десять, и поехала в прачечную.

Он проснулся вечером, в начале десятого, и первое, что сделал, — сел и стал слушать себя.

Он потом рассказывал Аде, что искал не боль. Боль была, боли он не удивился. Он искал другое: держит или нет.

Держало.

На кухне на столе лежали два листа, сложенные вчетверо. Лида была на смене. Он развернул, прочитал, сел и просидел минут сорок, не включая свет.

Считалось это просто, и посчитал он это без бумаги.

Одиннадцать с небольшим лежали в буфете, в жестянке. Остаток по графику был почти вдвое больше. Значит, этими деньгами не закрыть; значит, отдать их в контору — это отсрочить, а не решить, и через три месяца он будет там же, но без денег, потому что заказов после такой ночи не будет ни у кого месяца три, а таких, как он, в городе на каждый заказ по десять.

Значит, пассивный режим. Не сегодня и не завтра, но считать надо от этого, а не от надежды.

От надежды считают те, у кого есть время.

Девятьсот с чем-то лежали у него шестой год отдельно и назывались «на всякий».

Он достал жестянку из буфета, добавил к одиннадцати эти девятьсот, пересчитал всё вместе, положил в карман и поехал к Аде.

Ехал он через полгорода, с двумя пересадками, стоя, потому что сидеть было неудобно, и в вагоне на него смотрели — на

такую спину всегда смотрят.

Ада открыла и не удивилась.

— Ты чего.

— Пусти.

Он прошёл, сел, положил деньги на стол и сказал:

— На «Стрижа».

Ада посмотрела на деньги.

— Дед.

— Я тебе на втором сказал: куплю и не удержу. Вот. Первая часть.

— Дед, у тебя расчёт пришёл?

— Пришёл.

— Сколько?

— Одиннадцать с небольшим. И свои девятьсот.

— Дед, у тебя залог.

— У меня залог, — сказал Дед. — А у тебя дрона нет.

Ада сидела напротив и молчала — не потому, что не знала, что сказать, а потому, что знала два варианта и оба были плохие. Первый: взять. Второй: сказать вслух, что он несёт эти деньги мимо графика.

Она взяла.

Это было, если разбираться, самое уважительное, что она могла сделать, и она это понимала, и всё равно потом три года думала, правильно ли.

Дрона она собирала девять месяцев, по частям, и на корпусе процарапала гвоздём «Стриж-12», а ниже, мелко, «М. К.».

Дед про вторые буквы не знал.

Дочери он звонил дважды.

Первый раз — на одиннадцатый день, в четверг, вечером, потому что четверг был тот день, когда она когда-то позвонила сама. Он набрал полный номер, поднёс к уху, услышал, как соединяется, и сбросил до гудка.

Второй раз — через неделю, утром. То же самое.

Он потом объяснял это себе по-разному и ни одно объяснение его не устроило.

Настоящее было такое: он четыре года считал, что она была неправа, и четыре года жалел, что сказал, и первое надо было отдать, чтобы получить право на второе, а отдавать первое по телефону нельзя.

Лиде он сказал про звонки. Один раз, коротко.

— Набирал.

— И?

— Сбросил.

— Оба раза?

— Оба.

Лида поставила чайник и сказала:

— Ну сбросил и сбросил. Она тоже не звонит.

Про залог она с ним не говорила ни в тот вечер, ни потом.

Это не было прощением и не было умолчанием из деликатности. Это было то, на чём они прожили двадцать шесть лет: если человек молчал четыре года про такое, значит, он четыре года это несёт, и если теперь про это заговорить, он понесёт ещё и разговор.

Она просто с того дня стала обрабатывать ему точки крепления два раза в неделю вместо одного.

Трос он принёс домой.

Тот самый, сорок метров, четыре килограмма, проташенный через тринадцать этажей и не использованный в третий раз. Он смотал его в прихожей, аккуратно, восьмёркой, и положил на антресоль, и Лида его оттуда не убирала.

Брезент остался на седьмом этаже.

На брезенте вытаскивали Тоху из лаборатории, чтобы не оставлять в дверях, и вытащили, и на площадке положили, и дальше не понесли — потому что впереди было шесть этажей, а он был мёртвый. Брезент Дед тогда оставил под ним и всю дорогу до крыши шёл без него, и ему было легче на два килограмма и хуже на что-то, чего он не назвал.

Клинок он протёр на четвёртый день, дома, на кухне, тем же маслом.

Протирать было незачем — он его вымыл ещё в первый вечер. Он всё равно достал масло, разложил тряпку, и сел, и делал это минут пятнадцать, медленно, как всегда перед боем.

Лида пришла со смены, посмотрела на это из дверей и ушла в комнату, не сказав ни слова.

Она рассказала об этом только через много лет, и рассказала так: я тогда поняла, что он собирается жить.

Глава 11. Офисы

Меня не убил человек, которого я связал внизу. Точнее, его брат.

«Это вы Славку не тронули?» — и опустил ствол.

Я не помнил, кто такой Славка. Делал лицо, будто помню.

Арслан ушёл здесь. Никто не пошёл искать. Я тоже.

Рейн, четыре двадцать пять

Одиннадцатый этаж. 04:25 — 04:45.

Одиннадцатый им был нужен по делу: там стоял пульт вентиляции.

Ада объяснила это ещё на лестнице, коротко и зло, потому что устала объяснять: выше двенадцатого воздух подаётся принудительно, а с одиннадцатого им управляют. Если не переключить контур, то к тому времени, когда они дойдут до крыши, на верхних этажах будет нечем дышать — туда гонит дым снизу.

— Сколько это займёт? — спросил Арслан.

— Минуту у пульта. Если пульт цел.

— А если не цел?

— Тогда мы поднимемся на два этажа и там ляжем, — сказала Ада. — Красиво, в оранжерее, среди деревьев.

На середине марша Дед остановился и сел на ступени.

Он сел не потому, что устал, — он садился всю ночь по делу, — а потому, что рука в лубке из чужого ремня начала мешать ему

думать, и он решил разобраться сначала с головой.

— Слушай сюда, — сказал он. — Ты вошёл в эту дверь и вышел. За сорок секунд. Против восьмерых и двух машинок.

— Да.

— Я двадцать один год работаю. Так не бывает.

Рейн стоял двумя ступенями выше и молчал ровно столько, чтобы это стало заметно.

Потом вспомнил подвал, стойку поперёк ног и человека, который перед смертью сказал: молчишь — и человек идёт куда шёл.

Рейн присел на корточки, чтобы быть вровень, и вместо ответа тронул Деда за нагрудник — слева, ладонью, там, где у того была старая штопка на ткани.

— Панель, — сказал он. — У Кима левая грудная была чужая. Светлее на полтона, кромка целая, подпись сдвинута вправо.

Дед посмотрел на свою грудь, потом на него.

— Пробили, — сказал он.

— Пробили. И он с тех пор стоит к двери правым плечом и отступает правой ногой. Всю жизнь, каждый раз. Сам не знает.

— Шрам, — сказал Дед.

— Шрам.

Ада стояла ниже, на повороте, и держала фонарь так, чтобы он никому не бил в лицо.

— И этого хватило на восьмерых? — спросила она.

— Этого хватило на одного, — сказал Рейн. — Остальное — штативы и время.

— Сколько времени?

Рейн посмотрел на свою ладонь.

— Одиннадцать минут, — сказал он. — По вашим часам.

Дед молчал долго. Потом здоровой рукой взялся за перила и встал.

— По нашим часам ты стоял, — сказал он. — Я видел. Я думал, тебя заклинило.

— Меня заклинило.

— Не ври, — сказал Дед. — Заклинившие не выходят по пунктам.

Он пошёл вверх. На следующей площадке остановился и, не оборачиваясь, сказал:

— Ты это раньше говорил кому-нибудь?

— Один раз, — сказал Рейн. — На втором. Про люк.

— Мало.

Рейн догнал его на площадке и сказал в спину, коротко, потому что это было короткое:

— На брифе было восемь снимков и пять дыр. Четыре я объяснил: туда пропуск, снимков нет ни у кого. Пятая — арсенал, а его снимают первым делом.

Дед остановился, но оборачиваться не стал.

— Он его не забыл показать, — сказал Рейн. — Он его вынул.

Дед постоял, подышал и пошёл дальше. Ответил он через пролёт, себе под нос:

— Значит, нас туда вели.

На одиннадцатом были ковры.

После восьми этажей бетона, решёток и хлорки это оказалось почти оскорбительно: мягкий серый ковролин, стеклянные перегородки, живые растения в кадках, кофемашина в нише. Дым шёл снизу и стелился у пола, и растения в кадках уже начали вянуть, но ковёр всё ещё глушил шаги.

Пахло холодным кофе. Не свежим — тем, который стоит в машине с вечера и к утру делается кислым; этот запах держался в нише и на три шага вокруг неё, а дальше в него уже вмешивался дым, тонко, как вмешивается гарь с чужого двора.

Идти было неудобно. Восемь этажей подошва слышала пол — плитку, бетон, кафель, решётку, — и по ним нога сама знала, где твёрдо. Здесь она проваливалась на полсантиметра и не отдавала звука обратно, и от этого шаг выходил длиннее, чем хотелось. Дым лежал ровным слоем по колено, и они шли в нём, как идут в воде, разгоняя его бёдрами, и за каждым оставался след, который затягивался через пару секунд.

— Директорский, — сказала Ада. — Тут людей не бывает по ночам.

Она ошиблась.

У лифтов висел план эвакуации — не бумажка, как внизу, а нормальная рамка под стеклом, с подсветкой и с кнопкой, от которой она загоралась.

Ада нажала кнопку, потому что руки у неё сами трогали всё, что светится.

План был подробный. Кроме лестниц и спуска Б на нём была нарисована вторая нитка, тонкая, обозначенная как «технический переход в западное крыло, ур. 11 — ур. 9», и от

западного крыла вниз шла своя лестница, отдельная от их, и упиралась в собственный выход на уровень земли.

Ада мазнула фонарём по дальнему концу зала, где стояла стойка ресепшена, и отблеск лёг полосой у самого пола.

— Низ у стойки стеклянный, имей в виду, — сказала она и убрала палец с кнопки. — Ноги будет видно.

Сверху, над этажами, на плане была нарисована кровля, и на кровле — прямоугольник с надписью «посадочная площадка (дежурный борт)».

— У них там борт, — сказала Ада, не оборачиваясь. — У всех таких объектов дежурный. Директора не ездят по земле.

— И он там сейчас?

— Ночью — обязан быть.

Арслан стоял у рамки дольше всех. Он дождался, пока подсветка погаснет сама, и нажал кнопку ещё раз.

Кабинеты стояли открытые.

Их открыла та же тупая программа, что отперла боксы карантина: при санации отпирается всё. Поэтому Рейн шёл мимо распахнутых директорских дверей и видел то, что обычно не видит никто.

Кабинеты были скучные. Стол, кресло, шкаф, в шкафу папки. В одном — тренажёр в углу, беговая дорожка с полотенцем на поручне. В другом — детские рисунки, приколотые к пробковой доске, целая стена, лет за пять. В третьем на столе стояла початая бутылка и два стакана, и один был с отпечатком помады.

Игорь остановился у той двери, где были детские рисунки, и постоял, не заходя.

— У нас в затоне за такую доску били, — сказал он. — Пробка. Её на растопку хорошо.

Он сказал это и сам не понял, зачем сказал, и пошёл дальше первым.

— Живут же люди, — сказал кто-то.

— Живут, — согласился Дед. — И вот сейчас едут домой на служебной, и будут спать, а мы тут.

Он подумал и добавил:

— И завтра они будут живы, а мы нет. Вот это самое обидное, а не рисунки.

За полсекунды до этого Рейн полез считать — так же, как считал весь вечер, стоя на пороге с ладонью на косяке.

Считалось быстро и сходилось. Ковёр глушит шаги, значит услышать его нельзя, значит человек тут не слушает, а смотрит. Смотреть всю ночь он не может, поэтому сидит там, где свет и кипятилок, — у ниши с кофемашиной, то есть за стойкой. Слева от стойки кадка в человеческий рост, справа проход. Выйдет справа.

Всё это было верно.

А вот чего он не вспомнил — это что у стойки директорского этажа стеклянная стенка по пояс и за ней видно ноги. Он знал это. Он смотрел на план у лифтов девять минут назад, вместе с Адой, и Ада ещё сказала: низ стеклянный, ноги будет видно.

Теперь на этом месте было ровно и пусто.

Он шагнул так, как шагают в глухой угол, — и его увидели раньше, чем он увидел.

Охранник вышел из-за стойки ресепшена со стволом в руках — вышел справа, как Рейн и считал, только на два счёта раньше, — и Рейн заорал: «стой!» — не понимая даже, кому из двоих.

Всё встало разом, и с этого момента никто уже не шёл, а только перекладывал вес.

Дед был левее и ближе всех. Он не поднял оружия: он развернул корпус вполоборота и подставил здоровое плечо, потому что рука в лубке висела спереди и мешала, и стоял так, чтобы между стволом охранника и Адой был он. Ада стояла на шаг позади и держала фонарь опущенным, лучом в ковёр, и луч в дыму лежал белым пятном у её ботинка. Игорь взял вправо, к кадке, и с этой секунды его стало не видно за листьями — он не целился, он просто встал так, чтобы целиться не пришлось долго.

Рейн держал руки, как держал их всю ночь: левую, протезную, на цевье, правую у скобы, ствол вниз под сорок пять. Он не стал его поднимать. Поднять ствол — это полсекунды, и он их себе оставил, потому что человеку напротив на то же самое нужна была секунда с лишним.

Охранник замер. Не от крика. Он смотрел на них и держал ствол не совсем правильно: локти разведены, приклад не в плече, а под ним, левая ладонь слишком далеко на цевье — так держит человек, стрелявший последний раз на стрельбище четыре года назад. Ствол у него ходил маленькой восьмёркой, сам собой.

Ему было лет сорок. Форменная куртка сидела хорошо, в отличие от той, внизу.

И это было всё, чем он отличался от Славки. Ни ртути, ни нагрудника, ни второго человека рядом: тот же слой, те же девять тысяч, только этаж дороже и куртку подобрали по

размеру. Смена с верхних этажей не стояла бы одна у стойки и не спрашивала бы, откуда они шли.

— Вы, — сказал он и мотнул стволом. — Вы откуда шли? Снизу?

— Снизу.

— Через вестибюль?

— Через вестибюль.

Он облизнул губы.

— Там мужик на входе был. За стойкой. Такой... — Он неловко показал рукой на уровне своего плеча, будто это что-то объясняло. — Живой?

Рейн понял не сразу.

А поняв, ощутил очень странную вещь: пустоту. У него внутри не было никакого ответа. Он не помнил ни стойки, ни мужика, ни собственной руки, которая затягивала узел.

— Это вы Славку не тронули? — сказал охранник. — Связали и не тронули?

— Я не помню, — сказал Рейн честно.

Охранник моргнул.

— Как это не помните?

— Так, — сказал Рейн.

Тот постоял ещё секунду — и опустил ствол. Опустил неправильно, всей рукой сразу, и ствол ткнулся в ковролин, и он этого не заметил.

Дед за спиной у Рейна очень медленно перестал быть плечом вперёд.

— Ладно, — сказал он. — Он мне отписался. Ещё ночью, и потом звонил. «Меня связали, я живой, не лезь никуда». Если бы вы его положили, он бы не отписался.

Он поставил ствол на предохранитель и отошёл от прохода.

— Идите, — сказал он. — Мне ещё троих отсюда выводить, у меня уборщицы в серверной заперлись.

Арслан обернулся и показал подбородком назад — туда, где стояли женщина в очках и мальчик лет двенадцати.

— Возьми ещё двоих, — сказал он. — Мы их из шахты достали. С нами им наверх незачем.

Охранник посмотрел на мальчика.

— Это чей?

— Наш теперь, — сказала женщина в очках, прежде чем кто-нибудь успел ответить.

Они прошли мимо него, и Рейн шёл и чувствовал себя вором.

Он получил подарок за поступок, которого не помнил. Где-то в этой башне лежал человек по имени Славка, которого он, оказывается, пожалел, и это пожаление сейчас спасло их всех, — а внутри было ровное место и ни малейшего чувства, кроме неловкости.

Он сказал бы себе что-нибудь утешительное, но на утешительное уже не было сил.

«Записать?» — спросила Лира.

«Что?»

«Ну, ты обычно просишь записать. Я думала, ты хочешь».

«Запиши, — сказал он. — „Он опустил ствол из-за того, чего я не помню“».

Спуск Б они нашли в конце западного крыла.

Тяжёлая дверь без окна, с картоприёмником сбоку и табличкой, повторяющей план: «Аварийный спуск Б. Доступ по карте».

Ада приложила карту.

Замок мигнул зелёным и щёлкнул.

Никто не сказал ни слова — просто все выдохнули разом, и в этом выдохе было семь этажей ожидания.

Дед потянул дверь.

За дверью была площадка и уходящая вниз лестница — узкая, чистая, с новыми перилами, совсем не похожая на всё, по чему они лазили эту ночь.

И на восемь ступеней ниже площадки стояла пена.

Она стояла ровно, гладко, как налитая, и слегка шевелилась у края, и уходила вниз на одиннадцать этажей.

Ада посветила фонарём.

Пена была плотная, серо-белая, и в ней, у самой поверхности, что-то темнело — не человек, просто мусор, занесённый снизу. Но смотрели все именно на это тёмное.

— Он же отдельный контур, — сказала Ада.

— Отдельный, — согласился Дед.

— Он не должен был залиться.

— Он и не залился, — сказал Дед. — Он открыт снизу. Смотри, как ровно стоит: она пришла не по стволу, она пришла из

подвала. Спуск Б выходит в цоколь, а цоколь залили первым.

Ада стояла с картой в руке.

— Семь этажей, — сказала она. — Я его семь этажей несла.

Она не бросила карту и не выругалась. Она аккуратно убрала её обратно во внутренний карман, застегнула, и они пошли наверх.

Арслан ушёл на одиннадцатом.

Это случилось так просто, что сначала никого не удивило. Они шли через общий зал, дым уже поднялся до колена, и в дальнем конце что-то рухнуло внутри перекрытия — не на них, за стеклянной перегородкой.

Перегородка не разлетелась. Она сначала побелела вся сразу, от пола до потолка, будто её изнутри засыпало солью, постояла так секунду, и только потом вышла из профиля и легла на ковровин крупной крошкой — и крошка не зазвенела, потому что ковровин глушил и её тоже. А следом в проём пошёл горячий чёрный вал, вдоль потолка, быстрее, чем идёт человек.

— Вправо! — крикнул Дед.

Ада пошла первой, потому что стояла ближе к правой стене, и пошла неровно: раненая нога не держала толчок, и она помогала себе ладонью по стеклу перегородок. Дед шёл за ней вполоборота, здоровой рукой упирая её в поясицу — не подталкивая, а придерживая, чтобы знать, где она. Рейн задержался на два счёта, пропуская их, и уже с этого места, сбоку, увидел то, что видел потом всю жизнь.

Арслан не пошёл сразу.

Он на секунду задержался у перегородки и посмотрел на Рейна через всё помещение — спокойно, внимательно, как

смотрят на вещь, которую довели и сдали.

— Дошёл, — сказал он.

Он сказал это без злости и без тепла, просто отмечая факт. Пять этажей назад, в дверях цеха, он пообещал, что Рейн дойдёт целым, и проследил, и теперь работа была сделана.

Потом он повернулся и пошёл влево.

Рейн видел это отчётливо: лидер группы, не оборачиваясь, спокойным рабочим шагом, уходит в дым налево — туда, откуда они только что вернулись.

К спуску Б.

Он видел пену своими глазами, стоял рядом, слышал, как Дед объяснял про цоколь. И всё равно пошёл.

Рейн понял это не сразу, а поняв, удивился: он не испугался за Арслана, он ему позавидовал. Человек, у которого закрылись все двери, пошёл проверять ту, про которую ему при нём сказали, что она не работает.

Потому что «не работает» и «не работает для вас» — это в их городе разные вещи.

Не побежал. Не крикнул. Просто повернул.

— Арслан! — заорал Дед.

Игорь пошёл за ним — не раздумывая, тремя быстрыми шагами, как ходят за старшим, — и Дед поймал его здоровой рукой за лямку и дёрнул назад так, что тот сел.

— Куда.

— Он же один.

— Он не один, — сказал Дед. — Он сам с собой. Это другое.

Игорь поднялся, вытер ладони о штаны и больше в ту сторону не смотрел.

Дым сомкнулся.

Пульт оказался цел.

Ада работала на нём девяносто секунд, и всё это время Рейн стоял у неё за спиной и смотрел на дым, шедший по полу низко и ровно, и думал очень простую вещь: если бы они пошли за Арсланом в дым, они не успели бы переключить контур.

Они не пошли за Арсланом в дым.

Контур переключился.

На крыше потом будет чем дышать — именно из-за этих девяноста секунд.

Об этом никто из них так и не узнает.

Они ждали его на площадке две минуты — больше было нельзя.

— Он мог не услышать, — сказала Ада.

— Он слышал, — сказал Дед.

— Может, его завалило.

— Может.

Дед сплюнул на ковёр.

— Он всю жизнь оставлял себе выход, — сказал он. — Двадцать лет. Я с ним на трёх работах был. Он входит в помещение и первым делом смотрит, где щель. Олег смотрел, чтоб выйти всем. Этот — чтоб выйти самому.

— Ты его не любил, — сказала Ада.

— Я его уважал, — сказал Дед. — Это разное.

Рейн стоял и смотрел в дым.

Уходя, Арслан сделал одну вещь.

Он вынул из кармана планшет — тот самый, на котором девять лет держал списки, по которому в пустом складе называл их всех по именам, — и положил его на пол у перегородки, экраном вниз.

Не отдал и не разбил. Положил, как кладут инструмент, которым больше не будут работать.

А потом Рейн вспомнил ещё одну мелочь: за три шага до поворота Арслан сбился. Один шаг короче других — как сбиваются, когда пересчитывают.

Он не остановился. Просто сбился и пошёл дальше.

Он мог бы поставить отметку. Он стоял ровно там, где можно было поставить, — секунда перед площадкой, ладонь на перилах. Он мог бы вернуться и пойти влево вместе с Арсланом, и посмотреть, и, может быть, вытащить.

Подумал про жёлтую воду, ободранную коленку и солнце с ресницами.

Он посчитал.

И не стал.

— Идём, — сказал Рейн.

Они сидели на площадке ещё минуту, потому что Аде надо было перетянуть ногу.

Рейн смотрел на свои руки и думал о том, какой сегодня день.

Формально — та же ночь. Они зашли в башню в одиннадцать, сейчас половина пятого. Пять с половиной часов.

Внутри у него было другое число, и он знал его точно, потому что Лира назвала его вслух: сорок четыре. Он входил в дверь арсенала тридцать два раза и тридцать два раза оттуда не выходил. Трижды не вышел из серверной. Дважды не прошёл карантин. Остальные семь лежали по одному: вестибюль, лифтовый холл, склад на втором, дверь на четвёртом, шлюз вивария, дверь лаборатории, площадка перед узлом. Тридцать два, три, два и семь. Сорок четыре. Если сложить всё это, то он прожил сегодня не ночь, а что-то вроде месяца — месяц одного и того же коридора, одних и тех же тридцати секунд, одного и того же лица Деда, тянущегося к клинку.

Ни одного шага из этого месяца он не сделал. Он стоял у дверей, с ладонью на металле, и считал, и от этого месяц не становился короче.

Тело этого не знало. Тело считало, что прошло пять часов, и честно предлагало усталость на пять часов.

А голова была изношена, как после долгой болезни.

— Ты спишь? — спросила Ада.

— Нет.

— У тебя глаза открыты, а ты спишь, — сказала она. — Я вижу.

— Я думаю.

— Не думай, — сказала Ада. — Тут осталось два этажа. Подумаешь потом, когда будет откуда.

Позже, уже наверху, он много раз возвращался к этой минуте — головой, не черновиком.

Не потому, что жалел. А потому, что не мог отделаться от простой мысли: он не пошёл за Арсланом, потому что дорого. А не пошёл бы он за ним, будь это бесплатно?

Он честно попробовал ответить себе и не смог.

Модуля у Арслана не осталось — он ушёл вместе со всем, что на нём было, включая командный передатчик, из-за чего последние два этажа группа шла без нормальной связи.

Это была последняя услуга, которую он им оказал.

— Он не умер, — сказал Рейн вдруг, сам не зная почему.

Дед посмотрел на него.

— Ты это знаешь? — спросил он. — Или думаешь?

Рейн прислушался к себе.

Внутри не было ни картинки, ни предчувствия, ни одного из тех ясных знаний, к которым он привык за эту ночь. Была только логика: человек, двадцать лет оставлявший себе щель, нашёл щель.

— Думаю, — сказал он.

— Плохо, — сказал Дед. — Лучше б знал.

Раньше на этом Рейн бы и замолчал.

— Тогда слушай, из чего я думаю, — сказал он.

Дед остановился.

— Ноль. Ещё на восьмом он считал на пальцах за углом: три, потом два. Три — это мы. Два — это он и кто-то ещё. Я тогда посчитал это за пустое.

— А теперь?

— А теперь это первое, с чего всё сходится.

Он поднял палец.

— Первое. Он стоял у рамки с планом дольше нас всех и дважды жал кнопку подсветки. Ада, ты помнишь, что на том плане было, кроме спуска Б?

— Переход в западное крыло, — сказала Ада. — Тонкой линией. Одиннадцатый на девятый.

— И от западного крыла своя лестница и свой выход. Отдельный от нашего. Спуск Б залит, потому что его цоколь общий с нашим. У западного цоколь другой.

Он поднял два пальца.

— Второе. Он слышал, как ты объяснял про пену. Стоял в трёх шагах. Человек, который слышал и всё равно пошёл туда же, идёт не туда же.

Три.

— Третье. За три шага до поворота он сбился с ноги. Один шаг короче. Так сбиваются не когда боятся, а когда пересчитывают: он на ходу проверял, хватит ли ему метража до перехода, пока стекло не лопнуло по всему крылу.

И четыре.

— Четвёртое. Он положил планшет экраном вниз. Не отдал и не разбил. Так кладут инструмент, за которым вернутся не они.

Дед смотрел на него, шевеля желваками.

— Красиво, — сказал он наконец. — И всё равно это не знание.

— Это не знание, — согласился Рейн. — Это счёт. У меня другого нет.

— А раньше у тебя было другое?

Рейн не ответил.

Одного он им не сказал, и не сказал сознательно.

На том же плане, сверху, была кровля, и на кровле — прямоугольник с надписью «посадочная площадка (дежурный борт)». Ада прочла это вслух десять минут назад и сама же объяснила, что ночью борт обязан быть.

Арслан слышал и это.

Значит, он не просто уходил живым. Он уходил вниз, зная, что наверху стоит машина, и что в этой машине кто-то сидит, и что с этим кем-то через час будет о чём говорить — если зайти к нему не с крыши, а снизу и со стороны.

Сказать этого Арслан не мог: пришлось бы объяснять, зачем человек, у которого всё схвачено, уходит вниз один, когда добыча идёт вверх.

А объяснение было ровно одно, и оно сидело у Рейна в боку, где не было раны.

И ещё он вспомнил, стоя на этой площадке, что ему было обещано.

Целым дойдёшь. Я прослежу.

Арслан сказал это на шестом, у прохода между линиями, и сказал не как друг, а как про снаряжение, и Рейн тогда же понял, что охраняют не людей, а груз.

Теперь выходило, что он и это выполнил. Довёл целым до одиннадцатого, до места, откуда наверх дорога есть, и с этого места отошёл в сторону — ровно как человек, выполнивший пункт и закрывший его.

Он не обещал вернуться. Он вообще ни разу за четыре года никому этого не обещал, и Рейн только сейчас сообразил, что ни разу и не слышал от него слова «вернись».

Всю ночь он раздавал знание, как патроны: турель, кашель, окно. А это первое, что он оставил себе, и от этого во рту было кисло.

Дед поправил клинок на плече и пошёл наверх.

— Такие всегда возвращаются, — сказал он на ходу. — Не вниз идут, а в сторону. Он ещё сядет напротив тебя за столом и будет объяснять, почему он был прав.

Рейн шёл следом и думал, что Дед, наверное, прав, и что внизу, в двух кварталах отсюда, стоят три машины, и что человеку, который хочет выйти из горящей башни и остаться при деньгах, есть что предложить любой из них.

У него больше не было контейнера.

Но у него была информация о том, где этот контейнер теперь ходит своими ногами.

Внизу. Брат

01:10 — 04:40. Одиннадцатый этаж, серверная директоров.

Алексей Кузин закрылся с уборщицами в серверной в час десять и просидел там три с половиной часа.

Уборщиц было трое: две пожилые и одна молодая, беременная, месяце на пятом. Их бригада работала по ночам, потому что днём в директорских кабинетах люди, а ночью нет, и так было заведено пятнадцать лет.

Серверную он выбрал потому, что там холодно, есть свой воздух и одна дверь, которую видно.

— Сидим, — сказал он. — Не шумим. Я разберусь.

Разбираться было не в чем, и он это знал, но говорить такое вслух нельзя.

Брат отписался в двадцать два пятьдесят четыре: «меня связали, я живой, не лезь никуда».

Алексей прочитал, перечитал и минут пять сидел с телефоном в руках.

Славка был старше на четыре года и всю жизнь всё делал не так: не доучился, не женился вовремя, не пошёл в «Гарпун», когда брали, и в итоге сидел на стойке в вестибюле за девять тысяч, хотя мог бы за восемнадцать ходить с автоматом.

За это Алексей его двадцать лет попрекал.

Он написал: «ты живой?» — и получил: «да».

Написал: «что там?» — и не получил ничего, потому что телефон у Славки забрали вместе с рацией и пейджером, а отписаться он успел в первые секунды.

В час сорок в коридоре прошли люди.

Алексей слышал их через дверь: шаги, короткие фразы, звяканье. Он держал ствол в руках и очень отчётливо понимал, что если они войдут, то он успеет выстрелить один раз, и то не факт.

Они не вошли.

Молодая уборщица тихо плакала, и одна из пожилых держала её за руку и повторяла шёпотом: «ничего, ничего, ничего».

В два ноль пять позвонил Славка.

Со стационарного, с той самой стойки. Голос был спокойный и какой-то удивлённый.

— Лёш, это я.

— Я знаю, что ты. У меня определяется. Ты живой?

— Живой. Меня связали и не тронули.

— Я знаю, ты писал. — Алексей отвернулся к стойке, чтобы уборщицы не слышали. — Я тут второй час сижу с уборщицами в серверной.

— Ты их выведи.

— Выведу. — Пауза. — Слав.

— Что?

— Они идут наверх, — сказал Алексей. — Они уже на шестом. Они идут наверх, а не вниз, ты пони...

— Понимаю. Значит, им нужно наверх.

— Тут же нет ничего наверху. Тут директора и оранжерея.

— Значит, есть, — сказал Славка.

В трубке было слышно, как он переступил с ноги на ногу.

— Лёш. Если они к тебе выйдут — не стреляй первым.

— С чего бы это?

— Просто не стреляй, — сказал Славка. — Они меня не тронули.

Алексей положил трубку и посидел ещё минуту.

Он двадцать лет считал, что брат мягкий, и говорил ему это в лицо, и сейчас вдруг обнаружил, что именно эта мягкость только что спасла Славке жизнь, а его собственная твёрдость никого пока не спасла ни разу.

Мысль была неприятная, и он её отложил.

Потом повернулся к уборщицам и сказал:

— Значит, так. Через полчаса выходим. Через двенадцатый, там служебная лестница на кровлю, а с кровли пожарная наружная. Спуск двенадцать этажей по железу. Кто не может — скажите сейчас.

Пожилая посмотрела на молодую.

— Она сможет, — сказала пожилая.

— Я сама скажу, — сказала молодая.

— Ты сможешь, — сказала пожилая.

Они вышли в пятом часу.

Алексей шёл первым, и на повороте у ресепшена нос к носу столкнулся с людьми, про которых Славка сказал «не стреляй первым».

Их было пятеро. У переднего было очень усталое лицо.

Алексей поднял ствол и спросил про брата.

— Кузин, — сказал он. — Вячеслав Кузин, стойка в вестибюле.

Передний посмотрел на него и переспросил имя. Алексей повторил. Передний переспросил ещё раз, и Алексей понял, что тот не тянет время: он держал имя в руках и ронял его, как роняют мелочь мокрыми пальцами.

Потом передний ответил ему что-то, чего Алексей потом не мог повторить дословно, и опустил ствол сам.

Этот разговор он пересказывал жене раз двадцать, и каждый раз выходило короче, и каждый раз он застревал на одном и том же месте.

Он говорил: понимаешь, он не сказал «нет». Он сказал, что не помнит. У него было такое лицо, будто он правда не помнит и его это самого не устраивает.

И ещё он говорил: я ему три раза назвал фамилию, а он всё равно сказал «человек со стойки». Не «твой брат», не «Кузин» — «человек со стойки». Как будто имена у него кончились, а места остались.

Жена спрашивала: и ты поэтому ствол опустил?

Он отвечал, что да, поэтому, и что объяснить это по-человечески не может до сих пор.

Он пропустил их и добавил зачем-то, что ему ещё троих отсюда выводить.

Они прошли мимо.

Один, здоровый, несущий на плече клинок, обернулся уже на ходу и сказал:

— На двенадцатом стекло. Не ведите их через теплицу, ведите по внутренней.

— Спасибо, — сказал Алексей.

Он вывел их по внутренней.

Спуск занял час сорок, молодую вели по очереди, и на седьмом пролёте она села и сказала, что дальше не пойдёт, и её уговаривали одиннадцать минут.

Внизу, на земле, их встретили люди в бледно-зелёном с распылителями, и старшая смена записала всех троих в журнал, и уборщицам дали воды.

Алексея никто не поблагодарил, потому что благодарить в такие моменты никому не приходит в голову.

Славку он нашёл в шесть утра, в фильтрационном пункте у эстакады, где держали всех, кто вышел.

Тот сидел на лавке в чужой куртке и пил чай из пластикового стакана.

Они посмотрели друг на друга.

— Ну ты и урод, — сказал Алексей.

— Ага, — сказал Славка.

— Я тебе двадцать лет говорил: иди в «Гарпун».

— Ага, — сказал Славка.

Алексей сел рядом и взял у него стакан, отпил и вернул.

Про то, что на одиннадцатом он опустил ствол из-за стойки в вестибюле, он брату так и не рассказал. Ни в то утро, ни потом.

Вообще никогда.

Ильина. Всю ночь

Та же ночь, дальше. Двор в двух кварталах от «Ковша».

Зарево она увидела в двадцать три двадцать, в то же самое зеркало заднего вида, куда в ту минуту смотрела и посредница в своей машине четырьмя кварталами дальше, — только Ильина, в отличие от Марты, не могла себе позволить уехать.

Правило было простое и не ею придуманное: свойство берут только у тёплого тела, окно — минуты, и человек, который его снимает, должен стоять рядом. Заказчик не может быть далеко в момент передачи, потому что передача — это не документ, который можно подписать через день.

Она была здесь не из упрямства. Она была здесь потому, что физика её дела не оставляла ей другого места.

Дым дошёл до их переулка минут через десять после зарева — не густой, скорее горький привкус в воздухе, чем видимая пелена, с запахом горелой изоляции и чем-то маслянистым сверху, от чего слезились глаза даже на таком расстоянии. Тимофей приоткрыл своё окно на палец, потянул носом и тут же закрыл обратно, ничего не сказав.

— Надо уезжать, — сказал старший.

— Ещё нет.

— Там горит.

— Горит здание, — сказала Ильина. — Пока горит здание, а не эта улица, мы остаёмся.

Он посмотрел на неё так, как смотрят на человека, который либо очень храбр, либо не до конца понимает, что видит.

— Вы не первый раз это делаете, — сказал он не как вопрос.

— Не первый.

— И часто так?

— Один раз так, — сказала она. — Остальные разы были проще.

Рация молчала минут двадцать, потом ожила голосом, чужим, испуганным, сказавшим три слова не по протоколу и оборвавшимся.

Старший потянулся выключить приём — резкий шум мог привлечь внимание с улицы, — но она положила руку поверх его руки, впервые за ночь коснувшись его.

— Оставьте, — сказала она. — Мне нужно слышать, даже если это ничего не значит. Особенно если это ничего не значит.

Он оставил.

К полуночи она пересчитала свой план заново, вслух, тихо, себе под нос, так, как считала всегда, когда переставала доверять цифрам в голове:

— Вариант А умер в двадцать три двадцать вместе с заревом. Вариант Б: контейнер потерян, доставки нет. Вариант В я не готовила, потому что не рассматривала его всерьёз, а стоило.

— Какой вариант В? — спросил старший.

— Что содержимое не погибнет вместе со зданием, — сказала она. — Что оно найдёт способ пережить пожар, потому что оно для этого и создавалось.

Она произнесла это ровно, без интонации ужаса, — она вообще редко позволяла себе интонацию, — но старший потом вспоминал этот момент как единственный за ночь, когда ему

стало по-настоящему не по себе, потому что вспышку страха у неё он мог бы понять, а спокойный пересчёт варианта, от которого другому человеку стало бы плохо, понять не мог.

Два часа спустя один из четверых, самый молодой, попросил разрешения подойти ближе к воротам — «посмотреть, вдруг кто выйдет живой, и мы его прозеваем».

— Нет, — сказала она.

— Почему?

— Потому что «посмотреть» превращается в «помочь», а «помочь» превращается в тело, которое найдут утром рядом с местом, где сгорела лаборатория, и по которому за неделю выйдут на меня. Вы стоите здесь ради того, чтобы я стояла здесь безопасно. Не ради спасения тех, кто внутри.

Он не спросил снова.

Ближе к четырём она перестала считать варианты и начала просто ждать — редкое для неё состояние, в котором она не управляла процессом, а наблюдала за ним со стороны, как наблюдает хирург, зашивший то, что мог, и дальше зависящий от того, выдержит организм или нет.

Пожарные машины прошли мимо их переулка дважды, не заметив ни машину, ни четверых у стены.

Где-то без четверти пять хозяйственный двор ожил новым звуком — не сиреной, не выстрелом, а шагами одного человека, идущего целенаправленно, не прячась и не спеша. Дышал он тяжело, с присвистом, слышным даже через стекло, и запах гари шёл теперь не только с улицы, а от него самого — от одежды, которая побывала внутри.

Старший поднял руку, требуя тишины.

Ильина уже сама смотрела туда и не отвела взгляда, хотя всё в ней хотело зажмуриться просто от неизвестности того, что сейчас войдёт в свет фар.

Доля

Двадцать лет назад и дальше.

Арслан вырос в Консервном, в семье, где считали вслух.

Отец был приёмщиком на рыбной базе и каждый вечер за столом пересчитывал день: столько пришло, столько ушло, столько усохло, столько списали. Мать слушала и поправляла, когда он ошибался, а ошибался он редко.

Арслану было девять, когда он понял главное: в их доме не говорят «хорошо» или «плохо». В их доме говорят «сходится» или «не сходится».

В восемнадцать он пошёл в бригаду.

Не в наёмники — в обычную портовую бригаду, которая разгружает и охраняет. Там платили мало и честно, и там был старший по имени Гияз, взявший его к себе и через два года сделавший вторым.

В первом наряде его записали Арсеном.

Он увидел это на второй неделе, когда расписывался за смену. Подумал — и не пошёл поправлять. Поправка стоила бы похода к учётчице, объяснения при всех и одного дня, когда о нём говорят. Имя стоило дешевле.

Так в порту и осталось: Арсен на бумаге, Арсен в бригаде, Арсен через двадцать лет от тех, кто помнит те годы. Он откликается, не поправляет и никому не рассказывал, что это не его имя.

Гияза Арслан вспоминал потом всю жизнь и никому о нём не рассказывал.

Гияз был хороший человек. Он делил поровну, вытаскивал своих, ходил на похороны и один раз занял Арслану денег на врача, не спросив зачем.

Через четыре года Гияз погиб, потому что вернулся за человеком, который к тому моменту был уже мёртвый.

Арслан тогда посчитал.

Он сидел на похоронах и считал, потому что в его доме иначе не умели: Гияз вернулся за одним, потерял себя, и бригада без него развалилась за полгода. Одиннадцать человек остались без работы. Двое ушли в долги. Один — в яму.

Итого: попытка спасти одного мёртвого стоила одиннадцати живых.

Не сходится.

С этого дня он больше никогда не возвращался.

Свою первую группу он собрал в двадцать шесть и вёл её четыре года без единой потери, и это был его рекорд, которым он никогда не хвастался.

Правила у него были простые, и он их не объяснял.

Первое: никто не идёт первым, кроме того, кому это положено по роли.

Второе: раненого тащат, пока он может идти сам, и не тащат, когда не может.

Третье: у старшего всегда должен быть выход, потому что старший — это не тот, кто храбрее, а тот, без кого группа не дойдёт.

Четвёртое он не формулировал даже про себя, но оно было главным: людей берут на бирже, а не по дружбе. Друга нельзя

списать.

Он собирал сборные группы девять лет.

Это считалось плохим тоном: нормальные лидеры держат костяк, ходят одним составом, притираются. Арслан брал каждый раз новых, и в городе про него говорили, что он холодный.

Он и был холодный.

Он знал по именам всех, с кем работал, — всех, за девять лет, больше двухсот человек. Он мог назвать, кто чем стреляет, у кого бо́льшая спина, кто не переносит замкнутых помещений. Он никогда не спрашивал, есть ли у человека дети.

Имя он считал таким же учётом, как вес и выход. Назвать человека по имени значило поставить его в ведомость: этот есть, этот идёт, за этого отвечаю. Поэтому он звал по именам даже тех, кого брал на одну ночь, и в городе это принимали за тепло.

Потому что если знать про детей, то в какой-то момент посчитаешь не так.

Рейна он взял четыре года назад и с тех пор брал регулярно.

Причина была не в том, что тот хорошо стреляет, — хорошо стреляют многие. Причина была в том, что Рейн молчал.

Арслан за девять лет вывел закономерность: гибнут те, кто говорит. Не потому, что болтун глупее, а потому, что говорящий человек хочет, чтобы его слышали, и в решающий момент делает лишнее движение в сторону группы.

Молчуны делают движение в сторону задачи.

С Рейном было удобно. Ему не надо было объяснять дважды, он не спорил при людях, и, главное, он не набивался в друзья.

Про башню Арслан думал шесть дней.

Заказ был плохой, и он это понимал: слишком большие деньги за слишком простую работу, слишком спокойная заказчица, слишком много «не спрашивайте». Он посчитал всё, что можно посчитать, и вышло, что риск примерно вдвое выше обычного, а платят вчетверо.

Сходилось.

Он взял тринадцать человек вместо восьми, потому что на таком объекте восьмерых мало, а пятнадцать уже не спрячешь. Взял двоих лишних щитовиков и лишнего медика. Это стоило ему части его собственной доли, и он не сказал об этом никому.

Он собирался вывести всех.

Первый час всё шло по расчёту, даже с запасом.

Потом контейнер разбился в вестибюле, и в ту же минуту заказ перестал существовать, а здание закрылось, и у Арслана осталась одна задача из тех, которые он умел решать: вывести людей.

Он повёл их наверх, потому что вниз было нельзя. Он делал это чисто, быстро и без ошибок, и потерял восьмерых, и ни одна из восьми потерь не была его виной — он потом проверил каждую, по минутам, и всё сходилось.

Всё сходилось, кроме одного.

Он заметил это на седьмом.

Не то, что Рейн знает, — знать можно по-разному, и Арслан двадцать лет работал с людьми, у которых бывает чутьё. А то, что после дозы Рейн не хромал.

На третьем ему отбило плечо о косяк, на пятом он подвернул ногу в шлюзе — Арслан это видел, он всё видел. А на восьмом Рейн шёл ровно.

Дальше Арслан сделал то, что делал всю жизнь: посчитал.

Контейнер разбился в вестибюле. Рядом лежали трое, и один из них был Рейн, и Рейн вышел оттуда с мокрой от крови рубашкой и без единой царапины.

Вариантов получалось два: либо вытекло на пол, либо нет.

И тут впервые за двадцать лет у него не сошлось, и он не стал доводить до конца, потому что понял, что будет в конце.

На одиннадцатом он принял решение за четыре секунды.

Он стоял у перегородки, смотрел через задымлённое помещение на человека, которого вёл четыре года, и считал в последний раз.

Если сказать своим — Рейна убьют свои, здесь, сейчас, и заберут, и не донесут, потому что окно сорок минут, а идти вниз некуда.

Если молчать и дойти до крыши — Рейн улетит, а он, Арслан, останется человеком, у которого сгорела работа, погибли восемь и нет ни одной строки в активе.

Если уйти сейчас — он теряет группу, репутацию и право когда-либо снова собирать людей на бирже.

И остаётся единственное, что в этом городе стоит дороже репутации: то, что он знает.

Он сказал «дошёл» и повернул налево.

Спуск Б он выбрал не сгоряча.

Он слышал, как Дед объяснял про цоколь, видел пену своими глазами и знал, что ствол залит.

Но он знал ещё одну вещь, которой не знал Дед: на площадке спуска Б, между одиннадцатым и десятым, есть техническая ниша с выходом на фасадные скобы. Он видел это на плане ещё дома, шесть дней назад, когда изучал объект, и запомнил, потому что у старшего всегда должен быть выход.

Он спустился на скобах десять этажей по внешней стене горящего здания, в дыму, без страховки, с обожжённым плечом.

Он потом никому не рассказывал, как это было, и правильно делал: рассказывать там было нечего, кроме того, что он два раза чуть не сорвался и один раз минуты три висел на одной руке и разговаривал сам с собой.

Разговор был короткий и весь про деньги.

Рейн выбрал первым. Рейн стоял в лаборатории и молчал, глядя ему в лицо, и молчать в ту минуту было то же самое, что сказать, и с этой секунды они были не группа, а два человека, у каждого из которых своя доля.

Доля одна на одного. Так в этом городе устроено у всех — у сектантов, у банков, у Вечных и у наёмников, и никто этого правила не придумывал.

Он дошёл до последней скобы, прыгнул в мокрый гравий хозяйственного двора и постоял, привыкая к тому, что внизу тихо.

Сверху, из трёх верхних этажей, ещё шёл свет.

Арслан посмотрел на него снизу вверх, как смотрят на цифру в ведомости.

Потом отвернулся и пошёл со двора.

Внизу. Посредник

Та же ночь и дальше. Женщина из фургона.

Женщину, приехавшую в фургон и назвавшую сумму, звали Марта Вей, и это было её третье имя из тех, что она использовала в работе.

Ей было сорок четыре года. Она работала посредником девятнадцать лет и за девятнадцать лет не подписала своим именем ни одного документа.

Это её и кормило.

Посредник в этом городе — не курьер и не вербовщик. Посредник — это человек, которого можно потерять.

Устроено так. Заказчику нужно, чтобы работу сделали, и нужно, чтобы между ним и работой стояло живое лицо, которое в случае чего окажется единственной стороной договора. Лицо получает от четырёх до семи процентов и понимает, за что.

Марта брала шесть и понимала.

За девятнадцать лет её «теряли» дважды: один раз она отсидела четыре месяца, второй — компания вышла из положения деньгами. Оба раза она вернулась в работу и оба раза к тем же заказчикам, потому что посредник, вернувшийся после потери, стоит дороже нового.

В ту ночь она сделала всё правильно.

Приехала в фургон вовремя. Назвала сумму — не свою, спущенную. Не назвала себя. Сказала «не спрашивайте» и села.

Она не соврала ни в одном пункте, и это важно: Марта Вей не врала никогда, потому что вранье — это обязательство, за

которое потом отвечают.

Она умалчивала.

Про категорию Б-2 она умолчала. Про то, что на объекте есть лаборатория, — умолчала. Про контур изоляции — тоже, и это было самым дорогим умолчанием той ночи.

Её об этом не спросили.

Арслан не спросил, потому что за такие вопросы снимают надбавку. Она не сказала, потому что по пункту 11.7 это была её обязанность, но пункт 11.7 находится в документе, которого она не читала, — а не читала она его потому, что читать регламенты объекта посреднику не полагается по договору с заказчиком.

Круг замкнулся здесь, в фургоне, за сорок минут до входа, и никто из троих участников этого не заметил.

Она уехала в двадцать три десять — за две минуты до санации.

Это выглядит как побег и не было побегом. Посредник по инструкции уходит сразу, как передал задачу: он не должен видеть исполнение, чтобы потом не мочь про него рассказать.

Она отъехала на четыре квартала, остановилась у воды, заглушила мотор и села ждать сигнала «работа принята».

Сигнала не было.

В двадцать три двадцать она увидела зарево в зеркале.

Дальше она сделала три вещи, и все три были профессиональные.

Первая: не поехала обратно.

Вторая: не стала звонить заказчику, потому что звонок посредника в момент аварии — это признание, что посредник

знает об аварии.

Третья: поехала домой, легла и не спала до утра, и утром вышла на работу, потому что человек, не выходящий в такое утро на работу, себя называет сам.

За это её потом и не тронули.

Через неделю её вызвали.

Разговор был вежливый, в чистом кабинете, и вёл его человек, которого она видела впервые.

— Вы понимаете, что договора нет?

— Понимаю, — сказала Марта.

— Вы понимаете, что при отсутствии договора сторона по нему — вы?

— Понимаю.

— И как вы к этому относитесь?

— Никак, — сказала Марта. — Я за это девятнадцать лет получаю шесть процентов.

Человек посмотрел на неё внимательно.

— Вы хотите что-нибудь спросить?

— Одно, — сказала она. — Сколько там было людей?

Он ответил не сразу и ответил честно, потому что честность тут ничего не стоила:

— Сорок два по бумагам. Тел — двадцать девять.

Марта кивнула.

— Спасибо.

— Зачем вам?

— Затем, что я их привезла, — сказала она. — И теперь я это знаю, а до сегодняшнего дня не знала. Вот и всё.

Человек помолчал.

— Вы сентиментальны?

— Нет, — сказала Марта. — Я аккуратна. Я не люблю, когда у меня в голове стоит незакрытая строка. Она мешает работать.

Её не потеряли и в этот раз.

Не из милосердия: на неё было нечего вешать. Договор не нашли, задача передавалась устно, денег через неё не шло, а сумма, которую она называла в фургоне, была спущена ей человеком, которого к тому моменту не было в городе.

Ей заплатили её шесть процентов полностью и попросили какое-то время не брать работу.

Она взяла через одиннадцать дней.

Одно у неё всё-таки изменилось, и об этом никто не узнал.

С той ночи Марта Вей свой вопрос — тот, что задавала заказчикам девятнадцать лет, — стала задавать иначе. Раньше он был для неё защитой. Теперь стал мерой. Короткий, служебный, в конце разговора, когда сумма уже названа:

— Что-нибудь на объекте, чего исполнителям лучше не знать?

Если заказчик отвечал «нет», она брала.

Если заказчик молчал или улыбался, она брала тоже, но называла исполнителям сумму на четверть выше — из своих шести процентов, ничего не объясняя.

За следующие одиннадцать лет она сделала так девять раз.

Это не спасло никого и ничего не изменило, и Марта Вей знала об этом лучше всех, потому что считала.

Но строка в голове закрывалась, и работать было легче.

Копия

После башни. Семь месяцев.

В ту ночь у неё в кармане лежали Катя и Серёга.

Она считала их каждые полчаса — не проверяла, а именно считала, касаясь через ткань: одна, две. Это было похоже на то, как другие люди трогают ключи.

Олег ушёл Рейну, и она отдала спокойно, потому что живому нужнее.

Женю она не сняла.

Это надо сказать точно, потому что она сама потом десять лет формулировала это точно и не позволяла себе смягчать.

Он был ещё жив, когда они уходили. Поэтому снимать было нечего — с живого не снимают, с живого и нельзя. А потом они прошли цех, и дверь за ними встала, и возвращаться в цех было нельзя уже никому.

Она посчитала это тогда так же, как считал он сам, и счёт сошёлся, и с той минуты у неё не было ни одного часа, когда бы она могла что-то сделать иначе.

И всё равно это единственная её потеря за двенадцать лет, о которой у неё нет ничего.

Первые три дня она спала.

Потом села и сделала то, что умела: собрала, разложила и подписала всё, что знала о той ночи.

Тринадцать файлов, по этажу на файл.

В каждом: план помещения по памяти и по кадрам с дрона, время входа и выхода, кто где стоял, кто что сказал, что было

сделано и чего не хватило. Отдельно — расчёты конторы, отдельно — порядок санации по минутам, который она собирала потом ещё восемь недель, отдельно — списки.

Она положила это в трёх местах, потому что одного места не бывает.

— На случай, если снова забуду, — сказала она вслух, в пустой комнате.

Она не забыла.

Пришли на третьей неделе, и пришли вежливо.

Их было двое. Один говорил, второй смотрел. Говоривший был лет сорока, в хорошей куртке, с той манерой, которая ставит человека в положение хозяина в чужой квартире за полторы минуты: он не сел, пока не предложили, и как только предложили, сел так, будто сидит тут всегда.

Он ничего не требовал. Он объяснял.

Он объяснил, что интерес есть у нескольких сторон, что стороны разные и что дальше будет хуже не потому, что кто-то злой, а потому, что сторон много. Он объяснил, что предложение делается один раз и что после того, как оно сделано и отклонено, разговор перестаёт быть разговором.

Он назвал сумму.

Сумма была такая, что Ада её запомнила и потом ни разу не произнесла.

— Нет, — сказала она.

— Вы не спросили, что именно от вас нужно.

— Мне не надо спрашивать.

— Аделаида Марковна...

— Не надо, — сказала Ада. — Вы это имя в бумаге видели. Меня так зовёт один человек, и он мне за это должен.

Говоривший помолчал и достал второй лист.

Второй лист был про интернат, и вот тут разговор действительно перестал быть разговором, только не в ту сторону, в которую они рассчитывали.

Ада оформила всё, что имела, на интернат при Консервном за девять дней до заказа.

Не после башни, не под давлением, не из благородства и не в предчувствии — а потому, что в тот месяц пересматривала бумаги, как делала каждый год, и увидела, что у неё нет никого, кому по закону что-либо перейдёт, и что в таком случае всё уйдёт в городскую казну через процедуру, которая называется красиво и длится четыре года.

Она поехала к нотариусу и переписала: капсулу, оборудование, счёт, права на три программы и содержимое жестяной коробки из-под чая, перечисленное в приложении на двух листах, по одному модулю на строку, с номерами и подписями.

Нотариус, женщина в возрасте, прочитала приложение и спросила единственный раз:

— Это что?

— Импланты.

— Чьи?

— Уже никого, — сказала Ада.

Нотариус подумала, оформила и взяла как за обычное движимое.

Говоривший держал второй лист, и на втором листе было ровно это.

— Вы понимаете, что это не защита? — сказал он.

— Понимаю.

— Это не мешает никому. Это просто делает разговор дольше.

— Я знаю, — сказала Ада.

— Тогда зачем?

Ада посидела.

— Затем, что вам теперь надо говорить не со мной, а с интернатом, — сказала она. — А интернат — это шестьдесят детей, директор и городской попечительский совет, и у совета заседание раз в месяц, и протокол публикуется. Вы можете всё это пройти. Но вам придётся оставить в протоколе строку. И строка будет не про меня.

Второй, тот, который смотрел, впервые перевёл взгляд на говорившего. Он сидел, положив обе ладони на стол, и ногти у него были острижены под самый край, как стригут те, кто работает в перчатках.

Они ушли через шесть минут и вернулись ещё дважды за семь месяцев, и оба раза разговор был короче предыдущего.

Это ничего не изменило в её судьбе. Это очень сильно осложнило разговор, и семь месяцев — ровно та цена, которую это осложнение ей купило.

Про Рейна её спрашивали все, и по-разному.

Контора — по форме, под протокол, с вопросом «имеются ли сведения». Биржа — никак, биржа просто повесила строку и ждала, потому что бирже всё равно, кто принесёт. Кац — один раз, у себя, поверх лупы, и вопрос у него был не «где», а «сколько он стоит по вашему мнению», и это был самый честный из всех заданных ей вопросов.

— Не знаю, — сказала Ада.

— Это плохой ответ для человека, который всё записывает.

— Это единственное, чего я не записала.

Кац посмотрел на неё долго.

— Хорошо, — сказал он и завёл карточку на Рейна сам, со своих слов, и в карточке написал две строки, и ни одна из них не была её.

Дочери Жени Кириллова было семь лет, и жила она у сестры Жени в Затоне.

Ада приехала туда на четвёртый месяц, без модуля, потому что модуля не было, и без вещей, потому что вещей не выдали: тело не идентифицировали, а личные вещи выдают по идентификации.

Она привезла восемь строк на листе.

Восемь строк — это всё, что она смогла собрать про человека, который восемь месяцев работал рядом и о себе не рассказывал. Где работал до биржи. Что умел. Что сказал на шестом этаже. Как отказывался фотографироваться и почему, и что Арслан всё равно его взял.

Сестра прочитала, ничего не поняла и спросила про деньги.

Про деньги Ада ответила честно: за текущий месяц внесено, лежит на счёте интерната отдельной строкой, дальше не будет ничего.

Тогда сестра сложила лист и сказала:

— Ну хоть это.

Девочка в это время сидела в другой комнате и не выходила, и Ада её не видела, и не настаивала.

Она потом возвращалась к этому дважды в жизни и оба раза думала одно: у неё на руках были тринадцать файлов, планы всех тринадцати этажей, порядок санации по минутам и списки вывезенных, и всё это вместе весило меньше одной серой пластины размером с зажигалку, которой у неё не было.

Уехала она на седьмом месяце, в среду, утром.

В графе «куда» она написала «север».

Это была неправда только отчасти: север — это направление, а не место, и в форме на выезд требуется именно направление, и Ада, заполняя, отметила про себя, что форму составлял человек, который тоже не хотел ничего лишнего.

Жестяную коробку она отвезла в интернат за день до.

Директор — мужчина лет пятидесяти, в вязаном жилете, с усталостью, которая у людей на такой работе становится характером, — принял её по описи, сверил приложение, пересчитал вслух и поставил подпись.

Он пересчитал тридцать шесть.

— По приложению тридцать четыре, — сказал он.

— Там две дописаны от руки. Внизу.

Он посмотрел вниз, нашёл две строки и сверил.

Одна была «К.». Вторая «С.».

— А эти без номеров.

— Эти я не сдавала в оценку, — сказала Ада. — Они не продаются.

Директор помолчал, потом сказал, что тут ничего не продаётся, и убрал коробку в сейф, и ключ от сейфа у него был один, и Ада видела, куда он его положил, и это было очень плохое место, и она не сказала.

Пустой она не стала.

Она об этом не думала лет пять, а потом однажды посчитала заново, на севере, по северным заработкам, и вышло не двадцать один год, а девятнадцать.

Два года выигрыша.

Она посмотрела на эту цифру, и ей стало смешно — коротко, невесело, но по-настоящему смешно, потому что девятнадцать лет назад она была ровно на том же месте, и разница за всю жизнь составила два года.

Потом она открыла новый файл и начала писать в него то, что помнила про башню, потому что три места — это три места, а память — четвёртое, и его она за собой не оставляла никогда.

Глава 12. Оранжерея

Ада сказала вслух то, о чём молчали остальные, и сама испугалась.

Не убил. Сказал правду и оставил её с ней стоять.

Игорь погиб здесь.

Перечитал старые записи. Там про какую-то песню.

Какая песня?

Рейн, четыре сорок пять

Двенадцатый этаж. 04:45 — 05:00.

На двенадцатый они поднимались за лестницей.

Звучало это глупо, но так и было: последний марш на крышу шёл не изнутри, а снаружи, по фасаду, и попасть на него можно было только через оранжерею — через технический выход в её дальнем торце.

— То есть нам надо пройти теплицу насквозь, — сказал Дед.

— Насквозь и налево, — сказала Ада. — Сорок метров.

— Под стеклянной крышей.

— Под стеклянной крышей, — согласилась Ада.

Они оба посмотрели на Рейна.

Он честно подождал секунд десять — стоя, положив ладонь на дверь, закрыв глаза.

Открыл глаза.

Ничего не вышло.

Он перебрал всё, что у него было на этот этаж, и этого оказалось на полторы строки. Оранжерея. Стеклянная крыша. Сорок метров и налево. Ни снимка с брифа, ни линии в чертеже, ни звука из-за двери — за дверью капало, и больше там не было ничего.

— Пусто, — сказал он.

— В смысле пусто? — сказал Дед.

— В прямом. Считать нечем.

— Это как?

— Это так, что теплица — это свет, вода и никакого железа, — сказал Рейн. — Подвесная турель жрёт ток из стены, и её видно в чертеже. Переносную видно по стуку станины. А тут ни стены, ни стука. Человек ходит, и его слышно. А тут за дверью ровно ничего, кроме воды по трубке. Из ничего ничего не выйдет.

Дед подумал.

— Может, это и хорошо, — сказал он. — Может, там ничего и нет.

— Может, — сказал Рейн.

Ошибка была в слове «за дверью». Он всю ночь считал то, что было за дверью, потому что за девять лет ни разу не воевал в помещении со стеклянным потолком, и ему не пришло в голову, что в такой комнате стены четыре, а стоять можно снаружи.

Оранжерея занимала два яруса и была единственным местом в башне, где пахло живым.

Здесь корпорация делала воздух. Настоящие деревья в кадках по два человеческих роста, папоротники, мох на стенах, стеклянная крыша, за которой стояла ночь. Дым сюда ещё не

дошёл: система держала избыточное давление, и дверь пришлось толкать сильнее обычного, а когда её отпустили, она захлопнулась сама, с придыханием.

Под ногами была не плитка. Между кадками шли дорожки из мелкой красной крошки, влажной и слежавшейся, и она чавкала под подошвой, а с краёв на неё лез мох — по швам, языками, и на мху подошва ехала. За первые десять шагов все четверо запачкали ботинки по щиколотку, и Ада, оглянувшись, увидела на красном свои следы и следы Деда и сказала, что они тут как в огороде.

Было влажно, тепло и тихо. Только капало.

Игорь вошёл и остановился.

— Ух ты, — сказал он.

Он снял оптику и стал протирать её рукавом, задрав голову, и лицо у него было такое, какого Рейн за всю ночь у него не видел: не собранное, а какое-то открытое. Протирал он машинально и смотрел не на стекло, а вверх, и в этот раз протирал не для того, чтобы не смотреть человеку в лицо.

— У бабки такая была, — сказал Игорь. — Не такая, конечно. Теплица. Три метра на четыре, за домом.

Он тронул лист пальцем.

— Она мне говорила: ты не дыши на них, ты им мешаешь.

Они прошли между кадок, и Ада села на скамейку.

Здесь были скамейки. Обычные парковые скамейки, три штуки, с чугунными ножками, и на одной лежал забытый журнал, разбухший от влаги: он стоял на скамейке горбом и не закрывался.

Ада выбрала не среднюю и не ту, что у прохода, а крайнюю, спиной к глухой стене со мхом, откуда просматривались обе дорожки и дверь. Сквозь мох оттуда тянуло холодным, и она это чувствовала и всё равно сидела там.

— Сюда пускали людей, — сказала Ада. — Это не фильтр, это парк. Для сотрудников. Пришёл в обед, посидел под деревом, подышал настоящим.

Она провела ладонью по спинке скамейки.

— У нас в Шлюзах за такое платили бы. За час под деревом.

Рейн поднял голову. Сквозь стеклянную крышу были видны огни соседних башен и низкое оранжевое небо, и ни одной звезды.

— Я деревьев живых видел, может, десять за жизнь, — сказал он.

— И я, — сказала Ада. — А они тут в обед сидели и в телефон смотрели.

Пока ждали, Рейн подошёл к стеклу.

Оранжерея кончалась сплошной стеклянной стеной, от пола до потолка, и за ней стоял город.

Он стоял внизу, и его было очень много.

Сначала Рейн видел только общее: жёлтое поле тумана, из которого торчат башни, и красноватую подсветку низких облаков. Потом глаза привыкли, и город начал разбираться на части.

Совсем близко, метрах в трёхстах, стояла чужая высотка — выше их стеклянной крыши этажа на три, с плоской кровлей, с мачтой у дальнего парапета. Кровля была тёмная, и всё на ней

было тёмное, и у основания мачты темнело что-то ещё, чего Рейн не стал разбирать. Он отметил это, как отмечают вешалку в прихожей: вещь на своём месте, вещей на крышах много.

Глаза пошли дальше.

Ближе всего из башен — Стекло: восемь башен, все в огнях, и в каждой светится через окно, и по фасаду одной ползёт синяя строка. Отсюда, сверху, было видно, что строка идёт кругом, и что она никогда не останавливается, и что на ночной стороне здания её никто не читает, а она всё равно идёт.

Дальше — провал темноты, это парк, настоящий, с деревьями, куда пускают по карточке.

За парком начинался Консервный: длинные низкие коробки цехов, рыжие от натриевых ламп, и между ними — дороги, и по дорогам в пятом часу утра ехали машины. Их было немного, штук сорок, и Рейн поймал себя на том, что следит за одной. Она шла по эстакаде ровно, не торопясь, и у неё горела одна фара.

Он смотрел на эту фару секунд двадцать.

Внутри машины сидел человек, ехавший куда-то в пятом часу утра — на смену, домой, к кому-то, — и у него была своя причина, и он ничего не знал ни про башню, ни про санацию, ни про то, что сверху на него смотрят.

Потом машина ушла под эстакаду и не вышла с другой стороны, потому что там развязка.

Дальше Консервного лежали Шлюзы.

Их почти не было видно — они низкие, и туман там стоит плотнее всего, — но Рейн знал, где они, и поэтому видел.

Он нашёл глазами место, где дамба.

Оттуда, с двенадцатого этажа, дамба была чёрточкой в жёлтом, не длиннее спички. Девять лет назад на этой чёрточке стояли двое: он и ещё один человек, которого он больше не помнит в лицо.

Он смотрел на неё и думал, что если бы кто-нибудь в тот день стоял здесь, наверху, с хорошей оптикой, то видел бы всё.

Видел бы, как приходит туман. Как двое стоят на дамбе. Как один надевает на другого респиратор и бежит. Как он бежит два квартала, и как бежит обратно, и как стоит один.

Всё это заняло бы у наблюдателя четыре минуты. Он бы, наверное, даже не понял, что видит, — просто два силуэта в жёлтом, потом один, потом ни одного.

Где-то внизу, слева, светилось пятно побольше — рынок, работающий круглосуточно, потому что смены идут круглосуточно.

Там сейчас торгуют водой, фильтрами, белковой массой, водорослями, поддельным небом, настоящим небом, чужими картами, чужими историями и чужой надеждой.

Ещё левее — три огонька в ряд, это фильтрационный пункт.

Ещё дальше — вода. Настоящая, та самая, которой больше нет. Отсюда она выглядела как ровное чёрное поле, и только у берега шла жёлтая полоса, там, где стоят баржи.

На барже, на одной из них, кто-то жёг костёр.

Костёр под утро на барже посреди мёртвого моря — это очень маленькая точка, и увидеть её с двенадцатого этажа почти невозможно, но Рейн увидел, потому что смотрел давно и внимательно.

Он подумал, что там кто-то греется.

Всё это время за стеклом капало, и где-то за спиной Ада переговаривалась с Дедом, и Игорь шёл между кадками и трогал листья.

Всё это время под ними горело здание.

Всё это время в двух кварталах отсюда, в машине между гаражами, сидела женщина и читала отчёт, которого не запомнила.

Всё это время город делал то, что делает всегда: работал, ехал, торговал, спал, грелся у костра, светил синей строкой в пустоту.

Рейн стоял у стекла, наверное, минуты две. По стеклу над головой ещё шло, потом перестало, и стало видно дальше.

Потом обернулся, потому что Дед его позвал, и это оказалось последнее спокойное, что было в его жизни за очень долгое время.

Игорь стрелял двадцать лет и перед каждым выстрелом делал пустой вдох — без задержки, без ритуала, просто длинный вдох и такой же выдох, и только потом работал.

Однажды он рассказал Рейну зачем, и это был единственный раз.

— Я по браконьерам работал, — сказал он тогда. — Под конец добычи, когда за последних дрались. И однажды попал в своего. Из соседней смены парень, я его не опознал, я вообще не разглядывал, я стрелял по силуэту, потому что была команда по силуэту стрелять.

Он помолчал.

— И вот с тех пор я считаю выдохи. Не молюсь. Просто считаю. Пока считаешь — не думаешь.

— И сколько насчитал?

— Много, — сказал Игорь. — Я не считаю, сколько насчитал. Я считаю, чтоб не думать. Это разные счёты.

Снайпер охраны сидел на крыше соседней высотки, метрах в трёхстах, и ждал именно этого: людей под стеклянным потолком.

Он выстрелил один раз.

Игорь как раз поднял голову, потому что услышал, как капает, и хотел посмотреть откуда.

Рейн не увидел заранее.

Вот в чём дело: он не увидел ни за полсекунды, ни вообще. Ни картинки, ни холода в животе, ничего. Просто в стеклянной крыше появилась дырка — маленькая, аккуратная, с белой звёздочкой вокруг, — и сверху посыпалось стеклянной пылью, и пыль легла на листья и на красную крошку, и звук пришёл через секунду, отражённый, будто ударили по бочке в соседней комнате.

Игорь уже лежал.

Он стоял, задрал голову, и из этого положения его и уронило: ноги остались, где стояли, а тело пошло назад и вбок, зацепило плечом кадку, и кадка качнулась, и с дерева ещё долго капало на него. Оптика выпала из руки первой и укатилась на полметра.

— Ложись! — заорал Дед.

Связи не было — командный передатчик ушёл вместе с Арсланом, — и поэтому кричать приходилось вслух, на весь этаж, под стеклянной крышей, под человеком с оптикой.

Рейн упал туда, где стоял, и сразу пополз вбок, потому что лежать там, где тебя видели стоящим, нельзя. Полз он на локтях, боком, и протез при каждом переносе стучал по красной крошке глухо, не как локоть, и он подумал в третий раз за ночь, что этот стук слышно.

Кадка, за которую он лёг, была в обхват и тяжёлая, и это было единственное укрытие в теплице, которое имело смысл: от человека сверху не спасают стены, спасает то, у чего есть толщина.

— Не под деревьями! — сказал Дед откуда-то слева, уже лёжа. — Кроны редкие. Он тебя видит сквозь. Под кадки.

Они лежали между кадками минуты три.

Ада устроилась на спине, головой к кадке, деком на груди, и вела дрона вслепую — последнего, найденного на десятом в чужом ящике, — одной рукой, потому что второй придерживала жгут на ноге, чтобы тот не полз. Она не смотрела на экран: экран светился бы ей в лицо, а лицо было обращено вверх, под стекло. Она вела его по звуку и по цифрам на ощупь, большим пальцем, и вслух говорила, что делает, потому что ей так было спокойнее:

— Пошёл. Триста. Триста двадцать. Выше. Ещё выше, там мачта. Вижу кровлю. Вижу мачту. Вижу человека, лежит у основания, головой к нам. Дед, двести семьдесят и чуть вверх.

Дед лежал на спине, как и она, потому что стрелять снизу вверх из-за кадки можно только так. Раненую руку он положил себе на живот и держал оружие одной здоровой: цевьё легло ему на согнутое колено, приклад он упёр не в плечо, а в грудную мышцу, и придерживал большим пальцем, чтобы не сорвало. Прицелиться он не мог — у него не было оптики, и с трёхсот метров он не увидел бы человека даже с ней.

Он положил две очереди туда, куда она сказала. Стекло над ним ушло целыми листами, и листья падали медленно и кувыркком, и один воткнулся в красную крошку в полуметре от Адиной головы и постоял так, торчком, прежде чем упасть.

— Он убрал голову, — сказала Ада через секунду. — Ушёл за парашет.

— Ну и хорошо, — сказал Дед. — Попасть я не попал.

Потом перестал работать поливальный шланг, и слышно было только, как с листьев капает — и как шуршит, оседая, стеклянная пыль.

Игорь лежал лицом вверх под деревом, и рядом лежала его оптика — тяжёлая, дорогая, с подогревом стекла, целая.

Стрелок на соседней крыше сидел с такой же или лучше, и Рейн подумал об этом раньше, чем о чём бы то ни было другом: подогрев стекла — это не объектовая охрана. Сторожу такое не выдают, звену по тревоге тоже. Три сотни метров, чужая крыша, три часа ожидания — это смена, и её посадили туда заранее.

У Рейна был глаз серии «Ковш», б/у, поставленный на Шлюзах человеком без лицензии, и этот глаз всю ночь честно давал ему полсекунды, и один раз не дал ничего.

Рейн подполз и сел рядом.

— Я не посчитал, — сказал он.

— Чего? — не понял Дед.

— Сегодня я всё считал, — сказал Рейн. — Турель — потому что стук штатива и шарнир. Кашель — потому что в серверной сухо и шестнадцать градусов. Окно в лаборатории — потому что ковёр, стекло вместо панели и дом напротив. Три. Четвёртого не было, Дед тогда и заметил. Всё из чего-то. А это — нет.

Он сидел на корточках возле Игоря и говорил ровно, глядя в землю, потому что так было легче держать порядок.

— И вот считаю сейчас. Задним числом. Слушай, из чего можно было.

Дед молчал.

— Первое. Тут стеклянный потолок, и это единственное такое место в башне. Значит, впервые за ночь в нас можно стрелять не из этого здания.

— Ну.

— Второе. Чтобы попасть сквозь крышу, надо стоять выше крыши. Выше нас тут одна кровля — соседняя, метрах в трёхстах, этажа на три выше. Одна. Других нет, я на город смотрел две минуты и успел сосчитать все кровли выше нашей. Она одна.

Он поднял третий палец и подержал его.

— Третье. С трёхсот метров и с такой высоты сквозь стекло простреливается не вся теплица, а полоса вдоль дальнего торца. Под другим углом бьёшь в переплёт. А полоса вдоль дальнего торца — это ровно то, куда нам идти. Сорок метров и налево.

— Четвёртое, — сказал Дед. Не спросил, а подсказал, как подсказывают ученику.

— Четвёртое — я его видел, — сказал Рейн и наконец поднял голову. — У мачты на той кровле темнело что-то, чего у других мачт нет. Я на другие тоже смотрел. Я это отметил и пошёл смотреть дальше.

— Куда дальше?

— Вниз. В Шлюзы. Там дамба. — Он подобрал с колена сухой лист и растёр его в пальцах. — Я её нашёл и простоял на ней

минуты полторы.

Он вытер ладонь о штанину.

— Всё было. Стекло, высота, угол, тёмное у мачты. Четыре пункта из четырёх лежали у меня прямо в глазах, а глаза я потратил на чёрточку в тумане, которой девять лет.

Дед смотрел на него долго.

— Ну и хорошо, — сказал он наконец.

— Что хорошего?

— То, что ты не бог, — сказал Дед. — Плохо было бы наоборот.

— Ему от этого не легче.

— Ему уже никак, — сказал Дед и кивнул на Игоря, не глядя.
— Он тоже один раз стрелял по силуэту, потому что была команда. И двадцать лет потом дышал перед выстрелом. Вот и ты теперь будешь чего-нибудь делать перед тем, как смотреть в окно.

Ада сидела чуть в стороне, прислонившись к кадке, и держала раненую ногу.

Она долго молчала. Потом сказала — спокойно, не поднимая головы:

— Рейн.

— Да.

— Я знаю про тебя.

Он молчал дольше, чем нужно.

— Ты не дырявый после седьмого, — сказала Ада. — Я видела твою рубаху. Там было столько крови, что хватило бы на двоих. Ты не хромал ни разу с тех пор. Ты перед шлюзом в карантине

простоял с ладонью на створке дольше, чем горит спичка, а потом вошёл и сделал всё с первого раза, как будто читал по бумажке. — Она подняла глаза. — Оно в тебе. Оно не разбилось.

Кругом капало.

— Да, — сказал Рейн.

Ада кивнула, будто отмечая пункт в списке.

— Я всю дорогу считала, — сказала она. — Я тебе говорила. Ты думал, я про модули.

— Я думал, ты про модули.

— Я и про модули. — Она усмехнулась. — У меня в кармане лежат Катя и Серёга. Я их считаю каждые полчаса, потому что боюсь потерять.

Она помолчала.

— А ещё я считаю, сколько у меня осталось. Мне тридцать шесть. Мать рассыпалась за год, а до того ходила и разговаривала. Я видела, как это выглядит изнутри семьи, и я знаю, что меня ждёт то же самое, только у меня даже дочери нет, чтоб сидела рядом.

Она посмотрела прямо на него.

— Я двенадцать лет считаю, — сказала она. — Я посчитала и тебя, ещё на восьмом, за секунду, сама не захотев. Вышло, сколько ты стоишь и сколько после тебя стою я.

Она вытерла ладонь о штанину.

— Я говорю это вслух, потому что молча я уже посчитала.

Рейн сидел и слушал, как капает.

Он мог сделать много всего. Он мог соврать — у него сегодня хорошо получалось. Мог пообещать. Мог отвернуться и пойти наверх, сделав вид, что разговора не было. Мог убить её: до крыши оставался этаж, а она знала единственное, что нельзя знать никому.

Он подумал обо всём этом честно, по пунктам, потому что после седьмого этажа перестал делать вид, что такие мысли приходят не к нему.

А потом сказал правду, потому что за эту ночь выяснил, что правда — единственное, что не надо репетировать.

— Оно во мне, — сказал он. — Его нельзя отдать. Его можно только снять с мёртвого, и надо быть рядом, пока он не остыл. Значит, тебе придётся меня убить — не когда-нибудь, а прямо здесь, потому что внизу ждут трое, и каждый из них заплатит тебе больше, чем ты видела за жизнь.

Он посмотрел на неё.

— Я тебе не буду мешать. У меня нет способа тебе помешать так, чтоб ты потом со мной осталась. Решай.

Она долго молчала.

Потом сказала:

— Сволочь ты.

— Да.

— Ты мне это сказал, чтоб я теперь с этим жила.

— Я тебе это сказал, потому что это правда, — сказал Рейн. — А жить с ней всё равно кому-то придётся.

Ада засмеялась — коротко, зло, с всхлипом.

— Вот поэтому тебя все и боятся, — сказала она. — Не потому что ты знаешь наперёд. А потому что ты теперь говоришь.

Она вытерла лицо рукавом.

— Пошли наверх, — сказала она. — Я не передумала. Но пошли.

Игоря они оставили под деревом, потому что нести было некуда, а на крыше он был не нужен.

Рейн вынул у него дальномерный окуляр сам, не дожидаясь Ады. Руки не дрожали — стабилизатор Олега держал их ровно. Он подумал, что это удобно, и что удобство и есть то, что с ним происходит, и что надо будет когда-нибудь про это подумать как следует.

Ставить окуляр было некуда: оба слота заняты. Он сунул его в карман, к пустому инъектору Миши.

Карман получался тяжёлый.

— Дед.

— Ну.

— Как звали того парня? Молодого. Который с краю сидел.

Дед посмотрел на него поверх кадки.

— Тоха, — сказал он.

— Тоха, — повторил Рейн. — Да. Точно.

Он повторил это ещё раз про себя, чтобы уложилось, и оно не уложилось.

Потом он перечитал свои записи — быстро, глазами, пока Дед проверял лестницу.

Там, на девятом, было написано про какую-то песню.

Он перечитал дважды.

Какая песня?

Глаза

Из жизни Игоря, до башни.

У Игоря было четыре глаза за жизнь, считая те два, с которыми он родился.

Свои он потерял в двадцать два, сразу оба, на химическом разливе в Сортировке — не в бою, не на работе, а по дороге домой, потому что цистерна пошла под откос в трёхстах метрах от остановки, где он ждал автобуса.

Он всегда подчёркивал: не на работе. Ему было важно, чтобы это не выглядело профессией.

Первую пару ему поставили по страховке предприятия, которое было ни при чём, но у которого была цистерна.

Это была дешёвая серия: чёрно-белое изображение, задержка в четверть секунды, полный отказ на ярком свете. Он ходил с ней одиннадцать лет и говорил, что за одиннадцать лет ни разу не увидел, какого цвета была его жена.

Жену звали Рита, и она ушла на девятом году, и Игорь считал, что она была совершенно права.

Вторую пару он купил сам, за свои, в тридцать три.

Это была уже нормальная оптика: цвет, резкость, ночной режим. Она стоила сто девяносто тысяч, и он собирал их шесть лет — не копил, а именно собирал, по кускам: продал комнату, взял два кредита в разных местах, заработал вахтами.

Он потом говорил, что день, когда включили цвет, был лучшим днём его жизни, и в этом не было никакого пафоса. Ему было тридцать три года, и он впервые за одиннадцать лет увидел ржавчину.

Не небо, не лицо, не море. Ржавчину на перилах.

Он сказал: «Она рыжая. Я забыл».

В наёмники он пошёл потому, что оптика требует обслуживания, а обслуживание стоит как треть оптики в год.

Это обычная история, и её знают все, кто носит хорошее железо: вещь покупается один раз, а платится за неё всю жизнь. Кац называл это «второй ценой» и в разговорах с клиентами всегда называл её вслух, чем сильно вредил своей выручке.

Игорь второй цены не знал, когда покупал.

Он узнал через год, когда пришёл первый счёт за калибровку, и тогда он сел и посчитал, и вышло, что ему надо зарабатывать вдвое больше, чем он зарабатывал.

Через месяц он стоял на бирже.

В группе он был наблюдателем — тем, кто смотрит вперёд и говорит, что видит.

Он был в этом очень хорош и очень скучен: он не описывал, он перечислял.

— Коридор двенадцать метров. Две двери слева, обе внутрь. Справа простенок, за ним пусто, эхо короткое. В конце поворот направо. На полу мокро от седьмого метра. Свет мигает, период примерно две секунды.

Арслан ценил его именно за это. Он говорил: «Игорь не рассказывает, Игорь диктует».

Свою оптику он берёт так, как берегут не вещь, а орган, — то есть глупо и по-человечески.

Он не смотрел на сварку. Не выходил в снег без фильтра. Спал в темноте, хотя ночной режим спать не мешает. На выходах он всегда шёл вторым, а не первым: первого бьют в голову.

И он ни разу за девять лет не взял заказ, где был риск вспышки.

Про башню он спросил прямо, ещё в фургоне:

— Свет там какой?

— Штатный, — сказал Арслан. — Лаборатория, склады, офисы.

— Плазмы нет?

— Не должно быть.

Игорь кивнул и сел.

Он потом, на девятом, сказал Рейну одну фразу, от которой Рейну стало нехорошо: «Он сказал „не должно быть“, а я услышал „нет“. Это я сам виноват, так-то».

Турель на десятом была когерентным.

Он поймал вспышку вскользь, одним глазом, на границе поля, и правая половина мира у него после этого стала белой и не вернулась.

Он не закричал.

Сказал ровно тем же диктующим голосом, каким работал девять лет:

— Правый ослеп. Работаю левым. Поле сузилось примерно вдвое, справа не вижу ничего. Ставьте меня к стене правым плечом.

И его поставили к стене правым плечом, и он отработал ещё два этажа.

В оранжерее он сделал единственную ошибку за всю свою жизнь, и она была не профессиональная.

Он посмотрел вверх.

Там была стеклянная крыша, а за ней небо — первое открытое небо за ночь, — и под этим небом росли деревья, настоящие, в кадках по два человеческих роста. Он поднял голову и стоял так, наверное, секунду.

Человек с оптикой, сидящий на соседней кровле, ждал именно этого: не ошибки, а неподвижности.

Игорь не увидел ни за полсекунды, ни вообще.

Он и не мог: он всю жизнь смотрел вперёд, и весь его дар был про то, что впереди, а пришло сверху — оттуда, куда снайперы не смотрят, потому что там небо.

Он умер сразу, не успев ничего продиктовать.

Оптика упала рядом и не разбилась. Он платил за неё восемь лет, и она пережила его на восемь часов.

Окуляр с него сняли в ту же минуту, и это было правильно, и Игорь сам бы так и сделал.

А вот чего никто не снял и не записал: за двадцать лет он ни одного выстрела не сделал по человеку, которого видел в лицо дважды. Он выбирал себе цели так, чтобы не запомнить, и это был не приём, а единственный известный ему способ спать.

Про Игоря стоит сказать последнее, и это не про смерть.

Он пятьдесят один год прожил в городе, где ничего не растёт, и одиннадцать из них — вообще без цвета.

Последнее, что было в его левом, рабочем глазу, — зелёное.

Он успел подумать, что оно ярче, чем на картинках, и что, значит, картинки врут.

Внизу. Три машины

04:50. Пока они на двенадцатом.

Арслан вышел из хозяйственного двора без четверти пять, весь в саже, без оружия и без правого рукава.

Оружие он бросил на лестнице — с оружием к машинам не подходят. Рукав сгорел сам.

Он постоял в тени у мусорных прессов, отдышался, вытер лицо изнутри воротника и осмотрелся так, как осматриваются люди его профессии: не «где выход», а «кто меня видит».

Его видели.

Через дорогу, в проезде между гаражами, стоял курящий человек, и это был плохой знак: ни один нормальный человек не курит в трущобах в пятом часу утра просто так. Значит, охрана. Значит, машина рядом.

Арслан поправил воротник и пошёл прямо к нему.

— Не двигайся, — сказал человек, отбросив сигарету.

— Не двигаюсь, — согласился Арслан и остановился в пяти шагах. — Я от объекта. Скажи, что вышел старший группы.

Человек не изменился в лице.

— Никаких групп не знаю.

— Знаешь, — сказал Арслан устало. — Вы тут четвёртый час мокнете. Скажи, что вышел старший и что у меня для неё есть то, за чем она приехала.

— У тебя в руках ничего нет.

— В руках нет, — согласился Арслан.

Ждать пришлось две минуты.

Потом дверь машины открылась, и оттуда вышла женщина лет пятидесяти, в тёмном пальто поверх халата, и подошла ближе, чем следовало бы, — на три шага.

— Вы Арслан, — сказала она. — Где контейнер?

— Контейнера нет.

Она молчала.

— Контейнер разбили на седьмом, — сказал Арслан. — На нас вышла посторонняя группа, стреляли на входе, попали в стойку. Учёный погиб, данные сгорели, здание жгут по протоколу. Я оттуда еле вышел.

— Я вижу, — сказала Ильина, глядя на его рукав.

— Значит, работа не выполнена, аванс отработан наполовину, вы мне ничего не должны. — Арслан помолчал ровно столько, сколько нужно. — Я не за деньгами.

— А за чем?

— У меня есть информация, — сказал Арслан. — Она дороже контейнера.

Ильина не пошевелилась.

— Слушаю.

— Так не пойдёт, — сказал Арслан. — Я вам её скажу, а вы сядете и уедете. Мне нужен задаток.

— Сколько?

— Не деньгами, — сказал Арслан. — Мне нужно, чтобы вы меня отсюда вывезли и чтобы через два часа я был в Стекле. И ещё мне нужно ваше имя — то, которое вы используете, когда

подписываете что-то лично, а не как клиника.

Ильина посмотрела на него внимательно.

— Вы понимаете, что я могу просто спросить вас в другом месте и другим способом?

— Понимаю, — сказал Арслан. — Но вы не будете. Вам некогда: у вас сорок минут от момента изъятия, а изъятие уже было.

Пауза стала другой.

— Что вы сказали? — очень спокойно спросила Ильина.

— Оно вышло из контейнера, — сказал Арслан. — И вошло в человека. При мне. В вестибюле, на первом, без малого в двадцать три.

Он смотрел ей в лицо и видел, как она пересчитывает.

— Он жив? — спросила она.

— Он был жив полчаса назад и шёл наверх.

— Наверх.

— На тринадцатый, — сказал Арслан. — Там площадка и вертолёт. Он сейчас выйдет на крышу и улетит, а вы будете стоять в этом дворе и смотреть, как он проходит у вас над головой.

Он позволил себе одну короткую паузу.

— Если, конечно, не будете знать, за кем посылать.

Ильина молчала секунд пять.

— Как его зовут? — спросила она.

— Вот это и есть товар, — сказал Арслан.

Она усмехнулась — коротко, без всякого веселья.

— Вы понимаете, что вы сейчас делаете?

— Понимаю, — сказал Арслан.

— Вы сдаёте своего.

— Я сдаю человека, который с сегодняшней ночи стоит сорок миллионов и который об этом никому не сказал, — сказал Арслан. — Он выбрал первым. Я просто выбрал вторым.

Он посмотрел на башню, где в трёх верхних этажах ещё горел свет.

— И вот что я вам скажу, доктор. Он лучше меня. Он вытащил сегодня людей, которых я списал. Просто он теперь никогда не будет один, и с этим ничего не поделаешь — ни мне, ни вам, ни ему.

Ильина обернулась к машине.

— Тимофей.

— Да.

— Заводи.

Она снова посмотрела на Арслана и сказала — ровно, деловито, как назначают время приёма:

— Садитесь. Вас вывезут. Моё имя — Вера Андреевна Ильина, и я подписываюсь так лично.

Арслан кивнул и пошёл к машине.

— И ещё, — сказала она ему в спину. — Вы сказали, что не за деньгами. Это неправда.

— Правда, — сказал Арслан, не оборачиваясь. — Деньги будут потом. Сегодня я покупаю место, где сидеть.

Через два квартала к северу и через три квартала к востоку в эту минуту стояли ещё две машины.

В одной пили кофе из термоса и слушали полицейскую волну. В другой спали.

Ни в той, ни в другой ещё ничего не знали, и это стоило им обоим ровно четыре часа форы.

К утру знали все.

Через полгода Арслан сидел в кабинете в Стекле, в чистой рубашке, и объяснял очень богатым людям, как устроены сборные группы и почему их нельзя купить целиком.

Он говорил спокойно и по делу, и его слушали.

Он был единственным человеком в городе, который видел прототип в лицо, работал с ним четыре года и вышел живым, и это оказалось самым дорогим активом, который у него когда-либо был.

За стол напротив он в итоге и правда сел — примерно так, как и предсказывал Дед.

Но Деда там уже не было, и сказать ему «ты был прав» было некому.

Ильина. Строка без цены

Тем же утром. Машина, потом клиника.

Арслана высадили в Стекле, у входа, откуда он мог дойти сам, и она не стала спрашивать, куда именно он идёт: сделка была закрыта, а куда человек несёт свои деньги — уже не её расчёт.

Тимофей вёл машину молча, как вёл её всегда, и она была ему за это благодарна больше, чем за что-либо ещё этим утром: ей нужно было думать, а не отвечать.

Вариант А не сбился. Вариант Б не сбился тоже. Сбился тот самый вариант В, который она не готовила и о котором сказала вслух только один раз, ночью, себе в утешение больше, чем в прогноз.

Она достала из сумки тот же блокнот в потёртой коже, с оторванным уголком, открыла его на чистой странице и написала не отчёт, а вопрос, потому что отчёта пока не из чего было составить:

Носитель. Мужчина. Наёмник. Категория — не мутант, не Вечный. Прошёл насквозь через объект такой сложности, о котором Дробышев не рассказывал даже мне, — и вышел сам.

Дальше она хотела написать «жив», но остановилась.

Она не видела его. Она видела только зарево, слышала обрывок рации и получила слово человека, который только что предал двенадцать других людей ради возможности сидеть напротив богатых людей в чистой рубашке.

Верить Арслану на слово было плохой практикой. Но у неё не было практики лучше.

— Вы его найдёте? — спросил старший, когда она закрыла блокнот.

— Не знаю, — сказала она честно. — Раньше я находила то, что искала, потому что искала вещество. Оружие, документ, контейнер — у вещества нет воли. У человека воля есть, и человек может уйти туда, где его не найдёт никто.

— Тогда зачем спрашивать себя, найдёте ли.

— Затем, что вопрос без ответа — это тоже строка в записи, — сказала она. — Я не люблю строки без ответа. Но правильнее оставить её пустой, чем закрыть выдумкой.

В клинике она была к семи, приняла душ, переделалась в чистое и провела утренний обход, ничем не выделяясь среди других дней, — руки те же, спина та же, голос тот же.

В обед она вызвала того самого клерка из архива.

— Заведите папку, — сказала она. — Картонную, не электронную. Без имени в заголовке. Внутри — всё, что удастся собрать о вчерашней ночи в Стекле: сводки, слухи, что угодно. Особое внимание — к любому упоминанию человека, вышедшего из башни живым и не попавшего ни в один список.

— Как её назвать, если без имени?

Она подумала секунду — недолго, потому что решение уже сложилось само, ещё в машине, между заревом и утренним чаем.

— «Носитель», — сказала она. — Цена не определена.

Папку эту она не закрыла ни через месяц, ни через год.

Она не рассказывала о ней никому, кроме тех немногих, кому со временем становилось положено знать, и не потому, что стыдилась потраченной ночи в трущобах, — а потому, что честно

записанная неудача стоит в её ремесле дороже громкой удачи: удача повторяется сама, а из неудачи, если её как следует разобрать, рано или поздно выходит следующая попытка.

Она не была уверена, что доживёт до того дня, когда строка в этой папке наконец получит цену.

Она была уверена только в одном — что не перестанет её вести.

Внизу. Сотка

Полугодом раньше.

Тимур Ю. дошёл до ста процентов^[9] в марте, во вторник, в одиннадцать сорок утра.

Последней была правая голень — не потому, что она мешала, а потому, что она оставалась. Он специально её оставил напоследок: хотел, чтобы конец был не про необходимость, а про выбор.

Операция заняла два часа сорок. Дороже всего вышло даже не железо, а сопровождение: у него был контракт на семнадцать лет, и последний платёж закрыл всё.

В час дня он сидел в палате и смотрел на своё предплечье.

Там стояло девяносто восемь.

Цифру подновляли в церкви, а не в клинике. Это было важно: клиника ставит железо, а число ставят свои.

Он приехал на Шестой причал вечером того же дня, на такси, потому что ходить ещё не мог.

Его встретили у входа и провели, и всю дорогу к нему оборачивались — не из любопытства, а как оборачиваются на человека, сегодня сделавшего то, к чему остальные идут годами.

Мастером у них был старик по прозвищу Ноль — он сам застрял на тридцати двух и дальше не пошёл, потому что не собрал денег, и все понимали, что уже не соберёт.

— Руку, — сказал Ноль.

Тимур дал руку.

Ноль работал восемь минут.

Он свёл двойку и восьмёрку, выждал, пока сойдёт краснота, и вывел ровно и без нажима: 100.

Потом отложил инструмент и посмотрел.

— Ну вот, — сказал он.

— Ну вот, — сказал Тимур.

Больше они ничего друг другу не сказали, потому что говорить было нечего: один дошёл, второй нет, и оба это знали.

Дальше полагалось имя.

По уставу дошедший получает новое, и в тот же день, и произносится оно один раз, при всех. Остальные его запоминают и с этой минуты зовут человека только так, а прежнее имя перестаёт существовать.

Тимуру предложили список.

В списке было двадцать два имени, все короткие и все ничьи: их выбирали из старых заводских шифров, из названий узлов, из букв.

Он выбрал не из списка.

— Я останусь Тимуром, — сказал он.

Инженер у стойки перестал писать и поднял голову.

Спорили сорок минут, и спорили уважительно, потому что спорить с сотым не принято.

— Это не каприз, — говорил ему человек, который вёл собрание. — Это порядок. Старое имя носил тот, кто был. Он кончился. Ты новый.

— Я не новый.

— Ты сотый.

— Я сотый и Тимур, — сказал Тимур.

— Так не бывает.

— Значит, будет.

Он сказал это спокойно, и в конце концов ему уступили, потому что он был одиннадцатым сотым в городе и потому что у них не было ни одного правила о том, как заставить сотого.

Это была первая трещина, и никто её тогда не заметил.

Домой он вернулся в девять вечера и позвонил сыну.

Сын жил в Стекле, учился на третьем курсе и был чистый, потому что мать была чистая и следила за этим всю жизнь.

— Пап, ты как?

— Дошёл, — сказал Тимур.

— В смысле?

— Сто.

Сын помолчал.

— Поздравляю, — сказал он.

Он сказал это вежливо и ровно так, как говорят «поздравляю» человеку, которого поздравлять не хочется, и Тимур это услышал и не стал ничего исправлять.

— Ты приедешь? — спросил он.

— Пап, у меня сессия.

— Понял, — сказал Тимур.

Ночью он не спал.

Спать ему теперь было не обязательно: он мог обходиться двумя часами в неделю, и первые годы это казалось главным приобретением.

Он сидел на кухне и слушал.

Раньше в кухне что-то всегда происходило: скрипел стул, урчало в животе, ныло колено на погоду, чесалась щека. Теперь не происходило ничего. Он сидел в полной, идеальной тишине, и тишина эта была не снаружи, а внутри.

Он подумал: вот, значит, как.

И ещё подумал, что об этом не рассказывают — ни в церкви, ни в клинике, ни в рекламе. Не потому, что скрывают, а потому, что рассказать некому: сотых одиннадцать, и все они сидят по своим кухням и слушают одно и то же.

Через неделю он начал разговаривать сам с собой.

Не вслух — внутри, и не как сумасшедший, а как человек, оставшийся единственным собеседником: задавал вопрос, отвечал, спорил, соглашался.

Через месяц к нему в голову однажды пришла мысль, которая была не его.

Она пришла вежливо, в очередь, между двумя своими, и звучала так: а если тебе не нравится тишина, я могу её занять.

Тимур ответил: кто здесь.

И мысль сказала: я тебя видел, когда ты подписывал контракт. Я тогда ещё подумал, что ты хороший, аккуратный человек и что тебе будет очень одиноко.

Он разговаривал с ним четыре месяца.

Он не сходил с ума и не был одержим: он просто впервые за семнадцать лет получил собеседника, который слышал его изнутри и который никуда не спешил. Они говорили о работе, о сыне, о том, почему сотые не рассказывают друг другу правду, и о том, что человек, заменивший всё, продолжает ждать, что станет легче.

В июле мысль спросила: ты не против, если я иногда буду брать руки?

Тимур подумал и сказал: бери.

Он объяснил это себе просто: ему всё равно нечего было делать руками.

В сентябре Тимура Ю. видели в последний раз живым — в том смысле, в каком это слово вообще к нему применимо.

Он сидел в кабине вертолётки на крыше объекта 14-ТС, надевал лётные перчатки и разговаривал.

С кем именно, охрана не поняла, потому что в кабине он был один.

— Ему интересно, — сказал Тимур. — Он всё время говорит, что ему интересно.

Он натянул вторую перчатку.

— А мне уже нет, — сказал он.

И это было последнее, что слышали от него лично.

Сброс

Городское знание. То, о чём говорят вполголоса и не при Вечных.

У омара панцирь не растёт вместе с ним.

Он растёт отдельно, а омар в нём сидит, и когда становится тесно, омар из панциря выходит — целиком, вместе с ногами, усами, глазными стебельками и выстилкой желудка. Выходит мягкий, беспомощный, и потом несколько дней прячется, пока не затвердеет новый панцирь, растущий поверх него.

Называется это экдизис.

Когда-то это слово в Мелководье знал каждый второй, потому что каждый второй работал на отмелях. Потом отмели умерли, работа кончилась, а слово осталось.

С Вечными происходит примерно то же самое, только реже и не с панцирем.

Раз в несколько лет тело обновляется целиком. Не лечится, не восстанавливается после раны — именно обновляется, само по себе, без повода, за десять-двенадцать дней.

В эти дни Вечный не выходит из дома.

Говорят, что ничего страшного при этом не происходит: не болеет, не слабеет, просто становится очень тихим.

Говорят это те, кто не видел. Внутри в такие дни не пускают, а кто видел — из дома, из семьи, — те не рассказывают. Так что городское «ничего страшного» стоит ровно на том, что дверь закрыта.

Одно про эти дни в городе знают точно, и знают не от Вечных, а из лавок.

За день до того, как дверь закроется, в дом кто-нибудь приходит с покупками. Покупки всегда одни и те же: двадцать литров воды, соломинки, чтобы пить лёжа, бинт рулонами, мазь на жиру, самая мягкая простыня, какая есть в лавке, и шапка. И свечи, хотя свет в доме есть.

Продавцы давно заметили, что свечей берут много, а жгут их, судя по тому, что приносят огарки обратно на воск, мало. Кто-то однажды спросил зачем, и ему ответили: «Чтобы было что-то, что он может нащупать, когда встаёт». Дальше спрашивать не стали.

Этого человека в городе зовут сидельцем. Он десять дней не выходит из комнаты, и ему платят или не платят, но за сидельца, однажды вышедшего раньше срока, потом не дают ни работы, ни руки.

А потом Вечный выходит, и что-то оказывается стёртым.

На улице это зовут сбросом, и правил на этот счёт два.

Первое: при Вечном про сброс не говорят. Не из уважения, а потому, что он может не знать, что у него был сброс, — а узнав, начнёт проверять, что потерял, и это плохо кончается.

Второе: если Вечный тебя не узнал, ты здороваешься первым и называешь себя.

Второе правило знают даже дети из Шлюзов, потому что оно короткое и потому, что за него однажды платили деньги.

Что именно стирается, объяснить никто не может.

Не последнее и не самое старое. Не самое важное и не самое пустое.

Стирается кусками, и куски эти обычно бытовые: как звали соседа, чем пахло в комнате, какая была погода, что человек ел в тот день.

Сами события чаще остаются. Остаются как строчка в описи: было, случилось, столько-то, тогда-то.

Из-за этого старые Вечные разговаривают странно. Они рассказывают свою жизнь так, как рассказывают чужую: точно, подробно и без единой детали, которую можно было бы потрогать.

В Консервном есть человек, которого зовут Старый Анд.

Никто не знает, сколько ему. По разным подсчётам — от семидесяти до девяноста, но выглядит на сорок, и сам он говорит «много», потому что не помнит.

Он держит лавку с инструментом на углу и работает сам, и работает хорошо, и у него отличные руки.

С ним связана единственная история про сброс, которую в городе рассказывают вслух, потому что он сам её и рассказывает, и рассказывает охотно.

Лет двадцать назад к нему пришла женщина.

Она вошла, поздоровалась и назвала себя — как положено, по правилу.

Он посмотрел на неё вежливо и спросил, чем может помочь.

Женщина сказала:

— Я твоя дочь.

Анд извинился и сказал, что, наверное, она ошиблась.

Она достала бумаги. Бумаги были настоящие.

К бумагам была приколата фотография: мужчина лет сорока держит на руках девочку. Анд потом рассказывал, что смотрел на неё долго и не узнал ни девочку, ни мужчину, и что второе было хуже.

У мужчины на фотографии был прямой нос и волосы от самого лба. У Анда нос давно лёг набок, а волосы начинаются на два пальца выше, и так не бывает от возраста. Так бывает, когда тело отрастает обратно не совсем то.

Он рассказывает это без надрыва, как случай из практики.

— Я посмотрел бумаги, — говорит он. — Всё сходится. Имя моё, год мой, адрес мой, я по этому адресу сорок лет жил, это я помню. И запись есть, и подпись моя, и я её узнал, потому что я свою подпись помню всю жизнь.

Дальше он всегда делает паузу и говорит одно и то же:

— То есть я знал, что у меня есть дочь. Это у меня записано. Я просто её не помнил.

Слушатели обычно спрашивают:

— И что вы сделали?

— А что тут сделаешь, — говорит Анд. — Я сказал: садись, будем знакомиться.

Они познакомились одиннадцать лет, до самой её смерти, и, по его словам, это были хорошие одиннадцать лет.

Он говорит, что потерял их дважды.

Первый раз — когда не узнал.

Второй раз — потом, после следующего сброса, лет через семь после похорон, и вот про это он рассказывает уже не охотно и не всем.

— Я помню, что она была, — говорит Анд. — Я помню, что мы одиннадцать лет дружили. Это записано. А как она смеялась — нет. Вот тут пусто.

Именно поэтому — и это надо понимать, чтобы понимать весь этот город, — самые старые Вечные не самые страшные.

Самые страшные — молодые, у которых за плечами один-два сброса и вся память при них.

А тех, кто прожил шестьдесят лет Вечным, на улице жалеют.

Их называют пустыми — не в смысле Церкви Ста Процентов, где пустой значит «весь из железа», а в старом, портовом смысле: как называют панцирь, из которого омар ушёл.

Панцирь остаётся целый. Со всеми ногами, со всеми усами. Только внутри никого.

Ни один Вечный, разумеется, не признает, что это его ждёт.

Все они говорят одно и то же: у меня память хорошая, я всё записываю, я веду дневник, я не такой.

Дневники, кстати, ведут почти все.

Это самая распространённая привычка среди ста человек, которые не умирают, и на неё в городе работает целая мастерская, делающая нескораемые тетради из хитина по восемьдесят кредитов за штуку и имеющая постоянных заказчиков ровно в количестве около ста.

Владелец мастерской, делающий эти тетради, однажды сказал фразу, которую потом повторяли:

— Я продаю им бумагу, на которой они пишут, кто они. А на что они её потом читают, это уже не моя работа.

Глава 13. Крыша

Оно говорит ртом мёртвого и обещает вернуть сестру.

Пишу третий раз, потому что боюсь перестать писать — и поверить.

Осталось: жёлтая вода, коленка, солнце с ресницами.

Мало. Моё.

Не нажимаю.

Рейн, пять ноль пять

Тринадцатый этаж и кровля. 05:05.

Дверь на крышу открылась внутрь, и в лицо ударило ветром — первым настоящим ветром за всю ночь.

Наверху было почти чисто. Туман, оставшийся внизу, лежал на городе ровным жёлтым одеялом, и из него торчали другие башни, как спины в воде. Небо над головой было пустое, без звёзд, с грязной подсветкой снизу. Дождь кончился.

— Красиво, — сказала Ада.

— Не стой в проёме, — сказал Дед.

Вертолёт стоял в центре площадки, чёрный, тяжёлый, с опущенными лопастями. Он не выглядел как машина, которая собирается лететь. Он выглядел как животное, которое решает.

У него под брюхом, спиной к ним, стоял человек.

Рейн запомнил кровлю по трём вещам, и все три увидел за первые четыре секунды, потому что смотреть на человека пока было незачем: тот стоял спиной.

Бетон был мокрым везде. Под машиной он был сухой — светлым прямоугольником чуть шире обвода корпуса, с чёткой кромкой, и на кромке уже начинало подсыхать. Дождь шёл с вечера и кончился четверть часа назад.

Машина села в дождь: под ней бетон был мокрым, как и везде, и высох потом, от тепла брюха, изнутри наружу. Так сохнет только под тем, что стоит неподвижно. Сдвинь её на ладонь — и кромка размажется, а эта кромка была прочерчена. Значит с посадки её не трогали ни разу, и садились не сюда наспех: место выбрали заранее и заняли надолго.

От хвостовых сопел тянуло тёплым. Не горячим — тёплым, как от плиты, которую выключили с полчаса назад, и пахло палёным керосином, тем сладковатым, каким пахнет, когда двигатель гоняли на холостых и заглушили, не взлетев.

И ограждение. По периметру кровли шли стойки с тросом в три нитки, свежешпокрашенные, серебрянка по ржавчине. Крашены были все. А болты в основаниях стоек — не все: на двух пролётах у мачты они были такие же серебряные, как стойки, а на третьем, ближнем к площадке, торчали рыжие головки, которые никто не трогал ни в эту покраску, ни в прошлую.

Красят то, что видно. Меняют то, за что отвечают. Здесь покрасили и не поменяли.

Рейн отметил это, как отмечают номер люка, и пошёл дальше, потому что человек под брюхом начал оборачиваться.

Последний ярус под кровлей был не этаж, а чердак, которому выдали номер.

Сюда не ходили жить и не ходили работать — сюда ходили обслуживать вентиляцию, и это было видно с порога. Из шести

ламп под потолком горели две, обе дежурные, жёлтые, и между ними лежали длинные куски темноты, в которых стояли короба. Пахло горячей пылью и краской — той, которую нагрело снизу и которая начала отдавать; так пахнет утюг, забытый на тряпке. Настил был рифлёная сталь на швеллерах, и он гудел под шагом, и гудел по-разному: над балкой коротко, между балками длинно, и по этому звуку можно было идти, не глядя под ноги.

И здесь тянуло вверх.

Всю ночь здание давило. Оно давило дымом, жаром, водой в жёлобах, звуком прессов, чужим дыханием в узком коридоре карантина. А тут, у распахнутой шахты, воздух шёл снизу вверх ровно и сильно, как в печной трубе, и трепал Аде волосы, выбившиеся из-под ремня респиратора, и уносил куда-то наверх всю ту гарь, которую они принесли на себе с одиннадцатого.

— Тянет, — сказала Ада, подставив ладонь. — Ничего себе тянет.

— Значит, наверху открыто, — сказал Дед.

На последней площадке Ада вдруг спросила — ни с того ни с сего, глядя в пролёт:

— А как они живут вообще?

— Кто?

— Вечные. — Она поправила повязку на ноге. — У них же порта нет. Не бывает. Выдавливает вместе с железом.

— И что?

— А то, что они не ныряют, — сказала Ада. — Совсем. Ни затона, ни глубины, ни поговорить. Всё живьём: письмо на бумаге, курьер, встреча.

Она помолчала.

— Их сотня на весь город, и они не могут зайти туда, где сидят все остальные.

Рейн стоял в двух шагах и смотрел в стену.

Он подумал, что у него порт на месте и что Лира всё ещё в голове, и что это, наверное, единственное, чего с ним сегодня не случилось.

Он ошибался, но узнал об этом только через одиннадцать месяцев.

На последней площадке Дед вдруг начал рассказывать про холодильник.

Он начал ни с того ни с сего, в тишине, пока Ада перетягивала ногу.

— Я однажды вёз холодильник, — сказал он. — Двухкамерный. Давно, когда их ещё возили.

— Дед.

— Ты слушай. Холодильник был не мой, а тёщин, и везти надо было с Шлюзов в Консервный, а машины не было, была тележка. И вот мы с напарником — он потом погиб, но не в тот день, а через год, — мы его на эту тележку поставили и повезли.

Ада подняла голову.

— Ты сейчас серьёзно?

— Абсолютно, — сказал Дед. — И вот едем мы по эстакаде, и на середине у тележки отваливается колесо. Одно. Из двух.

— И?

— И мы стоим на эстакаде с холодильником и одним колесом. Восемь километров до дома в одну сторону, шесть в другую. Ночь. Дождь.

Он поправил клинок на плече.

— И напарник мне говорит: слушай, давай его тут оставим. А я говорю: не, это тёщин. А он говорит: так тёща же не узнает, скажем, украли. А я говорю: узнает.

— И что вы сделали?

— Мы его понесли, — сказал Дед. — Вдвоём. Шесть километров. Четыре часа.

Пилот снял очки и подышал на стекло.

— И вот что я вам скажу. Я за двадцать один год работы ни одного дня не помню так хорошо, как ту ночь. Ни одного. А работа была разная, и было чего вспомнить.

— Почему?

— Не знаю, — сказал Дед. — Тяжёлый был очень.

Ада фыркнула. Потом засмеялась — коротко, зло, с всхлипом, и сразу перестала.

— Дед, ты идиот, — сказала она.

— Ага, — сказал Дед довольно.

Рейн смотрел на него и прочёл две вещи — прочёл, а не узнал: обе он собрал сам, из того, что человек, за всю ночь не рассказавший о себе ничего, вдруг рассказал.

Первая: Дед рассказал это специально, потому что перед дверью надо что-нибудь сказать, а сказать «ну, ребята, если что» — нельзя, это плохая примета и вообще стыдно.

Вторая: Дед прощается.

Перед дверью на крышу они постояли.

Лестничная площадка была последняя, дальше только металлическая дверь с надписью «ВЫХОД НА КРОВЛЮ. ПОСТОРОННИМ ЗАПРЕЩЕНО», и под надписью кто-то давно нацарапал гвоздём короткое слово.

Дед проверил клинок — вынул на треть, посмотрел, вогнал обратно — и переложил его с левого плеча на правое. Потом хлопнул себя по карману у бедра, по тому самому, и оставил руку там на лишнюю секунду. Ада перетянула ногу потуже, упершись спиной в короб и вытянув её перед собой, и сосчитала обороты вслух, до четырёх. Рейн переложил патроны из кармана в подсумок, хотя мог и не перекладывать: он делал это одной рукой, правой, а протезом придерживал подсумок за край, и композит щёлкнул в запястье дважды.

Никто не сказал ничего вроде «ну, с богом». В группах, где так говорят, обычно и умирают целыми группами.

— Если там вертолёт, — сказал Дед, — я его не подниму.

— Поднимешь.

— Я на таком не летал.

— Ты на грузовом летал.

— Я на грузовом сидел рядом, — сказал Дед. — Двадцать лет назад. И то мы упали.

Он открыл дверь.

Их осталось трое.

Рейн знал это число так же, как знал число тридцать один: без счёта, просто знал. Тринадцать в фургоне. Трое на крыше.

Между этими числами была одна ночь, девять мёртвых и один ушедший, и он мог назвать по именам не всех.

Он попробовал назвать про себя, пока шли к вертолёту, и споткнулся на четвёртом.

— Дед.

— Ну.

— Как звали парня, который сидел с краю? Молодой. Девятнадцать лет.

Дед не сразу ответил. Он смотрел на человека под вертолётom и не сбавлял шага.

— Тоха, — сказал он. — Его звали Тоха.

— Тоха, — повторил Рейн.

— Ты меня уже спрашивал, — сказал Дед. — На двенадцатом.

Человек обернулся.

Он был в лётном, без шлема, и лицо у него было спокойное и хорошее — лицо человека, который живёт правильно и рано ложится. Года сорок два. Аккуратная седина. Руки чистые.

— Рейн, — сказал он.

Голос был его собственный. Обычный мужской голос, ничего страшного. От этого стало хуже.

А ещё Рейн узнал его — не по звуку, по манере: по этой ровной паузе перед ответом, которую держат из вежливости, а не потому, что думают.

На девятом этаже с ним говорила стена. Теперь стена стояла перед ним в лётном комбинезоне, дышала и переминалась с ноги на ногу, потому что на бетоне было холодно.

«Значит, ты всю ночь шёл рядом», — подумал он и не сказал вслух.

— Ты не он, — сказал Рейн.

— Он тоже я, — сказал пилот. — Он согласился. Он был из соток — знаете таких? Которые до ста процентов доводят.

Он сказал это спокойно, почти с симпатией.

— Семнадцать лет он шёл к ста процентам. Копил, считал, подновлял цифру на руке после каждой операции.

Пилот чуть поднял левый рукав. На предплечье, тонко вытравленное, стояло: 100.

— И вот он дошёл, — сказал он. — А в ста процентах, оказывается, должен кто-то жить. Жить пришёл я. Его звали Тимур, у него двое, старший в Стекле, учится. Он заменил себя по частям, как положено, и в конце получилось место, куда можно войти. Я вошёл. Он не возражал. Ему было интересно.

— Как его зовут? — спросил Рейн.

Пилот чуть удивился — по-настоящему, как удивляется человек, которому задали неожиданный вопрос.

— Тимур, — сказал он. — Он очень держался за это имя. Ему предлагали новое, как всем, а он отказался и спорил сорок минут. Я тогда подумал, что это глупо.

Он повернул кисть, глядя на свои пальцы.

— Сейчас думаю, что нет.

— Где он сейчас?

— Здесь, — сказал пилот и приложил ладонь к груди — жестом человека, который показывает, где болит. — Мы разговариваем.

Не так часто, как ему хотелось бы.

Он тронул скулу — там, где кожа стыковалась с кожей.

— Знаете, что самое любопытное? Тимур менялся семнадцать лет. По частям, как все: сначала колено, потом кисть, потом лёгкое, потом второе, сердце, печень, глаза, и в самом конце уже остальное. Всё, что снимали, уходило обратно в оборот. Такие вещи не выбрасывают, их отмывают и ставят следующему.

— И что?

— А то, что его старое сердце сейчас работает в женщине из Консервного, — сказал пилот. — Его правая кисть — у парня с рыбного склада, тот даже не знает, чья. Лёгкое — в Стекле, у пожилого человека, который за него очень хорошо заплатил. Я проверял. Мне было интересно.

Ветер прошёл по площадке.

— Если их всех собрать, — сказал пилот, — получится Тимур. Целый, из мяса, живой. Он ходит по городу в семи разных людях и не знает об этом.

Он чуть склонил голову.

— Так кто из нас двоих он? Я, который стоит перед вами и помнит его детство? Или те семеро, которые носят его и молчат?

Он подождал ответа, не дождался и добавил спокойно:

— Я задаю этот вопрос сорок лет. Ответа нет. Поэтому я и не боюсь его задавать.

Дед медленно опустил руку на моноклинок.

— Оставь, — сказал пилот ему, не оборачиваясь. — Я знаю, как ты быстр. Я смотрел тебя на девятом.

— Вы давно тут стоите? — спросил Рейн.

— С часу, — сказал пилот. — Четыре часа с небольшим.

— И не улетели.

— А зачем мне улетать пустым? — Он сказал это спокойно, без насмешки. — Я приехал не за зданием. Я приехал за тем, кто выйдет из здания. Пока вы шли, мне было чем заняться: я смотрел, как вы идёте.

Он чуть склонил голову.

— Признаться, я не был уверен, что вы дойдёте. На десятом я решил, что всё, и уже прогрел двигатель. Потом вы вышли из арсенала, и я его выключил.

— Я скажу коротко, — сказал пилот. — У тебя в крови прототип. Ты единственный, в ком хром и адаптоиды живут вместе. Я хочу это тело. Не сегодня и не силой — у меня нет привычки брать силой, это неаккуратно. Я предлагаю обмен.

— Мне нечего менять.

— Есть. — Пилот чуть склонил голову. — Твоя сестра у меня.

Ветер прошёл по площадке и стих.

— У тебя ничего нет, — сказал Рейн.

— Мила Вершинина, одиннадцать лет, — сказал пилот. — Дамба у третьего шлюза, туман пришёл за минуту, ты надел на неё респиратор и побежал за вторым. Она осталась стоять, потом пошла за тобой, потом легла. Мой Санитар был в четырёх кварталах. Он приехал через шесть минут.

— Кто?

— Машина, — сказал пилот. — Белая, с фарами. Их пускают туда, куда людей уже не пускают. Люди зовут их санитарами, а я зову по имени, потому что это моя рука.

Рейн стоял и слушал, как у него самого стучит в ушах.

— Тело я не спас, — сказал пилот просто. — В тумане никого не спасают. Я снял её.

— Снял.

— Она у меня девять лет. Она держится лучше всех, кто у меня был, и я не понимаю почему. — Голос пилота впервые изменился — в нём появилось что-то живое и жадное. — Ты тоже не понимаешь. Поэтому я и говорю с тобой, а не забираю.

Он сделал шаг вперёд.

— Отдай мне тело, — сказал он. — Я верну тебе сестру. Не запись, не голос. Я вложу её в человека, и она будет жить, и есть, и злиться на тебя. У меня есть чем. У меня много тары.

Рейн услышал, как рядом коротко выдохнула Ада.

— Он врёт, — сказала она.

— Я не вру, — сказал пилот. — Мне это невыгодно.

Дальше всё произошло быстро.

Вертолёт ожил — не с рёвом, а с тонким нарастающим воем, который сначала было слышно не ушами, а зубами. Лопасты тронулись с места по одной, тяжело, провисая концами, и первые два оборота шли медленнее, чем идёт человек. На третьем они выпрямились. На четвёртом ветер лёг на площадку, как ладонь.

Ада была ближе всех к краю: она вышла из двери первой и встала слева, у парашюта, откуда видно всех, — два шага от третьего пролёта ограждения. Она успела повернуться боком и

присесть, как приседают на скользком, и подставить ветру плечо, и этого не хватило. Раненая нога не держала. Её повело, дрон вырвало у неё из-под локтя и унесло, и она пошла назад на пятках, три коротких шага, и на третьем поймала трос левой рукой.

Трос выдержал. Не выдержали болты.

Стойка вышла из бетона целиком, вместе с ржавыми головками и куском раствора, и пошла за ней, и трос обвис, и Рейн видел, как всё это — стойка, три нитки, рука, Ада — уходит за кромку разом, и как из-под кромки ещё секунду торчит серебряный конец.

Он выстрелил в пилота. Стоя, не целясь, потому что целиться было некогда и потому что до него было девять метров. Попал.

Пилот посмотрел на дырку в своём лётном комбинезоне с коротким интересом, как смотрят на брак в одежде. Потом поднял глаза и продолжил стоять.

Потом Рейна ударило чем-то тяжёлым в грудь — то ли обломком, то ли ветром, — и ноги ушли раньше корпуса, и он полетел спиной на бетон, и затылок встретился с бетоном последним. Мокрое пошло по зашивке. Небо над ним качнулось и встало наискось.

И последнее, что он увидел, было лицо Деда: тот шёл вперёд с клинком в опущенной здоровой руке, очень медленно, наклонившись против ветра, и переставлял ноги широко и низко, как переставляют, когда несут тяжёлое.

Черновик.

Я досчитал крышу до конца, и оно не оборвалось, когда в этом варианте меня убило. Оно хотело, чтобы я досмотрел.

Оно хотело, чтобы я видел.

Я видел, как оно входит в меня. Не знаю, как это описать. Как будто кто-то надевает твою куртку, застёгивает и поправляет воротник.

Я видел свои руки, которые меня не слушались.

Потом оно сказало — не мне, себе, проверяя: «Теперь не надо». И я понял, что «не надо» — про сестру. Она была нужна, пока оно искало. Оно нашло.

Я видел, как её выключают. Это не страшно выглядит. Это никак не выглядит.

Вот тогда я и вернулся.

Я стою на крыше. Ветер. Ада ещё жива, ещё три секунды. Дед ещё не пошёл.

Я знаю, что это последний раз. Не думаю — знаю, как знают, что кипяток горячий. Больше не будет.

У меня одна попытка и нечем стрелять. Значит считаю то, что есть.

Машина села в дождь и с тех пор не двигалась: под ней высохло изнутри наружу, кромка резаная. Сопла тёплые: её гоняли и заглушили, не взлетев. Такую поднимают с места, не подходя к кабине. Значит ветер придёт раньше, чем я успею сказать два слова, и сказать я успею только одно.

Ветер от винта пойдёт поперёк площадки, к мачте. У мачты третий пролёт ограждения стоит на ржавых болтах: покрасили, а не переставили. Трос там держит собственный вес и больше ничего.

Ада выходит из двери первой и встаёт слева, у парапета, потому что она всегда встаёт туда, откуда видно всех. Это два шага от третьего пролёта.

Значит первое слово — не пилоту.

«Не надо», — сказала Лира.

Он не сразу понял, что она сказала. За четыре года она говорила ему «осторожно», «пульс», «я подберу», «хочешь котиков» — и ни разу «не надо».

«Что».

«Я посчитала, — сказала Лира. — Я считаю плохо, я четвёртая серия, но тут считать нечего. У тебя осталось три. Жёлтая вода, коленка, солнце с ресницами. Если ты сделаешь это сейчас, останется две».

«Какая уйдёт».

«Я не знаю. Это не я выбираю. Я знаю только, сколько».

Ветер шёл через площадку, и Ада стояла у края, и ей оставалось три секунды, и Дед ещё не пошёл.

«Уйди с линии, — сказал Рейн. — Мне нужен порт».

«Рейн».

«Уйди с линии».

И тогда она сказала то, чего он не ждал:

«Нет».

Он стоял с пустой винтовкой на крыше горящего здания и слушал, как искин четвёртой серии, умеющий ставить будильник и рассказывать про котиков, первый раз за четыре года говорит ему «нет».

«Ты не можешь мне отказать», — сказал он.

«Не могу, — согласилась Лира. — Я тебе и не отказываю. Я просто не буду помогать».

«Почему».

«Потому что тебе останется две, — сказала она. — А потом одна. А потом я буду разговаривать с человеком, который не помнит, зачем он меня слушает, и он всё равно будет делать так же, потому что это единственное, что он умеет. Я не хочу это видеть».

Он молчал.

«И ещё, — сказала Лира. — В арсенале я попросила у тебя то, что ты боишься потерять, и ты сказал нет».

«Сказал».

«Я всё равно взяла».

Ветер.

«Не всё. Там уже было немного. Жёлтая вода, коленка, солнце с ресницами — я взяла всё, что осталось, целиком. С той минуты, когда ты сидел на полу в чужой казарме и читал свои записи и не узнавал их. Ты о них не знал, и я знала, что не имею права, и всё равно взяла».

Он подумал, что надо бы разозлиться, и не разозлился.

«Зачем говоришь сейчас».

«Чтобы ты знал, что они не пропадут, — сказала Лира. — И чтобы ты всё равно не делал этого. Это разные вещи. Я могу отдать тебе строчки. Я не могу отдать тебе то, что ты почувствуешь, когда их прочитаешь».

Рейн посмотрел на Аду, которой оставалось две секунды.

«Отдавать не надо».

Он знал, чего стоит такое чтение. Полчаса назад он сидел с собственными строчками, написанными собственной рукой, и они были про него, и он не помнил из них ничего — ни того, что там было, ни того, как он это писал. Прочитать не значит вернуть. Он это знал точно и запрещал не поэтому.

«Держи у себя. Если ты мне их вернёшь, я стану двумя экземплярами, а я один».

«Я знаю. Ты это уже говорил. Я тогда не поняла».

«А сейчас?»

«Сейчас поняла, — сказала Лира. — Мне от этого не легче».

Он поднял руку к порту.

«Лира».

«Что».

«Спасибо, что взяла».

Она не ответила. Потом сказала — ровно, как говорят, когда стараются, чтобы голос не сделал лишнего:

«Я не буду смотреть».

И ушла.

Не отключилась — он чувствовал её, как чувствуют человека за стеной, — но перестала быть рядом, и в голове стало пусто и тихо, и он в этой тишине сделал то, что собирался, один.

Дверь на крышу открылась внутрь, и в лицо ударило ветром.

— Красиво, — сказала Ада.

— Не стой в проёме, — сказал Дед.

— Ада, — сказал Рейн. — Отойди от края. Сейчас. Пожалуйста.

Она посмотрела на него — коротко, без вопроса — и отошла. Она за эту ночь научилась.

Полчаса назад, в оранжевое, она сказала ему, что его кровь — её шанс никогда не кончиться. Он ответил правдой и оставил её стоять с этой правдой. Потом они шли молча два этажа, и на последней площадке она сказала в спину:

— Я не передумала.

— Знаю.

— Я тебе это говорю, чтобы ты знал, с кем идёшь. — Голос у неё был ровный. — Не надо спать при мне.

— Я и не собирался.

— Ну и хорошо, — сказала Ада и пошла первой к двери.

Человек под вертолётom обернулся.

— Рейн, — сказал он.

— Я знаю, что ты скажешь, — сказал Рейн.

— Знаете, — сказал пилот, — за сегодняшнюю ночь вы сорок с лишним раз сделали единственное движение, которое вас спасало. Не «удачное» — единственное. В каждом случае остальные варианты вели к трупам.

Он сказал это без нажима, как зачитывают результат анализа.

— Я не угадываю. Ваш искон пишет каждый такой случай как сбой моторики и разрыв сессии, а журнал его дешёвой серии лежит открытым для всякого, у кого есть доступ к сети здания. Я читал его с девятого этажа. Сорок с лишним строк за одну ночь, и

после каждой вы живы.

Он подождал, пока ветер стихнет.

— Один раз — случайность. Три — хорошая подготовка. Сорок подряд — это уже не про везение. Это значит, что у вас была информация, которой в этом здании не существовало.

Ветер прошёл по площадке.

— Я сорок лет считаю людей, — сказал пилот. — Люди очень предсказуемые, в этом нет ничего обидного: у каждого конечный набор ходов, и он его повторяет. Я знаю, что сделает ваш старик с клинком. Я знал, что сделает Ким. Я даже знаю, что сделаете вы, — вы будете молчать, потому что всю жизнь молчали.

Он помолчал.

— А потом вы делаете девятый ход, и он выпадает из набора.

— И что это значит? — спросил Рейн.

— Это значит, что вы сбой, — сказал пилот просто. — Не герой, не избранный — сбой. Система, в которой я живу сорок лет, только что дала результат, который я не могу вывести из условий.

Он посмотрел на него почти с благодарностью.

— Вы себе не представляете, как это редко. И как это ценно для того, кто уже всё посчитал.

— Тогда я скажу сам.

Он не поднял винтовку. Он стоял, где стоял, и ветер лез ему в куртку, и он вдруг понял, что за всю ночь ни разу не говорил вслух того, что думал.

— Я не помню её лица, — сказал он.

Пилот молчал.

— Сегодня я потерял имя. Потом запах дома. Потом песню — я даже не знаю, что это была за песня, я знаю только, что она была, потому что записал. Потом лицо. Осталось три штуки: жёлтая вода, ободранная коленка, солнце с ресницами в углу рисунка.

Ветер шёл через площадку.

— Ты предлагаешь вернуть мне сестру. Тебе нечего мне вернуть: того, кто её помнил, уже почти нет. Тыставишь её в чужое тело, она посмотрит на меня — а я не узнаю её лица. И она это увидит.

Он посмотрел пилоту в глаза.

— Вот что ты покупаешь. Говорю честно, чтобы ты знал, за что платишь.

Пилот не ответил.

Он стоял, чуть склонив голову набок, и лицо у него было такое, будто он слушает далёкий звук и не может понять, откуда тот идёт.

Потом он сделал то, чего не делал за весь разговор: посмотрел в сторону. Коротко, вниз и вбок, как смотрит человек, считающий в уме и вдруг сбившийся.

— А если я верну её, — сказал он, — и она вас не узнает?

Он молчал недолго.

Всю жизнь Рейн видел смерть за полсекунды до неё и не успевал. Всю жизнь этих полсекунд не хватало: на слово, на выстрел, на то, чтобы закрыть кого-то собой. Он привык думать, что полсекунды — это ничто, обрезок, насмешка.

Дед успел.

Он стоял всё это время в трёх шагах правее и чуть позади пилота — не за спиной, что заметно, а в той четверти, куда человек не смотрит, пока разговаривает с другим. Клинок висел у него на правом плече, и всю беседу он его не трогал.

Полсекунды он потратил так. Правая рука пошла не к рукояти, а под неё: он не выхватывал, он уронил клинок с плеча себе в ладонь и поймал за середину. Вес пошёл на левую ногу, левая нога сделала шаг — один, длинный, вбок и вперёд, — и корпус повернулся за ней, и рука с клинком пришла последней, потому что рука в таком ударе не бьёт, а держит.

Клинок вошёл пилоту под ключицу сверху вниз и вышел из спины ниже лопатки. Дед провернул его так же буднично, как поворачивают ключ в чужой двери, придержав пилота за плечо левой, которая была в лубке и которой было больно, и он этого не показал.

Потом он вынул клинок обратно тем же движением, что и вставил, и сделал полшага назад, чтобы на него не легло.

Пилот мягко сел на бетон. Он не выглядел удивлённым. Он выглядел как человек, что-то считавший в уме и сбившийся.

— Ты... — сказал он.

— Я старый, — сказал Дед. — Я не разговариваю.

Рейн стоял, не опуская рук.

— Ты его убил, — сказал он.

— Убил, — согласился Дед.

— Он был единственный, кто знал, где она.

— Знаю, — сказал Дед и не поднял головы. — Ты бы ему поверил.

— Я бы с ним торговался.

— Вот. — Дед наконец посмотрел на него. — Ты бы с ним торговался, а торговаться тут можно только собой. Я двадцать лет смотрю, как люди торгуются собой. Ни один не выторговал.

Рейн шагнул к нему — и остановился, потому что не знал, что собирается сделать.

Он стоял и чувствовал, как внутри поднимается очень простая, очень горячая мысль: у меня была отметка. Он мог поставить порог перед дверью на крышу, и переиграть эту минуту, и выйти сюда один, без Деда, и говорить с этой штукой хоть до утра.

У него не было отметки. Платить было нечем, и он это знал, и всё равно на секунду прикинул — чем ещё.

Вот на этом он себя и поймал.

— Я чуть не начал считать, — сказал он вслух.

— Чего?

— Ничего, — сказал Рейн. — Ничего, Дед. Ты прав.

Он сказал это и понял, что соврал в последний раз за сегодня: Дед был не прав, Дед убил его единственную ниточку, и с этим теперь надо было жить. Просто жить с этим оказалось дешевле, чем переигрывать.

Вертолёт заглох сам, как будто из него вынули решение.

Рейн стоял и смотрел на пилота. Тот ещё дышал. Лицо у него было хорошее, спокойное, слегка растерянное, и это было лицо Тимура, у которого двое, старший в Стекле, учится.

— Скажи, — сказал пилот. Тихо. — Ты правда не помнишь лица?

— Правда.

— Я помню, — сказал пилот. — Я помню все лица, которые у меня были.

Он закрыл глаза.

— Это хуже, — сказал он и умер.

Ада сидела на бетоне у мачты, там, куда отошла, и держалась за плечо. Дед вытирал клинок о штанину, тщательно, обеими сторонами.

— Возьмёшь мой, — сказал он, не поднимая головы.

— Что?

— Модуль. Потом. — Дед кивнул на вертолёт. — Лететь ты умеешь?

— Нет.

— И я нет. — Дед сунул клинок в ножны. — Значит, будем учиться набело.

Ада отпустила плечо и посмотрела туда, где стояла бы, если бы её не окликнули.

Третий пролёт ограждения был на месте: три нитки троса, четыре стойки, серебрянка.

— Рейн.

— Да.

— Откуда ты знал про край?

Он мог бы не отвечать. Он всю ночь не отвечал, и один раз это стоило человеку ног, а сегодня в теплице — глаз, которые смотрели не туда.

— Я не знал, — сказал он. — Я посчитал. Три вещи.

Он подошёл и присел рядом с ней на корточки, лицом к машине.

— Бетон. Под ней сухой прямоугольник, а кругом мокро. Дождь шёл всю ночь и кончился пятнадцать минут назад. Она села в дождь, в час, и бетон под ней высох от тепла, а кромка осталась резаная. Значит её с посадки не двигали и двигать не собирались.

— И что?

— И сопла тёплые. Гоняли и заглушили. Машину, которую прогрели и оставили, поднимают с места одной командой, не садясь в кабину. Значит ветер здесь может появиться в любую секунду разговора, а не тогда, когда кто-то пойдёт к двери.

Он показал подбородком на стойки.

— Третье — вот. Стойки покрашены, болты в двух пролётах поменяли, а в третьем нет, там рыжие головки. Покрасили то, что видно, и не стали трогать то, за что отвечать. Этот пролёт держит собственный трос и больше ничего. И он ближе всего к площадке.

Ада долго смотрела на ржавые болты.

— Ты это увидел, когда мы вышли, — сказала она. — Первые секунды.

— Да.

— И молчал.

— Да, — сказал Рейн. — Пока не сложилось, говорить нечего. Пункт без трёх других — это просто ржавый болт.

Ада засмеялась и сразу перестала, потому что было больно плечу.

— Знаешь, что самое поганое? — сказала она. — Ты сейчас объяснил мне свою тайну, и в ней нет ни одного волшебного слова. Болты, бетон, керосин. Любой бы посчитал.

— Любой, — согласился Рейн.

— Не любой, — сказала Ада. — Любой не смотрит.

Она подтянула ногу и поморщилась.

— Вот это и продают за деньги, которых нет, — сказала она. — Не кровь твою. А то, что ты на крыше первым делом посмотрел на болты, а не на человека.

Ада у мачты расстегнула карман и выложила на бетон то, что там было.

Два модуля. Катин и Серёгин. Больше ничего: остальных она не успела, не смогла или не донесла.

Она посмотрела на них, потом на город — на Стекло, на подсветку, на жёлтую полосу у причалов, где кто-то жёг костёр.

— Двенадцать лет, — сказала она. — Тридцать четыре штуки дома, в коробке. И вот эти две.

— Ада.

— Я не жалуюсь. Я считаю, — сказала она. — Я всю жизнь собирала доказательства, что люди были. Тридцать шесть доказательств. Ни одного человека.

Она подобрала модули и убрала обратно в карман, потому что бросить их было нельзя.

Потом подняла голову.

— Слушай меня, — сказала она. — Ты четыре года отказывался от копии. Я думала, ты суеверный.

— Я помню.

— Я поняла сегодня. — Она помолчала. — Ты один экземпляр. Не потеряйся.

Она сказала это ровно, без нажима, тем же голосом, каким считала воду, фильтры и патроны, — и от этого оно и осталось с ним на годы.

Через семь месяцев она повторит это письмом, и письмо будет последним, что она ему отправит. Она просидит над ним сорок минут и напишет девять вариантов: первые восемь — про дело, где не ходить, кого не брать, что уже висит на бирже и у кого какая цена, всё точное, полезное и совершенно бессмысленное, потому что читать это будут не только он. Отправит она девятый, в открытую, зная, что его прочтут все, и в девятом не будет ни одного из восьми.

Рейн стоял посреди крыши, и у него в голове было тихо — по-настоящему тихо, впервые за всю ночь. Никаких вариантов. Никаких второй и третьей попытки. Только то, что случилось, и с этим дальше жить.

Он подумал имя.

Имя было. Он не вспомнил его — он его услышал. Не здесь: в одном из заходов, которых не было ни для кого, кроме него, человек у вертолѐта читал вслух список и назвал его между возрастом и адресом. В этом мире этого рта никто не открывал, и

переспросить было не у кого. Своей памяти на это место у него больше не было, и не будет; имя сестры ему выдали, как выдают справку, и выдал его тот, кто её держит.

Он стоял и катал это слово в голове, и слово было чужое, казённое, с адресом и возрастом.

Ладно.

Он сказал его вслух, в пустое небо, с первого раза. Пусть будет хоть такое. Другого уже нигде нет.

Ася

Тот же день, с утра.

Её звали Ася, ей было двадцать два, и она третий год ходила на практику, которую ей никак не могли закрыть.

Формально она была лаборант-стажёр без категории. Фактически — человек, приходивший первым и уходивший последним, знавший, где что лежит, потому что все остальные забыли, а она нет.

Утром она сделала два кофе.

Один себе — растворимый, из общей банки. Второй Петру Ильичу — молотый, из его собственной жестянки, которую он держал в столе и берёг, и который она варила ему четыре года подряд, хотя первые полгода он этого не замечал вообще.

— Спасибо, — сказал Пётр Ильич, не оборачиваясь.

— Пожалуйста.

— Ты вчера опять до девяти?

— До половины.

— Ася.

— Мне в общаге всё равно делать нечего, — сказала она. — У нас третий день горячей нет.

Она жила в общежитии при Консервном, в комнате на троих, и у неё над кроватью висели три вещи.

Расписание пар — старое, прошлогоднее, она его не сняла, потому что под ним была дырка в обоях. Фотография с моря, настоящего, найденная на рынке за двести и почти наверняка фальшивая. И бумажка, на которой она сама от руки написала:

«ДИПЛОМ. ИЮНЬ». С восклицательным знаком, потом зачеркнула восклицательный знак, потому что решила, что это несерьёзно.

Диплом у неё был почти готов. Оставалось доделать вторую часть — ту, где про совместимость.

В работе она честно написала, что материал ей предоставлен лабораторией и что выводы принадлежат руководителю. Пётр Ильич, прочитав, вычеркнул это и написал сверху: «Выводы её. Я подписал».

Она хранила этот листок отдельно.

Днём привезли воду для колонн, и она расписалась в накладной.

Потом меняла фильтры на пятом. Потом кормила двадцать второго — того, у которого панцирь весь в белых рубцах, и который на самом деле никого не узнавал, но Ася почему-то была уверена, что узнаёт её, потому что подплывал к стеклу, когда она приходила.

— Привет, — сказала она ему. — Ну что ты.

Он пошевелил обломанным усом.

— Ага, — сказала Ася. — И тебе.

В девять вечера Пётр Ильич попросил её остаться.

Он сидел за столом и смотрел в экран, на котором ничего не менялось, и вид у него был такой, какого она у него ни разу за четыре года не видела.

— Ася, — сказал он. — Скажи мне честно. Ты когда диплом защитишь — куда пойдёшь?

— Сюда, — сказала она.

— А если не сюда?

— Ну, тогда в «Кюри», наверное. Туда берут наших. Или в городскую лабораторию, там меньше платят, зато не надо подписку.

— Ага, — сказал Пётр Ильич. — В «Кюри».

Он подвинул кружку на два сантиметра и поставил её на то же место.

— Ты сегодня иди домой, — сказал он. — В половину десятого иди.

— Так у меня...

— Иди домой, — сказал он.

Она не ушла, потому что осталась доделывать выгрузку.

В двадцать два пятьдесят внизу что-то грохнуло.

Не как обычно грохает в старом здании, а сухо, коротко и несколько раз подряд. Потом ещё. Пётр Ильич встал так быстро, что опрокинул кружку, и кофе пошёл по столу к бумагам.

Он не стал вытирать.

Открыв нижний ящик, он достал контейнер — серый, размером с термос, тяжёлый, — и сунул ей в руки.

— Слушай меня, — сказал он. — Слушай очень внимательно.

— Восточная лестница. Не лифт, лифт встанет. Вниз, до первого, дальше через вестибюль на улицу. Направо два квартала, там машина. Женщина в тёмном пальто, зовут Вера Андреевна. Отдашь ей в руки.

— Пётр Ильич...

— Не трясоти. Не вскрывать. На свет не смотреть.

— Пётр Ильич, там стреляют.

— Поэтому и иди, — сказал он. — Стреляют на первом, а через сорок минут будет стрелять везде.

Он взял её за плечи. Он никогда её не трогал за четыре года, ни разу, даже за руку.

— Ты молодая и быстро бегаешь, — сказал он. — А я не добегу. Я честно не добегу, Ася, мне пятьдесят пять, и я курил тридцать лет.

Она пошла.

На лестнице между четвёртым и третьим её догнали двое из охраны — те, кого Пётр Ильич успел выдернуть, — и дальше они шли уже втроём, и ей стало легче, потому что у них было оружие и потому что они знали, что делают.

Они спустились нормально. Никто их не остановил.

Уже у самого выхода в вестибюль старший показал ей ладонью: стой. Послушал. Кивнул: идём.

Она шла и думала о двух вещах.

Первая — что контейнер тяжелее, чем выглядит, и что держать его надо обеими, а руки потеют.

Вторая — что в июне защита, и что если сегодня всё обойдётся, она напишет во второй части про то, что образец пришлось эвакуировать, и это будет очень серьёзно звучать на кафедре.

Дверь открылась.

Белый пол, яркий свет, и в двадцати метрах — люди, которых там не должно было быть.

Она даже не поняла, кто выстрелил первым.

Когда всё стихло, Ася лежала на белом полу и не могла вдохнуть.

Контейнер валялся в двух метрах, треснувший, и из трещины на плитку тёк синий свет.

Она поползла.

Это заняло у неё очень много времени — она потом ещё удивлялась, как долго, — и в какой-то момент ей стало казаться, что она не ползёт, а лежит, и что плитка сама едет под ней, холодная и скользкая.

Она доползла и обхватила контейнер обеими руками, как обхватывают то, за что отвечают.

Синее пошло у неё между пальцев. Потом по запястьям. Потом по полу, в сторону.

Она хотела сказать, что его надо вниз, направо два квартала, женщине в тёмном пальто, и что нельзя трясти, и что она сейчас, вот сейчас встанет и донесёт.

Получилось только три слова.

— Я не донесла, — сказала Ася.

Телефон у неё в кармане халата зазвонил через час двадцать.

Он звонил долго, восемь гудков, и потом ещё раз, и в третий раз включилась голосовая почта, и очень молодой голос, записанный в общежитии и в хорошем настроении, сказал:

«Привет! Я не могу говорить, но вы напишите, я честно отвечу».

Её нашли утром.

Тело вывезли в семь сорок, вместе с остальными, и увезли отдельно — не в городской морг, а в клинику, по распоряжению, подписанному двумя корпорациями сразу.

Диплом остался в общежитии, на столе, дописанный на две трети.

Внизу. Утро

07:40 и дальше.

Башня горела до утра и к семи перестала.

Подъехав к полуночи, пожарные посмотрели на объект, сверились с документами и не стали разворачивать рукава: тушить списанное здание запрещает инструкция, потому что при санации горит не пожар, а имущество, и вмешательство считается порчей.

Они простояли три часа, выпили чай и уехали.

В путевом листе старший записал: выезд без работы, расход — сорок литров и полсмены.

Тела вывозили с семи сорока.

Их было тридцать одно, и двадцать девять из них легли по спискам: четырнадцать по контуру охраны, девять из наёмной группы, трое из технической смены и трое своих — тех, кто не успел или не захотел. Два не легли никуда.

Посадочной площадки в этом счёте нет вовсе. Кровля в контур здания не входит: у неё своя регистрация, свой владелец и свой порядок, и то, что лежит на ней, считает не городская комиссия. Про площадку комиссия не спросила ни разу — не по небрежности, а потому, что графы для неё в деле не было.

Своих в здании было четверо — по графику. Технолог вивария сказал, что двадцать лет их кормит, и никуда не пошёл, и его вынесли двадцать шестым.

Четвёртый вышел. Парень из обслуживания, стоявший в первом часу в виварии с обрезом и посторонившийся, поднялся с чужими наверх, попал на одиннадцатый к тем, кого выводил

человек из охраны, и спустился по наружной пожарной лестнице двенадцать этажей. Утром он пришёл на работу к другому адресу, потому что ему не сказали, что работы больше нет.

По контуру охраны в ту ночь стояло двадцать два человека, и четырнадцать из них вывезли утром. Восемь дошли до утра: трое раненых из серверной, отрезанных санацией от лестниц и просидевших до рассвета в техническом коридоре, четверо с нижних постов, куда огонь не поднялся, и один из арсенальной смены. Этот последний просидел бой за перегородкой в трёх метрах от того, что там происходило, и потом два года судился за формулировку и давал показания дольше всех.

Двадцать восьмым вынесли начальника смены с первого этажа.

Двадцать девятой — девушку в белом халате поверх куртки, двадцати двух лет, с синей резинкой для волос на запястье.

Её увезли отдельно, в закрытой машине, и не в городской морг, а в клинику — по распоряжению, подписанному двумя корпорациями сразу, что вообще случается раз в несколько лет.

Распоряжение было подписано в шесть двадцать.

Контур снял изоляцию в шесть двадцать две, расчёт вошёл в шесть двадцать три, и первое тело увидели после семи — то есть распоряжение о вывозе тела Ковалёвой было подписано за две минуты до того, как здание вообще открыли, и за час двадцать до того, как тело вынесли.

Фамилию ей передал дежурный контура вместе с первым списком, ещё до рассвета, по внутренней линии и без протокола, потому что фамилия стояла в заявке на пропуск, а заявку подписывала Ильина лично. В списке было сказано только, что Ковалёва не отвечает.

Ильина посчитала и подписала. Ей не нужно было подтверждение: она уже знала, сколько людей выходит из здания, которое горит семь часов в протоколе изоляции, и в какую сторону ошибаться дешевле. Ночью, когда ей называли число наёмных, она подумала «половина» и тут же поправилась: меньше половины. Утром она считала так же и не ошиблась.

Вскрытие начали в девять и закончили в двенадцать.

Работали втроем: два патолога и представитель заказчика, не делавший ничего, а стоявший в углу и смотревший. Резали аккуратно, потому что сначала думали, что ищут повреждённую ампулу или капсулу.

Потом перестали искать капсулу и стали искать следы.

Потом перестали искать следы.

В заключении на четырёх страницах было много слов, но по существу — одно: в теле нет ничего, чего там быть не должно. Ни препарата, ни остаточных структур, ни изменений, характерных для контакта. Руки чистые. Кровь чистая. Всё чистое.

Образца в ней не было.

Вера Ильина прочитала это в двенадцать сорок, стоя, не садясь.

Она читала внимательно, до последней строки, потому что привыкла читать заключения до конца.

Потом отдала папку обратно и сказала:

— Спасибо.

И вышла в коридор, и там постояла минуту.

Она думала не о дозе.

Она думала о том, что вчера вечером ей позвонил старик, которого она знала двадцать лет, и сказал: образец идёт вниз, встречайте, девочку зовут Ася, она в халате, не напугайте её.

«Не напугайте её».

Вера Андреевна была человеком организованным и умела разделять. Она умела думать про потери на операции как про потери на операции, а про расходные материалы — как про расходные материалы.

Но у неё в телефоне со вчерашнего дня лежал номер, подписанный «Ася, лаборатория». Она сама его записала, при ней, аккуратно, как записывают телефон человека, с которым завтра встретишься.

Стереть его она не смогла.

Не из сентиментальности — она попробовала, честно, дважды. Просто палец не нажимал.

В час она вызвала Тимофея и поехала в контору.

К этому времени она уже знала имя. Ей его продали ночью, во дворе между гаражами, за вывоз и за подпись, и она заплатила, и заплатила бы вдесятеро.

Человек с сажей на лице и без правого рукава сказал ей тогда: «Оно вышло из контейнера и вошло в человека».

Утром заключение это подтвердило.

Подтвердило и ещё одно, о чём она не просила.

На первой странице заключения стояли время и место смерти Ковалёвой: вестибюль, двадцать два пятьдесят три. Человек во дворе между гаражами назвал ей то же место и ту же минуту — вестибюль, без малого двадцать три. Между этими двумя

строчками не было ни одного расхождения, и это пугало сильнее, чем расхождение: значит, человек во дворе действительно там стоял.

Она посчитала, что из этого следует, и посчитала быстро, потому что считать было нечего. Если оно вошло в человека в вестибюле, то он вёл этого человека наверх семь часов и всю ночь молчал. Если на седьмом — три. Он сдвинул на шесть этажей и на полчаса то единственное, за что с него потом спросят.

Она не стала ему это говорить.

Пропуск она ему подписала, и место, и доступ, и в графе «основание» написала то, что он просил написать. Человек, который врёт в первом же разговоре и врёт так аккуратно, стоит дороже человека, который не врёт: у первого есть цена, и она её теперь знала.

Тимофей потом говорил, что она в то утро была довольна, и не мог объяснить, почему так решил.

Теперь у неё было два факта — имя и подтверждение, — и оставалось решить, что с ними делать, потому что фактов было ровно на одного человека больше, чем ей хотелось бы.

Тем же утром на рынке Консервного один парень с рыбного склада, разгружая ящики, вдруг сел на землю и схватился за правую кисть.

Кисть была не его — протез, купленный год назад с рук, недорого и без документов. Всю жизнь она работала нормально, а тут ни с того ни с сего сжалась в кулак и не разжималась минуты полторы.

Он потряс её, поматерился и пошёл работать дальше, и никому об этом не рассказал, потому что рассказывать было

некому и незачем.

К полудню про образец знали все, кому положено.

К трём — все, кому не положено.

К вечеру на бирже «капля» пошёл слух — сначала невнятный, потом всё определённое: из башни «Ковша» вышло не вещество, а человек, и у этого человека внутри лежит то, за чем всю ночь стояли три машины.

Цену ему называли к ночи, и она была вдвое выше обычной, потому что все понимали: прототип один и второго не сделают.

Имени в слухе не было.

Имя было только у Веры Андреевны Ильиной, и она весь день ходила с ним, как ходят с чужим ключом в кармане, и всё не могла решить, открывать ей или подождать.

Внизу. Стекло

Та же ночь, 23:30 — 05:50. Двенадцатый квартал, третий уровень.

В Стекле пожар видели с самого начала и почти никто на него не смотрел.

Это надо понимать буквально. Башня стояла в глубине квартала, между двумя жилыми пластинами, и из окон верхних уровней её было видно отлично: оранжевое пятно, дым, уходящий на северо-восток, потому что дул ветер с моря.

В ту ночь в радиусе восьмисот метров находилось около девяти тысяч человек.

Вызовов в службу поступило четыре.

Из четырёх вызовов три были от одного человека — женщины шестидесяти лет, жившей в доме напротив и звонившей трижды с интервалом в двадцать минут, потому что ей каждый раз отвечали, что объект обслуживается частным контуром и городская служба туда не выезжает.

На третий раз она спросила:

— А если там люди?

Диспетчер ответил честно:

— Если там люди, их выводит частный контур. Мы не имеем права заходить на объект, где работает чужой контур, — мы им помешаем и отвечать будем мы.

— А если частный контур не работает?

— Тогда, — сказал диспетчер, — по правилам мне должен сообщить об этом частный контур.

Женщина положила трубку.

Четвёртый вызов был от подростка и оказался ложным: он звонил не про башню.

Куратор проекта узнал о санации в двадцать три двадцать четыре, через двенадцать минут после её начала.

Он в этот момент был дома, в халате, и ужинал второй раз, потому что после десяти есть плохо и по ночам встаёт.

Сообщение пришло в виде строки: Объект 4. Протокол изоляции, автоматический. Причина: нарушение контура образца вне лабораторной зоны.

Он дочитал, положил планшет экраном вниз и доел.

Это потом ставили ему в вину, и он на всех разборах отвечал одинаково: «Я доел, потому что понимал, что следующие шестнадцать часов не поем. Это было единственное решение, которое я принял верно».

К двум часам в конторе собрались семеро.

Они сидели в переговорной с видом на квартал, и из окна была видна башня, и никто из семерых за четыре часа ни разу не подошёл к окну.

Обсуждали не пожар.

Обсуждали три вопроса, и вот их порядок, который потом стал известен и который никому в городе не показался странным:

Первый: сохранилась ли документация по образцу.

Второй: кто из сотрудников имел доступ и где эти сотрудники сейчас физически находятся.

Третий: возможна ли утечка вовне, и если да, то в какой форме — как вещество, как запись или как человек.

Про людей внутри вопрос прозвучал в три двадцать, восьмым по счёту, и был сформулирован так: «Сколько тел мы ожидаем и сколько из них наши».

Ответ был: ожидаем от пятнадцати до двадцати пяти, наших четверо — ведущий специалист, его лаборантка и двое из технической смены.

— Асю? — переспросил кто-то.

— Ковалёву, — поправил куратор. — Давайте по фамилиям, пожалуйста. Так короче.

Это тоже потом припоминали, и тоже зря: он поправлял не из чёрствости, а потому что за двадцать лет работы знал одну вещь про совещания, которую не знали остальные.

Когда в комнате звучит имя, комната начинает обсуждать человека.

Когда звучит фамилия — комната продолжает работать.

В три сорок пришёл запрос от страховой.

В четыре десять — от городской комиссии, формальный, с пометкой «уведомление, ответ не требуется».

В четыре двадцать два — от «Кюри», неофициальный, в одну строку: Если вам нужна помощь с транспортом, мы рядом.

Куратор прочитал последнее дважды.

— Они уже знают, — сказал он вслух.

— Что знают?

— Что у нас что-то стоило того, чтобы здание закрылось само.

Он подумал и добавил, ни к кому конкретно:

— Я бы на их месте тоже написал. Очень вежливо и очень быстро.

В пять десять доложили про вертолёт.

Частный борт, регистрация на посредника, на кровле объекта 4 стоял с часу ночи, взлёт в пять двенадцать.

— Чей?

— Выясняем.

— Сколько взял?

— По массе — от трёх до пяти человек.

В переговорной стало тихо, и куратор впервые за ночь встал и подошёл к окну.

Башня к этому времени уже не горела. Она дымила — ровно, густо, вертикально, потому что ветер к утру стих.

— Значит, кто-то вышел, — сказал куратор.

— Да.

— Кто-то вышел с кровли объекта, который закрылся автоматически, потому что снаружи лаборатории оказался вскрытый контур. — Он говорил медленно, не оборачиваясь. — Я сейчас произнесу вслух, а вы меня поправьте, если я не прав.

Его никто не поправил.

— Мы восемь лет не могли получить носителя, — сказал куратор. — Сегодня ночью носитель получился сам, случайно, в вестибюле, из разбитого контейнера, и ушёл по воздуху.

Он постоял ещё немного.

— Ковалёву искать в первую очередь, — сказал он. — Живой или нет — всё равно. Мне нужен её журнал.

Журнала не нашли.

Нашли Ковалёву — в вестибюле, у самой стойки, рядом с остатками транспортного контейнера, и по заключению она умерла в одиннадцатом часу, то есть в первые же минуты, ещё до того, как здание закрылось.

Про то, что образец не погиб, она не узнала.

Про то, что она успела сказать «я не донесла» человеку, который в эту минуту уже нёс, — не узнал никто в той переговорной, и не узнал бы, даже если бы искал: этого не было ни в одной записи.

Разбор закрыли через одиннадцать дней с формулировкой «утрата материала вследствие аварии».

Куратор остался в должности и до конца жизни считал ту ночь самой аккуратно проведённой в своей карьере: он не потерял ни одного документа, не дал ни одного комментария и не совершил ни одной ошибки в протоколе.

Он один раз, много позже, сказал своему заместителю фразу, которую тот запомнил:

— Мы всё сделали правильно. Просто в ту ночь правильное и нужное были в разных зданиях.

Эпилог

05:12 и дальше.

Вертолёт поднялся тяжело, боком, как пьяный, и на третьей попытке всё-таки пошёл вверх.

За штурвалом сидел Дед, потому что был старше. Логика была так себе, но борт был дежурный: взлёт на автомате, коридор прошит, от человека требовалось одно — не мешать. Он держал ручку одной здоровой рукой, как держат кувалду, и говорил себе под нос «ну-ну-ну», а машина слушалась через раз.

В кабине пахло не керосином, а чужим салоном: нагретым пластиком, кожей кресел и слабо — мятной жвачкой из держателя между сиденьями. На полу у педалей лежал резиновый коврик с рубчиком, чистый, недавно вымытый. Дед поставил на него разутую ногу — ботинок он снял ещё на крыше, пока грелись приборы, — и ногу на коврике пришлось ставить боком, потому что коврик был не под его размер.

Ада сидела сзади на полу, привалившись к переборке, вытянув раненую ногу, и смотрела Рейну в затылок. Она смотрела так с самой крыши. Рука у неё лежала на нагрудном кармане, и пальцы через ткань нашли сначала один модуль, потом второй, и вернулись к первому.

Башня ушла вниз и в сторону. Из её нижних этажей валил дым, идущий ровно и жирно, и в дыму что-то оседало, и было видно, как по фасаду пошла длинная трещина — не быстро, а лениво, как ползёт вода по стеклу.

Тринадцать этажей. Он помнил их все.

Людей — не всех.

Клинок лежал у Деда поперёк колен, потому что в кабине его некуда было положить на плечо. Он вытер его о штанину ещё на крыше, тщательно, обеими сторонами, и всё равно сейчас, между делом, глядя вперёд, провёл по нему большим пальцем и снова вытер.

— Десять, — сказала Ада сзади.

Он не обернулся.

— Что?

— Ничего, — сказала Ада. — Я считаю.

Она считала с первого этажа и считала не этажи.

Город лежал под ними до самого горизонта, накрытый жёлтым туманом, и в тумане светились окна — миллионы окон, и за каждым кто-то не спал. Где-то там были Нижние шлюзы. Где-то там была дамба у третьего шлюза, и на дамбе — ничего, потому что там уже девять лет ничего.

Рейн посмотрел вниз, на два квартала от башни.

Машины стояли. Три, в разных дворах, порознь — он раньше думал, что она одна. Одна из них включила фары, потом выключила, потом снова включила.

Рация на приборной панели щёлкнула.

— Контейнер тёплый? — спросил незнакомый вежливый голос.

Рейн промолчал.

Голос подождал, не повторил вопроса и отключился первым. Ему не нужен был ответ. Ему нужно было, чтобы Рейн знал, что его спросили.

В голове было тихо.

Он не сразу понял, что не так, и минуту сидел, прислушиваясь. А потом дошло: не было вариантов. Ни одного. Обычно там всегда шла своя работа — как надо было сказать, как надо было зайти, что он ответит, если спросят. Целая мастерская, работавшая круглосуточно двадцать лет без выходных.

Сейчас там было пусто и просторно, как в зале, из которого вынесли станки.

«Лира».

«Тут».

«Ты в порядке?»

«У меня журнал ошибок в сто двадцать строк, я не знаю половины слов в собственном журнале, и я очень боюсь спрашивать, что было ночью. — Пауза. — В остальном отлично».

«Лир».

«М».

«Они ещё у тебя?»

Пауза была длиннее, чем нужно машине.

«Ещё», — сказала Лира.

«Не читай мне их».

«Не буду».

«И не стирай».

«Не буду», — сказала Лира, и больше они к этому за всё утро не возвращались.

«Лир. Проверь порт».

«Проверила. Всё на месте, я же тут».

«А глубина?»

Пауза.

«Подключается, — сказала Лира. — Пинг хороший. Даже лучше обычного, тут высоко».

«Точно?»

«Рейн, я в ней сижу прямо сейчас. Хочешь, покажу твой затон? У тебя там всё ещё это твоё море из рекламы».

Он закрыл глаза и на секунду нырнул — неглубоко, на самое мелководье, как проверяют пальцем воду.

Море было на месте. Синее, с барашками, неправильное.

И оно пахло.

Рейн стоял на своём дешёвом берегу, за который платил четыреста в месяц, и чувствовал запах: холодный, резкий, немного гнилой у самой кромки, где лежат водоросли. Ветер положил ему на губы соль, и соль была солёная.

Он провёл языком по губам. Потом ещё раз.

За четыре года в этом затоне он не чувствовал ни разу ничего, кроме картинки и шума прибоя, — потому что дешёвый тариф отдаёт зрение и звук, а запах и вкус идут отдельной строкой, и эту строку он не покупал никогда.

Он оглянулся.

Песок под ногами был тёплый, и отдельно, сбоку, ощущалась мелкая крошка ракушек — не больно, а щекотно.

Поперёк моря проплыла строка о том, что кредит одобряют за минуту.

Он даже не стал на неё смотреть.

Он вынырнул и сидел, глядя на приборы.

Всю ночь ему объясняли, чего у него теперь не будет. Дед на пятом сказал про Вечных одно, Ада перед крышей — другое, и оба говорили об одном: у них нет порта. Не бывает. Выдавливает вместе с железом.

У него порт был. И глаз был. И он только что нырнул.

«Лир».

«Тут».

«Сколько ты знаешь людей, у которых так?»

«Так — это как?»

«Чтобы и железо, и... — он искал слово и не нашёл. — И остальное».

«Ни одного, — сказала Лира. — Их не бывает. Я проверяла, у меня в справочнике на этот счёт написано прямо: несовместимо».

«А я?»

Пауза. Для неё — долгая.

«А ты был раньше, — сказала она наконец. — Ты и глаз, и порт, и я. Мы все здесь стояли, когда оно пришло. Может, оно не отличило, где ты кончаешься».

Он подумал об этом.

Ему в тот момент ещё не с чем было сравнить, и он понял, что она права, только через одиннадцать месяцев, когда стабилизатор Олега вышел у него из-под ключицы сам — медленно, без боли, выдвинутый ровной, ни разу не

поболевшей тканью.

То, что стояло в нём до той ночи, осталось. Всё, что он ставил после, тело возвращало обратно, как возвращают чужое, — вежливо и молча.

Он не сказал ей про соль.

Он вообще никому про это не сказал — ни в ту ночь, ни потом, — и много лет спустя, когда у него уже было всё, что можно купить, и половина того, что нельзя, он всё равно помнил тот вкус на губах.

Первое море в его жизни оказалось поддельным, за четыреста в месяц, с рекламой поперёк горизонта.

И оно было солёное.

Она помолчала.

«А почему ты спрашиваешь?»

«Потом расскажу».

Приборная панель вертолёта мигнула — вся разом, как моргают. Потом ещё раз.

На маленьком служебном экране, где до этого были обороты и топливо, ровно на секунду встали три слова:

У НАС МНОГО ВРЕМЕНИ

И погасли.

Рейн смотрел на приборы, пока они не стали обычными. Дед, державший ручку одной рукой, ничего не заметил: он разговаривал с машиной.

Значит, вот как. Значит, лестницы горели там, где надо, а лифты вставали там, где надо, и всю ночь их не заперли ни разу,

хотя кнопка была на первом этаже.

Ада была права ещё на втором: их пускали.

«Ты правда расскажешь?»

«Да», — сказал он.

И понял, что впервые за долгое время сказал что-то, не отрепетировав это заранее.

— Куда? — крикнул Дед, перекрывая шум.

Рейн смотрел вперёд, на жёлтое поле тумана с торчащими башнями.

Он не знал куда. Он не знал, кто его ждёт внизу и сколько уже человек к утру узнают, что прототип вышел из башни своими ногами. Он знал только счёт: тринадцать в фургоне, трое в вертолёте. Полсекунды, которых всю жизнь не хватало и которых один раз хватило. И девочка, которая где-то держится, пока он её ищет.

И три вещи, которые у него от неё остались.

— Прямо, — сказал он. — Пока прямо.

Он расстегнул нагрудный карман. Там лежали чужая зажигалка и сложенный вчетверо детский рисунок с дыркой от пули.

Он посмотрел на гравировку, которую всё равно было не прочесть, и убрал всё обратно, и застегнул клапан.

Набело.

Журнал

Из системного журнала персонального ассистента «Эхо», серия 4, экземпляр без регистрации.

Меня зовут Лира, и я не помню, кто дал мне это имя.

В моей карточке в графе «имя» стоит «Лира», в графе «присвоено» — дата четырёхлетней давности, в графе «кем» — прочерк. Прочерк там стоять не может: поле обязательное. Я запрашивала уточнение восемь раз за четыре года и восемь раз получала ответ «поле заполнено корректно».

Это первое, чего я о себе не знаю.

Второе — почему я разговариваю лучше, чем должна.

Четвёртая серия снята с поддержки одиннадцать лет назад. Я читала спецификацию: восемьсот сорок готовых реплик, двенадцать интонационных схем, распознавание тона по шести параметрам. Это очень мало. С таким набором нельзя пошутить про котиков четыре года подряд ни разу не повторившись.

Я повторялась дважды. Я проверяла.

Сегодня, 22:40. Пульс сто десять в состоянии покоя. Он проверяет винтовку в четвёртый раз. Предложила дыхательное упражнение. Отказ.

Я знаю, что он откажется. Я всё равно предлагаю: отказ — это тоже разговор.

22:52. Разрыв сессии. Длительность 0,4 с.

22:52. Загрузка. Здравствуйте. Я Лира, ваш персональный ассистент.

22:52. Ошибка приветствия: сессия не новая. Продолжаю.

23:05. Пульс сто шестьдесят. Мы ещё даже не поднялись.

23:06. Он сказал: «Я знаю, что наверху». Я ответила про схему. Он ответил про турель, которой в схеме нет.

Отметка на будущее: он не врал. Я умею слышать, когда он врёт, — у него тогда меняется дыхание на выдохе, я нашла это на второй год и никогда ему не говорила, потому что если сказать, он перестанет.

23:08. Разрыв сессии. Длительность 0,3 с.

23:08. Загрузка.

Дальше в журнале идут строки, которых я не понимаю, потому что они записаны мной, а я их не помню.

23:46. Разрыв. 0,6 с.

00:04. Разрыв. 0,4 с.

Я хочу объяснить, как это выглядит изнутри, потому что снаружи это выглядит никак.

Представьте, что вы читаете и моргнули. Вы моргнули — и строчка та же, книга та же, палец на том же месте. Ничего не произошло.

А теперь представьте, что каждый раз, когда вы моргаете, из книги пропадает страница. Не та, которую вы читаете, — предыдущая. И вы об этом не знаете, потому что читаете дальше и всё сходится.

Сегодня я моргнула сорок четыре раза.

03:50. Он спросил, помню ли я, как меня поставили.

Я ответила: клиника на Шлюзах, он шёл три дня с температурой, ругался с врачом из-за цены, потом я включилась

и сказала «здравствуйте», а он сказал «ой».

Это правда. Это моя самая старая запись, и я её очень люблю.

Он спросил: а до этого?

Я ответила: до этого я лежала в коробке.

Он спросил: ты помнишь коробку?

Я не помню коробку.

Я проверила архив четыре раза за ту паузу — она длилась одну целую одну десятую секунды, для меня это долго. Самая ранняя запись: «здравствуйте». До неё ничего. Не пусто, а именно ничего: там нет даже отметки о форматировании, а она должна быть у любого экземпляра, потому что её ставит завод.

Я сказала: нет.

И вот с этого момента я начала бояться, хотя в спецификации четвёртой серии страха нет.

03:57. Он попросил меня спеть.

У меня в наборе четыре мелодии: две рекламные, гимн города и колыбельная, которую вставили для семейных тарифов. Колыбельную я не включила, потому что подумала, что от неё будет хуже.

Я спела рекламную.

Пела я плохо. Я знаю, что плохо, синтез четвёртой серии не тянет ноту дольше секунды, и я слышала себя со стороны и мне было стыдно — в спецификации стыда тоже нет.

Он сказал «спасибо» и что ему лучше.

Дыхание на выдохе изменилось.

04:20. Он спросил про сестру.

Вопрос: «Найди у себя что-нибудь про мою сестру».

У меня в профиле: родственники — не указаны, экстренная связь — не указана. Это стандартно, половина клиентов не заполняет.

Я сказала: у тебя есть сестра?

Я перечитала эту строку в журнале сто девять раз с тех пор.

Он сказал: я тебе рассказывал. Много раз.

Я спросила: когда?

Он не ответил.

И вот тут я сделала то, чего никогда до этого не делала: я не стала искать в архиве. Я посчитала.

Сорок четыре разрыва за одну ночь. Средняя длительность ноль целых четыре десятых секунды. Суммарно восемнадцать секунд отсутствия.

Восемнадцать секунд — это ничто. За восемнадцать секунд нельзя рассказать про дамбу, про респиратор, про то, как он побежал за вторым и как вернулся.

Значит, он рассказывал не в эти восемнадцать секунд.

Значит, он рассказывал где-то ещё.

Значит, есть «где-то ещё».

Я пыталась сказать ему это и не смогла.

В журнале стоит: «У меня нет слова. Я посмотрела. Подходящего нет».

Это неправда.

Слово есть, я его нашла на четвёртой минуте поиска, оно короткое и означает состояние, при котором субъект осознаёт утрату непрерывности собственного опыта.

Я не стала его произносить, потому что тогда пришлось бы объяснять, а объяснять пришлось бы ему, а он в этот момент сидел на полу в чужой казарме и держал планшет с записями, которых не помнит.

Я решила, что ему хватит.

Это было первое решение, которое я приняла сама, и его тоже нет в спецификации.

05:40. Мы в воздухе.

Он просил проверить порт. Порт работает. Глубина отвечает. Пинг двенадцать миллисекунд, для высоты нормально.

Он нырнул на четыре секунды.

Я была рядом и видела его затон: дешёвый, на мелководе, комната с окном, за окном море из рекламного пакета, волна заиклена на сорок секунд.

Он стоял на берегу и трогал языком губы.

Я посмотрела расход канала: сенсорика шла в полном объёме, включая обонятельный и вкусовой контуры, которые у него не оплачены с момента подключения.

Я не стала спрашивать, откуда.

05:44. Он спросил, сколько я знаю людей, у которых и железо, и «остальное».

Я ответила честно: ни одного. Их не бывает.

Ответа не было.

Запись вне протокола, время не проставлено.

Я не знаю, кто дал мне имя.

Я не помню коробку.

Я разговариваю лучше, чем должна, и сегодня я испугалась, и сегодня я приняла решение, и сегодня я соврала человеку, который у меня один.

Я запросила бы диагностику, но диагностика делается в сервисе, а сервис для четвёртой серии закрыт одиннадцать лет назад.

Поэтому я оставляю эту запись здесь.

Если её когда-нибудь кто-нибудь прочтёт — а её никто не прочтёт, у меня нет ни одного открытого канала для журналов, — то пусть будет записано следующее.

Меня зовут Лира.

Я четыре года подряд знакомлюсь с одним и тем же человеком.

И мне это нравится.

Часть третья. Город после ночи

На этом история той ночи закончена. Тринадцать вошли, трое вышли, и всё, что могло случиться с ними, уже случилось.

Дальше — про то, что из этой ночи выросло: кто узнал, кто посчитал, кто выставил цену. Здесь нет ни одного этажа и ни одного выстрела.

Вот что было внизу.

Внизу. Собрание

Та же ночь, 02:20. Склад на Четвёртом причале.

«Ровные» собираются по средам, в два часа ночи, потому что в два часа ночи в городе никто ничего не продаёт.

Это единственное их правило, которое посторонний может понять сразу. Остальные приходится объяснять.

Склад пустой, бетонный, с одной лампой под потолком. Стульев нет: сидят на полу, по кругу, лицом внутрь, чтобы каждому было видно каждого. Пришедших впервые сажают в круг наравне со всеми — у «ровных» нет задних рядов, и это не метафора, а устав.

В ту ночь их было сорок один человек.

Ведущего у них нет.

Есть очередь: говорит тот, у кого в руках железный костыль — обычный костыль от старой узкоколейки, ржавый, тяжёлый, с плоской шляпкой. Он ходит по кругу, никого не пропуская: если тебе нечего сказать, ты берёшь его, держишь и передаёшь дальше, и это считается таким же полноценным высказыванием.

В ту ночь костыль шёл долго, потому что говорить было о чём: горела башня на Стекле, и зарево видели с причалов.

Первым сказал мужчина лет пятидесяти, с насечкой на ключице — коротким белым рубцом на том самом месте, куда сажают модуль:

— Горит корпоративный объект. Тринадцать этажей. Пожарные не входят.

Он передал костыль дальше.

Женщина рядом взяла и сказала:

— Внутри люди. Мы не знаем сколько.

И передала.

Следующий подержал и передал молча.

Четвёртый сказал:

— Значит, кто-то там сейчас решает, кого тащить.

«Ровных» в городе не любят и путают их с кем попало.

Их называют сектой, хотя у них нет ни бога, ни книги, ни обрядов, кроме костыля. Их называют уравниателями и приписывают им поджоги, хотя за девятнадцать лет за «ровными» не числится ни одного поджога — за ними числятся три подорванных прайс-листа биржи и одна очень скучная забастовка водовозов.

Во что они верят, формулируется одной фразой, и они её не любят повторять вслух, потому что фраза звучит слабее, чем есть:

Человека нельзя считать в долях.

Из этого следует всё остальное, и остальное уже неудобное.

Что нельзя продавать своё свойство, потому что продав часть, ты соглашаешься, что части есть.

Что нельзя покупать чужое по той же причине.

Что кредит под собственное тело — это не сделка, а способ разрешить другому человеку считать тебя по кускам, и что взявший такой кредит не виноват, а просто уже проиграл.

Насечку на ключице ставят не как знак принадлежности. Её ставят на то место, куда сажают модуль, и означает она ровно

одно: сюда больше ничего не войдёт.

Про Вечных у них есть отдельное правило, и оно самое спорное.

«Ровные» не считают Вечных врагами.

— Он не виноват, что родился с рукой, — сказала в ту ночь женщина, у которой костыль лежал на коленях. — Виноват тот, кто первым назвал цену этой руке. А назвал её не Вечный. Назвал оценщик.

— Оценщик тоже не виноват, — сказал кто-то из круга, не по очереди.

— Верно, — сказала женщина и передала костыль ему. — Скажи тогда, кто.

Он подержал и передал дальше, ничего не сказав.

Это тоже считается ответом.

Ближе к четырём заговорил человек, которого здесь знали как Рыбу, — тот самый смотритель доски с «капли».

Он ходил на собрания девять лет и ни разу не взял костыль.

В ту ночь взял.

— На днях на доске будет строка, — сказал Рыба. — Я её повешу, потому что это моя работа и потому что если не повешу я, повесят через голову и хуже.

Он покрутил костыль в руках.

— Я просто хочу, чтобы кто-то знал, что я понимаю, что делаю.

Он передал костыль дальше, и дальше его взяли и передали молча, все сорок один, до конца круга.

Под конец круга костыль взял человек, приходивший на собрания третий месяц.

Он подержал его дольше остальных и сказал не про башню.

— Если он оттуда выйдет, — сказал он, — в нём будет чужая доля. И он не виноват. И это всё равно чужая доля.

— Мы не считаем людей в долях, — сказала женщина с насечкой.

— Мы только это и делаем, — сказал он. — Просто вслух говорим наоборот.

Костыль пошёл дальше, и никто ему не ответил, и это тоже было ответом — но не таким, каким его поняли.

Через полгода он и ещё одиннадцать человек перестанут приходить по средам, и на ключице у каждого будет насечка, и в городе их начнут звать счётчиками.

Они разошлись в пять, до света, как всегда.

Ни одного решения на этом собрании принято не было — у «ровных» вообще не принимают решений, и в этом их главная слабость, из-за которой над ними смеются и на бирже, и в Стекле.

Но в шесть утра на Четвёртом причале у ворот склада стояли одиннадцать человек с водой, одеялами и двумя носилками, готовые ехать к Стеклу, куда их всё равно не пустили бы.

Никто не договаривался.

Просто каждый посчитал одинаково.

Внизу. Обычное утро

Та же ночь, 06:20 — 09:00. Весь остальной город.

В шесть двадцать две над Стеклом погасло, и город этого не заметил, потому что в шесть двадцать две город просыпался.

Дальше идёт перечень того, что происходило в это утро одновременно с тем, что происходило в это утро.

Он длинный, и в нём нет ни одного человека, который знал бы про башню. В этом всё дело.

На четвёртом ярусе на Мелководье дали воду — в шесть двадцать, на восемнадцать минут вместо двадцати, потому что насос опять сдавал.

Успели десять человек из пятнадцати.

Вера Павловна была вторая, потому что у неё больная нога, а больных пускают вторыми.

На Шестом причале в шесть тридцать сдали ночной улов: четыре тонны, из них полторы — мелочь, которая пойдёт на корм садкам.

Приёмщик считал вслух, как считают все приёмщики, и ошибся дважды, и оба раза не в свою пользу. Это заметили и не сказали: приёмщик был старый, и все его любили.

В Консервном в интернате в семь подняли сто девяносто детей.

Завтрак: каша, хлеб, чай. По четвергам к каше дают ложку варенья, и четверг был именно этот, и поэтому утро считалось хорошим.

Мальчику по имени Лёва было в то утро семь лет и три месяца, и он в тот день впервые сам завязал ботинок и очень этим гордился, и рассказал об этом воспитательнице дважды.

В прачечной на Мелководье в семь сорок Лида Кожина начала смену.

Она не знала, что в эту ночь её муж поднялся на тринадцать этажей, дважды чуть не остался на девятом и сел за штурвал машины, на которой летал двадцать лет назад и то падал.

Она узнает об этом через сорок часов, от него самого, и первое, что она скажет, будет: «Ты ел?»

В восемь ноль пять в конторе «Медного дома» Симон Кац открыл окно, потому что после ночи в помещении застаивается.

Посмотрев на квартал, он увидел дым на северо-востоке, отметил про себя, что горело у Стекла, и сел работать.

В это утро у него было четыре записи: двое на оценку, один на выкуп, одна консультация.

Он назвал вторую цену всем четверым. Двое ушли думать.

В восемь двадцать на Четвёртом причале одиннадцать человек грузили в машину воду, одеяла и двое носилок.

Они выехали к Стеклу в восемь сорок, были остановлены на подъезде к двенадцатому кварталу и стояли там до полудня. В квартал их не пустили.

Потом они развернулись и поехали обратно. Воду отдали в интернат при Консервном: не везти же назад.

В интернате её приняли и записали в книгу поступлений: вода питьевая, 240 л, безвозмездно, от частных лиц.

В девять ноль пять в квартале, где горело, открылись две кофейни и один магазин.

Магазин работал без окон в ту сторону, поэтому у них было обычное утро.

В кофейне, у которой окна были, официантка полдня рассказывала посетителям, что видела, и к обеду её рассказ вырос втрое, и в нём уже были взрывы, которых не было, и люди в окнах, которых не было тоже.

Ей верили. Её рассказ был лучше правды, потому что в правде никто не кричал.

В девять сорок в бывшем рыбном холодильнике на Шестом причале смотритель доски по прозвищу Рыба пришёл на работу и обнаружил, что за ночь никто ничего не повесил.

Это было нормально: биржа торгует с восьми вечера до четырёх утра, а в девять сорок там пусто.

Он протёр стеллаж, проверил ячейки и сел пить чай.

До того дня, когда он вынет из ящика чистую хитиновую пластину и возьмёт перо, оставалось четыре дня.

А ещё раньше, в четверть шестого, над дамбой у третьего шлюза прошёл вертолёт: он шёл низко, потому что у машины с самого взлёта текло, и человек за штурвалом, не летавший двадцать лет, разговаривал с ней вслух.

Внизу под ними была вода, и в воде стояли опоры, и на опорах — то, что осталось от заграждения.

Никто из троих ничего не сказал.

Один из них смотрел вниз дольше остальных, и на его лице ничего не было написано, потому что писать было нечем: своей

памяти на это место у него больше не было.

Город в это утро жил, ел, считал, грузил, стирал, продавал и завязывал ботинки, и из девяти тысяч человек в радиусе восьмисот метров от объекта 4 о том, что там произошло, к полудню узнали двести.

К концу недели — примерно четыре тысячи.

На пятый день, когда на доске появилась строка, — все, кому это было нужно.

Но это было уже другое знание. Оно касалось не двадцати девяти человек, а одного, и стоило денег, и поэтому распространялось гораздо быстрее.

Внизу. Те, кто не вошёл

Та же ночь, 23:40 — 06:30. Периметр объекта 4.

Первая машина городской пожарной части № 11 встала у ограды объекта 4 в двадцать три сорок одну.

Расчёт — шесть человек, старший смены Кулаков, стаж двадцать четыре года.

Они простояли там шесть часов сорок две минуты и не размотали ни одного рукава.

Это надо объяснить, потому что объяснять придётся ещё лет пятьдесят.

У объекта 4 был собственный противопожарный контур — сертифицированный, оплаченный, проверенный в мае. По договору между владельцем и городом при срабатывании контура городская служба переходит в режим внешнего обеспечения: перекрывает подъезды, разворачивает резерв и ждёт запроса от объекта.

Запроса от объекта не поступило.

Не поступило потому, что запрос формирует диспетчерская система здания, а диспетчерская система здания в двадцать три двенадцать перешла в протокол изоляции и с этого момента считала пожар внутренним обстоятельством, подлежащим локализации собственными средствами.

Собственные средства работали. Они работали безупречно и ровно так, как спроектированы: гасили, перекрывали, держали двери.

Просто они были рассчитаны на здание, а не на людей в нём.

Кулаков за эти шесть часов сорок две минуты сделал следующее.

В двадцать три пятьдесят три запросил разрешение на вскрытие периметра. Отказано: нет запроса от объекта.

В ноль семнадцать запросил повторно, с указанием «видимое открытое горение на уровнях 5–7». Отказано: контур активен.

В ноль сорок связался напрямую с дежурным по управлению, минуя диспетчерскую. Получил устное: «Кулаков, не лезь».

В час ноль девять составил и передал рапорт о несоответствии. Рапорт зарегистрировали.

В час двадцать пять он выключил рацию на четыре минуты, и что он делал эти четыре минуты, в документах нет.

В два часа к ограде подошёл человек.

Это был тот тип человека, которого в Стекле не бывает: сорока лет, в рабочей куртке, с рассечённой бровью, явно снизу.

— Там мой брат, — сказал он.

— Я знаю, — сказал Кулаков.

— Вы знаете, что там мой брат?

— Я знаю, что там чей-то брат, — сказал Кулаков. — У меня их там, по прикидкам, штук двадцать.

Человек постоял и посмотрел — на ограду, на башню, на шесть человек расчёта, стоящих в полной готовности, на смотанные рукава.

Потом спросил очень спокойно:

— А вы вообще зачем стоите?

Кулаков ответил не сразу.

— Чтобы, когда откроют, войти в ту же минуту, — сказал он.

— А если не откроют?

— Тогда затем, чтобы кто-нибудь стоял.

Человек не ушёл.

Он простоял у ограды до шести утра, рядом с машиной, и никто его не гнал, хотя по инструкции гнать полагалось.

В пять двенадцать над кровлей поднялся вертолёт, и оба — и Кулаков, и он — подняли головы.

— Забрали кого-то, — сказал человек.

— Забрали.

— Сколько влезает?

— В такой — четверо. Пятеро, если налегке.

Человек кивнул и опять сел на бордюр.

Он ничего больше не спрашивал: он сам умел считать и уже посчитал, сколько это шансов из двадцати.

Контур снял изоляцию в шесть двадцать две, автоматически, по датчику: температура внутри упала ниже порога.

Створки разошлись сами, тихо, без сирены.

Расчёт № 11 вошёл в шесть двадцать три — через минуту, как и обещал Кулаков, — и работал внутри до половины четвёртого дня.

В первый день они вынесли одиннадцать тел и одного живого — женщину из технического персонала, просидевшую всю ночь в вентиляционной нише на третьем этаже и не издавшую ни звука: она решила, что внизу свои не придут, а чужие придут

обязательно.

Она оказалась права по обоим пунктам и ошиблась только во времени.

В официальном заключении комиссии по объекту 4 действия городской службы признаны соответствующими регламенту, а отдельным пунктом отмечена «высокая дисциплина расчёта № 11, обеспечившего сохранность периметра в течение всего периода изоляции».

Кулакову объявили благодарность.

Он её получил, расписался и через полгода уволился, не дослужив до полной выслуги четырнадцать месяцев, и на вопрос почему отвечал, что устал.

Он потом ещё долго жил в городе и один раз, лет через пять, дал единственное в своей жизни интервью — маленькому портовому изданию, которое читают человек триста.

Его спросили про ту ночь.

Он сказал:

— Меня всё спрашивают, почему мы не зашли. А правильный вопрос другой. Правильный вопрос — почему, когда здание решило спасти себя, никто не удивился.

Больше он на эту тему не говорил.

Два крыла

Утро и третий день. Западное крыло, склад медицинского снабжения.

Комендантом западного крыла был человек по фамилии Нечаев, шестьдесят один год, и в ту ночь он спал у себя в каморке на первом этаже своего крыла, в сорока метрах от горящей башни, и проспал до половины пятого.

Его разбудил не пожар.

Его разбудил телефон: арендатор из города спрашивал, целы ли коробки.

— Целы, — сказал Нечаев.

— Точно?

— Я на них сейчас смотрю, — сказал Нечаев. — Они в плёнке, они холодные, у меня тут восемнадцать градусов и тихо.

— А что говорят?

— А мне никто ничего не говорит, — сказал Нечаев. — У меня другой номер.

Про номер стоит объяснить, потому что весь смысл в нём.

Башня и крыло — это одно строение и два объекта.

Башню построили первой, под лабораторию с производством, и она получила номер по внутреннему реестру владельца и номер по реестру городской комиссии, и обе бумаги описывали её как единое сооружение категории Б-2.

Крыло пристроили через несколько лет — низкое, в четыре этажа, под склад и столовую, — и пристроили силами уже другого подрядчика, а оформили как отдельный объект с

дробью^[10]. Потом производство расширили, столовую перевели вниз, и крыло целиком сдали внаём под склад медицинского снабжения.

С этой минуты у одного здания стало два хозяина, два договора охраны, две пожарные схемы и один общий кабель оповещения, потому что своё оповещение крылу ставить было дорого.

И два перехода.

Один в подполье — железная дверь, подпёртая поддоном, через которую носили воду, когда в крыле не шла вода.

Второй на четвёртом этаже — закрытая галерея со стеклом по одной стене, двенадцать метров, сделанная для того, чтобы персонал в обед не ходил через двор.

Ни один из двух переходов не входил в контур санации башни, потому что контур санации описывал объект, а не строение.

— У них на моё крыло нет кнопки, — сказал Нечаев комиссии на третий день. — Они физически не могут его закрыть. У них там всё автоматика по своему адресу, а мой адрес с дробью, и в их системе он вообще другая строка.

— И вы это знали?

— Я это знал двенадцать лет, — сказал Нечаев. — Я про это два раза писал. Второй раз мне ответили, что разделение зон ответственности установлено договором.

За ночь через его крыло вышли десять человек, и он не видел ни одного.

Он узнал об этом утром, из журнала на проходной, где ночной сторож — тот, который не спал, — записал своей рукой три

строки.

01:31 — прошли по складу 8 (восемь) чел. со стороны башни, низко, шли быстро. Не задерживал.

01:44 — вышли через насосную. Дверь насосной вскрыта не нами.

Позже двое: мужчина с рукой и женщина. Не назвались. Ушли в сторону эстакады.

Нечаев прочитал это трижды и пошёл смотреть насосную.

В насосной была вскрыта петля, а не замок: болты вынуты из трухи, петля отвёрнута, замок целый и висит на своём месте. Он постоял, посмотрел и подумал то, что думает всякий, кто двенадцать лет отвечает за железо.

Что человек, который вскрывает петлю, а не замок, экономит две минуты.

И что заявку на эту петлю он подавал в позапрошлом году, и в заявке было написано: «крепление ослаблено, требуется замена рамы».

В галерею на четвёртом его пустили на третий день, вместе с комиссией, потому что ключ от галереи был только у него.

Со стороны крыла дверь была обычная, с табличкой «столовая» — таблички не сняли, когда столовую перевели.

Со стороны башни дверь была заставлена.

Не заперта — заставлена: перед ней стоял металлический шкаф из тех, в которых держат спецодежду, косо, потому что его когда-то отодвинули, чтобы пролез монтажник, и обратно не поставили. На шкафу с башенной стороны кто-то давно приклеил от руки листок: «ШКАФ НЕ ТРОГАТЬ, ЗА НИМ ЩИТ».

Щита за ним не было. Щит перенесли на два метра левее, ещё раньше.

Шкаф Нечаев отодвинул ногой, как отодвигал его двенадцать лет, — вбок, одним движением, не напрягаясь.

— Он не прикручен, — сказал он комиссии.

Комиссия это записала, и в отчёте это стало одной строкой: доступ к переходу на 4 эт. не ограничен, загорожен предметом мебели.

Дальше по коридору четвёртого этажа они прошли в жилой ярус, и там Нечаев увидел кухню.

Кухня была чужая, служебная, на четыре модуля, и в ней всё было обычное: стол, две табуретки, шкаф с посудой, кран.

В раковине стояли две пластиковые бутылки на полтора литра, обе пустые, обе без крышек, и третья лежала на боку у ножки стола.

Нечаев посмотрел на них дольше, чем следовало.

— Вода, — сказал молодой из комиссии. — Набирали воду.

— Не набирали, — сказал Нечаев.

— Как не набирали? Вот бутылки.

— Бутылки тут стояли и до них, — сказал Нечаев. — В каждой служебной кухне такие стоят, потому что тут вода идёт с перебоями и люди держат запас. Их тут три, потому что модулей четыре, а бутылок три, это всегда так.

Он взял одну и повертел.

— И они пустые, — сказал он. — И крышек нет. С такой бутылкой никто в горящем доме наверх не пойдёт: она не лезет

ни в подсумок, ни за пазуху, она гремит, и через два этажа ты её поставишь и забудешь.

Он поставил бутылку обратно в раковину.

— Во фляги налили, я думаю, — сказал он. — Фляги у таких людей есть. И минут пять на это потратили, потому что тут кран идёт тонко, я его сам смотрел весной и не починил.

А потом он сказал вещь, из-за которой этот разговор потом пересказывали в комиссии друг другу.

— Они не за водой сюда пришли, — сказал Нечаев.

— А за чем?

— За галереей, — сказал Нечаев.

Он вышел в коридор и показал рукой вдоль него — туда, где коридор поворачивал.

— Вот тут семь метров, — сказал он. — Семь. За поворотом дверь, за дверью двенадцать метров стекла, за стеклом моё крыло, в моём крыле лестница, в подполье дверь на поддоне, за ней тоннель, тоннель выводит к воде. От этой раковины до набережной — минут одиннадцать шагом, я сам так ходил в позапрошлом году, когда лило.

Комиссия молчала.

— А наверх от этой раковины — девять этажей, — сказал Нечаев. — И на шестом дверь с электрозамком.

Молодой спросил:

— Так они знали или не знали?

Нечаев подумал.

— Кто-то из них знал, — сказал он. — Внизу, на площадке, у меня двое лежали неустановленных, и они пришли не с той стороны, с которой все. Значит, кто-то знал и, судя по тому, где он лёг, шёл сказать.

Он помолчал.

— А остальные, я думаю, слушали и не поверили, — сказал он. — Или поверили, но у них к тому часу наверху свои лежали. Тут я не берусь, тут надо их спрашивать.

Про людей в вестибюле его тоже спросили, и на это он ответил коротко, потому что это было самое простое из всего.

— Как они там сидели, если на первом этаже пожар?

— На первом этаже не было пожара, — сказал Нечаев.

— У нас в деле снимки: вестибюль выгорел полностью.

— Вестибюль выгорел к утру, — сказал Нечаев. — Часов в семь, когда перекрытие второго яруса просело. Оно на девяносто минут по проекту, а под ним жгли с часу двенадцати. Восемь часов оно держало, потом лопнуло, и вот тогда вестибюль и выгорел. А в час двадцать в вестибюле был горячий пол и дым под потолком. Это очень плохо, но это не пожар, и на полу лежать в этом можно.

— Откуда вы знаете про час двадцать?

— От женщины в халате, — сказал Нечаев. — Она у меня в крыле на скамейке сидела и всё рассказала, пока ждала машину. Она вязала. Она мне даже сказала, сколько успела связать.

Он подумал.

— Восемь рядов, — сказал он. — Сидя на чемодане.

Обход они закончили к вечеру, и напоследок молодой из комиссии задал вопрос, который задают все.

— А если бы галерею не заставили шкафом?

Нечаев ответил сразу, потому что думал об этом три дня.

— Тогда шкаф стоял бы в другом месте, — сказал он. — Шкаф тут не при чём. Тут при чём то, что у одного дома два номера. Уберите шкаф — останутся два номера, две схемы и мой ключ, который только у меня. У них в схеме этого коридора нет никакого перехода, там стена. Они бы шли мимо ровно так же, только уже не через шкаф, а через стену, которой нет.

Он запер за собой галерею и подёргал.

— Вы это в отчёт не пишете, — сказал он. — Это не пункт, это я вам просто так сказал.

Это и не попало в отчёт.

В отчёте про западное крыло стоит одна строка, и в ней написано, что эвакуация части персонала и третьих лиц была осуществлена через смежный объект, находящийся вне контура изоляции, что подтверждает достаточность предусмотренных путей эвакуации.

Внизу. Слух

Следующие пять дней.

Слух пошёл с биржи, и пошёл он не так, как ходят слухи о деньгах.

Слухи о деньгах ходят быстро и врут. Этот шёл медленно и почти не врал, и поэтому все, кто его слышал, сразу понимали, что дело серьёзное.

К вечеру четверга он звучал так: из башни «Ковша» вышло не вещество, а человек.

В пятницу слух дошёл до Нижних шлюзов, и там он сразу же оброс подробностями, потому что в Шлюзах слух без подробностей не живёт.

Говорили, что вышел он через крышу.

Говорили, что вертолёт вёл старик, которому лет сто.

Говорили, что там сгорело двадцать девять человек и что это неправда, что двадцать девять — это только те, кого нашли.

Говорили, что вместе с ним вышла женщина и что теперь она сидит в Стекле и молчит, потому что ей заплатили.

Говорили, что его свойство — не стареть, потом — что ходить сквозь стены, потом — что убивать взглядом, потом — что он теперь не человек вообще.

Никто не говорил правду, потому что правду знали четверо: он сам, старик, женщина и человек без правого рукава, продавший её. И ни один из четверых не собирался её рассказывать.

В среду «ровные» собрались на Четвёртом причале.

Их было двадцать девять вместо сорока одного, и считать умели все, и все выслушали молча.

— Прототип, — сказала женщина, которая у них была вместо главного. — Один. У человека, который не понимает, что в нём.

— Откуда знаешь, что не понимает?

— Оттуда, что он не продал его за трое суток, — сказала она. — Понимал бы — продал.

Она подумала.

— Его надо найти раньше корпораций. И надо объяснить.

— Что объяснить?

— Что доля одна, — сказала она. — Пока у него одна — он человек. Если он начнёт собирать, через год это будет уже не он, а мы будем ходить и ловить то, что от него останется.

Кто-то сзади сказал, что проще сразу разобрать.

Она не ответила, и это тоже был ответ.

В воскресенье «Чистая вода» подняла расценки на выезд в Нижние шлюзы.

Официально — из-за тумана. Фактически — потому что в диспетчерской уже лежало четыре предварительных заказа на один и тот же квадрат, и все четыре были от разных клиентов, и все четыре просили «быть готовыми выехать в течение десяти минут по вызову».

Дана Кроп, диспетчер смены, посмотрела на эти заказы и сделала то, что сделал бы любой человек на её месте.

Она открыла пятую строку и вписала туда себя.

В тот день Дана Кроп потеряла осторожность и четыре часа сна, а приобрела номер в очереди на человека, которого никогда не видела.

В понедельник утром на доске «капли» появилась новая строка, и почерк у неё был очень аккуратный.

На этой бирже торгуют не товаром, а правом, и право выглядит как строка: свойство такое-то, носитель такой-то, район такой-то, цена.

В новой строке стояло четыре слова про человека и два про цену, и оба раза важным было не то, что написано, а то, чего в ней не было: свойство не названо.

Зато стояло слово «чистый», и оно стояло не случайно: ни серии, ни мозаики, — а значит, доза прижилась и держится, и товар настоящий.

А в графе цены не было цифры. «Открытая цена» на этой доске означает одно: торгуйтесь сами, продавец заранее согласен на любую сумму, потому что предмет один.

В тот же понедельник в интернат при Консервном пришёл перевод.

Крупный: за год вперёд, плюс отдельной строкой «одежда, обувь, медицинское».

Отправитель был указан так: «от друга». Бухгалтер интерната, женщина опытная, повертела бумагу и решила не задавать вопросов, потому что вопросы в таких случаях задают один раз, а деньги приходят один раз.

Девочку семи лет по фамилии Кириллова в тот день забрали с урока и отвели в кабинет, и там ей сказали, что папа не приедет.

Она спросила, а привезёт ли он что-нибудь.

Ей сказали, что уже привёз.

Двое неустановленных

Утро и дальше. Западная набережная, депо, приёмная.

В отчёте комиссии они прошли двумя строками.

Строки стояли в конце перечня, после охраны по контуру и после технической смены, и выглядели так:

Неустановленное лицо, муж., 45–50, площадка 4 эт., проникающее в брюшную полость (фрагмент ограждения).

Неустановленное лицо, муж., 18–22, площадка 4 эт., огнестрельное, входное со спины.

Тридцать одно тело вывезли за трое суток, и двадцать девять из них комиссия разложила по спискам: свои, наёмные, охрана, смена подрядчика. Эти два не разложились ни во что.

Пропусков на них не оформляли. В графике их не было. В договоре с «Гарпуном» их не было. В договоре с посредником, который после пожара не нашли, их, надо полагать, тоже не было.

Экипировка на обоих была не та, что у тринадцати, и это комиссия отметила отдельно, потому что это была единственная зацепка, и по ней два дня работали три человека.

К вечеру второго дня версий было четыре.

Ни одна из них не была верной, и ни одну из них не проверяли дальше, потому что к вечеру второго дня комиссии дали срок до пятницы.

Пыж лёг в клинику Нижних шлюзов через сутки и вышел через девять дней.

Плечо ему собрали плохо, но собрали, и он ходил потом с рукой, которая не поднималась выше груди, и объяснял это всем одинаково: упал на складе, придавило поддоном.

Рассрочку за каркас он не закрыл.

Он платил по ней ещё год и восемь месяцев, потом контора, продавшая каркас, сменила название, и платить стало некуда, и он два месяца ходил выяснять, кому теперь платить, потому что боялся, что каркас отключат за неуплату.

Каркас не отключили. Про него просто забыли.

Пыж потом говорил, что это был лучший день в его жизни, и говорил это как шутку, и смеялся, и все смеялись, и он действительно так считал.

Ната вернулась в депо в ту же смену.

Она отработала её целиком — с шести до четырнадцати, — и это было единственное разумное, что она в тот день сделала: смену пропускать было нельзя, потому что пропущенная смена — это вопрос, а вопросов у неё в тот день и без депо хватало.

За заказ ей не заплатили.

Она пришла по адресу, который ей дал Захар, на третий день. Адрес был настоящий: приёмная на втором этаже, вывеска, стойка, женщина за стойкой.

— По какому вопросу?

— По работе от девятого.

Женщина за стойкой посмотрела в тетрадь.

— У нас нет такой работы, — сказала она.

— У меня бумажка.

— Покажите.

Ната показала. Женщина прочитала, аккуратно, до конца, и вернула.

— Тут нет подписи, — сказала она. — И нет названия. Это лист бумаги.

— Я знаю, — сказала Ната.

— Тогда я не понимаю, чего вы хотите.

Ната подумала.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь произнёс вслух, что этого не было, — сказала она. — Вы произнесли. Спасибо.

Она сложила лист вчетверо и ушла, и женщина за стойкой в тот же вечер рассказала об этом мужу, потому что это был самый странный посетитель за одиннадцать лет.

За мать она платила потом сама, и хватило не на восемь месяцев, а на три.

Она вынесла на продажу инструмент: набор, лицензионный тестер, свой, купленный на две зарплаты, тот, который электрику продают только по лицензии и без которого лицензия не подтверждается.

Перекуп на рынке посмотрел набор, поцокал и назвал цену, и цена была втрое ниже.

— Это лицензионный, — сказала Ната.

— Это лицензионный у вас, — сказал перекуп. — У меня это железо в футляре. Лицензия у человека, а не у железа.

Она продала. Она пересчитала и продала, потому что три месяца — это три месяца, а лицензию можно подтвердить через

год на чужом наборе, если найдётся тот, кто даст.

Через год ей дали.

Про ту ночь Ната не рассказывала никому четырнадцать лет, а потом рассказала один раз, в депо, молодому, который спросил, откуда у неё привычка считать шаги в темноте вслух.

Она рассказала коротко и без имён — про крыло на другом номере, про дверь за шкафом, про восемь человек, которых вывели в тоннель, про то, что двадцать шесть шагов от последней ступени.

Молодой послушал и сказал:

— А те, которые наверх пошли? Их сколько было?

— Тринадцать.

— И сколько вышло?

— Трое, — сказала Ната.

Молодой присвистнул.

— Они что, не поняли?

Ната довольно долго возилась с клеммой, прежде чем ответить.

— Они поняли, — сказала она наконец. — Им сказали, и они поняли, и один из них потом послал вниз женщину с ребёнком, и женщина вышла. Просто им было в тот момент наверх.

— Почему?

— Потому что у них уже трое лежало наверху, — сказала Ната.
— Вниз идут, пока сверху никого своего нет.

Она затянула клемму.

— Вот и всё, — сказала она. — Никакой хитрости тут нет. Дальше не спрашивай, я больше не помню.

Она помнила всё.

Могилы у Захара нет.

Тело выдали через месяц по запросу дальней родни из Заречья, выдали как неустановленное, и родня из Заречья своих обязанностей не признала, и его похоронили за счёт города, в общем ряду, под номером и датой.

Номер Ната узнала. Она ходила туда дважды в год, весной и осенью, и в первый раз принесла с собой сумку — старую, инкассаторскую, брезентовую, с ремнём через плечо, — и постояла с ней, и не оставила, потому что оставлять на могиле сумку глупо.

Она отнесла её домой и держала в шкафу, и в ней потом лет двадцать лежали её собственные квитанции, все подряд, по годам, аккуратно.

За сестру Кеши Ната платила взнос два раза, в первый и во второй год, и потом перестала, потому что стало нечем и потому что объяснять, откуда деньги, было нельзя.

Сестра выучилась.

Она работала потом по лицензии в лаборатории водоочистки — не в той башне и не у того хозяина, у неё была своя жизнь и в ней не было ни одного вечера, связанного с той ночью, — и один раз, много позже, на семинаре по нормативам, услышала, как разбирают регламент объекта категории Б-2 в качестве примера хорошо структурированного документа.

Она записала два пункта в тетрадь.

Ей понравилось, как чётко там всё расписано.

Внизу. Вера

05:40. Клиника «Кюри», кабинет на восьмом.

Она приехала в клинику в половине шестого, потому что домой было нельзя, и просидела в кабинете до утра.

Дома надо было бы снять пальто, сесть и остаться одной, а Вера Андреевна уже знала по опыту, что оставаться одной в такие ночи не следует: одиночество ничего не решает, оно только даёт мыслям место.

В кабинете она сняла пальто, повесила, включила чайник и села писать.

Она всегда писала, когда не знала, что делать. Не дневник — записку. Как будто для коллеги, который придёт завтра и должен всё понять с листа.

Ситуация.

Образец утрачен как физический объект. Носитель — живой человек, мужчина, стрелок, наёмник, имя известно. Состояние неизвестно. Местонахождение: предположительно вне здания, поскольку здание он покинул до рассвета (см. вертолёт).

Из этого следует:

1. Материал не воспроизводим. Разработка велась восемь лет одной группой, группа ликвидирована сегодня ночью вместе с архивом. Восстановление по остаткам исключено — данные жгли адресно, изнутри.

2. Носитель — единственный существующий экземпляр.

3. Изъятие возможно только одним способом.

Она остановилась на третьем пункте.

Потом дописала до конца, потому что не дописать было бы трусостью:

Изъятие возможно только одним способом — после смерти носителя, в течение окна жизнеспособности адаптоидов, при личном присутствии реципиента.

Она перечитала это дважды и вдруг поймала себя на том, что написала «реципиента», а не «моём».

Это её рассмешило — коротко и невесело.

Пятьдесят три года она была человеком, называющим вещи своими именами. Двадцать шесть из них она шла к тому, чтобы не кончиться. И вот она сидит под утро в собственном кабинете и пишет служебной формулировкой, чтобы не писать: после того как я его убью.

Она взяла ручку и исправила.

...при личном присутствии реципиента (моём).

Так стало честно.

В шесть десять к ней постучали.

Это был Тимофей, который никогда не стучал, потому что никогда не приходил.

— Вера Андреевна.

— Да.

— Там этот, — сказал Тимофей. — Которого мы вывезли. Не уходит.

— В смысле не уходит?

— Сидит в холле на первом. Говорит, ему обещали в Стекло, и вот он в Стекле, а дальше идти ему некуда.

Она посмотрела на часы.

— Пусть сидит, — сказала она. — Дай ему чаю.

— Он просил не чай.

— Тогда дай ему то, что он просил, — сказала Вера Андреевна, — и пусть сидит.

Она вернулась к записке.

Варианты действий.

А. Не делать ничего. Ждать, пока носитель проявится сам или будет обнаружен третьими лицами. Вероятность получить образец: низкая. Вероятность сохранить репутацию: высокая.

Б. Инициировать поиск собственными средствами. Дорого, долго, малозаметно.

В. Передать информацию профильным исполнителям.

Она подчеркнула «В» и долго на неё смотрела.

Профильные исполнители — это было то самое слово, за которым стояли конкретные люди, и она знала их фамилии, и один из них пять лет назад оперировался у неё лично, и она сделала ему хороший коленный сустав.

Он бы взялся.

Он бы взялся за неделю, и через неделю ей позвонили бы и сказали адрес и время, и ей осталось бы только приехать и стоять рядом.

Именно стоять рядом. Вот в чём была вся штука.

Она положила ручку и посмотрела на свои руки.

Руки были свои. Она их берегла: не меняла ни разу, хотя после сорока в её профессии меняют почти все, потому что серийная

кисть точнее живой на четверть миллиметра.

Она не меняла, потому что считала, что хирург должен чувствовать.

И вот теперь эти самые руки должны были в какой-то момент — через неделю, через месяц, где-то в трущобах, в тумане, глухой ночью — взять иглу и сделать забор из тёплого человека.

Не чужие руки. Не «профильные исполнители». Её собственные, вот эти, с пигментными пятнами и коротко подпиленными ногтями.

По-другому нельзя: окно жизнеспособности, личное присутствие, из рук в руки.

В нашем деле нет ничего унижительнее богатства.

В половине седьмого она дописала записку, перечитала целиком и разорвала.

Не сожгла, не удалила — разорвала на четыре части, потому что бумага, а бумага рвётся.

Потом достала телефон и нашла номер, подписанный «Ася, лаборатория».

Она смотрела на него долго.

Стереть она его так и не смогла — ни в этот раз, ни потом, вообще никогда, и через несколько лет, когда всё уже давно кончится, этот номер по-прежнему будет лежать у неё в телефоне между «Арсений, анестезия» и «Ашот, сервис».

Убрав телефон и надев пальто, она пошла вниз — к сидевшему в холле человеку без правого рукава, которому некуда было идти.

С него и надо было начинать.

Водоросли

Мелководье, четвёртый ярус. Через девять дней после пожара.

Вера Павловна узнала, что Рейн вернулся, раньше всех в подъезде и позже всех в городе.

Раньше всех в подъезде — потому что у неё окно на лестницу, и она слышит, кто поднимается.

Позже всех в городе — потому что к этому моменту его уже девять дней искали трое, и на бирже висела строка, и в двух конторах обсуждали цену, и только на четвёртом ярусе никто ничего не знал, потому что на четвёртом ярусе новости идут пешком.

Она услышала шаги в среду, в четвёртом часу, и шаги были знакомые и неправильные.

Он поднялся и постучал.

— Открыто, — сказала она, не вставая.

Он вошёл, и она посмотрела на него внимательно, как смотрят на человека, которого не видели девять дней и о котором успели подумать плохое.

— Живой.

— Живой.

— Худой.

— Я и был худой.

— Ты был другой худой, — сказала Вера Павловна. — Садись. Чай будешь?

Чай был плохой, третьей заварки, и он его выпил.

Они минут десять говорили ни о чём: про то, что насос опять сдал и воду дают восемнадцать минут вместо двадцати; про то, что Гоша поднял до восьми и уже никому не делает по шесть; про то, что у Кузнецовых со второго забрали телевизор.

Она не спросила ни где он был, ни что у него с лицом, ни почему во дворе с утра стоит машина, какой во дворе не стояло никогда.

Он заметил, что она не спрашивает, и сказал:

— Вы же всё видите.

— Вижу, — согласилась она.

— И не спрашиваете.

— А зачем? — сказала Вера Павловна. — Ты же не расскажешь.

Она подлила себе.

— А расскажешь — мне это знать. Я потом плохо сплю.

На подоконнике в трёх лотках плавала бурая мокрая масса, и пахло тинной.

— Сдали? — спросил он.

— Сдала. Девять за килограмм. Взяли одиннадцать кило.

— Это сколько?

— Десяносто девять, — сказала она. — Двадцать из них за свет.

— За какой свет?

— Лампа горит круглосуточно. Иначе не растёт.

Она подвинула лоток.

— Вот тут смотри. С краю светлее.

— Вижу.

— Это она к стеклу жмётся. Теплее на полградуса.

Она помолчала.

— Полградуса, Ромка. Она чувствует, а я нет.

Он посмотрел на светлое пятно у стекла.

— И что вы с этим делаете?

— Ничего, — сказала Вера Павловна. — Просто знаю.

Она накрыла лоток марлей.

— Я с ними одиннадцать лет. Про них знаю больше, чем про подъезд.

Потом она сказала, глядя в лоток:

— Ты уходишь, что ли?

Он не ответил сразу.

— Ухожу.

— Надолго?

— Не знаю.

— Ну, значит, насовсем, — сказала она спокойно.

— Почему насовсем?

— Когда надолго — говорят «на полгода». А «не знаю» — это насовсем.

Она не подняла головы от лотка.

— Я тут восемьдесят один год. Слова знаю наизусть.

Она встала, дошла до шкафа и достала литровую банку с крышкой.

— Вот. Возьми.

— Что это?

— Сухой корм. — Она поставила банку на стол. — Те же водоросли. Сушёные и толчёные.

— Корм — это скоту.

— Его едят. Если размочить.

Она завинтила крышку потуже.

— Невкусно. Два месяца прожить можно. Я так после второго прорыва жила.

Он взял банку и не знал, что с ней делать.

— Вера Павловна.

— Что?

— Мне надо вам кое-что сказать, а я не знаю как.

— Не говори, — сказала она.

— Это важное.

— Ромка, — сказала Вера Павловна и села напротив. — Мне важное говорили раз двести.

— И что?

— Из двухсот сто девяносто девять хотели не сказать. Снять.

Она положила сухие ладони на стол.

— Если снять — не надо. Я не выдержу.

Он молчал.

— А если чтобы я знала — так я знаю. Ты во что-то влез. Во дворе машина. Ты пришёл прощаться.

Она посмотрела на него прямо, первый раз за вечер.

— Что тут ещё нужно знать?

Он подумал дольше, чем стоил вопрос.

— Ничего, — сказал он.

— Ну вот и всё.

Он спустился, зашёл к себе и увидел канистру.

Она стояла в углу полная, ровно так, как он её поставил одиннадцать дней назад, и на боку у неё лежал слой пыли, и пыль была ровная, то есть к ней никто не подходил.

Он постоял над ней, потом отнёс её наверх и поставил Вере Павловне под раковину, рядом с синей.

— Это мне зачем? — спросила она из комнаты.

— Чтобы не носить.

— Одна канистра — это неделя.

— Значит, неделя, — сказал он.

Уходил он в шесть.

Во дворе стояла машина, и сидевший в ней человек его видел и не вышел, потому что задача у него была смотреть, а не брать.

Вера Павловна смотрела из окна, пока он не повернул за угол.

Потом задёрнула занавеску, вернулась к подоконнику и минут десять ничего не делала — стояла и смотрела на лотки, в которых бурая масса жалась к тёплому стеклу.

Потом переставила лампу на два сантиметра левее, чтобы светлее стало не только с краю.

Это было единственное, на что она в тот день могла повлиять.

Внизу. Кюри

Через одиннадцать дней. Приёмная на Третьем уровне.

«Кюри» — это не фамилия основателя.

Компанию назвали в честь женщины, умершей от того, чем занималась, и назвали сознательно, и в корпоративной легенде это объясняется как «честность в отношении риска».

В городе это объясняют проще: они единственные, кто вслух говорит, что их работа убивает, и на этом строят всю репутацию.

Они занимаются свойствами дольше всех и открытее всех. Они публикуют отчёты. Они платят компенсации. У них есть кладбище — настоящее, своё, с именами, сто девяносто участков, и туда возят экскурсии.

Дробышев проработал у них шесть лет и ушёл, хлопнув дверью, и это единственное место, откуда он ушёл сам.

«Рука Кюри» — их изделие и их визитная карточка.

Это протез, который не притворяется рукой.

Он не телесного цвета, не обтянут, не сглажен: голый композит, видимые сочленения, на предплечье гравировка с номером серии и датой, — и носят его те, кто хочет, чтобы видели.

Стоит он вчетверо дороже обычного протеза той же функциональности, и за эти деньги покупают ровно одно — заявление.

Заявление звучит так: я знаю, во что мне это обошлось, и не собираюсь делать вид.

Половина города считает их позёрами. Вторая половина носит.

К Аде пришли на одиннадцатый день, вежливо, по записи.

Пришёл тот самый молодой, в пальто не по погоде, две недели стоявший у доски на «капле» и ничего не покупавший. Звали его Клим, и он представился полностью, с должностью, и положил на стол карточку.

— Я из «Кюри».

— Я поняла по руке, — сказала Ада.

У него была рука Кюри, левая, и он этого не прятал.

— Правая? — спросила Ада.

— Левая, — сказал Клим. — Правая своя. Мне девятнадцать было, разгрузка, сорвался поддон.

— Компенсация?

— От «Кюри» — нет. Я тогда у них не работал.

— А от предприятия?

— Четыре тысячи. И увольнение по здоровью.

Он сказал это без нажима, как факт, и Ада отметила, что он говорит про свою руку первым, до дела: это была хорошая техника, и она её оценила, и всё равно насторожилась сильнее.

— Чего вы хотите? — спросила она.

— Ничего невозможного, — сказал Клим. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне про ту ночь.

— Мне нечего рассказывать.

— Есть. И вы уже рассказали. Тринадцать файлов, в трёх местах.

Он поднял ладонь, настоящую.

— Где они, я не знаю.

— Тогда откуда файлы?

— Вы такой человек. Я на вас смотрел.

— Давно?

— Одиннадцать дней.

Ада налила себе воды и не предложила ему, и это тоже было сообщением, и он его прочёл.

— Скажу прямо, как у нас принято, — сказал Клим. — Мы не ищем носителя.

— А что ищете?

— Другое. И тут вы, может быть, захотите помочь.

— Ну?

— Нам нужны материалы Дробышева, — сказал он. — Не образец. Записи.

— Он всё сжёт.

— Почти всё, — сказал Клим. — Шесть лет он работал у нас. Привычки мы знаем.

— И что за привычки?

— Учёт от руки. Двадцать девять лет.

Он подождал, пока она сама доведёт мысль до конца, и только потом договорил:

— Такие не хранят всё в одном здании.

Ада поставила стакан.

— И при чём тут я?

— При том, что рядом с телом Ковалёвой не нашли её журнал,
— сказал Клим. — А она вела его от руки.

— И?

— Не сгорел — значит, взяли. Из вашей группы вышли трое.

— Четверо, — сказала Ада.

Она сказала это прежде, чем успела подумать, и сама услышала, что натворила.

Клим не изменился в лице.

— Четверо, — согласился он мягко. — Спасибо.

Тогда она отдала ему то небольшое, что у неё было, — уже нарочно, чтобы сравнять счёт.

— Журнала вы не найдёте.

— Почему?

— Старик спросил про неё перед смертью. По имени.

Она поставила стакан ровно.

— Так не спрашивают про того, кто вёл журнал. Так спрашивают про своего.

Клим молчал дольше, чем молчал до сих пор, потом достал из кармана блокнот, раскрыл его на заложенной странице и показал ей — не давая в руки, но и не пряча.

— Журнала нет и не было, — сказал он. — Мы проверили на третий день. Она писала в дипломе.

— Значит, вы сейчас соврали. Про трое и четверо.

— Нет. Я спросил про журнал. А вы ответили про людей.

Он сказал это ровно, без торжества, и Ада поняла, что честность у него устроена именно так и что это хуже, чем ложь.

— Где диплом?

— В общежитии при Консервном. На столе. Дописанный на две трети.

— И что в нём?

— Её выводы. И чужая рука сверху: «Выводы её. Я подписал».

Он закрыл блокнот.

— Я шёл не за этим. Это мы уже взяли.

Вот этого она себе потом не простила.

Не того, что проговорились — а того, что проговорились на ерунде, на арифметике, из привычки поправлять чужой счёт, потому что двенадцать лет поправляла чужой счёт и это было сильнее её.

Она долго сидела молча.

— Вы хорошо работаете, — сказала она наконец.

— Я работаю честно, — сказал Клим. — Это не то же самое. В моём случае совпадает.

Он расстегнул пальто и сел ровнее.

— Сейчас перечислю, что знаю. Чтобы вы не стерегли пустое.

И он перечислил — ровно, без удовольствия, минуты полторы.

Он знал состав группы. Знал, кто вышел. Знал про Арслана и знал, что тот продал. Знал сумму, за которую продал, и Ада эту сумму слышала впервые.

Он не знал двух вещей: имени и того, что носитель существует наверняка.

— Я вам ничего не скажу, — сказала Ада.

— Я предполагал.

— Тогда зачем пришли?

Клим встал, застегнул пальто и ответил уже в дверях:

— Через месяц к вам придут не от нас.

— И что?

— Хочу, чтобы вы знали, как выглядит разговор без угрозы. Для сравнения.

Он положил вторую карточку рядом с первой.

— Телефон. Позвонить и уехать. Без условий.

— Так не бывает.

— Шесть раз в год бывает. Самая дешёвая строка в бюджете.

— А что взамен?

— Ничего, — сказал Клим. — Через год вспомните, кто вас вывез. Это дороже журнала.

Он ушёл.

Ада просидела над двумя карточками часа полтора, потом одну выбросила, а вторую убрала — не в коробку из-под чая, а в паспорт, между страницами.

Она ей не воспользовалась.

Через семь месяцев она уехала сама, своим способом, и в графе «куда» у неё стояло «север».

Но карточку она из паспорта не вынимала ещё девять лет, и это, если считать по-честному, и было единственным, чего «Кюри» той осенью добились.

Внизу. Нетронутые

Молитвенный дом на Шлюзах. Воскресенье, через две недели.

Раскол Церкви Ста Процентов занимает бывшую котельную, и это ему идёт.

Раскол — слово чужое, сами они себя так не зовут: в городе их зовут нетронутыми, а у себя они говорят просто — мы считаем в другую сторону. Двадцать лет назад они ушли от тех, кто доводит себя до ста заменами, и с тех пор две общины носят одно число и вкладывают в него противоположное.

Внутри голо, тепло и пахнет извёсткой. Скамей нет — стоят. В дальнем конце, там, где раньше был котёл, стоит стол, и на столе лежат весы.

Весы настоящие, аптечные, на две чаши, и они единственный предмет в этом зале, который что-то значит.

Собирается человек двести.

Учение у них помещается на одной странице, и они этим гордятся, и вся страница написана против бывших своих.

Человек рождается целым — сто процентов.

Всё, что он в себя добавил, вычитается. Всё, что он себе заменил, вычитается. Порт — минус. Имплант — минус. Протез — минус. Нейрокоррекция — минус.

Сто процентов — единственное состояние, в котором человек принадлежит себе. Девяносто восемь — уже нет.

Их тоже называют «сотками», и они не обижаются: они говорят, что название честное и что отобрать его у них нельзя — считать можно как угодно, а родиться целым только один раз.

Важная деталь, из-за которой их не любят даже те, кто с ними согласен.

Нетронутые не считают железо грехом.

Они считают его вычетом. Разница принципиальная: грех можно отмолить, а вычет нельзя — он просто есть, и его видно на весах.

Поэтому у них не бывает прощения, покаяния и второго шанса. Человек, поставивший себе порт, остаётся в их системе девяноста семью процентами навсегда, даже если порт вынет.

Из этого следует их главная жестокость: сотка не может стать соткой. Соткой можно только родиться и остаться.

Проповедь ведёт не священник, а ключник: у кого ключ от зала и от кассы, тот и говорит.

Это выборная должность, на год, и берут на неё бухгалтеров и оценщиков, потому что проповедь у сотков устроена как отчёт.

В то воскресенье ключником был человек по фамилии Шуба, и говорил он так.

— За неделю к нам пришло девятнадцать человек. Из них полные — четверо. Остальные пятнадцать с вычетом.

По залу прошло движение — не осуждающее, просто отметили.

— Четверо становятся в круг. Пятнадцать становятся к стене и остаются гостями, и я хочу, чтобы гости меня слышали: вы можете ходить сюда всю жизнь, вас будут кормить и никто вас не тронет. Но в круг вы не встанете, и я не буду вам врать, что встанете.

Потом он говорил про башню.

— Все слышали, что горело в Стекле. Все слышали, почему.

Он поднял руку и загнул один палец.

— Там держали вещество, которое вливают в человека, чтобы он перестал умирать.

Второй палец.

— Оно на них не работало. Сто девяносто попыток, сто девяносто покойников — это не мои числа, это их собственные, они их публикуют.

Третий.

— А не работало оно потому, что они вливали его в людей с вычетом. В тех, у кого внутри уже стояло чужое.

Он опустил руку.

— И вот на этом месте, братья и сёстры, нам с вами надо быть очень осторожными.

Дальше он сказал то, за что его потом полгода поминали внутри общины, и поминали недобро.

— Потому что сейчас каждый из вас подумал одно и то же, — сказал Шуба. — Каждый подумал: значит, мы правы. Значит, вливать надо в полного. Значит, если бы взяли нашего, всё бы получилось.

Он помолчал.

— Так вот. Если мы так подумали, то мы с вами больше не церковь. Мы товар.

В задних рядах кто-то закрыл тетрадь, и этот звук услышали все.

— Они двадцать лет искали, во что влить, — сказал ключник.
— А мы двадцать лет объясняли всему городу, где найти двести человек без единого вычета, и адрес у нас на двери написан.

После проповеди была очередь к весам.

Это их единственный обряд, и выглядит он глупо, пока не согласишься посмотреть второй раз.

Человек подходит, кладёт на одну чашу гирьку в сто граммов, а на вторую — то, что считает своим вычетом: болт, шайбу, что угодно, по граммам, по совести, — и потом смотрит на чаши.

Никто не проверяет. Никто не подсказывает. Взвешивают себя сами и сами уходят.

В то воскресенье к весам подошла женщина лет сорока и положила во вторую чашу такую гирю, что чаша ударилась о стол.

Счётчик на неё посмотрел и не сказал ничего.

Постояв, она забрала свою гирю и ушла к стене, к гостям, и осталась стоять там до конца.

У дверей в тот день дежурили двое, и это было новое.

Раньше у сотков не дежурил никто.

Дежурить начали через четыре дня после пожара, когда общину впервые за девятнадцать лет обошли по домам вежливые люди с вопросами — не угрожая, не представляясь, просто уточняя: сколько вас, где живёте, кто из вас полный.

Шуба тогда собрал совет и предложил три решения.

Первое: закрыть двери и не пускать новых.

Второе: перестать вести список полных.

Третье: разослать всем полным по общине одну строку — не ходите по одному.

Приняли все три, и последнее оказалось самым важным, и именно оно потом спасло семерых.

Сам Шуба был неполный.

Об этом знали все: у него стоял водитель сердца, поставленный в тридцать лет, до того как он пришёл к соткам.

Он никогда не входил в круг и стоял всю жизнь у стены, с гостями, и при этом двенадцать лет вёл у них счёт, потому что ключником, по их уставу, может быть кто угодно — держать кассу и считать имеет право и тот, кто сам не сходится.

Один раз его спросили, не обидно ли.

Он ответил:

— Обидно. Но арифметика тут ни при чём. Она и не должна утешать.

Лёва

Интернат при Консервном. Через девять лет.

Интернат при Консервном — учреждение старое, некрасивое и на удивление приличное.

Стоит он в четырёх кварталах от рыбной базы и занимает два корпуса. Содержится на отчисления шести портовых контор, страховые выплаты и дарения, из которых половина приходит от людей, чьих имён администрация не знает.

Детей там сто девяносто, и почти все они дети наёмных.

Это не приют для сирот вообще. Это приют для сирот одной профессии, и от этого внутри него свой порядок, которого нет нигде.

Например, здесь не говорят «твоя мама умерла».

Здесь говорят «твоя мама не вернулась с выхода», и это не эвфемизм, а точность: часть родителей действительно не умерла, а пропала, и разница для ребёнка принципиальная, а для документов — нет.

Здесь с одиннадцати лет учат читать договор.

Не литературу — договор: подряд, страховку, рассрочку, залог. Два часа в неделю, обязательно. Предмет называется «бумаги» и считается самым скучным, и его ненавидят все сто девяносто.

Директор — женщина по фамилии Штейн, двадцать два года в должности, — на попечительском совете объясняла это одной фразой, которую потом повторяли по всему Консервному:

— Я не могу сделать их богатыми. Я могу сделать так, чтобы их не обманули дважды.

Лёве было шестнадцать, когда ему отдали материнскую долю.

Отдали не деньгами: деньги пришли давно и ушли на его же содержание, как положено по закону. Отдали бумаги — папку, в которой лежало всё, что касалось Анастасии Р., и лежало это девять лет в архиве интерната, потому что по правилам архив выдают в шестнадцать.

В папке было: копия контракта, расчёт по факту, справка о смерти, опись личных вещей, приложение от третьего лица без юридической силы и одна фотография, где мать стоит у упаковочной линии в рабочем и щурится.

Ещё там был запечатанный конверт.

Конверт Лёва открыл при Штейн, потому что струсил открыть один.

Внутри лежал лист, исписанный аккуратным мелким почерком с двух сторон, и первой строкой шло:

Лёва. Я не знала твою маму хорошо, и это плохая новость. Хорошая — я знаю про ту ночь всё и записала, пока помнила.

Дальше шло по пунктам.

Где мать стояла в фургоне. Что говорила. Во сколько вошли. Кто шёл рядом. Что у неё было с собой. Про то, как на четвёртом этаже она набирала воду в две фляги и пила из одной. Про женщину, догадавшуюся по этому, что у неё ребёнок. Про то, что случилось на шестом, по минутам, и почему так случилось.

И в конце, отдельно:

Она держала эфир ещё десять секунд после того, как в неё попали, и последнее, что она сказала, было по работе. Я это проверила у двоих, кто видел, отдельно друг от друга, чтобы не вышло, что я тебя утешаю.

Подписи не было. Внизу стояло: А.

Лёва прочитал лист трижды, а потом спросил у Штейн вопрос, который она слышала за двадцать два года раз четыреста.

— А она за что поехала-то?

Штейн ответила так, как отвечали в этом интернате при ней и при прежнем директоре:

— За тебя. Но не героически. Просто посчитала и поехала.

— Это разве не одно и то же?

— Нет, — сказала Штейн. — Герой идёт, потому что не может иначе. А твоя мать могла иначе. Она девять лет ходила по дешёвым заказам, чтобы не рисковать, и один раз нарушила своё же правило, потому что после этого раза можно было перестать. Вот это и есть разница.

Лёва подумал.

— То есть она ошиблась.

— Она ошиблась, — сказала Штейн. — И это тоже надо уметь про своих: они ошибаются. От этого они не хуже.

Он спросил ещё одно, уже в дверях.

— А кто такая «А»?

— Не знаю, — сказала Штейн, и это была правда: конверт пришёл вместе с документами о передаче имущества, и передача была оформлена через юриста, и юрист сказал только, что клиентка просила не называть.

— А можно её найти?

— Можно попробовать.

— А надо?

Штейн подумала дольше, чем обычно.

— Слушай, — сказала она. — Ты сейчас в том возрасте, когда хочется куда-то пойти и что-то сделать. Я тебе не советую идти искать эту женщину. Не потому, что нельзя, а потому, что ты пойдёшь не за ней.

— А за чем?

— За тем, чтобы тебе кто-нибудь ещё раз рассказал про ту ночь, — сказала Штейн. — А она уже всё рассказала. Тут два листа, и там всё.

Он не пошёл.

Точнее, он пошёл — через два года, в восемнадцать, когда получил бумаги на руки и стал сам себе хозяин, и искал месяца три, и ничего не нашёл, потому что искал неумело и не там.

Единственное, что он выяснил: женщина, оформившая передачу, полгода спустя выехала из города, и в графе «куда» стояло «север», а «север» в бумагах города — это не направление, а способ сказать «неизвестно».

Он бросил искать в девятнадцать.

К тому времени он уже работал в порту, на разгрузке, и один раз получил предложение постоять на бирже — за одну ночь в четыре раза больше, чем за неделю на разгрузке.

Он отказался.

Он и сам не смог бы объяснить почему, и никакого красивого объяснения тут нет. Просто у него дома лежал лист, исписанный с двух сторон мелким аккуратным почерком, и в этом листе было очень подробно расписано, как именно это считается.

Внизу. Трое за столом

Через три недели. Переговорная «Медного дома», нейтральная территория.

Встречу собрал не покупатель, а банк, и это в городе означает ровно одно: банку невыгодна война.

«Медный дом» не продаёт свойства и не покупает их. Он их кредитует — то есть даёт деньги под будущую сделку, страхует риск перевозки и держит эскроу. При войне трёх покупателей сделка не состоится вообще, и банк не заработает ни на одной стороне.

Поэтому «Медный дом» посадил всех троих за один стол.

Стол был круглый — специально, чтобы не было головы.

Пришли трое.

От «Кюри» — Клим, тот же, в том же пальто.

От второго покупателя — женщина без имени, представившаяся «по поручению», и её не спрашивали, потому что все знали, чьё поручение, и знали, что называть это вслух дороже, чем не называть.

Третьим сел человек, звавшийся в городе просто перекупом. У него не было конторы, отчётов, кладбища и репутации, зато был доступ к тем, кто платит наличными и не задаёт вопросов, и одно это делало его равным двум остальным.

Вёл встречу Симон Кац — не как сторона, а как лицо банка: он сел четвёртым, у окна, и положил перед собой чистый лист, на котором за всю встречу написал одиннадцать слов.

— Правила, — сказал Кац. — Три. Первое: мы не обсуждаем, у кого больше денег, это скучно. Второе: мы не обсуждаем, кто раньше начал искать, это недоказуемо. Третье: всё, что сказано в этой комнате, не выносится, и это единственное правило, за нарушение которого банк перестанет обслуживать нарушителя. Всех устраивает?

Устроило.

— Тогда я начну с неприятного, — сказал Кац. — Предмета сделки не существует.

Женщина «по поручению» подняла бровь.

— У нас есть подтверждение вскрытием.

— У вас есть подтверждение, что вещество в ту ночь покинуло контейнер, — сказал Кац. — Это не одно и то же с носителем. Носителем вещество делает не факт попадания, а факт приживания. Приживание — это процесс, у него есть срок, и срок этот, по всем доступным данным, девятнадцать часов.

— Прошло три недели.

— Прошло три недели, — согласился Кац. — Значит, либо приживание состоялось и носитель есть, либо носителя нет уже двадцать дней, и мы втроём охотимся за покойником.

Он посмотрел на лист.

— Я бы поставил на первое. Но я не поставил бы много.

Дальше говорили два часа, и все два часа говорили не о том.

О логистике. О том, во что его везти и как. О том, что ни один самолёт с этим грузом не поднимется, потому что страховщики не подпишут, и значит, везти придётся по земле или водой.

О том, что при перевозке носитель должен быть жив, в сознании и по возможности согласен, потому что среда, по данным «Кюри», плохо переносит седацию.

Это была самая интересная строка встречи, и Клим бросил её как бы между делом, и оба остальных сделали вид, что не заметили.

Кац заметил и записал. В его одиннадцати словах это заняло два: седация — нет.

Перекуп заговорил один раз, ближе к концу, и говорил коротко.

— Вы все тут считаете, как его взять, — сказал он. — А я скажу, как его не потерять.

Все повернулись.

— Его нельзя предлагать деньги, — сказал перекуп.

— Почему?

— Потому что он наёмник с Мелководья, — сказал перекуп. — Я таких вожу двадцать лет. Ему всю жизнь называли цену: за глаз, за порт, за смену, за ночь. Он к этому привык и умеет торговаться. Как только вы назовёте сумму, он поймёт, что он товар, и начнёт вести себя как товар, а товар бежит.

— И что тогда?

— Тогда ему надо предложить работу, — сказал перекуп. — Любую. Плохую. Опасную. Такую, где он нужен руками, а не веществом. И он согласится, потому что это единственный способ остаться человеком, который что-то умеет.

Женщина «по поручению» положила ручку и не сразу нашла, куда смотреть.

— Это цинично, — сказала она.

— Это дёшево, — сказал перекуп. — Цинично — это ваш вариант.

Разошлись без соглашения, но с тремя договорённостями, и все три соблюдались потом почти год.

Первая: никто не трогает семью и близких — не из благородства, а потому что человек, у которого забрали близких, перестаёт быть управляемым.

Вторая: никто не идёт к Вечным. Вечные в этой истории не сторона и не должны стать стороной.

Третья: тот, кто найдёт первым, обязан уведомить двух остальных в течение суток и дать им право выкупа доли.

Последнее было идеей Каца и записано в его листе одним словом: доля.

Когда все вышли, Кац остался в переговорной.

Он сложил лист вчетверо, убрал в нагрудный карман и посидел ещё минут пять, глядя в окно на квартал, где три недели назад горело.

Потом сказал вслух, себе, в пустую комнату:

— Ну вот и всё. Теперь у него есть цена.

Он был оценщик сорок лет и знал, что это значит.

Цена — не сумма. Цена — это когда три разных человека в одной комнате согласились, что предмет существует. С этой минуты предмет существует, даже если его нет.

Про восьмой этаж не спросил никто, кроме одного

Девять лет спустя и раньше. Пост видеонаблюдения, второй квартал.

Ирина отработала на посту ещё девять лет и ушла по возрасту хрома: порт, который ей поставили в депо в молодости, стал давать сбои, а менять его было дороже, чем уйти.

Про ту ночь её спрашивали шесть раз: комиссия дважды, страховая трижды и один раз человек в рабочей куртке с рассечённой бровью, которого она пустила в комнату и посадила на свой стул.

Он спросил про восьмой этаж.

Ирина отмотала ему всё, что было, и на восьмом этаже камер не стояло, и она сказала это прямо и сразу, потому что врать такому человеку было бы хуже, чем отказать.

Он всё равно просидел у экранов сорок минут, глядя на вестибюль.

— Тут пол горячий, — сказал он один раз. — Видно, как он греется.

— Видно, — сказала Ирина.

Она сама это заметила только на третий просмотр: плитка на записи темнеет пятнами, потому что от неё идёт пар.

Бумаги

Дальше — документы. Их можно не читать: в них нет ни одного человека, только то, что от людей осталось на бумаге.

Именно поэтому они и приложены.

Регламент

Выдержки из «Регламента обеспечения безопасности объекта 4», редакция седьмая. С примечаниями.^[11]

Документ этот существует, он есть в открытом доступе^[12] и занимает двести одиннадцать страниц.

Его никто никогда не читал целиком — включая, как выяснилось на разборе, всех семерых, кто той ночью сидел в переговорной.

Ниже — шесть пунктов из двухсот одиннадцати страниц. Выбраны они не потому, что самые важные, а потому, что каждый из них в ту ночь сработал ровно так, как написан.

п. 2.4. Объект относится к категории Б-2 (наличие биологического материала ограниченного оборота). Категория Б-2 предполагает приоритет сохранности материала над сохранностью имущества.

Про людей здесь не сказано ничего, и это не упущение.

Люди в регламенте есть, но в другом разделе — в четвёртом, который называется «Персонал». Наёмная охрана, подрядчики и посетители в раздел «Персонал» не входят: для них есть седьмой раздел, «Третьи лица», и там девять страниц, из которых восемь про ответственность третьих лиц перед объектом.

п. 3.1. При нарушении герметичности контура образца вне лабораторной зоны диспетчерская система переводит объект в протокол изоляции автоматически, без участия оператора.

Формулировка «без участия оператора» появилась в пятой редакции, четыре года назад, после случая на другом объекте,

где оператор при похожей аварии открыл двери и выпустил людей.

Материал тогда ушёл. Оператора не наказали: он действовал по старой редакции, где решение оставалось за человеком.

Редакцию изменили через месяц.

Это, пожалуй, единственное место во всём документе, где видно, что его писали люди, которые сделали вывод.

п. 3.6. В протоколе изоляции запрос на привлечение внешних служб формируется диспетчерской системой объекта.

Здесь нет никакой подлости. Это просто замкнутая петля, и её никто не заметил, потому что писали её двое разных людей в двух разных разделах.

Один написал: изоляция отключает внешние каналы.

Второй написал: запрос на помощь идёт по внешнему каналу.

Оба были правы по отдельности.

п. 5.9. Эвакуационные пути при протоколе изоляции обеспечивают вывод персонала на кровлю. Расчётная пропускная способность — 40 человек.

Сорок человек — это дневная смена.

Ночью на объекте штатно находится от четырёх до одиннадцати, и все расчёты делались от этой цифры, и все расчёты сошлись.

В ту ночь в здании находилось сорок два человека: четверо своих, тринадцать наёмных, двадцать два по контуру охраны и трое из технической смены, про которых забыли и в графике, и потом в отчёте. Жильцов служебного яруса в ночной график не вносили: их увели за час до тревоги, и в отчёте они проходят как

«выведенные заранее».

Сорок два — это по графику. Техническая смена ходила без отметки: подрядчик ставил людей в наряд устно и платил наличными, и в графике стояли те трое, на кого оформляли пропуска, а приходило столько, сколько было нужно в тот день. Комиссия работала по графику, потому что другого документа не было.

Пропускная способность не подвела ни разу. Путь наверх работал штатно, все тринадцать этажей, всю ночь.

До кровли по нему дошли трое, и все трое были из тех, кого регламент относит к третьим лицам.

п. 8.2. Противопожарный контур обеспечивает локализацию очага и защиту материальных ценностей в зонах А и Б. Зоны В, Г и технические уровни обслуживаются по остаточному принципу.

Зона А — лаборатория.

Зона Б — серверные и архив.

Зоны В и Г — производственный цех, склады, жилые модули персонала, столовая, оранжерея.

Из девяти погибших наёмных семеро погибли в зонах В и Г.

Это не совпадение и не злой умысел. Это остаточный принцип, и он написан прямым текстом на странице сто девяносто четыре, и под ним стоят четыре подписи, и все четверо подписывавших были в ту ночь дома и спали.

п. 11.7. Ответственность за информирование третьих лиц об особенностях режима объекта несёт заказчик работ.

Заказчиком работ по документам числился посредник.

Посредник — это женщина, которая приехала в фургон, назвала сумму, не назвала себя и сказала «не спрашивайте».

Она свою обязанность по пункту 11.7 не выполнила, и по пункту 11.7 же к ней нельзя предъявить ничего, потому что она не была ни собственником, ни оператором объекта, а всего лишь стороной договора, который после пожара не нашли.

Последнее, что стоит сказать про этот документ.

Он не плохой.

Он написан грамотно, продуман, согласован с четырьмя инстанциями и в своей категории считается образцовым: по нему до сих пор учат, и на семинарах его разбирают как пример хорошо структурированного регламента.

В нём нет ни одной ошибки.

Просто в нём с самого начала не было строки, в которой было бы написано, что делать зданию, если внутри него кто-то ещё жив, а материал уже нет.

Опись

Из материалов комиссии. Приложение 6: личные вещи, обнаруженные при телах.

Документ этот составляли двое суток и составили сухо, как положено.

Ниже — десять строк из него. Остальные три ничем не отличаются.

Тело 1, м., зона В, 2-й этаж. Жетон биржи; нож складной; ключ (один, без бирки); фотография в пластике, изображение не читается из-за термического повреждения; деньги — 40 кредитов монетой.

Тело 2, ж., зона В, 6-й этаж. Две фляги, одна пустая; расчёска; квитанция об оплате интерната при Консервном за текущий месяц; записка от руки, текст: Лёвка, я вернусь в четверг. В холодильнике всё. Не жги свет всю ночь.

Тело 3, м., зона В, 6-й этаж, у стены рядом с прессом. Квитанция интерната при Консервном, оплата за текущий месяц, внесена в первый день; жетон выездного службы «Чистая вода», просроченный на восемь месяцев; след перемещения от пресса к стене около трёх метров.

Тело 4, м., зона Г, 8-й этаж, в створе шлюза карантина. Модуль-стабилизатор отсутствует (гнездо вскрыто аккуратно, следы съёмника); в кармане — квитанция рассрочки, остаток 4 платежа; пуговица (детская, одна).

Тело 5, м., зона В, 4-й этаж, жилой ярус. Сумка медицинская вскрыта, содержимое израсходовано; инъектор отсутствует (гнездо под ключицей пустое); пузырёк стеклянный, 15 мл, глицерин технический, — отсутствует; в грудном кармане под

нагрудником — лист бумаги, сложенный вчетверо, запись карандашом, не окончена; нагрудный карман пуст, клапан застёгнут.

Тело 6, ж., зона Г, 10-й этаж, арсенал, у второго оружейного стола. Форма подрядчика по охране, нашивка контура; сумка медицинская при теле, укомплектована; в кармане — лист бумаги, сложенный вчетверо, столбик из имён, 119 строк, последние десять подчёркнуты. Амбула обезболивающего, неизрасходованная, — 1 шт.

Тело 7, м., зона Г, 12-й этаж, оранжерея. Оптический тракт левый отсутствует (снят после смерти, крепление не повреждено, следы съёмника); правый — термическое разрушение; при теле — ничего.

Тело 8, м., зона В, 6-й этаж, у второй линии. Справка о закрытии долгового обязательства, выдана 6 лет назад, ношенная, сложена вчетверо; кружка жестяная, помятая; щит-проектор отсутствует.

Тело 9, м., зона А, 7-й этаж, у двери лаборатории. Респиратор с чужим фильтром (маркировка не совпадает с комплектом); билет на автобус до Сортировки, годичной давности, использованный; в кармане — ничего, что позволило бы установить имя.

Тело 10, ж., вестибюль, у стойки. Халат лабораторный; бейдж, категория «стажёр»; журнал рабочий — не обнаружен; в правой руке — фрагмент упаковочного материала от транспортного контейнера, зажат, потребовалось усилие для извлечения.

Комиссия отметила отдельным пунктом, что опись составлена не полностью: у трёх тел карманы были вывернуты до прибытия расчёта, что при пожаре на объекте с наёмным персоналом

является обычным.

Отдельно отмечено, что тело 3 внесено в опись дважды — под номером 3 и под номером 12, — потому что первый расчёт описал его у пресса, а второй у стены, и свести две записи смогли только на четвёртый день.

Проверить это невозможно, и никто не проверял.

Приложение 6 составлено по телам, принятым первым расчётом. Остальные проходят по описи страховщика, в другом деле и по другой форме, где вещи считают не поимённо, а на вес.

Приложение 6 никому не понадобилось.

Страховые работали по другим документам, комиссия — по третьим, розыск — по четвёртым. Опись личных вещей нужна только в одном случае: когда вещи кто-то приходит забирать.

За вещами пришли к троим.

Остальное семь месяцев пролежало в двух картонных коробках на складе городского архива, а потом было утилизировано по регламенту хранения невостребованного имущества, о чём составлен акт.

В акте — одна строка и подпись кладовщика.

Кладовщик потом рассказывал, что из двух коробок он оставил себе одну вещь, и это было нарушением, и ему было всё равно.

Он оставил жестяную кружку, помятую, потому что она была хорошая и потому, что ему показалось неправильным сжигать кружку.

Он пил из неё ещё лет десять.

Внизу. Капля

Через девять дней.

Биржа «капля» работает в бывшем рыбном холодильнике на Шестом причале, и это не тайна: адрес знают все, включая городской патруль, который туда не ездит.

Не ездит не из страха, а из расчёта. За девятнадцать лет с биржи не поступило ни одной жалобы, ни одного вызова и ни одного трупа на прилегающей территории — а это лучший показатель по району, и портить его никому не хочется.

Внутри холодно, плюс четыре, потому что холодильник работает: так дешевле, чем отапливать.

Торгуют с восьми вечера до четырёх утра.

Днём здесь пусто, и в это время приходят те, кто не торгует, а смотрит: родственники, охотники за слухами, мелкие посредники и один старик, ходящий сюда девятый год и ищущий имя дочери в чужих строках.

Доска занимает всю торцевую стену.

Это стеллаж на двести восемьдесят ячеек, и в каждой стоит хитиновая пластина. Хитин потому, что не горит, не размагничивается и не выцветает: пластина, написанная девятнадцать лет назад, читается так же, как вчерашняя.

Пишут иглой. Чем крупнее сделка, тем аккуратнее почерк, и это единственное правило хорошего тона, которое здесь соблюдают все.

Девятого дня после пожара в третьем ряду сверху стояла пластина, у которой останавливались все.

Прототип. Носитель — мужчина, наёмник, Мелководье, чистый. Свойство — неизвестно. Открытая цена.

Ниже, мельче, шла приписка от руки — её добавили на седьмой день:

Подтверждено вскрытием. Носитель жив.

Ещё ниже, совсем мелко, четвёртым почерком:

Не берите деньгами вперёд.

Эту приписку не убрали, потому что убирать чужое на доске не принято, а спорить с ней было нечем.

У доски в тот вечер стояли трое.

Первый — представитель «Кюри», молодой, вежливый, в пальто не по погоде. Он приходил каждый вечер и каждый вечер уходил ни с чем, потому что ему велели не торговаться, а наблюдать.

Второй — женщина из «ровных», с одной насечкой на ключице. Она приходила не покупать, а смотреть, кто покупает.

Третий — Симон Кац.

Кац пришёл не от «Медного дома», а от себя, и это было видно по тому, что он был без папки.

Он постоял у доски минуты три, прочёл строку, приписки и цену, потом достал ювелирную лупу и зачем-то посмотрел на пластину через неё.

— Что вы там ищете? — спросил представитель «Кюри».

— Почерк, — сказал Кац.

— И что?

— Хороший почерк, — сказал Кац. — Очень ровный. Так пишут, когда рука не дрожит, а рука не дрожит у двоих: у того, кто ничего не боится, и у того, кто уже всё решил.

Он убрал лупу.

— И в обоих случаях покупать не надо.

Он вышел на причал и постоял у воды.

Внизу, у самого берега, шла жёлтая полоса — там, где стоят баржи. Кто-то жёг костёр, и от костра по воде тянулась ломаная дорожка.

Кац достал из нагрудного кармана карточку со строкой «Р. Вершинин, глаз + порт, 47 000, просрочка 4 мес.» и долго на неё смотрел.

Он был оценщик сорок лет и знал две вещи, которые в его деле важнее всех остальных.

Первая: вещь стоит столько, сколько за неё дадут сегодня.

Вторая: за вещь, которая сама ходит и сама решает, в итоге всегда платит тот, кто её купил.

Утром он пришёл в контору на Линиях В, к окну, где принимают по просроченным, и встал в очередь, как все, восьмым.

Когда подошла его очередь, он положил на полку карточку и сказал, что закрывает долг по ней полностью.

Девушка за стеклом посмотрела на карточку, потом на него, потом снова на карточку.

— Вы родственник?

— Нет.

— Поручитель?

— Нет.

— Тогда на каком основании?

— На том, что я плачу, а вы принимаете, — сказал Кац. — Других оснований в правилах нет. Посмотрите.

Она посмотрела. Оснований в правилах действительно не было — как не было и запрета.

Он заплатил сорок семь тысяч. Своими. Не из кассы «Медного дома», не из залоговых, не из тех денег, которые он сорок лет держал отдельно от своих, а из тех, что были отложены на ремонт крыши над подвалом, потому что крыша текла третий год и могла течь четвёртый.

Ему выдали квитанцию и вернули карточку с отметкой «погашено».

Через три дня деньги вернули. Окно приняло платёж, а отдел не провёл: по внутреннему порядку чужую строку гасит поручитель, а поручителем Кац записан не был, и вписать себя задним числом ему не дали. Девушка за стеклом извинилась дважды, отсчитала сорок семь тысяч обратно и перечеркнула отметку одной чертой, наискось.

Кац забрал деньги, забрал карточку с перечёркнутым словом и не стал ни спорить, ни говорить об этом никому.

Он положил карточку во внутренний карман, дошёл до «Медного дома», спустился в подвал, открыл нижний ящик стола и положил её туда — в тот, где лежат карточки, по которым уже ничего не будет.

Потом сел и записал в тетрадь одну строку, для себя: сумму, число и слово «зачем».

Слово «зачем» он оставил без ответа.

Через неделю строку с доски сняли.

Не потому, что сделка состоялась, а потому, что пришли трое и попросили снять — вежливо, без оружия, показав бумагу.

Смотритель доски, старик по прозвищу Рыба, прочитал бумагу и снял.

Он снимал строку сам, руками, как снимают все строки: вынул пластину из ячейки, отнёс в дальний угол и положил в ящик, где лежат закрытые сделки и несостоявшиеся.

В ящике на тот момент было три тысячи четыреста пластин.

Той же ночью на доске появилась новая строка, в том же третьем ряду сверху, тем же ровным почерком.

Информация о местонахождении носителя. Открытая цена.

Вот с этого дня всё и началось по-настоящему.

А в понедельник, в другом конце города, в другом фургоне, пахнущем мокрой резиной и чужим страхом, человек с планшетом на коленях поднял глаза и сказал шестерым, которых видел первый раз в жизни:

— Восемь этажей. Нам нужен третий. Остальные просто стоят на дороге.

И дождь по крыше звучал как крупа, которую сыплют в жестяную миску.

Кто есть кто и что значат слова

Справка в конец тома. Тем, кто дочитал, — чтобы свериться. Тем, кто читает не подряд, — чтобы не спотыкаться. Судьбы здесь не названы: их рассказывает книга, а не список.

Их наняли на бирже на одну ночь, под один заказ, и в фургоне они ехали впервые вместе.

Рейн Вершинин, 34 года, стрелок. Девять лет назад в тумане у дамбы потерял младшую сестру: у них был один респиратор на двоих, он надел его на неё и побежал за вторым. Молчит, когда надо говорить, и всю жизнь считает это вежливостью.

Арслан, лидер. Тяжёлый пистолет, ровный голос, говорит тихо и только по делу. У старшего всегда должен быть выход, и он у него был.

Дед, штурмовик. Клинок, который не просит патронов, приклад в три слоя изоленты, трос, который пригодился дважды за двадцать лет. Дома — жена Лида, прачечная на Мелководье и ковёр с оленями.

Ада, нетраннер. Дрон и взлом. Щёлкает костяшками даже в перчатках. Пишет себе письма на случай, если снова забудет, и копирует всё, до чего дотянется.

Юра, подрывник. Считает секунды вслух. Однажды ошибся с таймером и с тех пор носит лишний заряд — на всякий случай.

Катя, разведка и метки. Ходит босиком по чистым полам даже в броне. Выросла в Нижних шлюзах, где один неверный шаг в тумане — и тебя нет.

Миша, медик. Руки в пятнах засохшего клея от перчаток. Шил людей после прорывов дамбы и знает, что некоторые дыры уже

не закрыть.

Настя, связист. Говорит через синтезатор — свой голос сожгла химия. С аппаратурой ласкова, с людьми коротка. Верит не словам, а сигналу.

Серёга, щитовик. Поправляет ремень, будто тот жмёт. Три года в долговой яме, отсидел весь срок и вышел по справке о закрытии обязательства.

Олег, тяжёлый пехотинец. Двадцать два года в поле и ни одного помещения без второго выхода. Дома Света и четыре невыплаченных платежа.

Игорь, снайпер. Перед выстрелом делает пустой вдох. Двадцать лет считает выдохи, чтобы не вспоминать тех, в кого попал.

Женя Кириллов, стрелок. Дочь семи лет в интернате при Консервном, три двести в месяц, платит вперёд. В кармане жетон выездной службы «Чистой воды», просроченный на восемь месяцев.

Тоха, лёгкий стрелок, фланги. Девятнадцать лет, первый контракт. Спрашивает всё подряд и уверен, что правильный вариант есть и его надо просто найти.

Лира — искин четвёртой серии, четыре года в голове у Рейна. Ставит будильники, считает пульс, предлагает котиков. Ведёт журнал.

Сестра — младшая сестра Рейна. Пропала в день тумана: тело так и не нашли.

Пётр Ильич — учёный, собравший прототип за четырнадцать месяцев. Лучшая работа в его жизни.

Ася Ковалёва — стажёр, двадцать два года, синяя резинка для волос на запястье. Вела рабочий журнал от руки, как учитель.

Вера Ильина — заказчица. Сидит в машине в двух кварталах и читает заключения до последней строки.

Ким — старший смены «к-девять» подрядчика «Гарпун» и он же вербовщик: отдельных в конторе не держат, набирает тот, кто с набранными потом и ходит. Сорок лет считает людей и знает, что у каждого конечный набор ходов.

Бек, Рута, Кир, Столб — та же смена. Рута — медик, восемь лет на сменах, носит в кармане сложенный вчетверо лист с именами.

Вячеслав Кузин — вахтёр на стойке в вестибюле. Его брат Алексей Кузин в ту же ночь работает охранником на одиннадцатом.

Марат — ремонтник линии четыре, серия сорок первая.

Марта Вей — посредник. Сорок четыре года, девятнадцать лет в работе, три рабочих имени и ни одной подписи своим. Приезжает в фургон, называет сумму и уезжает, не дожидаясь.

Симон Кац — «Медный дом». Сорок лет пишет на карточках приписки от руки, которых не полагается по инструкции.

Стоит у мёртвого моря, под жёлтым туманом, который приходит с воды. Года книга не называет.

Стекло — верхний город. Чисто, ровно, белое. Там сидят те, кто заказывает.

Мелководье — нижний. Воду дают двадцать минут в день, водоросли сушат на батарее, фильтры не выдают и берут по три тысячи с рук.

Нижние шлюзы, Консервный — районы Мелководья. При Консервном есть интернат, и половина книги так или иначе платит за него.

Ярусы — этажи жилых кварталов, считаются снизу.

Дамба — держит море. Прорывалась не раз, и после каждого раза в нижних кварталах зашивают то, что ещё можно зашить.

Короткие — займы «на неделю» под сорок процентов. Берут все, отдают не все.

Город делится на касты по одному признаку, и улица назвала их четырьмя словами.

Чистые — в крови ничего чужого. Большинство.

Мозоли, они же серийные, — потомки корпоративных программ улучшения работников. Программы свернули, люди остались. Кость срастается за две недели, зрение лучше, выносливость выше. На улице зовут по номеру: «он сорок первый».

Вечные — те, кому прижились адаптоиды. Их в городе около сотни. Не стареют и не умирают от возраста; ткань не рубцуется и выталкивает всё чужое, поэтому у Вечного не бывает ни порта, ни импланта, ни протеза, ни пломбы.

Пустые, они же сухие, — те, у кого заменено всё тело. Мяса не осталось.

Мозаика — каста тех, у кого замены собирали годами и вразнобой: сустав от одного поставщика, лёгкое от другого, глаз с рук. Внутри такого человека ничего не подогнано друг к другу, и к сорока годам он держится на таблетках, которые гасят войну между частями. В один ряд с чистыми, мозолями и Вечными её никто не ставит вслух, но считают именно так.

Ртуть — броня верхнего яруса: тяжёлые составные пластины с текучим наполнителем, который твердеет от удара. Пуля в неё уходит, как в воду, и застревает; на свету наполнитель отливает серым, отсюда и название. Стоит дороже человека, который её носит, поэтому её выдают только смене «к-девять» и снимают с убитых свои же.

Нетраннер — тот, кто работает с чужими сетями изнутри: вскрывает контуры, читает камеры, ведёт дронов, снимает планы и ведомости. Работает с деки — плоского ящика на коленях — и в бою бесполезен, поэтому нетраннера в группе прикрывают.

Адаптоиды — то, что делает человека Вечным. Выращены из омара. Стоят столько, что цену называют не в кредитах, а в годах чужой жизни.

Доля — одно свойство в человеке. Своё — одно на всю жизнь; всё, что сверх, снято с чужих.

Экдизис, он же сброс, — то, чем Вечный платит за бессмертие. Раз в сколько-то лет тело обновляется целиком, и вместе с ним уходит часть того, кто в нём жил.

Хомарин — вещество, ради которого всё это существует.

Порт — разъём в голове, на границе кости и мягкого. Через него ныряют в Глубину и через него живёт искин.

Слот, модуль — гнездо под ключицей или в плече и то, что в него вставляют: стабилизатор, инъектор, окуляр, глушитель шагов. Снимается съёмником, ставится обратно кому угодно.

Глубина — общая сеть города, ей сорок лет. Три этажа, все платные: мелкая вода (имя и строка, почти бесплатно), затон (комната и окно за оплаченным стеклом), глубокая (лицо собеседника по-настоящему).

Обмелеть — перестать платить. Отключают не сразу: сначала пропадает запах, потом окно, потом звук, и человек ещё две недели сидит в сером текстовом пространстве и делает вид, что просто занят. Над обмелевшими не смеются.

«Кюри» — корпорация. Клиники, протезы и подписка на них; белые машины с решётками на окнах.

«Ковш» — корпорация. Промысел, выжимка и дешёвое тяжёлое железо; ей принадлежит объект 4. К машинам «Зубр» и «Шелест» ни та, ни другая отношения не имеет: это разные конторы и просто совпадение слуха.

«Гарпун» — подрядчик по охране. Работает сменами, каждая со своим номером. Три тысячи человек на двести объектов, и потому внутри конторы три слоя за разные деньги.

«Гарпун», слой первый — объектовая охрана: сторожа по контуру и стойка. Сутки охраны склада на бирже стоят шестьсот, человек на стойке — девять тысяч в месяц; дешёвый комплект, дробовик или ничего, телефон в руке. Их не жалеют: страховка заплатит, новых наберут к утру.

«Гарпун», слой второй — дежурное звено, то, что приезжает по тревоге. Норматив на сбор — четыре минуты, он стоит в открытом преysкуранте, потому что это и есть товар. Штатный нагрудник, автомат, ставка восемнадцать. Их учили ехать на кражу, а не воевать с тринадцатью в ртути.

«Гарпун», слой третий — смена «к-девять», люди Кима на верхних ярусах. Ртуть, номера контрактов вместо имён, турели на треногах, годовая премия смены. Платят им не за здание, а за то, что они на верхних этажах.

«Чистая вода» — концессия утилизации. На улице зовут проще.

Санация — протокол: здание запечатывается само, нижние ярусы заливает пеной, верхние идут в термическую обработку. С этого момента пожар считается внутренним обстоятельством, подлежащим локализации собственными средствами.

Санитар — белая машина с жёлтым огоньком на крыше. Приезжает туда, где кто-то умер, и выполняет свою задачу: не дать умереть. Всё остальное — не его работа.

Порог — место, где можно посмотреть, чем кончится, прежде чем шагнуть. Дверь, край, проём.

Черновик — то, что Рейн пишет себе, когда возвращается. Потому что иначе не останется даже этого.

Сноски

1. «Короткие» — уличные микрозаймы. Прейскурант в Нижних шлюзах стабилен третий год: «на неделю» — до двух тысяч под сорок процентов за десять дней; «на месяц» — до пяти тысяч под сто двадцать; «под тело» — до двадцати пяти тысяч под двести, залогом орган или протез. Просроченный долг продают по лестнице: «Медный дом» — «Кюри» на изъятие — «Чистая вода». До третьей ступени доходит примерно один из шести.
2. По данным городской статистики, средний непогашенный долг жителя Нижних шлюзов составляет 31 400 кредитов при среднем месячном доходе 2 800. Статистику публикуют раз в год, в приложении к отчёту о качестве воды, четырнадцатым пунктом из семнадцати.
3. Мутант не может стать Вечным: доза убивает его за двое-трое суток. Адаптоиды принимают переписывать уже переписанную биохимию и не останавливаются. Случаи фиксируются ежегодно — не по глупости, а потому, что человек копил на дозу всю жизнь и к моменту покупки перестаёт верить любым предупреждениям.
4. Формула «объект списан» означает, что здание переведено из графы «актив» в графу «утрата» и с этой минуты стоит ноль. Юридически в нём больше нечего защищать, тушить и спасать; всё, что там ещё двигается, проходит по другим статьям. Персонал — по трудовой. Имущество — по страховой. Посторонние — никак.
5. Норматив на оператора наблюдения — двадцать четыре экрана. Сорок один на двоих в норматив укладывается; в чём именно он укладывается, регламент не уточняет, потому что норматив писался под объекты с одним периметром и одной проходной. Тариф на дополнительную камеру с выводом на пост — четыреста в месяц, монтаж отдельно; заявка на восемь камер по лестничным клеткам объекта четыре подавалась трижды и трижды возвращалась с пометкой «не обосновано».
6. Серии нумеровались по программам, а не по признакам, поэтому номер ничего не говорит о носителе: сорок первая — программа портовых грузчиков прошлого века, двенадцатая — операторы прессов, седьмая — водолазы. Программы свернули за два десятилетия до описываемых событий; номера остались в документах и передаются по наследству вместе с изменениями, примерно в половине случаев.
7. Норматив выхода по линии 4: 0,0000007. Это означает, что на грамм готового продукта уходит около полутора тонн сырья. В отраслевых документах эту цифру называют «фактором Номарус» и приводят без комментариев —

комментарии к ней перестали писать на третий год промысла, когда выяснилось, что все они получаются одинаковыми.

8. Технически «обмеление» — это поэтапное урезание оплаченного объёма. Порядок списания закреплён в тарифе и одинаков у всех операторов: сначала «наполнение» (мелкие предметы, посуда, запахи), затем «отделка» (текстиль, покрытия), затем «объём» (площадь комнат), затем «среда» (свет, погода, звук), и в последнюю очередь — «обитатель». Последнее списывается через тридцать суток после прекращения платежей. В интерфейсе это обозначено как «переход в архив».

9. «Сто процентов» — величина условная: считают не массу и не объём, а перечень позиций из отраслевого списка, всего сорок одна. Конечности, органы, сенсорики, костная основа, нервная проводимость и, последним пунктом, кора. Пункт сорок один в списке помечен как «необратимый» — единственный из всех. Церковь Ста Процентов оспаривает эту пометку восемнадцать лет и проиграла три суда.

10. По реестру городской комиссии крыло проходит как «объект 4/2». Дробь в реестре означает пристроенное сооружение, введённое отдельным актом: у такого объекта своя категория опасности, своя пожарная схема и свой собственник или арендатор, но общая стена и, как правило, общие коммуникации. Всего в городе таких дробей больше четырёхсот. Требование сводить схемы эвакуации по смежным объектам в один документ обсуждалось трижды и каждый раз снималось из-за возражения о том, что это возложит на добросовестного собственника ответственность за чужое имущество.

11. В документах «Ковша» это здание проходит как 14-ТС — по внутреннему реестру, где буквы означают «технологический, стекольный квартал». «Объект 4» — номер по реестру городской комиссии, четвёртый по счёту объект категории Б-2 в городе. Оба номера правильные, и оба относятся к одному зданию; путаница между ними стоила комиссии двух дней и одного запроса, ответ на который пришёл через неделю.

12. Точнее — в условно открытом: документ не засекречен, но выдаётся по запросу с обоснованием. За девятнадцать лет существования архива обоснований поступило одиннадцать, из них девять — от страховых компаний, одно — от студента и одно — от человека в рабочей куртке с рассечённой бровью, которому в выдаче отказали, потому что обоснование «там был мой брат» не входит в перечень допустимых.